
*Мы на земле,
где вы живете...*



ЗЕМЛЯКИ

*Нижегородский альманах
Выпуск тридцать третий*

«КНИГИ»
Нижний Новгород
2022

353

Главный редактор *О.А. Рябов*

Шеф-редактор *А.И. Иудин*

Составители *А.И. Иудин, О.А. Рябов*

Общественная редколлегия:

*Н.А. Бенедиктов, И.С. Горюнова, Е.Н. Крюкова, З. Прилепин,
В.И. Седов, А.М. Цирульников, Г.В. Щеглов, Е.Р. Эрастов*

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя: 603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги» Тел. (831) 412-16-04

E-mail: zemlyaki-nn@yandex.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

353 Земляки. Нижегородский альманах. Выпуск тридцать третий.
Составители: А.И. Иудин, О.А. Рябов. – Нижний Новгород:
издательство «Книги», 2022. – 480 с.

В очередном выпуске альманаха наряду с новыми произведениями известных писателей представлены тексты молодых авторов.

На страницах сборника читатель найдет материалы по литературоведению, а также связанные с наследием известных поэтов и прозаиков прошлого. В специальных рубриках – ироническая поэзия и проза, произведения для семейного чтения.

Альманах зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Нижегородской области.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 52-0246

© Иудин А. И., Рябов О. А. Составление, 2022

© Издательство «Книги», 2022

ISBN 978-5-94706-264-9

СОДЕРЖАНИЕ

Нижегородский почерк

Юрий ПЕРЕВАЛОВ	
ДОМ НА ДЕРЕВЕ	6
Олег РЯБОВ	
КИКИМОРА В ГОСТЯХ	71
БУХ ДУБОВЫЙ	78
КОТ-БАЮН НА ЧЕРНИЧНИКЕ	86
Александр КРАПИВНЫЙ	
ФУРУНКУЛЁЗ	90
Глеб РУБАШКИН	
ЛИЗА ЕДЕТ В ГЕЛЕНДЖИК	106
КАЧЕЛИ	109
Петр РОДИН	
ВОВКИНА РАДОСТЬ	113
ДЯДЯ ВОЛОДЯ	124
РЬЖИЙ	132
Протоиерей Владимир ГОФМАН	
НЕ ХОДИЛ БЫ ТЫ, ВАНЕК, ВО СОЛДАТЫ	137
СОМНАМБУЛА	144
Павел ЛАПТЕВ	
ТЁТЯ ЮЛЯ	159
ЗЕРКАЛО	164
МАШЕНЬКА	167
НАВОЗ	169
АНТРЕСОЛЬ	171

Лирический портрет

Евгений ЭРАСТОВ	
ЗА ВЫСОКОЕ РУССКОЕ СЛОВО...	175
Татьяна БАТУРИНА	
В РЕБРАХ	183
Владимир БОЛОХОВ	
Из цикла «ОКЛИКИ АУКНУВШЕГО»	188

Из свежей прозы

Юрий ФАНКИН	
ЖИЛ СТАРИК У ОЗЕРА...	194
Сергей СМИРНОВ	
ТРАКТОРИСТ	242
Надежда КОЖЕВНИКОВА	
СТАРАЯ ЛАМПА	245

Мария БУШУЕВА БЛИНЧИКИ	249
Андрей БАРАНОВ ТРИ НОЧИ	253

Лирический портрет

Евгений КУХТИН И РОССИЯ ВЗОЙДЁТ МОЛОДАЯ...	261
Денис КАЛЬНОВ ЧЕРНИЛА ЗАЧЕРПНУЛ НЕБЕСНЫЙ КОВШ...	266
Дмитрий КАРШИН ВДВОЕМ ПО УЛИЦЕ – ОНА И ЛИСТОПАД...	270

Из будущих книг

Игорь МАЛЫШЕВ ХОЗЯИН ТОРФА, или Повесть о нибелунгах	273
Владимир СЕДОВ МИЛОВКА	316
РЫБАЛКА	323
СТУДЕНЕЦ	326

Стихи по кругу

Анастасия ИЛЬИНА	330
Ярослав КАУРОВ	331
Олег ГОНОЗОВ	333
Елена ГАЛИАСКАРОВА	333
Лариса ЖЕЛЕНИС	334
Александр ЛУШИН	335
Анна ЗВЁЗДКИНА	337
Галина МИРОНОВА	337

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА «ЧТОБ БЫЛ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ЗАКОН НЕ ТЩЕТНЫМ СЛОВОМ...» 230 лет со дня рождения П.А. Вяземского	339
ЧТОБЫ СВЕТИЛЬНИК НЕ УГАСАЛ... 160 лет со дня рождения О. Генри	357
Елена КРЮКОВА ИДТИ ВПЕРЕД	371
Роман НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОРЬКОЕ ГОРЬКОВЕДЕНИЕ ЕВГЕНИЯ ПОЗДНИНА	390

Людмила КАЛИНИНА ЧИТАЙТЕ КНИГИ ФРОНТОВИКОВ	406
Светлана ЛЕОНТЬЕВА «И Я ПИШУ: “ОТ БЕЛОРУСА С ВОЛГИ...”»	415

Далекое – близкое

Андрей КУДРЯШОВ МОЯ МАЛАЯ РОДИНА	423
Александр БАЛТИН НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА	426
НОВОГОДНЯЯ НАДЕЖДА	428
НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ	430
СТРАНИЦЫ СВЯТОЧНЫХ РАССКАЗОВ	434

Русский смех

Павел ТИХОНОВ ВЕЧНОСТЬ ЧИНОВНИКА	436
Сергей ШУСТОВ РАССКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ	442
Ефим ГАММЕР МИНИАТЮРЫ	446
Николай СИМОНОВ ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ	448

Семейное чтение

Наталья КАДОМЦЕВА ОДНАЖДЫ В ПРИЮТЕ	451
Жанна ПЕСТОВА ДЕВОЧКА ПОД ЗОНТИКОМ	461
Анна ШЕВЧЕНКО Из цикла «НАДЯ, ЛЮБА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ»	465
Тихон СИНИЦЫН, стихи	476
Алексей ШИХАЛЁВ, стихи	477
Валерий ТАБАХ, стихи	479

Нижегородский почерк

Юрий ПЕРЕВАЛОВ

Владимир

ДОМ НА ДЕРЕВЕ

Летним утром, в глухом саду деревенского дома, мальчишка карабкается на старую черёмуху и усаживается на развилке толстых веток. Он подолгу сидит высоко над землёй и думает о вчерашнем дне, об оранжевых муравьях, что живут под деревом, о грузовике, что громыкает по пыльной дороге, о людях, что изредка появляются и долго бредут по обочине, пока не скрываются за поворотом, – из густых ветвей за дорогой особенно хорошо наблюдать.

Мальчишка долго висит над землёй в чудесном созерцании, и ему снова удаётся невероятное: он видит крепчайшую связь между каплями тёмной смолы, что выступили на шершавом стволе дерева за ночь – вчерашние он срезал перочинным ножом, – и формой облаков, что плывут тяжёлыми флотилиями по небу. Он схватывает юным разумом скрытую связь вещей, и этот прыжок ума удаётся ему потому, что он толком пока ничему не учился, и ещё потому, что возраст его – всего несколько лет.

В каждой капле смолы таится искра жёлтого света. Сегодня он решает, что по утрам будет считать, сколько капель этого горького тягучего сока выступило на коре дерева за ночь, – в этом он видит особый смысл.

Итак, он сидит между землёй и небом на раскидистом дереве.

И вдруг он чувствует, что близкое переломное событие вот-вот произойдёт, вероятность такого события в тысячи раз возросла.

Он замирает. Он прислушивается.

В густой листве дерева шумит ветер. Спускается на невидимой нити перед самым носом мальчишки длиннолапый деловитый паук. Нить паутины то появляется и блещит в луче солнца, то пропадает. Летают кругами вокруг дерева ласточки.

И тут в саду появляется его дед. Сначала мальчишка слышит, как дед ругается: «Упёрся-от, бестолочь худая», а после видит, как дед одной рукой открывает скрипучую калитку в сад, а другой тащит за собой на короткой верёвке белого козлёнка. Козлёнок упирается в землю копытами и крутит изо всех сил головой.

Внизу под деревом, около густых кустов смородины, оранжевые муравьи бегают по дорожкам вокруг своего дома. Мальчишка видит этих муравьёв издалека. Дед всегда удивляется его зрению, будто никогда так не видел сам, и часто просит внука найти то гайку, то пропавший куда-то коробок со спичками, то прочитать по слогам мелкий шрифт в газете или цифры в инструкции к электромотору. И сейчас дед зовёт внука и просит найти нож: совсем недавно он его наточил и оставил где-то в саду. Мальчишка спрыгивает с дерева, обдирая кожу острыми ветками и шершавой корой. Он летит с высоты и бьёт ногами, приседавая, в толстую и тяжёлую крышку деревянного погреба, где в холоде хранится молоко. От удара у мальчишки разливается боль в солнечном сплетении, и он хохочет, радуясь своему ловкому, опасному прыжку.

Подбегая к деду, внук сразу же замечает нож: дед воткнул его в торец бревна на углу дома. Внук с усилием, раскачивая рукоятку, вытаскивает из бревна громадный дедов нож – нож с длинным источенным лезвием, с косяной, пожелтевшей, отполированной ручкой. Дед спрашивает, остро ли лезвие. Мальчишка пробует лезвие большим пальцем, подражая в серьёзности и хмурости лица

деду, и отвечает с восторгом, что лезвие необыкновенно остро, и тут же бежит с ножом прочь, разыскивая, на чём бы остроту этого оружия с размаху испробовать. Но дед ругает внука за неугомонность, и вот оружие у мальчишки отобрано, и через мгновение дед валит на землю козлёнка, прижимает его коленом к земле, связывает ему ноги и, выгнув козлёнку шею, режет длинным тяжёлым ножом по этой тонкой шее, и в мятый железный таз, который дед заранее поставил на землю, с силой струится алая кровь.

Всё происходит так быстро, что сердце у мальчишки от испуга замирает, но вот оно разбегаётся, стучит всё быстрее, догоняет, догоняет, спешит и вновь бежит вровень со временем. И мальчишка видит: глаза у козлёнка мутнеют, из них исчезает животный страх, и мальчишка успокаивается, оттого что внезапное жестокое действие завершилось быстро и благополучно.

Дед по привычке ворчит, вытирает нож тряпкой, втыкает его в тот же самый торец бревна, откуда его только что вытащил внук, и уносит белого козлёнка из сада, подняв его за связанные ноги, – голова козлёнка мотается на тонкой шее.

Мальчишка разглядывает капли тёмной крови на лопухах около дикой яблони. Его пытлиное сознание в подробностях вбирает произошедшее: окровавленную белую шерсть козлёнка, его потухшие жёлтые глаза с чёрным угловатым зрачком, безжалостный нож.

Но думать о быстрой смерти животного мальчишка долго не сможет. Только лишь дед ушёл, как мальчишку зовёт его лучший друг по имени Витёк. Он забрался на забор со стороны улицы и корчит рожи солнцу. В его волосах индейские перья, в руках сломанный бинокль без стёкол, который тем не менее отлично скрадывает пространство. Витёк зовёт мальчишку Юриком, и в этом имени, как чувствует мальчишка, нет ничего от имени, которым его называют взрослые. Ну раз Витька мальчишку так называет, то и мы впредь будем звать его так же.

– Юрик! – кричит Витька. – Дед козла зарезал?

Юрик идёт к нему и говорит с сожалением об убитом животном и гордостью от того, что он видел:

– Да, козлёнка мелкого. Только что. По шее хоп – и всё.

Витька и Юрик беседуют, и разговор их полон глубокого смысла, непосвящённым недоступного. Они рассуждают о смоле и жёлтых муравьях, их близкой природе, что проявляет себя через цвет. Рассуждают об изменчивом направлении ветра и серебряных следах пролетающих над ними самолётов. Внезапно Витёк замолкает, поднимает бинокль без стёкол к глазам и глядит вдаль.

Помолчав, он шепчет:

– Опять на дереве сидит. Надо сблизить следить.

Юрик знает, о ком говорит Витёк.

Совсем недавно произошли события исключительной важности.

Событие первое: появился загадочный, пугающий Кера – мальчишки произносили это имя с ударением на первый слог. Хотя поначалу они не знали, как его зовут. Поначалу они называли его просто – «этот на дереве».

Это существо появилось тем же летом, в самом начале июня.

Однажды Витёк и Юрик весь день смотрели, как рабочие ломают старый деревянный мост, и купались в холодной реке. Вечером они возвращались по дороге, лугами, домой.

В летних сумерках Кера соткался из подступающей темноты, из великолепной безмятежности духа двух юных существ. Точная причина его возникновения ни мальчишкам, ни мне не ясна, но можно угадать, что точно так же маятник качается назад, качнувшись вперёд, и за вдохом следует выдох. Кера появился в силу скрытого общего закона – так же пылающие звёзды с рождения выращивают в себе семена мрака чёрных дыр.

И в первый раз они увидели его так:

– Кто это там сидит? – прошептал Витька.

– Где? – отозвался Юрик.

– На сосне, вона! – показал Витька пальцем.

Мальчишки бросились в траву и затаились.

– Три глаза вроде у него, – сказал Юрик.

– И мохнатая башка, – добавил Витёк.

Они поползли по траве, затем вскочили и побежали прочь, огибая стороной дерево с загадочным существом.

На следующий день они снова пошли на реку. Витька удил рыбу. Юрик на берегу перебирал ракушки, выбирая себе самую большую, которую хотел унести домой в коллекцию диковин. Глядя в перламутровое кривое зеркальце раковины, Юрик вспоминал о том существе на дереве. Он взглянул на Витьку: его друг казался мрачным сегодня, хотя это был самый беззаботный человек на свете. Перебирая раковины, Юрик всё думал, напомнить ли Витьку о том существе.

Наконец он не выдержал и сказал:

– Пойдём поглядим на него?

Они прошли белой сухой дорогой, что кружила в лугах. Поднялись на крутой берег реки и вышли на пустырь, заросший репейником и полынью. Перебежали дорогу, перелезли через изгородь и залегли в траве. Они так долго всматривались в переплетение ветвей, что в глазах у них зарябило.

– Нету его, – сказали они хором и рассмеялись, потому что решили, что «этот на дереве» им померещился.

А на следующий день была гроза. Они катались на велосипедах, и ливень застал их в пути. Под потоками воды они прикатили к Юрику домой и въехали через открытую дверь прямо в ограду. Усевшись на ступенях деревянной лестницы, они смотрели на грозу через распахнутую дверь. Рыжий пёс улёгся у них в ногах. Он с рвением размахивал хвостом, лизал им руки и выпрашивал хлеб.

Деревья кренились всё сильнее к земле. И в этом поклоне деревьев, яростном дожде и молниях как будто разыгрывалась стройная драма.

– Зырь! Зырь, как врзало! – кричали они наперебой, когда сверкание молнии внезапно выхватывало из тьмы непостижимой высоты и глубины облака, что воздвиглись неземным рельефом над твердью земной.

И когда дождь успокоился и стали слышны отдельные удары капель по крыше, Юрик сказал:

– В грозу он ходит на охоту.

– Потому что в грозу его не отличишь от человека, – добавил Витька.

И они поняли, что существо на дереве им точно не померещилось.

Но пока довольно об этом охотнике на людей, которого они увидели на дереве: мальчишки и сами ничего не знают о нём. Оставим их тем вечером, когда они сидят с рыжим псом на деревянных стёртых ступенях и смотрят через открытую дверь, как молнии чертят письма в иссиня-чёрном небе и жестокая гроза уносится на восток.

Вскоре Витьку вырядили в лаковые ботинки, пиджак и брюки – «поганый костюм», как называл Витёк этот наряд, – и увезли в гости к далёким родственникам.

На целую неделю Юрик остался совсем один.

Поначалу он не скучал. Под черёмухой в саду он ловил оранжевых муравьёв в ловушки. Делал палочкой в земле ямки и насыпал туда сахар. Муравьи находили сахар и лезли в ямки, и в этот момент он заклеивал ловушку плоской крышкой, вылепленной из сырой земли. И ждал. Ждал с детским мудрым упорством – упорством, познающим мир. И другие муравьи, как ни странно, спустя каких-то полчаса вызволяли своих собратьев из беды, и все вместе они растаскивали сахар. Неужели друзья им подавали из ловушки голоса? Он рассказал о хитрых муравьях деду – дед только хмыкнул. Он решил, что расскажет об этом Витьке – тот любит муравьёв не меньше его.

И вот он выяснил, что муравьи крайне сообразительны. И по черёмухе ему тоже лазать надоело. И тогда он стал обследовать свой деревянный дом, и в углу чулана, откуда вёл ход на чердак, Юрик нашёл огромный шкаф с книгами.

Он сидел на старом сундуке, окованном железными полосами, и в пыльном луче света, что проникал через узкое квадратное оконце, перебирал книжки. Каждую он пытался читать, но книги попадались то технические, то взрослые, угрюмые и серьёзные, и он мало что в них понимал.

Но вскоре среди пыльных залежей в шкафу он раскопал толстую растрёпанную книгу с оторванной обложкой, книгу седой суровой древности, написанную стихами без рифм. Древние стихи не нуждались в рифмах, создатель тех стихов их не знал, а если б и увидел где-то, то посчитал бы рифмы детскими игрушками.

Юрик начал эту книгу читать.

Повествование начиналось как будто с середины. Стихи автор заплёл в такие узоры, что они казались изошрённой каменной резьбой. В каждой строке встречались сложнейшие слова и диковинные красивые имена, которые мальчишка шёпотом повторял, чтоб запомнить. В первый раз он прочитал всего один лист, и у него от этих стихов даже закружилась голова.

После он забросил книгу, потому что нашёл ещё несколько муравейников на выгоне для коз. Пару дней мальчишка разбирался в том, ходят ли муравьи друг на друга войной, и следил, как они бегают по своим тропам, проложенным по сухой вытоптанной земле. А ближе к вечеру, пиная перед собой мяч, он шёл по пыльной дороге к пустырю за домами и приходил на поле, где они с Витькой играли в футбол. Там он забивал голы в пустые ворота, набивал мяч головой, коленями и ногами, но вскоре понимал, что играть одному – дело ну совершенно тоскливое и бесполезное.

Делать было нечего, неделя для мальчишки тянулась словно целое лето, и он снова приходил в чулан, садился на окованный сундук и в луче света читал толстую книгу каменных стихов. Он пробирался через книгу, потому что его юный разум готов был разгрызть и впитать что угодно – разобраться можно было и после.

Он жаждал увидеть, что происходит в книге. Но картинки в ней попадались редко, штук пять на всю книгу, и все чёрно-белые. И если в книге встречалось слово «храм», то мальчишка представлял церковь, куда его водили крестить, но в его воображении из-за мрачной и грохочущей, суровой предопределённости, что сквозила в этих стихах, храм этот разрастался до исполинских размеров, и стены его темнели, и под куполом его слышался угрожающий шелест тяжёлых крыл. Если упоминалась битва, то меднобронные воины обязательно сходились на берегу реки, на заливных лугах, где паслись две лошади, и, сражённые, падали в тяжёлую, густую траву и тонули в ней. Мальчишка напивался незнакомыми словами и деяниями древних мужей. И, когда гулял в одиночестве или катался на

велосипеде, в голове его совершалась неумолимая работа. В его мыслях проносились каменные дворцы с тёмными залами страшных размеров, с громадными колоннами, уходящими во тьму под потолком, и слышались чьи-то отдалённые шаги в этих залах и какой-то заморский напев. Корабли с восточными мудрыми глазами на бортах выпрыгивали из волн на песчаный берег. Вот только у моря он никогда не был, поэтому корабли ему грезились на реке Мологде, громадной реке, которую он видел пока всего один раз в старом городе Ипатьеве, куда его год назад возили в гости к родственникам.

И однажды утром в этой самой книге он, к своему удивлению и ужасу, нашел имя «этого на дереве» – его звали Кера.

В книге было сказано, что Кера настигнет одного из героев, что эта участь герою уготована и ничего уже не изменить. И мальчишка в первый раз в жизни прочитал такое сочетание слов, и оно поразило его, как исполинские заснеженные горы, увиденные в первый раз, или откровение религиозной истины.

Настигнет – и всё.

* * *

Вскоре невидимая борьба в его юном разуме завершила свою работу, и мальчишка дал книге название: «Книга заклятий и сражений».

И когда Витька вернулся домой из гостей, сбросил ненавистный костюм и сверкающие ботинки, Юрик рассказал ему, во-первых, о том, как зовут «этого на дереве», а во-вторых, о книге.

Витька выслушал его внимательно. Он удивлялся и ужасался, но даже не подумал завидовать тому, что Юрик нашёл книгу, – Витька гораздо лучше стрелял из арбалета и выдумывал технические приспособления – ловушки на воробьёв и галок, к примеру.

– А про что ещё книжка? – спросил Витька, когда Юрик закончил свой долгий ошеломительный рассказ, в котором он упомянул, что Керу боялись даже герои.

– Можно время остановить, – вдруг сказал Юрик, ответив как будто невпопад, и обрадовался, что время теперь ему подчиняется, и добавил: – А ещё можно превращать что угодно во что угодно.

– Ого! – изумился его друг.

Витька понял, что началась прекрасная игра, и спросил:

– Когда заморозим всех и превратим кого-нибудь?

– Нужен точный день. Так просто нельзя. Надо, чтоб особый день был, – тут Юрик немного разочаровался в книге, но не настолько, чтоб забросить её и забыть о ней.

– Вынесешь книгу поглядеть? – спросил Витька.

– Она солнца боится. На солнце сгорит. Заклятия надо запоминать и повторять.

Витька кивнул, нахмурясь, с полным пониманием и вдруг сказал:

– Повтори заклятье!

Юрик надолго задумался: «Вот произнесу, и что-нибудь да случится?» И вдруг выпалил первое, что пришло на ум:

– Бушующий властно над бездной жестокой, что злобой кипит и сердца разрывает...

– Ого! – расхохотался Витька.

Он и вправду был поражён этими словами, а Юрик изумился тому, с какой лёгкостью эти грозные звуки отпечатались в его разуме и теперь произносились сами собой.

До этого лета у них было две книжки, которые они по кругу передавали друг другу и уже забыли, какая из этих книг кому принадлежала изначально. Первая повествовала о приключениях горстки храбрецов в выдуманной солнечной стране глупых жадных королей, ржавых и одушевленных железных солдат и набитых соломой говорящих чучел. Вторая рассказывала о похождениях инспектора разведки, совершенно лишённого чувства юмора. Этот служитель закона и порядка одной левой справлялся с бандитами, наёмными убийцами и шпионами и путешествовал на пароходах по экваториальным странам, где в джунглях, в пустынях и белых колониальных дворцах он разыскивал то украденные алмазы, то похищенные государственные тайны.

Обе книжки они любили и зачитали до дыр, но ни в одной из них таких слов, настоящих громовых заклятий, им не встречалось.

* * *

Метрах в трёхстах от загадочного дерева, где притаился Кера, стояла заброшенная кузница – твердыня, где мальчишки обустроили себе штаб. Кузница стояла на пологом холме, заросшем белой полынью – сухая полынь чуть слышно звенела в сильный ветер. К холму вела разбитая старая дорога, колеи которой наполнялись водой после дождя.

Неприятель не смог бы подобраться к их твердыне без потерь. С одной стороны от кузницы тянулся глубокий извилистый овраг. На краю этого оврага росла, накренившись, старая липа. С другого края холм обрывался в густые заросли рогоза – там протекал мелкий ручей и всё лето стояло зелёное болотце. Осенью растрёпанные шишки рогоза покачивались под ветром, похожие на изорванные флажки, и в этой картине сквозило что-то восточное, будто нарисовал кто-то рогоз тушью на бумаге, но мальчишки, к сожалению, не видели пока это сходство.

Через болотце они проложили путь: разломали забор заброшенного дома и пошвыряли доски прямо в воду – получилась гать. По этой гати они часто пробирались через болотце и совершали вылазки в поле и близкий лес с оружием в руках: Юрик – с луком, а Витёк – с нешуточным арбалетом. Витьку повезло: старший брат смастерил два арбалета и один подарил ему. Правда, стрел у Витьки было маловато: всего три. Зато стрела с медным наконечником летела далеко и врубалась в дерево с глухим приятным стуком. А лук Юрик сделал сам, чтоб не отставать от Витьки. Он смастерил его из кленовой ветки, а к стрелам вместо наконечников приладил мелкие почтовые гвозди.

В кузнице возвышался чёрный паровой молот, похожий на сожжённый древний трон. Валялись тут и там наковальни, молоты, щипцы, спёкшиеся куски металла – всё

обгорелое и чёрное. Земля поглощала кузницу: она изнутри зарастала травой, стены её оседали в землю по самые окна. Но у кузницы был высокий обширный чердак – скорее даже второй этаж. Там Витька и Юрик и устроились. Изнутри кузницы на чердак вёл квадратный люк, но они заколотили его досками, чтоб никто не пробрался к ним. Сами же они забирались внутрь по торцам брёвен на углу кузницы, а затем, держась за крышу, они карабкались к широкому окну, которое вело на чердак, и ныряли в него.

С этой высоты они видели всё вокруг. Кузницу они обустроили ещё прошлым летом и считали, что их акрополь выдержит любые штормы.

Здесь, в своей кузнице, они впервые опробовали магические слова из «Книги заклиний и сражений».

Был жаркий полдень. Чистое небо синим куполом возвышалось над цветущими лугами. Раскалённый воздух плясал вдали.

Они долго сидели на крыше кузницы и смотрели в бинокль на дерево, где засел Кера, но не могли его разглядеть – злобный бес куда-то исчез в тот полдень.

Когда им выслеживать Керу наскучило, они стали упражняться в стрельбе из Витькиной бронебойной рогатки.

В болотце мальчишки нашли ржавый и худой железный бочонок. Они поставили его стоймя перед кузницей и принялись стрелять по нему из окна. Камешки били по бочонку, и тот глухо брякал на разные лады.

После очередного хлёсткого выстрела Витька вдруг спросил:

– Сегодня можно колдовать? Время морозить?

Юрик подумал и ответил:

– В самый раз.

– Давай, – сказал Витька.

Он отложил рогатку, уселся на пол и во все глаза уставился на Юрика.

Юрик подумал, вспоминая слова из книги, и произнёс первое, что попало на ум:

– Пучиною древней объятый, невольный, лежащий как мёртвый на дне океана.

Витька подпрыгнул и высунулся из широкого окна. Юрик молчал. Он боялся, что ничего не произойдёт. Но мир и вправду застыл.

Не слышно стало машин – по дороге никто не ехал. На небе не было ни облака. Собака вдали перестала гавкать. Наступила тишина. Только стрекотали кузнечики и порхали крапивницы – но эти не в счёт, эти создания – почти как трава и цветы.

Но вот потрёпанный павлиний глаз спиралью взлетел из травы, покружил и сел на край окна. Распахнул крылья и – замер.

И на него подействовало.

Витька вылез на крышу через пролом и стал разглядывать окрестности, подтверждая, почему-то шёпотом, что никого нет: ни людей, ни машин, даже со стройки моста не доносятся звуки.

Тишина стояла так долго, что Юрик испугался – лишь бы всё так и не осталось.

И он произнёс как можно громче:

– И жертву дал под стать деянью.

Но тишина. Даже знойный воздух замер.

Витька через дыру в крыше прыгнул прямо в солнечное пятно на полу и поднял вихрь пыли.

Бегая кругами по кузнице, он принялся строить планы, как заклинание можно использовать в целях практических: вытащить из магазина что-нибудь или заморозить злого недруга и побить его кулаками и ногами. При этом он снова говорил шёпотом – боялся спугнуть заклятье.

Юрик посмотрел в окно.

Безмолвие и неподвижность пребывали на земле ещё несколько мгновений, но вот коршун высоко в небе закружил. На окраине загавкал сонный пёс, и далеко на востоке, над лесом, появилось одинокое облако.

* * *

А теперь о третьем важном событии.

Однажды утром мальчишки пошли к своей крепости. Как обычно, у них произошла стычка за право забраться

в кузницу первым. Юрик победил, хотя обычно Витёк оказывался проворнее и хитрее. Юрик почти вскарабкался наверх, как вдруг почувствовал боль в ладонях. Он оттолкнулся от стены ногами и кувыркнулся с высоты в траву, словно кошка. Он поднялся с земли и посмотрел на залитые кровью, изрезанные ладони – кто-то навтыкал в брёвна осколки от разбитых бутылок. Юрик слизал кровь с ладоней, снял футболку и отважно замотал ей правую, сильно порезанную ладонь. Зелёные бутылочные стекла они терпеливо вычистили из щелей в брёвнах и забрались внутрь.

Там их ожидало происшествие посерьёзнее. В кузнице появился целый велосипед. На полу валялась бутылка из-под лимонада и повсюду были разбросаны сигаретные окурки. Окурки указывали на существо, неравное им по возрасту. Велосипед объяснения не нашёл. Бутылка из-под лимонада – улика небольшая: все пьют лимонад.

С тех пор они стали с осторожностью забираться в свою крепость. Мальчишки так и не застали того негодяя, что вторгался в неё. Велосипед то исчезал из кузницы, то снова появлялся. Захватчик обосновывался всё крепче и вёл себя уже совсем по-хозяйски: окурки не убирал, бутылки из-под лимонада разбрасывал тут и там и даже разводил на чердаке костёр на железном листе. Захватчик знал, что живёт в кузнице не один. Он написал куском угля над окном:

«Пашли отсюда нафик!»

Витёк ответил ему, написав рядом:

«Сам иди баран»

* * *

Итак, вернёмся к тому самому дню, когда мальчишки в саду, скрывшись в тени черёмухи, передают друг другу бинокль и всматриваются в даль. Они думают, кого им лучше сегодня выслеживать: паразита и захватчика их твердыни или существо на дереве. Поразмыслив, они решают, что уследят за обоими.

Они идут на пустырь, где всегда играют в футбол. Здесь они кидаются в траву. Словно разведчики, они долго пол-

зут по земле и, наконец, находят место для засады, откуда хорошо просматривается пыльная дорога, что ведёт в луга мимо их кузницы.

Пока Витька следит за деревом в бинокль, Юрик смотрит на кузницу – не появится ли захватчик. Затем они меняются.

Витёк вслух размышляет о том, можно ли напасть на Керу и захватить его в плен. Юрика же занимают вопросы совсем другие: ему интересна природа этого страшного существа и его загадочное происхождение.

Издредка на белой сухой дороге появляется прохожий. В такие минуты они ждут, что Кера прынет на жертву с дерева и они наконец увидят его. Но хитрое страшное существо не бросается на людей. Мальчишки знают: Кера видит их и понимает, что за ним следят, и потому не хочет выдавать себя.

Солнце жарит беспощадно. В небе парят коршуны. Так никого и не выследив, мальчишки убегают к реке окружным путём, чтоб смотреть, как строят мост.

На следующий день, в полдень, прочитав в «Книге заклятий и сражений» эпизод, в котором даже могучие герои не гнушались обмана и коварства, Юрик решается украсть дедов бинокль. Уж очень ему надоело, что Кера стремится в тень – мальчишка хочет его разглядеть.

После обеда дед по привычке засыпает. Подгадав это время, Юрик входит в дом и осторожно идёт по прохладному деревянному полу к шкафу со стеклянными дверками. В этом шкафу дед хранит инструменты и бинокль.

В доме тишина. Старые механические часы на стене громко тикают, чуть слышно позвякивают и потрескивают. Их серебряный круглый маятник качается и притягивает взгляд. Юрику всегда кажется, что эти часы отмечают время не цифрами, а мимикой своего механического лица – стрелками. Они показывают восторг полдня – стрелки стремятся ввысь, серьёзность шести часов вечера – часовой навтыжку, и согбенную усталость рабочего дня – без четверти пять. Зеркальный металлический маятник магически качается, и мальчишка отражается в его зеркальце, и весь дом в этом отражении закругляется, становится

глубок, словно пещера. Мальчишка глядит в этот крошечный мир, пока подбирается к шкафу.

Дед спит с газетой на груди. Громадный белый кот, который никогда не даётся в руки, полудикий, спит у него в ногах – только деда этот хищник и считает за хозяина.

Задача сложна: на тяжёлом выдвижном ящике, где хранится бинокль, нет ручки. Засунув указательный палец в дырку от ручки, по миллиметру, с непревзойдённым детским упорством Юрик тянет ящик на себя. Внутри лежат инструменты, от малейшего движения они перекатываются и чуть что гремят. Но мальчишка справляется и вытаскивает тяжёлый бинокль: выпуклые линзы, к стеклу прилипла табачная крошка (дед хранит тут же свой кисет с табаком), ляпка на шею. Мальчишка уже собирается бежать, но ради интереса надевает дедовы очки, и всё плывёт перед его глазами, и часы выгибают циферблат, и пыль у окна в солнечном луче как будто вертится в другую сторону. Мальчишка твёрдо уверен, что взрослые носят очки только потому, что таковы их ритуалы. И эту уверенность ничем не перебить. Ещё он знает, что взрослые видят мир именно так: неверные стены домов выгибаются и то сходятся, то расходятся, то грозятся упасть, и пьяный маятник часов раскачивается тяжело, словно булава, что может разозлить тебе голову, и земля уплывает из-под ног, и непонятно, как доверять глазам своим.

Тяжёлый бинокль на шее – большая удача. Мальчишка бросает очки на полку в шкафу и убегает. Половицы скрипят под его ногами. Он вдруг останавливается у дверей и возвращается – пробегает вокруг печи и хватается сонного огромного кота и тащит его с собой, пока тот не очухался. Кот по пути изо всех сил вырывается и царапает ему руки, и мальчишка, выйдя в ограду, кидает кота на спину своей собаке, которая спит, свернувшись, у лестницы. Мальчишка ещё раз проверяет, не ссорятся ли рыжий пёс и белый кот. Нет, не ссорятся: собака крутит хвостом и поворачивает голову, чтоб обнюхать кота, а тот с брезгливостью спрыгивает с её спины и вдруг прямо с земли, точнейшим бесшумным прыжком взлетает под самую крышу ограды и скрывается в узкой дыре между брёвен.

Юрик убегает с биноклем из дома. На выгоне, где пасутся глупые соседские козы, он забирается на толстый и высокий столб в изгороди и обзирает земли в бинокль. Он долго наблюдает за деревом, прибежищем Керы. Но жёлтых глаз в полутьме кроны не видно, и мальчишка переводит взгляд на кузницу.

Остаток забора у кузницы грозно накренился ко всякому подходящему к её воротам, а острые шипы брошенной ржавой бороны торчат из земли у дверей, словно привратные укрепления. Далеко за кузницей тянется дорога, а за дорогой высится сизый лес. Мальчишка смотрит на лес в бинокль, и ему кажется, будто он чувствует запах прелых листьев, грибов и сосновой хвои – словно его обоняние привязано к зрению.

Дед Юрика знал всё вокруг, и мальчишка как-то спрашивал у него, работал ли в кузнице настоящий кузнец. Дед отвечал, что, конечно же, был кузнец давным-давно.

– Ковал коней? – спрашивал мальчишка.

– Подковывал, – отвечал дед.

Дед добавлял, что у него тоже был конь. Этот конь – мальчишка верил – был пегасоподобным. Не чета той пегой толстобрюхой кобыле, которую зимой запрягал в сани бородатый старик с соседней улицы.

Глупая коза бодает столб, на котором уселся мальчишка, и лес в бинокле подпрыгивает. Пока Юрик смотрит в бинокль, Витька крадёт к нему, пробирается, пригнувшись, через козий выгон. Подобравшись вплотную, Витька с хохотом изо всех сил толкает его в спину, и Юрик летит со столба и падает в высокую траву по ту сторону изгороди.

Витька запрыгивает на столб и хохочет. После короткой борьбы Юрик вновь отвоёвывает своё место, но Витька отбирает у него бинокль. Затем они снова борются, и бинокль достаётся Юрику, но Витька снова ухитряется залезть на столб первым.

Итак, несколько дней они следят за Керой – тот снова таращит свои жёлтые глаза – и поджидают в кузнице незваного гостя.

В жаркий полдень они забираются на горячую от солнца крышу кузницы и превращаются в команду корабля,

деревянного фрегата, и вокруг них бушует шторм. Совсем рядом, на краю оврага, цветёт старая раскидистая липа с толстым закрученным стволом. Можно разбежаться по крыше кузницы и перепрыгнуть на неё. Вопреки шторму вокруг дерева кружатся и гудят пчёлы. От запаха липовых цветов Юрику хочется спать. Он хочет перенести преобразование в матросов на другой день, ветреный и дождливый, и предлагает Витьке превратиться в команду корабля космического. Там тоже путешествие и навигация – какая разница? А погода всё равно не подходит. Но Витька не соглашается на космическую оперу, и Юрику приходится играть сразу в двух мирах. Он видит себя на космическом корабле – стало ещё занятней, – и он так погружается в космическую выдумку, что забывает откачивать воду из пробитого трюма и уже не следит, чтоб ветер не оборвал такелаж, и Витька злится на его нерасторопность – сам он уселся верхом на коньке крыши и глядит в бинокль (тот, что со стёклами) в сторону реки на огонь маяка вдали.

* * *

В слезке за Керой проходит день, второй и третий.

Захватчик их крепости появляется внезапно, как ему и положено.

В жаркий полдень они сидят в кузнице: Юрик мастерит стрелы для лука, а Витька перебирает осколки зеркала – он хочет сделать из двух подходящих осколков и пластмассовой трубы перископ.

И мальчишки вдруг слышат: кто-то карабкается на кузницу, но не со стороны окна, а с противоположной, и стучат по крыше кузницы чьи-то уверенные шаги.

Через пролом в крыше к ним запрыгивает незнакомец. Это мелкий и худой, бритый наголо большеголовый мальчишка. Юрик и Витька от такого бесцеремонного и молниеносного вторжения опешили и даже не сразу бросились на врага.

А захватчик, прыгнув из яркого солнечного света в полутьму кузницы, не замечает их. Вдобавок он очень занят. В руках у него – толстая верёвка. Бритый мелкий пацан с

пахтеньем и ругательствами тащит на верёвке в кузницу тяжёлый груз – его ноша гремит и скребёт по крыше. Ругаясь матерно, парень с трудом затаскивает в кузницу через пролом в крыше чуть ли не половину мопеда: передняя вилка, колесо, руль и фара – всё это, связанное проволокой, рушится на пол, подняв тучу пыли.

– Тебе чего здесь надо, а?! – кричат Витька и Юрик хором.

– Щас мы тебе врежем! – говорит Юрик.

– Ага, по морде надаём! – добавляет Витёк.

Захватчик отпрыгивает к стене и сжимает кулаки. Он испугался резкого окрика, его круглая, коротко стриженная голова крутится, глаза шныряют. Но, как и положено настоящему захватчику, парень быстро соображает, что к чему. Он ведёт себя как взрослый: распрямляет спину, достаёт из кармана дырявых шорт сигареты и без всякой спешки закуривает, щурясь от дыма и глубоко затягиваясь, и не торопится им отвечать. Он полон достоинства, но хоть дерзкие его глаза и разглядывают Юрика и Витьку с усмешкой, в них видна хитрость – захватчик ищет путь к бегству, если хозяева станут драться.

– Это наш дом, – говорит Юрик.

– Это как посмотреть, – говорит захватчик.

– Мы его первые нашли, – говорит Витёк.

– Ты воткнул стёкла? – спрашивает Юрик.

– Не я, – врёт парень.

– Вали отсюда, – говорит Витёк.

– Ладно, ладно, пацаны, – говорит захватчик таким голосом, что становится ясно: уходить он отсюда не собирается.

Мальчишки твёрдо решают выгнать его и напаирают, и бритоголовый парень понимает, что его в покое не оставят. Вот уж Юрик хватает мопедную вилку с фарой, тащит её по полу и собирается вышвырнуть этот механизм в окно. Вот уже Витька бьёт парня кулаком в плечо, и быть бы драке, но захватчик вдруг говорит:

– Да ладно вам, пацаны! Я завтра ружьё принесу. Ружьё видали?

Произносит он это, показав пальцем на их оружие, что висит под потолком на гвоздях, – лук и арбалет.

Юрик и Витёк спрашивают, что за ружьё – игрушечное, что ли?

Парень отвечает, что самое настоящее, пороховое, стреляет пулями и дробью – далеко и насмерть.

Витька и Юрик переглядываются и соглашаются – на ружьё посмотреть страсть как хочется.

На следующий день в условленное время захватчик снова забирается в их твердыню через пролом в крыше – он как бы с презрением смотрит на их способ залазить в кузницу через окно.

Захватчик перепоясан широким потёртым ремнём с жёлтой солдатской бляхой. За ремнём у него торчит устрашающее грубое оружие. Оно напоминает средневековую аркебузу, выстрелом из которой можно запросто свалить с коня закованного в доспехи рыцаря.

– Поджиг! – так называет своё оружие захватчик, вывадив его из-за пояса.

– Братан мой, Димка, поджигу-то сделал.

Юрик перебирает в голове всех знакомых с таким именем и спрашивает с сомнением:

– Димка, который с Зелёной улицы?

– Да, он самый, – отвечает захватчик.

– Он брат твой? – удивляется Юрик.

– Да нет, не брат. Брательник, говорю. Брат у меня Толян. Недавно с тюрьмы вышел. Дома теперь мух бьёт целый день. Сейчас отдохнёт, говорит, и на работу пойдёт куда-нить.

Витька хмурится. Он удивлён, как у неказистого и хитрого мальчишки может быть в родстве столь выдающийся, благородный человек.

Захватчик достаёт из кармана мятую железную коробочку из-под леденцов – в ней хранится порох, затем три круглых пыжа, вырезанных из валенка, и круглую свинцовую пулю размером с горошину. Минут пять он заряжает поджигу, утаптывая порох гладкой деревянной палочкой. Зарядив наконец свою пистоль, он подносит спичку к фитилю, выставляет поджигу на вытянутой руке в окно и отворачивается, зажмурившись изо всех сил.

Тишина. Юрик и Витька замерли в предвкушении. Они ждут, их сердца бьются всё быстрее. Грозная пицаль мол-

чит. От фитиля тянется струйка дыма. Тонкая рука, сжимающая оружие, напряжена и дрожит. Вдруг поджиг хлопает, из ствола у неё вырывается пламя, и окно заволакивает сизым дымом. Пуля уходит в рогоз на болотце – даже слышно, как затрещали листья.

Поджига определённо страшней их оружия, хотя и не так скорострельна.

Юрик и Витька решают, что не стоит пока выгонять захватчика.

Единственное, что смущает Юрика, так это имя их нового друга. Когда захватчик представился, он поверг мальчишку в сомнения и нарушил равновесие мира: имя «Витька» мог носить только его друг Витька. В этом имени был он сам. Юрика просто поразило то, что на свете кто-то ещё способен быть Витьком. Настоящий же носитель этого имени был только слегка озадачен, не более. Но Юрик решил, что его друг просто скрывает своё изумление.

– Витян, – так сказал захватчик, протягивая им руку для мирного рукопожатия. – А зовут Шкет.

Хорошо, что он уточнил, – всего лишь одно это слово вмиг устранило мировой разлом.

* * *

Целую неделю стоит невиданная жара. Над селом кружат ястребы. Редкие машины поднимают вдоль дороги жёлтую пыль.

После купания в реке, в полдень, Юрик и Витька лежат в траве, подобравшись к дереву Керы почти вплотную, потому что им известно: в жару это существо часто впадает в тяжёлый сон. Когда Кера засыпает, он превращается в костяной кокон с мохнатыми лапами. Этими лапами он крепко держится за ветви, и ничто не может его разбудить. Так и есть – жёлтых глаз не видно среди листвы, но, даже от спящего, от Керы исходит угроза.

Мальчишки сосредоточены и вооружены. Оба глядят на дерево: Юрик – в бинокль без стёкол, Витька – в бинокль со стёклами.

Мальчишки слышат, как в их сторону по дороге кто-то бежит. Они оглядываются: это Витька-Шкет, их новый приятель.

Шкет подбегает к ним и падает рядом на землю. Он подражает им в движениях и тоже высматривает что-то из-под руки, с трудом сдерживая смех.

– Чего вы тут выглядываете? – говорит он и, перевернувшись на спину, закуривает.

– Тебе ещё рано знать, – отвечает Витёк и взглядом даёт Юрику понять, что рассказывать о Кере их новому другу ни в коем случае нельзя.

Они наблюдают за деревом, став ещё серьёзнее, и перебрасываются понятными только им словами. Шкет докуривает сигарету. Ему становится скучно, так как смысла в этой игре он не видит.

– Дай стрельнуть! – говорит Шкет.

Он хватает Витькин дальнобойный арбалет и подкакивает с земли. Он заряжает стрелу и прижимает приклад арбалета к плечу. Шкет медленно поводит оружием вправо-влево, выискивая цель. После вдруг задирает арбалет вверх, выдёргивает толстый гвоздь, служивший спусковым крючком, тетива щёлкает, и стрела улетает в небо.

Мальчишки следят за её полётом: Юрик – в бинокль со стёклами, Витька – в бинокль без стёкол. Стрела взмывает ввысь с гордым торжеством, преодолевая притяжение земли. Вот она стала не больше спички, вот она повернула остриём вниз и теперь падает по широкой дуге, и какой-то злой рок притягивает её к дереву, где спит Кера тяжёлым сном.

Юрик и Витька в ужасе замирают, а Шкет говорит Витьке:

– Брательник твой мне такой же самострел сварганит?

Тяжёлая стрела попадает в дерево, где спит Кера.

Вот что точно известно: стрела ранила Керу. Они видели, как жёлтой спиралью тот соскользнул с дерева, прижался к земле и затих в высокой траве, теряя жизнь. Только вот Шкет ничего не заметил, он крутит в руках арбалет, прилаживает к нему вторую стрелу и не подозревает даже

в тот миг, что его выстрел стал причиной череды трагических событий.

– Хорошая штука! – говорит Шкет, разглядывая арбалет и натягивая жёсткую тетиву. – Давайте, я вам на день поджигу погонять, а вы мне – самострел?

Юрик и Витька не отвечают.

Вечером, на закате, они забираются в кузницу и спорят о том, почему Шкет сумел подстрелить Керу, хотя они думали, что того нельзя убить даже из ружья. Всё дело в том, что он спал, – так решают они. А ещё Юрик добавляет: в «Книге заклиний и сражений» нет никаких ружей, только медные и бронзовые мечи, копыя и стрелы. Вот почему стрела с медным наконечником ранила Керу. Нужно проверить это, говорит Витька, и Юрик обещает, что сегодня он найдёт в книге всё, что сказано о Кере.

И вот, вернувшись домой, Юрик пробирается в чулан и достаёт книгу из шкафа. Он забирается по лестнице на чердак и устраивается у маленького окна. Он открывает книгу то здесь, то там, но не находит слов о Кере, словно пропало всякое упоминание о нём.

Когда солнце садится и на чердаке становится темно, он прячет книгу в ящик, где хранит разные диковины и полезные вещи: кусок вулканического стекла, свинцовые слитки, большие ракушки и два перочинных ножа.

Дома он погружается в беспокойный сон. И от прочитанного его мысли превращаются в стаю разъярённых зверей, и ему снятся белые крепостные стены и башни на залитом солнцем берегу моря. Крепость рассыпается на камни, и эти руины смывает морская волна. Взамен море выносит на берег чёрные корабли, и молчаливые воины без боевых кличей прыгают с кораблей на песок и, обречённые, идут к белым башням города, и вновь и люди, и город рассыпаются и становятся песком, и песок лижет пенная волна.

* * *

Вот что мальчишки знали наверняка: раненый Кера затаился в траве, сдерживая боль, а ночью поднялся на своих тонких лапах, похожих на ноги журавля, обхватил себя

цепкими лапами, чтоб не раскричаться от ярости и стыда, и канул во тьме.

Поэтому на следующий день их ждёт новый поход в окружающие земли: они решают выследить Керу.

Сначала Витька и Юрик издалека следят за деревом в бинокли. Юрик рассказывает Витьке, что всякое упоминание о Кере пропало из книги. Витёк хмурится и отвечает:

– Это неспроста.

Удостоверившись наконец, что засады нет, держа оружие наизготовку, они с осторожностью подбираются ближе. Витька держит арбалет у плеча. Его оружие оказалось убийственным для потустороннего существа, и Витька этим крайне горд. Юрик положил стрелу на тетиву своего кленового лука. Он думает, как бы изготовить такие же медные наконечники и для его стрел. Витька шипит и трещит – так он изображает, будто говорит по рации, и говорит он обо всём, что видит вокруг:

– Проехала машина по Красноармейской, хлебный фургон. Сорока пролетела. Уселась на дерево. Мужик вышел из дома. Поглядел, обратно ушёл.

И после каждой такой фразы Витька повторяет:

– Второй, как слышишь меня? Приём.

– Слышу тебя хорошо, приём, – отвечает Юрик и тоже щёлкает, переключая рацию.

Витька пытается залезть на дерево, чтоб поглядеть, не осталась ли стрела в стволе, но до ветвей не допрыгнуть, а ствол слишком толстый, чтоб забраться по нему. Они тщетно ищут стрелу в высокой траве – может, она упала на землю?

Недалеко от дерева есть развилка дороги: если свернуть направо, можно прийти к реке – этим путём мальчишки раньше ездили на велосипедах, чтоб смотреть на стройку моста. Другая дорога поворачивает налево. Она тянется позади дворов вдоль последней улицы, проходит мимо их кузницы и затем убегает в луга и поле.

Мальчишки решают, что Кера вряд ли пошёл бы в село, и выбирают ту дорогу, которая ведёт в луга.

Укатанная твёрдая дорога лежит в тених берёз и старых, исполинских, засыхающих тополей. Высматривая на

дороге следы, они проходят мимо тёмного пруда, где плавают гуси.

Гавкает во дворе собака. День жарок, и воздух дрожит над полем вдаль.

Когда они выходят в луга, то слышат пронзительный свист. Они оборачиваются и видят вдалеке: Шкет сидит на крыше их кузницы и машет им руками. Он свистит ещё раз и прыгает на землю.

Вскоре запыхавшийся Шкет подбегает к ним и спрашивает:

– Чего в кузню не пришли?

– У нас дело важнецкое, – отвечает Витёк.

– Ого! Меня возьмёте на своё дело, братва? – спрашивает Шкет.

– Пойдём, раз не боишься, – говорит Юрик.

Втроём они идут по лугам в сторону леса, разыскивая следы потустороннего зверя.

– Чего ищите-то, а? – спрашивает Шкет.

Юрик и Витька не отвечают ему. Они вполголоса говорят о том, что Кера наверняка утащил стрелу с собой. Он слишком умён, чтоб оставлять им опасное оружие просто так.

– Кто стрелу унёс? – удивляется и смеётся Шкет, услышав странное имя.

Они переглядываются и молчат.

Но Шкет не отстаёт и всю дорогу их спрашивает:

– Кого ищем, а? Кого?

Витька и Юрик, не в силах более хранить тайну, решаются рассказать Шкету историю о духе и звере, возникшем из мрака.

Выслушав их рассказ, Шкет сгибается от смеха, бьёт себя по коленям ладонями и оглушительно хохочет. Отсмеявшись, он шагает впереди – весело и нагло попирает земную твердь ногами, не обращая внимания на следы и намёки, оставленные Керой. Он говорит, что не бывает страшных молчаливых существ. Заодно он издевается над их биноклем без стёкол. Мальчишки поражены таким кощунством, но вера их непоколебима.

Дорога ведёт их сквозь ивовую рощу. В роще бежит прозрачный ручей. Здесь прохладно. Сыро. Солнце прорывается

сквозь листву и пятнает влажный берег ручья, и в сумраке рощи эти солнечные пятна режут глаза. По брёвнам мальчишки переходят широкий ручей, и с мокрых берегов ручья разом взлетают сотни голубянок.

Они выходят из сумрака рощи. Тропа идёт в гору. Поднявшись на пологий холм, они попадают в пшеничное поле.

Пшеничное поле – словно золотая заплата на теле земли. Оно раскинулось от ручья до самого леса. В тишине слышится сухой шелест колосьев. Вдали от лёгкого ветра волны пробегают по полю.

Мальчишки в сомнении останавливаются: им надо срезать путь и выйти к дороге, а уж с дороги попасть в лес, и для этого нужно как-то пробраться через громадное поле.

Три дня назад Юрик с дедом возвращался с сенокоса, и шагали они через это поле по тропе. Дед шёл впереди. Рыжий пёс носился вокруг, почуяв мышей, и пугал мелких птиц. Юрик на ходу подпрыгивал, чтоб увидеть, где же кончается пшеница, и видел пологие золотые раскаты без конца и края.

Поэтому Юрик знает путь. Он ведёт Витьку и Шкета по краю поля, пока не находит ту самую тропу: среди высоких стеблей она – словно дорога в позолоченном сухом лесу.

Они долго идут, и пшеница скрывает их с головой. Высоко в небе парят коршуны. Юрик спрашивает Шкета, можно ли подстрелить коршуна из поджиги. Витька-Шкет задирает голову, глядит из-под руки на птиц и отвечает:

– Легко! С первого раза подшибу.

Дед Юрика всегда удачно отвечал на вопросы внука, глубокие по смыслу, хотя и простоватые по форме. И сейчас Юрик сомневается в дальнбойности поджиги и решает, что спросит об этом у деда.

Наконец они добираются до леса и шагают по мягкой песчаной дороге. По левую руку растут старые сосны и высятся громадные хвойные муравейники. По правую руку лес густой и непролазый, здесь по обочине растут волчьи ягоды.

Дорога петляет, идёт под уклон вдоль глубокого оврага: оттуда тянет сыростью, прелыми листьями и грибами. После дорога выводит их к заброшенному песчаному карьёру. На дне карьера стоит мелкое озерцо, окружённое молодыми берёзами. Рядом старая ветхая изгородь окружает некошеную луговину.

Витька и Юрик крадутся, приседают над следами на песке и снова переговариваются только им понятными словами.

Шкет тоже хочет участвовать в игре. Он поднимает с земли суковатую дубину, ломает на ней ветки, заносит дубину над плечом и вопит, со смехом вызывая Керу на бой:

– Выходи, чертило лысый! Не прячься! Я тебе дубиной промеж глаз пропишу!

И тут на его зов из-под высокой старой ели вылетают два зайца. Они выпрыгивают на лесную дорогу, пугаются мальчишек и убегают прочь между изгородью и крутым обрывом в карьер. Зайцы громадными прыжками, перепрыгивая друг через друга, несутся под тёмный полог леса.

Миг замешательства – и Витька с Юриком с криками и хохотом выпускают вслед зайцам по стреле и бегут за ними. Зайцы поворачивают, мчатся по некошеному лугу и с хрустом и треском ветвей врываются в молодой частый березняк и скрываются в нём.

Становится тихо.

Шкет убегает в село, ничего друзьям не сказав.

Юрик с Витькой спускаются в карьер. Бродят по нему. С разбегу штурмуют его осыпающиеся оранжевые стены и придумывают, какую же игру здесь можно устроить.

Но не успевают Юрик с Витькой толком осмотреться, как хитрый Шкет уже возвращается со своим братом Димкой на мотоцикле.

Колёса у мотоцикла заносит на рыхлом жёлтом песке, и Димка крепко держит виляющий руль, отталкивается от земли ногами в коротких сапогах, но скорости не сбавляет. За спиной у него ружьё. Шкет подпрыгивает позади на сиденье и улыбается во весь рот. Увидев Юрика и Витьку, Димка кивает им.

– Двустволка-вертикалка, – говорит с завистью Витёк. Такое соединение смертельно интересных вещей: ружьё и быстрый двухколёсный механизм.

Треск мотора обрывается в чаще, и снова становится тихо в лесу. После зычно кричит Шкет, и брат ему отвечает басом – их голоса разносятся далеко.

Тянется томительное время. Витька и Юрик подобрали стрелы и сидят на краю карьера, гадая, добудет ли Димка зайца или нет.

Вдруг в чаще хлопают выстрелы, совсем далеко, и раздаётся радостный вопль, и вот – мотоцикл выпрыгивает из леса. Охотники проносятся мимо. Димка снова кивает парням на прощанье, а Витька-Шкет позади него, ухватившись одной рукой за ляжку на сиденье, другой рукой крепко держит, уложив перед собой поперёк через седло, здорового зайца.

* * *

После купания в холодной реке Юрик и Витька несутся на стрекочущих велосипедах в лес. В лесу мальчишки приезжают к песчаному карьере. Здесь они на целый день превращаются в исследователей далёких суровых планет. По песку ползают синие металлические жуки со вздутыми брюшками – ядовитые майки. И очень хорошо, что эти жуки-уродцы живут в карьере. Юрик и Витька ловят их, сажая в стеклянную банку и называют «неземной фауной».

Каждый день мальчишки ищут на песчаной дороге отпечатки семипалых лап с длинными когтями, но все их поиски напрасны: похоже, Кера исчез или хорошо спрятался. Вдобавок на землю рушатся летние шумные ливни, с неба льёт три дня без передышки, и все следы на дороге смывает.

Тем временем в кузнице Шкет собрал мопед почти целиком: не хватает лишь заднего колеса и самых мелких, но важнейших деталей. Витька и Юрик удивляются познаниям своего друга в области механики и многому на ходу учатся у него. Шкет утверждает, что его мопед, эта махина, собранная из рухляди, способна разогнаться до

70 километров в час, несмотря на то, что бак у неё ржавый, а труба – с дырой.

Однажды утром Юрик и Витька залазят в кузницу, а там Шкет сидит, как обычно, у своего мопеда, ковыряется в механизме гаечным ключом, а посередине кузницы на полу стоит пузатый медный самовар.

– Чай пить собрался? – хохочет Витька.

– Ага, чаёвничать, – ворчит Шкет. – Ты хоть чувствуешь, Витя, сколько стоит он?

– Нисколько не стоит, – отвечает Витька, – старый больно.

– Во дурак, – говорит Шкет. – Он триста тыщ стоит, понял? В нём меди пять кило.

– Врёшь ты! – удивляется Витька.

– Моё слово – железо, – отвечает Шкет.

И Юрику кажется, что Шкет научился этим словам от своего брата Димки.

– Пойдём прям сейчас, и увидите, остолопы, – говорит Шкет и с этими словами хватает самовар и с разбега кидает его из окна. Самовар сверкает и крутится в воздухе, падает на землю, подсакивает, глухо звякнув, и катится под гору.

Мальчишки выпрыгивают из кузницы один за другим.

– Только дворами пойдём за Красноармейской, не по дороге, – говорит Шкет, поднимая с земли самовар и отчего-то оглядываясь вокруг.

Юрик и Витька идут позади, а Шкет перед ними торопится, волочит самовар. То перед собой понесёт за ручки, то на плечо попышет взвалить, но самовар круглый и неудобный, и Шкет ругается и пыхтит.

– Помочь тебе, Шкетище? – спрашивает Юрик.

– Иди-ка ты, а? Моё добро, сам дотащу.

– Ты на голову поставь и носи. Так в Африке негритосы ходят, – хохочет Витька.

Шкет поднимает самовар, переворачивает его ножками кверху и почти надевает его себе на голову, но голова внутрь не пролазит, зато удобно нести, хоть Шкет и жалуется, что лоб режет. Юрик и Витька хохочут. Шкет тоже смеётся. Он держит самовар за ручки и шагает по тропинке,

оступаясь и пошатываясь от тяжёлой ноши. Самовар сияет на солнце.

Вскоре они выходят на улицу, которая тянется вдоль высокого берега реки. К воде вниз по склону убегают изгороди. Совсем далеко, на мостках у широкой заводи под высоким песчаным берегом, женщина в белом платке полощет в реке бельё.

Шкет приводит Юрика и Витьку к дому, выкрашенному красной краской.

В доме этом живёт мужик по имени Степан. Все вокруг были тогда бедны как церковные мыши, а Степан ничего, копил деньги. Он выстроил два гаража – один деревянный, другой крытый железными листами: в первом стояли два мотоцикла, во втором – уазик. Степан принимал цветной металл, перед домом его стояли тяжёлые и древние товарные весы. Пьяницы и хулиганье каждый день тащили к его дому разнообразную фантастическую рухлядь. Когда железного хлама набиралась целая гора, Степан открывал ворота ограды и выезжал оттуда на старом ЗИЛе со ржавой кабиной, в кузове которого громоздилась его несправедная добыча, и ехал с грохотом и скрежетом за сто километров, на ближайшую железнодорожную станцию, где и получал свой навар. Возвращался он со станции тоже гружёным, но с грузом более ценным. Уже не в кузове, а в кабине его машины позвякивали бутылки с крепчайшим, чистейшим лабораторным спиртом, и с вечера те же люди, что вчера тащили к Степану хлам, возвращали ему деньги за бутылку разведённого спирта. Все беднели, а Степан вроде бы даже богател. А всё потому, что другие продолжали жить, как раньше, а Степан понял, что на самом деле все вокруг бегут наперегонки с невидимым растреклятым мошенником, и мошенник этот по пути вытаскивает у всех из карманов деньги, ставит подножки и на поворотах сталкивает в канаву, и победить его и не изнемочь при этом в нечестной борьбе можно только таким же воровским путём.

Так вот, Шкет бросает самовар на весы, запрыгивает на лавку и стучит в окно.

Выходит из дому Степан. Он усат, высок. Его белая рубаха с закатанными рукавами расстёгнута на груди. У

Степана изрезанный морщинами высокий лоб мыслителя и светлые жестокие глаза.

Он кивает Шкету: говори, мол.

– Десять кило меди! – говорит Шкет и показывает на самовар.

– Ага, десять. От силы три, – отвечает мужик.

Шкет вертится вокруг, поправляет самовар на весах, хватается за ползунок, двигает гирьку, и мужик рявкает на него:

– Не трожь!

Уравновесив наконец эти допотопные весы, Степан хмурится, не торопясь достаёт из кармана деньги и отсчитывает мятые засаленные бумажки:

– Эйн, цвейн, дрейн.

И отдаёт деньги Шкету.

– Вот так, братва! – говорит Шкет Юрику и Витьке. – Сто тыщ как с куста!

* * *

Каждый день Юрик и Витька купаются в реке и смотрят, как строят новый мост. Старый снесли и для машин соорудили объезд: уложили краном вдоль реки две бетонные трубы и засыпали их землёй. Но работа после этого встала. Теперь из воды вразброд торчат деревянные сваи старого моста, мокрые и гнилые, и строители из бригады днями напролёт рыбачат с высокого обрыва реки, слоняются по селу и играют в карты, рассевшись на пустых деревянных ящиках около крана.

Раз стройка замерла, то делать там нечего, и Юрик с Витькой решают обустроить свой акрополь. Они подвешивают в кузнице два гамака. Мальчишки лежат в них жарким днём и пьют газировку едко-жёлтого цвета. Витёк раскачивается в гамаке, как на качелях, проверяя его на прочность, и предлагает заранее утеплить их жильё к зиме и притащить в кузницу буржуйку.

Затем они мастерят из длинной пластмассовой трубы, руля от велосипеда и двух осколков зеркала перископ. Это «пробный экземпляр», как неожиданно и очень важно выразился Витёк.

Витька просунул перископ через дыру в крыше. Он смотрит в него, говорит, что изображение сильно гуляет, и размышляет вслух, как бы этот прибор подвесить под крышей так, чтоб он крутился и всегда можно было в него заглянуть и узнать, что делается снаружи.

Юрик выбрался на крышу. Он то глядит в бинокль на коршунов, парящих над селом гигантскими кругами, то просто разглядывает окрестности.

Вскоре Юрик замечает вдалеке Шкета. Их приятель несётся к ним на велосипеде, то появляясь, то исчезая за кустами и деревьями, и велосипед его подпрыгивает, как норовистый конь. При этом Шкет рулит одной рукой, а в другой держит металлическую канистру, которая сверкает на солнце.

Шкет подъезжает к кузнице, спрыгивает с велосипеда, бегом спускается к болотцу и прячет велосипед и канистру в рогозе – бросает их на гать, что мальчишки соорудили в начале лета.

Выскочив из зарослей рогоза, с мокрыми по колено ногами, Шкет кричит Юрику:

– Прячься! – и вид у Шкета такой испуганный, он так тяжело дышит, что Юрик подпрыгивает, пробегает по крыше – доски скрипят и гнутся под его ногами – и ныряет в окно.

Шкет залазит в кузницу по стене и тоже запрыгивает на чердак через окно – сейчас так быстрее и сподручней.

Витька ругается. Он только что кое-как прикрутил перископ к бревну проволокой, как тот упал, потому что Юрик пробежал по крыше. Одно зеркальце у этого замечательного оптического прибора выскочило и провалилось в щель между досками.

Шкет умоляет Витьку:

– Тише, Витян! Тише! Если батя узнает... Если узнает, хана мне, паца. Бошку, на хрен оторвёт, – шепчет Шкет, задыхаясь, с трагической радостью в голосе.

А теперь о том, как Шкет добыл канистру и что в ней содержится.

В полдень этот храбрый и хитрый парень ехал по дороге на велосипеде и увидел издалика, что ворота в гараже

у Степана распахнуты и рядом с гаражом стоит Степанов ЗИЛ с поднятым капотом, словно тупорылое железное животное, распахнувшее пасть.

Шкет обожал механизмы. А ещё больше механизмов он любил болтать со взрослыми, и он решил заехать к Степану, чтоб поздороваться. Шкет свернул с единственной асфальтовой дороги села. Подъехав к гаражу, он спрыгнул с велосипеда и крикнул, подражая взрослым:

– Степан, здорово! Что, сдох твой зверюга?

Ответа Шкет не услышал.

Парень прошёлся вокруг ЗИЛа, забрался на колесо, заглянул под капот – переплетение стальных кишок, жар мотора и запах масла, – покрутил что-то в моторе, подёргал. Спрыгнул с колеса и вошёл в гараж со словами:

– День добрый, хозяин!

Степана в гараже не было. Тогда Шкет решил его дожидаться, но тут он заметил около двери канистру бензина и приятный запах этого вещества ударил ему в нос. И тут же Шкет представил, как мчится он на своём мопеде по улице и все вокруг удивляются. И мальчишки из кузницы, странные и чудные, нелепые мальчишки тоже завидуют, бегут следом и просят, чтоб он дал им на мопеде прокатиться, и Димка, брат его, говорит: «Ну ты дал, Шкет! Собрал-таки!»

Не в силах противиться этому видению, Шкет схватил канистру и выскочил из гаража. Держа тяжёлую канистру в одной руке, а другой крепко схватившись за руль, мальчишка с разбега разогнал велосипед, запрыгнул на него и унёсся прочь.

Мгновением позже Степан вышел из дома. Он услышал торопливый стрёкот и скрип велосипеда и насторожился, хотя не понял сначала отчего. Но когда он перешёл дорогу, икая после обеда, и вошёл в гараж, то увидел сразу: алюминиевая канистра с бензином, что стояла у дверей, пропала.

Степан обладал умом жестоким и хитрым, и совсем неспроста прирастало его хозяйство. Он всё понял.

Степан взял в гараже гладкую крепкую дубину – ручку от сломанной кувалды – и не торопясь пошёл

по улице в ту сторону, откуда слышал стрёкот велосипеда. Редкие прохожие попадались ему на выжженной солнцем белой дороге, и у всех встречных Степан спрашивал, не проезжал ли по улице парень на велосипеде.

А Шкет тем временем сообразил, что ехать по улице просто так, со сверкающей на солнце канистрой ворованного бензина, нельзя. Он резко свернул на еле заметную тропу, что вела в сторону реки, полетел под горку и помчался со скоростью ветра среди высокой травы и кустов в тени крутого берега. После он поднялся в гору, на берег, пешком, потому что не было сил крутить педали, снова запрыгнул на верный свой велосипед и нырнул в проулок меж двух последних дворов на той же улице – а там уже пустырь и вдалеке – спасительная кузница. Хоть Шкет и выбрал скрытный путь, кто угодно мог увидеть его и узнать. Но никто не заметил счастливого парня – добрые духи хранили мальчишку до поры.

Вот в доказательство все те, кто должны были увидеть, как Шкет несётся на велосипеде, и заметить, что в руке его – тяжёлая канистра, но пропустили его мимо.

Мужик по имени Фрол, что всегда после обеда выходил покурить в огород, поругать ленивых строителей моста, поворчать о том, что рыбаки – все как один бездельники (до пяти рыбаков он всегда мог насчитать на реке), сел на лавку, закурил, но уронил на себя горящую сигарету. И пока Фрол отряхивал, ругаясь, пепел со штанов, Шкет промчался мимо.

Молодой поп, что ходил в заброшенную лесную деревню беседовать на темы религиозные со старухой, последней жительницей того селения, увидел в лесу куст малины (в голове его возник и сам собою стал сочиняться «псалом на малиновый куст», но он отогнал грешные богохульные мысли, хотя и улыбнулся). Поп решил собрать малину и в итоге разминутся со Шкетом. Он прошёл той же дорогой минутой позже и встретил Степана – тот потряхивал от злости в руке дубиной – и на его расспросы признался, что никого не видел.

А вот ещё один: худой мужик по кличке Брага. Он жил на окраине села и часто нанимался к Степану калымить.

Срезая путь из-за алкогольного нетерпения, он всегда бегал в магазин той самой тропой, где промчался Шкет. И Брага уж точно должен был встретить мальчишку, но в тот день мужик этот вдруг запечалился, и представилась Браге его неустроенная жизнь стылой дорогой через жухлые поля под свинцовым небом, и сел Брага на крыльце, как был – с сумкой в руке, с деньгами в кулаке, и просидел с полчаса, пока не набрался сил душевных, чтоб идти в магазин. И когда встретил Степана на перекрёстке, ответил ему хрипло и печально, что никто не попадался ему по пути.

Только полуслепая бабка, что жила на перекрёстке, где Шкет свернул в сторону кузницы, в тот час копалась в огороде. Она слышала, как, задыхаясь, кто-то промчался мимо на велосипеде.

Фрол крикнул ей с дороги:

– Баб Настя, бох в помощь! Не слыхала, не проезжал кто на лисопете?

– А на кой тебе, Степан Михалыч? – спросила старуха.

– Бензину цельную канистру украли у меня.

– А, ясно дело, – ответила бабка. – Туда проскочил, – и махнула рукой в сторону кузницы.

Степан пошёл в ту сторону, куда указала старуха.

Вскоре мужик оказался на сухом пустыре, заросшем полыньёю, откуда мальчишки часто следили за Керой. Степан остановился, опёрся ладонями на дубину. Он вглядывался в открытую даль, словно полководец. Далеко слева и справа тянулись улицы под клёнами и тополями. Никто по ним не ехал, не мелькал вор меж деревьев и домов. Совсем далеко асфальтовая дорога вела в лес, плясал над ней горячий воздух, но никто не мчался по той дороге. А впереди на пологом холме высилась деревянная кузница. Степан разведал местность и пошёл прямо к ней.

Итак, вернёмся к настоящему мгновению, к мальчишкам.

Шкет видит сквозь щель между досками: широкими шагами в их сторону идёт обворованный мужик. Он усат. Рубаха у него на груди расстёгнута, на ногах у него сапоги и замасленные брюки. В его руке – толстая палка, и от злости он ей помахивает.

Степан подходит к твердыне-кузнице, где спрятались мальчишки, и шепчет задумчиво, будто сомневаясь в своих словах:

– Убью ведь гадёныша, когда поймаю. Удавлю.

Он входит в кузницу, матерится и топочет. Слышно, как он сшибает палкой крапиву, что буйно разрослась внизу, и бормочет проклятия. Пару раз он сильно стучит палкой в лаз, забитый досками, проверяя, нельзя ли через него забраться наверх.

Мальчишки замерли. Шкет ещё раз жестом призывает их молчать. Он ложится в гамак и суёт сигарету в рот, делая такой вид, будто всё происходящее к нему не относится, но не может удержаться и зажимает рот ладонью, чтоб не рассмеяться от радостного страха во весь голос, и роняет сигарету изо рта.

Мальчишки слышат: Степан вышел из кузницы. Теперь он пытается вскарабкаться по стене, чтоб заглянуть в окно. Вот, кажется, ему это почти удаётся. Вот уже и заскорузлая, грубая ладонь в царапинах, с чёрными каёмками под ногтями, схватилась за край окна, и сейчас в окне покажется усатая морда.

Юрик и Витька перестали дышать. Шкет бесшумно соскакивает с гамака и с низкого старта, словно бегун, весь собран, готовится сигануть через пролом в крыше, если Степан заберётся внутрь. Но мужик слишком тяжёл и неповоротлив, он срывается, валится в сухую траву перед воротами кузницы и ругается по матери.

Шкет корчит рожи – он пародирует мужика, зажав между носом и верхней губой сигарету, будто это усы. Юрик и Витька тоже беззвучно хохочут.

Озлобленный мужик грязно, но уже со скукой, будто и сам устал от ругани, матерится и уходит: он решил, что вор убежал дальше.

Витька выковыривает перочинным ножиком зеркальце из щели в полу, быстро чинит перископ, осторожно выставляет его в окно и следит за мужиком, и мальчишки втроём борются за место у перископа, чтоб проследить за отступающим врагом.

* * *

Юрик и Витька, конечно же, понимали, что Шкет любит стащить то, что плохо лежит. Но лихая добыча бензина повергает их в сомнения и противоречивые чувства.

Вдобавок в их жилище поочередно появляются: банка с новенькими болтами и гайками, набор гаечных ключей, плоскогубцы с красными пластмассовыми ручками и мотки разноцветных проводов – угол кузницы, где обосновался Шкет, всё больше напоминает настоящую мастерскую.

Затем их друг приносит в кузницу радиоприёмник – мальчишки в восторге. Они по очереди крутят ручку частот, и красная полоска ползёт под стеклом, на котором написаны названия городов со всего мира. И хоть станции из этих прекрасных далёких городов никак не ловятся, шум радиоволн слушать не менее приятно, даже лучше. И когда они превращаются в исследователей глубокого космоса, в переливах и всхлипах радиоволн они чувствуют рождение голоса, который пробьётся к ним и заговорит, – а это самое важное, когда океанские штормы режут на чужих планетах.

Когда Шкет приносит радиоприёмник, Юрик и Витька напрямую спрашивают его, зачем он ворует все эти замечательные плоды человеческого труда. Их друг отвечает им, словно опытный ритор. Его ясные и неожиданные доводы обладают убедительностью и остротой. Выслушав Шкета, Витька и Юрик понимают: этим занимательным и полезным предметам, которыми полнится их кузница, гораздо лучше живётся в его руках, чем в чужих, и люди, их потерявшие, нисколько не обеднеют, да и вообще – они б и сами с радостью отдали все эти чудесные вещи, если б услышали сейчас речь их приятеля.

Юрик и Витька видят своего друга насквозь, но не так, как любой взрослый, потому что взрослый только бы и сделал, что отлупил Шкета и застрашал. Они чувствуют, что Шкет любит опасность, любит испытывать судьбу. Как для охотника, для него самое большое наслаждение – хитрить, красться за добычей и волноваться до предела.

Увидеть мимоходом, что на подоконнике в открытом окне соседнего дома стоит приёмник, и услышать, как далеко из него разносится в тёплом неподвижном воздухе хрипая музыка. Поздним вечером подобраться к этому дому, прижаться к стене, схватить добычу и скрыться в темноте. А вот ещё: ночью слить бензин из бака грузовика, что стоит в лагере строителей, – целая спецоперация.

Юрик и Витька понимают без всяких слов: их друг стремится к сильным душевным волнениям, и это стремление первично в нём так же, как в людях взрослых первично желание петь песни, играть в карты, напиваться до полусмерти, сплетничать или копить деньги.

Но теперь Юрик и Витька опасаются за своего друга, потому что за такие дела людей постарше хватают и отправляют жить в тюрьму.

Изредка зимой по дороге проезжал железный фургон с маленьким зарешечённым окошком. Летом мальчишки никогда эту машину-клетку не видели. Витька и Юрик в тот час обычно шли по дороге из школы. Увидев тяжёлую машину, что мчится в клубах снега, они отступали на обочину. Когда машина проносилась мимо, в узком окошке фургона мальчишки видели мельком грубое худое лицо, приникшее к стеклу. Лицо горькое, злое и уставшее. И на мгновение пропадали их радость и покой, и они возвращались домой будто бы сквозь плотный туман – им становилось тоскливо по-взрослому, так, как никогда не бывало.

Железный холодный фургон, чёрный зимний лес вокруг, сугробы на обочинах, лязганье промёрзших железных засовов, и адский скрежет тяжёлых железных дверей, и резкий лай свирепой овчарки, и белый пар, что вырывается из её алой пасти, – всё это навевала ревущая машина, что несётся сквозь снег и метель и везёт далеко в дремучий лес заблудших людей.

* * *

Однажды утром со стороны реки разносится по всей округе призывный грохот: будто великан куёт себе оружие – бьёт молотом страшных размеров по куску железа.

Услышав этот грохот, Витька и Юрик выпрыгивают из кузницы и несутся на велосипедах к мосту.

На стройке орудует копёр. Он забивает в дно реки бетонные сваи.

Всю следующую неделю мальчишки купаются в реке и наблюдают за стройкой: там стоит грохот, гусеничные трактора ворочаются в песчаных вихрях и клубах пыли, кран с растопыренными железными лапами подымает в воздух плиты и сваи, и его стальные суставы от натуги гулко скрипят и потрескивают, рычаг грузовики и кричат загорелые работяги.

Юрика и Витьку пленяют могучие силы, подвластные людям. Взять хотя бы грохочущий копёр – как если б жалкие лилипуты заставили циклопа работать на них без передышки. Юрик и Витька размышляют о незримой мощи, что движет всю эту механику, и с тем же пылом, с каким они спорили о муравьях и арбалетах, мальчишки теперь обсуждают пределы сил, заложенных в механизмах, и способы эти пределы преодолеть, и разговор мальчишек хоть и фантастичен с технической точки зрения, зато полон поэзии и необузданной умственной игры.

Шкет, к их величайшему удивлению, не только неуловимый вор, но ещё и отличный знаток человеческой души и прекрасный дипломат. Всего за пару часов этот парень сумел расположить к себе работяг. Мужики дают ему деньги, и он бегаёт для них за сигаретами в магазин, а сдачу оставляет себе. Водитель сажает его в кабину грузовика, и Шкет, улыбаясь во весь рот, уезжает за щебнем, а после, довольный, сидит в кабине гусеничного трактора, пока водитель этой машины отдыхает. Каждый день Шкет здоровается с работягами за руку. Те посмеиваются и шутят над ним, но его эти насмешки не трогают – Шкет гордится своим новым положением и даже что-то советует мужикам по работе.

Под конец недели, вечером, в кузнице появляется ещё одна канистра с бензином, банка машинного масла и хромированный, блестящий, совсем новенький разводной ключ.

* * *

Кера – чертовски умён и хитёр.

Витька оказался прав: после того, как Шкет выстрелил наугад по дереву, раненый Кера, упав на землю, затаился. И пока мальчишки искали его следы в лесу, этот зверь нашёл себе логово и зализал свою рану. Он притаился совсем рядом и следил за ними.

Как мальчишки догадываются об этом? Всё просто: когда раненый Кера, истощённый озлобленный бес, бежал по тьме прочь от своего дерева, он наконец-то выдернул арбалетную стрелу из глубокой раны и бросил её на дороге. Зачем бросил? Почему не взял с собой? Возможно, он презирает оружие смертных. Но главное в том, что мальчишки эту стрелу нашли.

Жарким июльским вечером мальчишки летят по дороге на велосипедах, и вдруг Витька тормозит так, что заднее колесо его велосипеда с шипением подпрыгивает, поднимая хвост пыли, а сам он чуть не летит через руль. Витька бросает велосипед и приседает, чтоб разглядеть что-то в глубокой колее. Юрик мчится дальше, но, оглянувшись, он разворачивается и нехотя возвращается к другу.

– Зырь! – кричит Витька. Он встаёт, отступает на шаг и показывает пальцем в колею, и вид у него такой ошарашенный, будто он обнаружил мину и боится её трогать.

Юрик смотрит на дорогу и не верит глазам своим: в пыли, в глубокой колее, лежит арбалетная стрела с медным наконечником.

Им сразу всё становится ясно. Они долго молчат, но Витька наконец решается и поднимает стрелу, причём держит он её бережно, двумя пальцами, как важнейшую улику, – не каждый день найдёшь оружие, ранившее потустороннее, таинственное существо.

В кузнице они изучают улику. Они выхватывают стрелу друг у друга из рук и подолгу разглядывают и ощупывают. Витька даже нюхает стрелу, как собака.

Юрик приносит из дома тетрадь и канцелярские кнопки. Он тщательно, с рвением, рисует план местности со всеми подробностями. Закончив работу, Юрик прищипли-

вает план кнопками около окна и долго глядит на рисунок, гордый своей работой: вот высокое старое дерево, где сидел Кера, вот сухая белая дорога в колеях, где жирно нарисована арбалетная стрела, вот домики вдоль реки, вот Фрол с сигаретой на лавке, вот кран у недостроенного моста, а вон даже худой Брага в тельняшке, с авоськой в руке, идёт из магазина.

Юрик и Витька залазят на крышу кузницы и в бинокли (один без стёкол, другой со стёклами) разглядывают окрестности, гадая, где же Кера мог притаиться.

Тишина вокруг. Багровое солнце скрывается за лесом. И в наступающих тенях, в чердачных окнах, в тёмной роще у реки им чудятся таинственные глухие звуки, грозные движения как будто свёрнутых в кольца змей и пристальный взгляд беспощадных жёлтых глаз.

Юрик хочет увидеть Керу вживую, он жаждет испугаться. Но мальчишка хочет повернуть сюжет их встречи так, чтоб и он, и Кера разошлись без помех.

Его мысли об этом существе заполняет торжественная каменная печаль и обречённость, что сквозила в «Книге заклиний и сражений». И он вдруг понимает: Кера неспроста вершит свои дела. Мальчишка чувствует, что это существо совершает свои чёрные страшные деяния, о которых они с другом зареклись говорить, потому что не может их не совершать, – и в этом его громаднейшая тайна. Ведь никто не говорит, что он хочет быть Керой и желает вершить жуткие дела. Вдобавок никто не знает, как его зовут. Таким именем его называли люди, а как звучит настоящее имя его – неизвестно.

Юрик пытается передать это предчувствие, которое не может выразить в словах, своему другу, но тут снова называются различия в их разуме: Витька говорит, что такие чудачества к делу не пригодны, он говорит, что главное – разыскать тайное логово желтоглазого чудовища.

Когда Юрик приходит домой и ложится спать, в беспокойном сне он видит глухой мир серого пепла, костяных деревьев и низких грозных небес. И в этом сне каждый человек, что страшится мира, или человек, что низко пал и не хочет больше жить, видится Кере как жертва для убийства,

источающая резкий свет. И этот свет так режет жёлтые глаза чудовища и душит его сердце такой нестерпимой болью – такой яростный и жгучий свет, – что Кера не может удержаться и бросается на свою жертву.

И тоска и ужас вот в чём: неизвестно, что происходит с душой того человека после.

Ни рая, ни ада. Ни света, ни тьмы.

* * *

Ночью прошёл сильный дождь. Сверкает мокрая трава на лугах в пойме реки. Деревянные дома потемнели от сырости.

Этим утром Юрик и Витька являются на место сбора, на полынный пустырь перед кузницей, во всеоружии: Юрик – с луком и биноклем, а Витька – с арбалетом. Витька вдобавок пришёл не один: он притащил на привязи свою собаку. Эта псина – жуткая и глуповатая помесь двух, в свою очередь, тоже не совсем чистых пород. Главное достоинство этой дворняги – необыкновенная форма её тела. Собака имеет туловище бочкообразное, длинное, на коротких крепких лапах – представьте себе овчарку на кривых лапах таксы. У собаки крупная башка, хитрые глаза в чёрных очках и загнутый крючком хвост. Витька утверждает, что она способна взять любой след, потому что в её родословной числились стремительные гончие.

Для проверки мальчишки ведут собаку к дереву, где Керу ранило стрелой, и псина гавкает по пути, задирая морду, – наверняка она злится, потому что её посадили на верёвку. Когда они подходят к дереву, Витька даёт собаке понюхать стрелу. Ищейка кусает и нюхает улику, затем с фырканьем обнюхивает ствол дерева и бежит в сторону реки.

Юрик удивлён: эта неказистая собачонка, похоже, и вправду знает своё дело, потому что она тащит их на то самое место, где вчера они нашли стрелу. Здесь собака ещё сильнее натягивает поводок, и Витька с Юриком едва успевают за ней.

С дороги собака устремляется к реке, и они битый час петляют по лугам среди затонов, ивовых рощ и зарослей

осоки. Ищейка прёт напролом через осоку, жмурится и фыркает, потому что острая трава режет ей нос. Собака останавливается, чавкая, пьёт мутную воду из озерца и несётся дальше. Юрик, Витька и собака пробегают по заливному лугу, где пасутся козы и две лошади – чёрная и белая.

Вдруг собака останавливается на берегу реки. Её блуждания приводят Витьку в восторг. Он видит в этом признак её породы и сообразительности. Юрик снова сомневается и говорит, что собака ищет, как бы поскорее слинять отсюда, но она глупа безмерно и теперь заплутала.

На берегу реки собака от усталости валится на бок и только клацает зубами, чтоб отогнать кружащих вокруг паутов. Мальчишки тоже запыхались бегать по лугам без пути и дороги. Они спускаются к воде, чтоб обмыть раны – вдрызг изрезанные осокой ноги. Тут хитрая собака подскакивает и несётся прочь, волоча за собой поводок. Мальчишки бросаются за ней, и Витька прыгает и падает на живот, как волейболист, и успевает схватить поводок, и они снова бегут.

Быть может, псина хотела слинять, чтоб избавиться от непривычного поводка. А возможно, Витька всё же прав, и она просто отдохнула, чтоб сделать последний рывок к цели. Мальчишки бегут вдоль реки сквозь кусты безо всякой дороги.

Вдруг перед ними вырастает высокий глухой забор. Здесь собака останавливается, обнюхивает изгородь и метит её, будто это действие и было единственной и важнейшей целью стремительного бега.

Юрик подпрыгивает и подтягивается на заборе, с опаской заглядывая во двор: там широко и чисто, много сараев и деревянных пристроек, у бани труба дымит, на лугу позади дома торчат из травы деревянные домушки – пчелиные ульи. Витька вытаскивает из кармана компас, по которому он всегда умудряется найти не только стороны света, но и место, где они находятся, и говорит, что они сейчас на вест-вест-норд от моста и пробежали около десяти километров.

Витька, Юрик и собака выбирают на скошенный луг перед домом. Вокруг дома растут старые липы с растрескавшимися

стволами, клёны и старые, почерневшие у корней берёзы. Деревья отбрасывают густую тень и скрывают дом от любопытных глаз.

Мальчишки бродят перед домом и оглядываются вокруг.

Не успевают они толком отдышаться после трудного бега по бездорожью, как из ограды дома раздаётся басовитое рычание.

Под широкими деревянными воротами ограды показывается оскаленная собачья морда. Громадная белая лайка рычит и боком лезет под воротами. Собака того и гляди застрянет, ворота гремят и шатаются, и лайка забирает сухую землю лапами, чтоб протиснуться под ними, и поднимает тучу пыли.

Мальчишки пятятся и готовятся к обороне.

Лайка всё же пробирается под воротами и бросается на них. У неё широкая грудь и туго закрученный хвост. У неё на лбу меж глаз – косой шрам, на котором не растёт шерсть. Собака необыкновенно зла. Она лает мальчишкам прямо в лица – так она велика.

Неказистая Витькина ищейка, лишь увидев лайку, вырывает у хозяина из рук поводок и со сверхзвуковой скоростью, прижав уши, улепётывает прочь и скрывается в кустах у реки – видно только, как трава раскачивается там, где она несётся по лугам.

Храбрый Витёк пинает лайку. Но псина вцепляется ему в подошву ботинка и чуть не валит его наземь, мотая башкой. Юрик помогает другу высвободиться, и они бегством спасаются в свой акрополь.

Лайка кидается им в ноги, кружит вокруг и не отстаёт ни на шаг. Пушистая серебристая шкура встаёт у неё на шее дыбом, а лает собака так оглушительно и зубы скалит так злобно, что свирепости её хватило бы на целую семиглавую гидру.

Мальчишки кричат, обороняясь от лайки, отмахиваясь от неё луком и арбалетом и держась поближе друг к другу, и в конце концов они всё же добираются до своего убежища, но псина не отстаёт ни на шаг.

Витёк забирается первым и ныряет в окно на чердаке. Юрик швыряет в собаку обломком кирпича, но промахи-

вается. Он подпрыгивает повыше, опасаясь, как бы собака не стащила его за ногу на землю, и, царапая руки, лезет в кузницу. Тут в окне над ним показывается разъярённый Витька. Над его головой, в высоко поднятых руках – длинная ржавая железяка. Он швыряет железяку в злобную псину и попадает ей прямо по хребту. Собака визжит. Юрик оборачивается, повиснув на руках перед входом в кузницу. Вдвоём мальчишки наблюдают, как чудище улепётывает прочь от их твердыни. Юрик запрыгивает в кузницу и посылает по высокой дуге вслед собаке стрелу из лука. Псина, поджав хвост и оглядываясь, трусит в сторону реки – позор бегства смывает с их души, и Витька ругает лайку грязными словами.

Вскоре из травы показывается неказистая Витькина псинка с обрывком поводка на шее. Она подползает к кузнице на брюхе, часто-часто подметая землю хвостом. Она кается и стыдится. Достается от Витька ругани и ей.

Конечно же, всё один к одному: стрела на дороге и эта лайка – это же засада, устроенная Керой. Как он умён! Он обыграл их и натравил на них злоющую собаку.

Юрик даже предполагает, что природа Керы изменчива: он может превращаться в живые и неживые существа. Витёк впечатлён. Он по горячности своего разума подхватывает эту идею и развивает древо этой мысли, сам ужасаясь от придуманного и путаясь на ходу. Но после он сам себя обрывает. Признаётся, что не заметил признаков Керы в этой собаке.

Витёк сетует на то, что Юрик не взял свою книгу: он мог бы обратить лайку в чибиса или муху.

– Да, – отвечает Юрик, – мог бы.

И напоминает, что книга боится солнечного света, и добавляет, что она тяжела и требуются немалые усилия, чтоб открыть её. Она могла быть только обузой. В книге написано, выдумывает Юрик вдохновенно, что сегодня применять заклятия просто так, по желанию, невозможно. Вдобавок заклятия требуют сосредоточенности духа. А как же сосредоточить свой дух, когда за ноги тебя хватает лайка величиной с волка?

Витька соглашается.

* * *

Дом, к которому привела мальчишек ищейка, стоит в излучине реки на самом берегу. Каждую весну, в половодье, река подтапливала дом, и он отражался в воде вместе с голыми деревьями и облаками. Мимо дома проплывали льдины, и он походил на крепкий и высокий деревянный корабль-ковчег, ставший на якорь.

На следующий день Юрик и Витька думают, как бы им незаметно подобраться к этому дому, чтоб выслеживать Керу – хитрый дьявол наверняка прячется где-то рядом.

Мальчишки находят грот в высоком песчаном обрыве над рекой. Своды грота держат корни сосен, и он достаточно глубок и широк, чтоб сидеть там вдвоём или даже втроём. Отсюда они видят всё, что творится вокруг дома у реки.

День за днём они ходят на слежку, забыв и о стройке, и о мопеде Шкета. Пока один разглядывает дом в бинокль, другой рыбачит прямо из грота. В прозрачной воде видны серые спинки рыб. Иногда из тёмной глубины всплывают крупные голавли, и они стараются подсунуть им крючок с приманкой – мотылём или червяком – прямо под нос.

Разглядывая дом в бинокль, Витька говорит, что Кера неспроста выбрал себе такое убежище: во дворе видна большая пасека – не только бешеная лайка, но и пчёлы стерегут его.

– Значит, боится, – говорит Витька довольно.

Они решают, что Кера спрятался либо в большом старом сарае позади дома, либо на чердаке. Сарай подходит ему с тактической точки зрения, но с чердака он может запросто наблюдать за ними.

На пасеке изредка появляется старик. Он вершит над ульями неторопливое таинство. Больше всего Юрику нравится наблюдать именно за ним. Мириады мелких существ не жалят старика, а живут себе мирно в деревянных домиках прямо у него под боком. «Вот кто познал, что другие не видят», – чувствует Юрик, и, конечно, он не произносит ни в уме, ни вслух эти слова. И когда Витька, что сидит рядом с удочкой, спрашивает с опаской:

– Ну как? Видать его?

Юрик не смотрит ни на сарай, ни на чердак, а продолжает следить за стариком, вокруг которого вьются вихрем золотые пчёлы, и отвечает:

– Три глаза видал вроде у сарая. А может, показалось.

– Надо дальше следить. Он там заныкался. Боится, говорю, – отвечает Витька и тащит из реки крупную сорогу – рыбина сверкает и бьётся на крючке.

Вечером, изнывая от любопытства, Юрик спрашивает у деда, что это за люди живут в доме у реки. Дед долго думает. Он курит и чинит старый будильник. Шуруется от синего махорочного дыма, что лезет ему в глаза. Он роняет в механизм будильника болтик и просит внука достать его. Внук быстро вытаскивает деталь из хитросплетённых шестерёнок. Дед снова молчит и пыхает дымом, словно и забыл о вопросе.

Наконец говорит:

– Кержаки, бают. Староверы.

Юрик не понимает смысл этого слова – «староверы». Но теперь он знает главное: эти люди пришли издалека и выстроили у реки высокий дом. Появилась ещё одна тайна, и она манит его разум вдаль – за древние горы, по печальным дорогам, что тянутся через леса и поля.

Вечером Витька и Юрик держат в кузнице совет.

Поблёскивает новенькая труба мопеда. Шкет с пыхтением и руганью прикручивает к своему механическому детищу ещё одну деталь.

– Где шлялись? – спрашивает он.

– Керу следим, – отвечает Витька.

Шкет хохочет.

Однако же на следующий день, прихватив с собой длиннейшую удочку с катушкой, он идёт вместе с ними рыбачить с высокого берега.

Когда они устраиваются в гроте над рекой, Шкет не прекращает издеваться и смеяться над ними. К тому же он без перерыва вытаскивает сорогу, одна жирнее другой.

Вскоре Юрик и Витька замечают, что ужасная лайка сидит на цепи. Она спит на траве около крыльца, а ближе к полудню, когда солнце припекает, забирается в конуру.

Тогда мальчишки решаются подойти ближе. Они говорят Шкету:

– С нами пойдёшь?

– Легко! – отвечает Шкет.

Витька и Юрик оставляют удочки у грота и вооружаются луком и арбалетом. Мальчишки идут к дому по тропе в лугах, мимо двух лошадей, после по затопленному мостку через лягушачью заводь и затем через ивовую рощу. Витька и Юрик шагают с опаской, словно солдаты по вражеской земле. Шкет же наоборот – топают надменно и то и дело сплёвывает на землю. Он говорит:

– Я б вашего Керу поймал и побрил налысо!

И хохочет.

– Надо бы тебе знать, что волосьев нету у него, – ворчит Витька.

Мальчишки пробираются вдоль забора и подходят к дому.

Тишина. Окна дома темны. Где-то во дворе брякает ведро. Увидев мальчишек, белая громадная лайка выстреливает из конуры. Но цепь натягивается, клацает и не пускает её дальше. Навострив уши, собака прижимается к земле, будто перед прыжком, глядит на мальчишек волчьими глазами и рычит.

– Дом как дом, – говорит Шкет. – А собака тупая.

И он дразнит лайку – угрожает ей удилицем, словно копьём, – и та рычит ещё сильнее и прижимает уши.

Но вот скрипят ступени, лязгает щеколда, и дверь дома открывается. Шкет тут же отстаёт от собаки и принимает самый невинный вид.

Тот самый старик, пасечник, выходит из дома на крыльцо. Он опирается ладонью на деревянные, отполированные тысячью прикосновений перила и, заслонив глаза от солнца ладонью, из-под руки глядит на мальчишек, и кажется мальчишкам, будто капитан деревянного корабля смотрит на них с мостика издалека – так суров с виду и крепок этот дед, такая у него широкая борода (а ведь бород теперь никто не носит) и с такой непоколебимостью он возвышается над ними на крыльце дома своего.

– Погодите, парнишки, – говорит капитан голосом, который совсем не подходит старику, – голос у него звучный и просторный, будто зов трубы.

Старик уходит и скоро появляется снова. Он выносит мальчишкам ягоды в литровой эмалированной кружке – землянику вперемешку с черникой.

Витька и Юрик принимают подарок с опаской – мало ли что задумал дед-старовер. Шкет же первый хватает из кружки целую горсть ягод.

Старик садится на лавку под окнами и отряхивает ладонями опилки со штанов. Юрик разглядывает его со вниманием, разыскивая в этом человеке, на его лице и руках, во всём облике, следы дальних странствий. Он замечает только, что руки у старика с жёлтыми ногтями – точь-в-точь как у его деда. И в остальном они схожи – кроме бороды, конечно. Дед бороду бреет, а у этого она седая, с чёрной, будто покрашенной прядью на подбородке.

– Как улов, ребятки? – говорит старик звучным голосом, взглянув на удочку у Шкета в руках.

– Голавля вчера вытащили, – отвечает Витька и уже без опаски уплетает ягоды.

Старик с одобрением кивает и показывает рыбные места поблизости от дома, говоря о реке, как о своей собственности, и о повадках рыбы – будто о привычках недалёких, но деловитых людей.

Когда старик замолкает, в его молчании чувствуется гордая покорность судьбе. И мальчишки замечают, что старик уже и не смотрит на них, а глядит вдаль за реку.

Они как люди разных религий и стран: старик – последний жрец древнего племени, а мальчишки – первопроходцы и конкистадоры.

Шкет с опаской, боком подбирается к лайке, чтоб погладить её. Лайка рычит. Старик бросает на собаку взгляд, и она обрывает рык и даёт погладить себя по голове и даже для виду крутит хвостом – но только потому, что так хозяин приказал.

Мальчишки съедают ягоды и отдают кружку старику. Они прощаются, и хозяин дома кивает им в ответ.

* * *

Целый день по небу бродят мохнатые серые тучи. Они таранят друг друга, и тогда на землю сыплется редкий дождь.

Мальчишки скучают в такую погоду. К тому же они знают: в пасмурные дни Кера без конца пересчитывает, сколько он успел погубить, и предаётся тоскливым воспоминаниям, поэтому выслеживать его толку нет.

Юрик и Витька идут в кузницу. Они проходят мимо болотца с рогозом, который шуршит под дождём, и поднимаются на пологий холм. Когда мальчишки подходят к кузнице, из её чердачного окна вылетает сушёная щу́чья голова и после прямо на них сыплется сухая рыба чешуя.

Они забираются в кузницу и видят: Шкет сидит около окна и разделяет складным ножом вяленого шурёнка. Под потолком их жилища растянута верёвка, и на ней висит сушёная рыба: сорога, уклейка, караси и пара налимов.

Шкет говорит:

– Нету никакого Керы, поняли? А вот рыбы у деда до фи́га. Всю не смог утащить. Ещё гнездо осиное в сарае у него. Я по нему палкой вдарил и убежал!

– Дурак ты, Шкет. Кера на чердаке сидит, – говорит Юрик.

– Я и на чердак залезу! – говорит Шкет.

– На спор? – кричит Витёк и подаёт Шкету руку.

– Давай! – отвечает Шкет.

Витька и Шкет крепко жмут руки, глядя друг другу в глаза, а Юрик с силой разрубает их спор – теперь всё по-настоящему.

Шкет доедает шурёнка и говорит, что теперь мопед готов к испытаниям.

Они привязывают к мопеду верёвку. И втроём, уцепившись за эту верёвку, мальчишки кое-как переваливают машину, словно через борт, в окно, и спускают её на землю, при этом Шкет сердится и кричит:

– Тише, тише, пацаны! На раз-два, на раз-два!

Машина, брякнув, благополучно и мягко приземляется.

Все трое выпрыгивают из кузницы, и Юрик с Витькой жадно наблюдают, как Шкет пытается завести мопед. Они советуют, суетятся и бегают вокруг, но всё напрасно.

Под дождём, по грязной тропе, Шкет уводит своё механическое уродливое детище домой. Он кричит Юрику и Витьке издали, что сегодня ночью он заберётся на чердак в доме у реки и принесёт им хвост Керы. Мальчишки кричат в ответ, что надо бы знать: у Керы нет хвоста – хвост мешает ему охотиться на несчастных людей.

Остаток дня они проводят в своей твердыне.

Крыша протекает. Вода каплет на деревянный пол. Мальчишки спорят, хватит ли сил и смелости у Шкета забраться на чердак.

Витька испытывает у пролома в крыше перископ. Говорит, что видно хорошо, только обязательно надо перископ закрепить, иначе изображение сильно гуляет.

Затем Витька включает радио и ложится в гамак.

Радио шумит, потрескивает и подвывает. Мальчишки уплетают сушёную рыбу, которую наворовал Шкет, и запивают её водой из бутылки: вода дождевая, бутылку они заранее поставили под дырой в крыше.

Радио потрескивает, воеет и шипит, то тише, то громче, как вдруг – о, чудо! – это шипение нарастает, словно набегает океанская волна, и выносит к ним мелодию, и остаётся только музыка, – словно сместились невидимые массы планет, гор и наэлектризованных облаков, и песня наконец к ним пробилась. От удивления мальчишки хохочут, а после замолкают и слушают музыку. А музыка вот какая: хриплоголосый басовитый певец – судя по выговору, негр – жалуется под блюзовую гитару на свою судьбу.

Мальчишки рассуждают, почему радио вдруг заработало. Витька говорит, что всё из-за дождя и перемены погоды. Юрик спорит с ним и утверждает, что радиосигнал блуждал слишком долго – летал, летал вокруг Земли, а теперь вот, прилетел.

Ну, кто-то из них хотя бы отчасти, да прав.

Юрик срывает с верёвки ещё одну плотвичку, а Витька – тот уплетает рыбу без остановки: уже целая гора чешуи и костей высится на полу под его гамаком.

Юрик слушает певца и его необычную музыку, и ему представляется тёмный зал с низкой сценой – он видел такой в кино. И на сцене играют музыканты в чёрных костюмах. Зрители курят и пьют. В воздухе висит сигаретный дым. И женщина с обнажёнными руками сидит за столиком в середине зала и тоже курит. И её рука с сигаретой покачивается под музыку, и белая кисть её руки – словно голова диковинного животного с длинной шеей над чёрной гладью воды. И кольца на пальцах поблёскивают, словно глаза. В лакированном контрабасе на сцене, если присмотреться, отражается весь этот зал и смазанные лица людей. И тут Юрик думает: как помещается зал в контрабасе? А после – как всё это помещается в его голове? И зал, и какой-то контрабас, виденный в кино. И эта кузница. И книга. И даже Витька со Шкетом.

Он не может этого никак понять, и вскоре желание найти ответ истончается и пропадает в шорохе дождя и хриплой музыке. И он забывает об этой сложной загадке, но это даже к лучшему. Потому что, сам того не зная, мальчишка не просто задал себе вопрос – он наткнулся на стену непреодолимой бытийной данности. Именно изумление перед этим страшным и прекрасным пределом рождало бессмысленный вопрос, – точно так же искра вылетает, если ударить железом по камню.

* * *

Вечером дождь прекращается.

В густых синих сумерках Витька и Юрик идут вместе со Шкетом ставить донки на налимов. После дождя в лугах пахнет сыростью, берёзовыми листьями, прибрежным песком и речной водой.

Когда донки поставлены и уже совсем темнеет, Шкет говорит:

– Бывайте, босота. Я погнал. Всё по уговору.

Для пущей лихости Шкет заранее препоясался ремнём и за ремень воткнул свою ужасающую средневековую пистоль.

– Порох отсырел. Не выстрелит, – говорит Юрик, показывая пальцем на оружие Шкета.

– Ещё как выстрелит, – отвечает Шкет. – Как зенитка бахнет!

– Воздух мокрый, не зажётся фитиль, – сомневается Витька.

– Ага, не зажётся. Так вдарит, только пух от вашего чёрта полетит!

Сказав это, Шкет уходит в синюю ночь.

Юрик и Витька забираются в грот на берегу и долго там сидят. Река поблёскивает в лунном свете и журчит. Далеко в лугах кричит коростель.

И вдруг далеко в темноте, у излучины реки, хлопает выстрел и полыхает оранжевая вспышка. И после прилетает издали Шкетов смех.

Он подал им знак. Не смог удержаться.

– А если заметят его? – спрашивает Юрик.

– Он хитрый, как дикобраз, – отвечает Витька и добавляет с завистью: – Сработала поджига-то.

Сидя в гроте, мальчишки кидают камешки в реку и болтают о самом разном, но только не о Шкете и Кере, потому что боятся теперь и за того и за другого.

Проходит целый час, прежде чем Шкет возвращается.

Вот он, по пояс скрытый высокой травой, показался близ выгона, где днём пасутся лошади. Он бежит, и в ночной тиши слышно, как он тяжело дышит. Вот он прыгнул с обрыва к реке и выругался, оступившись в воду. Вот пробегает по толстой доске, переброшенной через самое узкое место реки, – доска поскрипывает, раскачивается и плюхает по воде.

Витька и Юрик выбирают из грота. Шкет идёт к ним навстречу по тропе и хохочет. Так же, как охотник держит за ноги подстреленного зайца, когда хвастается добычей, в руке перед собой он держит хвост. Длинный переплетённый хвост жирно блестит в лунном свете. Он усеян мелкими шипами.

– А вы говорите – нету! Вот же он! – смеётся Шкет.

И когда Витька и Юрик подходят к другу вплотную, то видят, что в руке у того новенькая велосипедная цепь, смазанная машинным маслом.

– На стене висела в ограде. Пригодится, – говорит Шкет.

Он не может устоять на месте: крутится, подпрыгивает, выхватывает поджигу из-за пояса и хохочет.

– Нету никого, дурики, – продолжает он и хвастается: – И ни фи́га там не страшно.

Все вместе они идут домой, а герой вылазки рассказывает:

– На цепи псина-то была. Как заорёт сначала! Я колбасы кусок ей кинул – на, хавай! Заранее припас, ага. Она и заткнулась. Во как. Брат научил. Не, не Димка, а Толян. Он недавно пришёл с тюрьмы. Он говорит, все собаки так делают – за колбасу душу готовы продать. Ага, ну ладно. Хожу вокруг дома, а двери-то все закрыты. А в ограде сбoku окошко. Туда кот не пролезет, а я пролез. Сперва на чердак. Нету там ни хрена. Я потом в сени залез. А там дверь в дом. Занавеской от мух загорожена, открыта. Я постоял послушал. Слышу, дед чего-то шепчет, непонятно ни фи́га. Только слышно: «Сусе, сусе». И вздыхает, как корова. И ревьёт, что ли. Носом швыркает. Не понял я.

Юрика душит объятиями железная печаль из-за того, что Шкет рассказал про старика. Как будто не должен был мальчишка слышать, как старый человек бормочет в темноте молитвенные слова. Как будто Шкет залез в дом только для того, чтоб показать правду и скорбь, о которой они ещё знать не могут и которую им понимать рано.

Юрик смотрит на Витьку: его друг тоже грустит, а может, просто спать хочет.

В темноте мальчишки идут домой. Далеко-далеко гавкает собака. Кружат мелкие мотыльки у единственного фонаря на улице. Витька спрашивает Шкета, и тот повторяет историю уже в пятый раз. И когда все подробности наконец выяснены, Юрик и Витька шагают молча, только Шкет от радости напевает себе под нос.

На перекрёстке они расстаются, и Шкет бросает им напоследок:

– Ну, паца, где этот ваш Бармалей? Нету его. Нету совсем!

* * *

На следующее утро дует сильный тёплый ветер и небо проясняется.

Юрик и Витька бегут к реке, чтоб собрать донки.

Сверкает мокрый луг под восходящим солнцем. В мокрой высокой траве мальчишки пробираются вдоль берега и выбирают из тихой прозрачной воды толстую леску.

Попался только один мелкий налим. Они долго делят улов, но после решают, что налим достанется Юрику, а точнее, его коту, потому что неделей раньше они тоже поймали лишь одного налима и Витька его унёс домой и скормил своей кошке.

После мальчишки бегут к своей кузнице.

В колеях дороги, что ведёт мимо пустыря, стоит прозрачная вода. На краю оврага, рядом с кузницей, под сильным ветром шумит и поскрипывает старая липа.

Их сегодняшнее дело – обследовать болотце. Они мостят ещё несколько метров гати, прорываются вглубь зарослей рогоза и посредине болотца находят остров, с которого с чавканьем и шлёпаньем в воду прыгает целая сотня лягушек.

Вдруг издалека слышится крик и ругань. Кричит мужчина. Сильный ветер искажает звук: рёв то затихает, то возникает снова.

Мальчишки выбирают из болотца и забираются в кузницу. Сверху они осматриваются: кто же кричал? Витёк вооружается перископом. Юрик вылезает на крышу и садится на конёк. Его бьёт в лицо резкий ветер. Он чувствует сильный запах мокрой травы с лугов и видит, как тополя вдалеке над домами медленно раскачиваются, с упрямой силой сопротивляясь ветру.

Крик слышится то ближе, то дальше – звук сносит ветром. Витька снова подражает виденному в фильме: издаёт шипящие звуки – изображает рацию, – крутит перископ и гнусавым голосом требует от Юрика отчёта, называя его «второй» и повторяя: «Как с той стороны? Приём».

Вскоре вдалеке они замечают мужика. Он кричит диким голосом и прёт напролом, без всякой дороги, в их сторону.

Затем они видят Шкета. Он тоже шагает к ним, перепрыгивая через лужи. Сначала они решают, что история повторяется: за Шкетом гонится обворованный гражданин.

Но вдруг, перестав изображать рацию, Витька говорит:

– Это батя его.

Да, это он. И Шкет даже не бежит, а просто идёт быстрым шагом, изредка оглядываясь. Потому что отец не в силах догнать его: пока Шкет делает три шага по прямой, тот делает десять зигзагом, нисколько к нему не приближаясь. Поэтому погоня выглядит жалко и постыдно.

Шкет без всякой спешки залазит в кузницу и прячется в свой угол. Усевшись на пол и склонив голову, он всхлипывает и ругается шёпотом.

– В канаве спрятал. Не найдёт. Никто не найдёт, – шепчет Шкет со злостью, и мальчишки понимают, что говорит он о своём мопеде и что пьяная ярость его отца связана с тем, что их друг воровал.

Отец несчастного парня тем временем подобрался под стены твердыни. Он приказывает Шкету выходить и вопит дурным голосом, в котором слышится вой и плач:

– Убью! Убью! Вылезай, гнида!

Взрослые угрожают Шкету смертельной расправой уже не в первый раз, и Юрик с Витькой угадывают в этом полное отсутствие чувства меры с их стороны.

Юрик и Витька с опаской выглядывают из окна. Мальчишки понимают, что обижают таким интересом своего друга, поэтому выглядывают они наружу крайне осторожно.

Они видят: мужик сидит на траве у входа в кузницу. Он потерял по дороге один ботинок: босая нога измазана грязью. Он поднимает голову и матерится – мальчишки тут же прячутся внутрь. Мужик пытается подняться, но снова валится наземь, раскидав руки и ноги. Мальчишки снова выглядывают и видят, что человек этот силён, но сейчас, словно куклой, им кто-то управляет, дёргая за верёвки, и швыряет его на землю, так что он теперь словно глупый жук, который не умеет подняться со спины.

И теперь эти суровые мальчишки жалеют своего приятеля. Они делают вид, будто ничего особенного не происходит. Шкет всё так же сидит в углу, склонив голову, и с яростью строгаёт перочинным ножом палочку. Витька и Юрик решают выбраться через лаз в крыше.

Витька спрашивает Шкета:

– Айда с нами?

Шкет крутит головой.

Витька скрывается в проломе, пробирается по крыше, и вот – слышно, как он спрыгнул на землю и теперь шёпотом зовёт Юрика.

Прежде чем выбраться, Юрик шепчет:

– Донки твои, Шкет, вона – у окна висят на гвозде.

Шкет поднимает голову:

– Поймали чего?

– А, мелочь. Один всего. Коту отдал, – отвечает Юрик.

Шкет кивает и всхлипывает. Потоптавшись у пролома в крыше, не найдя, что ещё сказать, Юрик вылезает вслед за Витькой, спускается по скату крыши и спрыгивает на землю. Они обходят кузницу кругом, чтоб отец Шкета их не заметил, и идут по тропе в село.

Они то начинают разговор, то замолкают. Потому что у обоих сердце душит стыд и отчаяние. Оба чувствуют одно и то же: увидеть своего отца в таком позоре, да ещё прилюдно, – то же самое, что для верующего увидеть своего бога униженным и свергнутым. Это зрелище – будто мраморная статуя с отбитыми руками и лицом, разбитым молотом.

* * *

Конечно же, Кера понял, что неугомонные мальчишки его настигли, и предчувствовал, что они не оставят его в покое.

Несколько дней тому назад он видел, как ночью маленький ловкий человек, тот самый, что ранил его из арбалета, забрался в сарай и своровал оттуда сушёную рыбу. Вчерашней ночью Кера следил за ним же: мальчишка, вооружённый пистолем, прокрался на чердак и после у открытой двери в дом подслушивал, как молится дед.

Тогда Кера совершает ответный ход – непредвиденный и коварный.

Именно поэтому ранним утром Витька несётся к Юрику на велосипеде. И даже в торопливом стрёкоте и лязге, с каким его велосипед подпрыгивает на кочках, слышится

леденящая душу весть. Витька пробегает вокруг дома и, подпрыгивая, барабанит кулаком во все окна. Когда Юрик выбегает к нему, Витька кричит:

– Кузню ломают!

Юрик запрыгивает на багажник Витькиного велосипеда, потому что у его машины проколота шина, и они несутся по тропе за село, мимо пустыря, к своей кузнице.

Когда они взлетают на холм, то видят: та же бригада, что выстроила мост, теперь собирается разрушить их жилище. КраЗ с длинной мордой, с пятнами рыжей ржавчины на капоте, похожий на доисторического хищника, подобрался к их кузнице вплотную и стоит, накренившись, под липой на краю оврага. Один борт его кузова открыт. Там, где грузовик проехал, трава смята, и теперь она медленно подымается. С угрюмой, крепкой угрозой лежат на траве у колёс машины приготовленные топор, бензопила и кувалда. Тот самый усатый мужик, Степан, у которого Шкет своровал бензин, суетится, шныряет вокруг кузницы, словно эта земля – его владения, и мальчишки понимают, что именно он нанял рабочих. Степан указывает работягам, что взять и что оставить и на сколько кусков пилить брёвна. Работяги слушают его, докуривают, сплёвывают на землю, а их замечания: «Доски с крыши берешь?» или «Брёвна гнилы» – звучат кощунством.

Один из них с топором в руке прямо из кузова перебирается на крышу кузницы и лезет на конёк.

– Снутри надо вышибать, чучело! – кричат ему.

А тот, весёлый, с белыми волосами, которые резко выделяются над загорелым дочерна лбом, усевшись на конёк, поддевает лезвием топора доску и с хрустом её выламывает.

Из кузницы доносится глухой металлический удар – другой работяга разбивает печь. С третьего удара печь поддаётся, и слышно, как тяжело, сухо осыпаются на землю кирпичи. Работяга матерится – кирпичом ему попало по ноге.

И пока не сорвали первую доску с крыши и не швырнули её в кузов, пока не обрушилась под ударами молота печь, мальчишки не верили, что простые люди эти способ-

ны хоть как-то повредить их крепости, даже несмотря на то что они выстроили через реку мост.

Кузница была для Юрика и Витьки частью нерушимого, вечного мира, как лес вдаль, как ручей в ивовой роще и ослепительные летние облака. Она могла разрушиться сама, могла оставить после себя руины, но лет так за сто и точно уж не на их глазах, да ещё и по воле какого-то мерзкого усача с соседней улицы. Кто ещё, как не Кера, может внушить человеку такую кощунственную мысль: разрушить их акрополь и растащить его на брёвна?

– Все раздолбают, – шепчет Витёк.

У Юрика появляется верная мысль, и, когда он произносит её вслух, он как будто прыгает с высокого обрыва в ледяную воду.

– Книга, книга нужна, – говорит он.

– Точно, точно! – соглашается Витька.

Они запрыгивают на велосипед и мчатся обратно. Юрик понимает, что сказал про книгу, чтоб не смотреть, как разбивают их кузницу, а Витёк понял его замысел или просто подхватил игру – но это уже и не важно.

Они заходят в дом, и Юрик всячески тянет время: в ограде останавливается и гладит собаку. Затем вдруг встаёт у шкафа в чулане, как будто вспоминая, где оставил книгу.

– Здесь её нету, – говорит он, делая вид, будто забыл, куда положил её в последний раз.

Витька торопит его.

Они залазят по скрипучей ветхой лестнице на чердак. Здесь полутьма, глаза ещё не привыкли к ней с яркого солнца. Они идут на свет чердачного окна, держась за пыльные деревянные столбы.

Юрик показывает на ласточкино гнездо под крышей и рассказывает, как пытался кормить птенцов. Но Витька насторожен, он говорит только о спасении кузницы.

Тогда, пригибаясь, Юрик залазит в свой схрон – это узкая полка под скатом крыши, где он прячет деревянный ящик. Он вытаскивает ящик и выкладывает перед чердачным окном его содержимое: блестящие камешки, кусок магматического стекла, солдатиков, свинцовый слиток, два перочинных ножа и шарики из подшипника.

На дне ящика лежит книга. Он берёт её в руки и пролистывает несколько страниц. Горькое понимание того, что нужно сказать, приходит сразу. Печаль без печали, взрослое видение мира заполняет его. В нём поднимается то же самое мироощущение, которое он испытывал зимним утром, когда внезапно просыпался раньше всех, когда воздух в доме был холоден, потому что ещё не затопили печь. Тогда он понимал, что за деревянными стенами дома раскинулся снежный океан с редкими-редкими огнями деревень, что океан этот неизмеримо могуч, и сейчас он всё сильнее и сильнее сжимает деревянный дом своими ледяными ладонями, и в доме становится всё холоднее.

– Это книга?! – спрашивает его друг.

Юрик понял, что даже в шутку нельзя надеяться на книгу, что сейчас наступила самая важная часть игры – настоящая, разоблачающая, навсегда и навсегда.

Юрик отвечает:

– Её здесь больше нет.

– Так значит, ты ничего не умеешь, – произносит Витька со злостью и смеётся.

Юрик пожимает плечами, не зная, что ответить. Ему жаль, что книга пропала. Но, будучи от природы холоден и тактичен, он не отвечает грубостью на грубость.

– Значит, ты врал, – высказывает друг свой беспощадный приговор и, по-настоящему расстроенный, убегает и слазит с чердака по лестнице. И его слова «значит, ты врал» звучат так: «всё устроено неверно и несправедливо».

По-другому Юрик ответить не мог. Книга пропала – это и есть правда. И ему тоже очень жаль, почти до слёз.

Юрик слышит, как Витька убегает из дома. Каждый шаг по этому дому обладает своим звуком, своей окраской, и Юрик может легко определить, где бежит его друг. Эти звуки похожи на голос деревянного дома – дом провожает уходящего и то ругается, то бормочет напутствия. Вот Витёк пробегает в чулане – пронзительно скрипят доски. Скатывается с лестницы с грохотом. Затем лязгает тяжёлая железная щеколда на двери. Вот уже слышны мягкие шаги по траве, после бренчит звонок на руле велосипеда, и вот – Витька с дребезгом улетает на своей машине прочь.

* * *

Притихли голоса, что говорили ему о родстве живого с неживым: камней и жуков, скворцов и засохших тополей, ящериц и солнечных лучей – отчего бы иначе ящерицы так усердно грелись, рассевшись тут и там на груде сухих брёвен около яблони?

Осень пришла на порог. Воздух похолодел. Дед по вечерам жёг картофельную ботву и мусор в громадных кострах. Синий дым тянулся к небу. И пока горели костры, они с дедом собирали яблоки.

Сначала они собирали падалицу.

Яблоки лежали в высокой траве. Юрику нравился крепкий глуховатый стук и похрустывание, с которым яблоки падали в ведро или ссыпались в большую гору в подполье.

Мальчишка тащил полную корзину холодных крепких яблок через весь двор. И дед приказывал ему:

– Работай споро!

А после, увидев его усердие, жалел и говорит с той же самой строгостью:

– Помногу не таскай! Спину надорвёшь.

Но Юрик так же отважно тащил полную корзину.

В просторном подполье горела пыльная жёлтая лампа. Паутина висела по углам. На полках вдоль стен поблёскивали банки с соленьями и вареньем. Здесь мальчишка складывал яблоки в громадную гору, что росла и росла с каждым днём и вскоре грозила заполнить подполье целиком.

Однажды в один из таких вечеров, под старой засыхающей яблоней среди густой травы Юрик нашёл гладкий бурый камень величиной с лошадиную голову. Он спросил у деда, откуда здесь этот булыжник. Дед ответил, что это надгробный камень. Он похоронил тут свою белую собаку по кличке Пушок, с которой он раньше ходил на охоту и которая умерла от чумки десять лет назад.

И тут же немислимым образом Юрик решил, что пёс умерший – тот же самый, что и пёс настоящий. Появившись вновь, из вежливости, ума и врождённого чувства меры он изменил цвет шерсти и вместо белого стал

рыжим – наверняка ещё и для того, чтоб не так бросаться в глаза и никого не смущать. Но и в прошлом обличье ему наверняка присущи были те же свойства: ловля мышей на покосе, спанье целыми днями на солнце, ленивый лай на прохожих и вороватая пёсья натура.

Горели костры. И синий дым от них густыми столбами поднимался к небу. Эти сигнальные огни вскоре привлекли Витьку. С очень занятым и деловым видом несколько вечеров подряд он как бы невзначай проезжал на велосипеде вдоль изгороди, с удочкой, привязанной к раме, и пакетом карасей на руле.

– Чевои-то дружище твой смурый больно, – сказал дед Юрику и крикнул Витьке: – Как батя, Виктор Сергеич?

– Нормалёк, – ответил Витька. – Вчера масло меняли у КамАЗа.

И тут же, не дожидаясь приглашения, он перелез через забор и подошёл к яблоням – именно это и ценил Юрик в своём друге больше всего.

Без всяких приглашений Витька стал им помогать, и дед спросил:

– Подшипник батя мне нашёл?

– Пока нет.

И вот Витёк уже рассуждает с дедом на равных о двигателях и механических чудесах. Дед насмешлив, а Витька так серьёзен.

* * *

Следующим утром Юрик и Витька пришли на место разрушенной кузницы: теперь это место печали, теперь руины на холме – их история.

Светило солнце. Вдалеке у леса стелилась синяя дымка. Казалось, будто прозрачный воздух, трава и деревья и даже бледно-голубое небо застыли в предчувствии крушения – замерли над обрывом, за которым начнётся дождливая серая осень.

Мальчишки бродили по руинам.

Сгниют разбросанные чёрные брёвна, зарастёт травой куча битых кирпичей, только чёрный железный молот бу-

дет ещё долго возвышаться над землёй, похожий на памятник без надписей и посвящений.

Юрик посмотрел на могучую старую липу на краю оврага. Он измерил взглядом её высоту и предложил совсем уже было поникшему Витьке построить жилище на этом дереве. Он указал на две толстые ветки, на которые можно положить пол, и на другие, не менее удобные. Он говорил всё с большим жаром. Он расписывал устройство их будущего дома и даже крепкую верёвочную лестницу, которую можно поднимать в случае опасности, и флюгер с изображением их герба – алой квадриги в белом поле.

– Квадри... чего в поле? – засмеялся Витёк.

– Колесница, запряжённая четвёркой коней, – серьёзно объяснил Юрик. О ней он узнал из книги.

– Ничего себе. Только нарисовать трудно, – ответил Витёк.

Они разбежались по домам, условившись вскоре встретиться у дерева.

Витька вернулся, размахивая пилой. В его карманах бренчали гвозди.

Юрик принёс молоток и топорик.

После полудня они положили настил из досок на две толстые ветви. Они забрались на дерево, уселись на этом основании их будущего дома и принялись по очереди осматривать окрестности в бинокль.

– Ты видишь его? Он прячется. Наделал делов и прячется теперь в каком-то дупле, – сказал Витёк о Кере.

– Не вижу, – ответил Юрик.

И теперь он его действительно не видел. Но он подумал, что нужно хорошо закончить эту игру. И вот что он ответил Витьке:

– Он ушёл навсегда. Здесь ему делать нечего.

Он ещё хотел добавить, что Кера ушёл, потому что не нашёл здесь для себя жертв. Ушёл, закрыв за собой ворота на тяжёлый замок, а ключ от замка проглотил. Ушёл в свою страну, где деревья из кости, а земля – из пепла. Он хотел сказать об этом другу, но почувствовал, что лучше промолчать. Кто знает, быть может, если об этом существе говорить чересчур много, оно вернётся?

Где-то вдалеке вдруг раздался весёлый механический треск и жужжание как бы громадного бешеного жука. Звук приближался. Они прислушались.

Тут они увидели, как их приятель Шкет медленно, как на осле, въехал на холм на своём мопеде. Локоть у Шкета был перевязан бинтом, а на лбу у него красовался большой кусок пластыря.

Шкет не заметил Юрика и Витьку среди ветвей. Он спрыгнул с мопеда и принялся ругаться последними словами, бегая меж руин. Он копался в развалинах и не переставал поносить последними словами людей, что разрушили их крепость, – ведь он забыл здесь свои инструменты и ценнейший радиоприёмник.

Витёк решил пугнуть Шкета. Сдерживая смех, он достал из кармана бронебойную рогатку, зарядил её шариком из подшипника, прицелился и выстрелил – металлический шарик просвистел и щёлкнул по груди обожжённых кирпичей рядом со Шкетом. Тот подпрыгнул, закрутился и заорал:

– Это кто тут борзый такой?

Витька и Юрик захохотали.

– Вы чего, а? – Шкет тоже рассмеялся, заметив их накопец на дереве.

Он подбежал к липе, взобрался на неё и уселся рядом.

– Видали Карпаты? – сказал он с гордостью, указав на свой мопед.

– Куда лбом вписался? – спросили Витька и Юрик хором.

– Вчера в канаву улетел на повороте, – ответил Шкет с достоинством.

И он рассказал все подробности своего несчастливой полёта.

Хотя Шкет лишь наполовину добыл мопед законным путём, Юрик и Витька не могли удержаться, чтоб не покатаются на этом чуде механической науки. Мальчишки слезли с дерева, за пару часов сожгли весь бензин в мопеде и стали раздумывать, где раздобыть новый.

* * *

Вечером Юрик вместе с дедом собирал самые поздние яблоки. Яблоки осыпались с деревьев. Они лежали, холод-

ные, в поникшей траве. Но ветви яблонь до сих пор гнулись под тяжестью плодов и даже ломались.

Юрик таскал яблоки в подполье. После они вместе с дедом заворачивали их в старые газеты, каждое отдельно, и укладывали в деревянные ящики. Сейчас эти яблоки были нестерпимо кислы, но их съедят зимой. Они пролежат в подполье до января, и к началу следующего года станут сладкими.

Темнело. Холодало. Юрик всё собирал и таскал яблоки. Недалеко от сада, на выгоне, где летом паслись козы, дед развёл большой костёр. Рыжий пёс бегал вокруг костра. Он мышковал: рыл землю лапами и фыркал. Юрик, в очередной раз проходя к яблоням, подозвал собаку. Пёс бросился к нему, мальчишка погладил его, пёс лизнул ему ладонь и снова понёсся искать мышей.

За изгородью в сумерках звякнул велосипедный звонок – это примчался Витька. Перепрыгнув через изгородь, он крикнул:

– Картоху печь будем?

– А то! – ответил Юрик.

Витёк помог Юрику собрать ещё одну корзину, и они говорили о новом доме на дереве, о том, что нужно успеть обосноваться в нём до зимы и устроить там зимний штаб – зимой они будут пробираться к нему на лыжах.

Вдвоём они потащили корзину к дому.

Дед сидел в подполье на старом деревянном стуле, под пыльной лампой, и заворачивал яблоки в газеты. Мальчишки набрали картошки и пошли обратно, к догорающему костру.

На востоке зажигались звёзды. Юрик вспомнил изорванный звёздный атлас, который лежал у него дома, – и ощутил вдруг громадные пространства меж звёзд, попытался охватить их разумом, и, конечно, ему это не удалось. Он спросил Витьку, на каком бензине летают ракеты. И пока мальчишки шли на огонь костра, они рассуждали о том, сколько и какого именно топлива нужно залить в ракету, чтоб долететь отсюда, ну, предположим, хотя бы до Юпитера.

И в краткое время, пока они шли в синих сумерках на пламя костра и воздух, казалось, с каждым шагом холодел

всё сильнее, пока они шли через заросший сад, где пахло смородиной, а после мимо яблонь, Юрик почувствовал вдруг беззаботное всесилие – и вслед за этим из глубины его разума взметнулось постижение, говорящее ему: всё вокруг им принадлежит и всё им служит.

И это оказалось правдой. Потому что за зиму яблоки из кислых становятся сладкими, а из земли, из недр планеты, деревья пьют воду и, как говорил дед, «минеральные вещества». И потому что планета несёт их на себе в бездушном космосе, среди страшных, непроходимых ледяных пространств, пронзаемых метеорами и пылающими кометами. И потому что их дело – дело одиноких обитателей холодного космоса: сбор яблок, возделывание земли, строительство домов и мостов – им дано неспроста.

Олег РЯБОВ

КИКИМОРА В ГОСТЯХ

Как-то раз пришлось Ивану Савельевичу заночевать в лесу. В общем-то, обычное дело для охотника, ничего особенного: добираться до точки иной раз долго приходится, да и момент зорьки не пропустить важно, когда сам уже на месте. Часто даже приходится планировать такую лесную ночевку. Вот на глухариные тока у нас всегда приходится с ночевкой выбираться. А тут – глупость какая-то приключилась, и рассказал он мне про неё почти по секрету.

Сам он, Иван Савельевич, по рождению человек деревенский, родился он здесь, у нас, на Ветлуге. Да вот судьба армейская, офицерская сделала его «не поймёшь кем»: чуть ли не двадцать с лишним лет мотался по гарнизонам, а теперь – жену похоронил, двоих сыновей своих в военные училища пристроил, тоже офицерами будут. Только дом свой родной в родной деревне не сохранил, сгорел он у него. Как так сгорел? Да вот так – сгорел, как и тысячи наших деревенских деревянных домов по Руси каждый год горят, просто так горят. И ездит он теперь в свою деревню в гости к своему приятелю старинному, другу детства и даже какому-то дальнему родственнику по сватовству, Кольке Дыркину, тот тоже теперь холостой - овдовел.

В прошлом году слой белого гриба у них по району прошел, но как-то странно: на левом берегу нашей реки Ветлуги, в старых вековых дубравах, где по осени медведи на дубах сидят и желуди обтрясают, грибов – хоть косой

коси. А тут, на этом берегу, где деревня стоит, – нет. Вот и попросил он Кольку, друга своего, перебросить его на тот берег, а где-нибудь часика через четыре назад забрать. Тот перевёз его на своей лодке, сверили они часы и договорились, когда Колька за ним приедет, потому что телефонной мобильной связи там, в лесу, нет или очень уж она плохая.

Вот тут и случился с Иваном Савельевичем этот казус: заплутал он, заблудился значит. Бродил-бродил, грибов довольно набрал, а вышел на берег не напротив своей деревни, а почти на десять километров выше по течению, да ещё и припозднился, к вечеру уже, какое-то озеро большущее попалось, от старицы, видимо осталось – пришлось обходить его. Ветлуга в том месте была широкая, плёс метров сто, а может, и шире – вброд не перейдёшь, а не поплывёшь же в одежде да ещё с корзиной в руках. По берегу до деревни идти и потом кричать, чтобы перевезли – часа три протопашешь по берегу: коряги да топляки на каждом шагу.

Уселся Иван Савельевич на песочек прибрежный передохнуть и смотрит: невдалеке стоит невзрачная старенькая и небольшая засидка, шалашик такой из осоки, прутьев лесных и камыша, с весны ещё уцелела. Возможно, какой-то охотник здесь весной в половодье с ружьишком и подсадной уткой сидел.

Ноги тоскуют, голова гудит. Забрался Иван Савельевич в этот шалашик недолго думая: уж очень уютным ему этот домик лесной внутри показался. Ночь тёплая выдалась, звездная, светлая, хоть и без луны. Звёзды яркие, здоровенные, как фонари, будто спустились с небес. Смотрел он на них, смотрел сквозь прутья шалашика да и задремал.

Проснулся оттого, что кто-то ходил рядом с его ночной сторожкой, осторожно ходил и тихонько по-старушечьи кряхтел: «О-хо-хо-хо-хой!» Понимает Иван Савельевич, что тот, кто похаживает рядом с шалашиком и кряхтит по-стариковски, знает про него, что он тут: ноги-то в сапогах торчат из шалашика, а вылезать из укрытия своего он боится.

Побродил-побродил незнакомец вокруг, покряхтел-покряхтел да и отправился восвояси. А дело к рассвету уже. Вылез Иван Савельевич из ночлежки негаданной, осмо-

трелся – корзина с грибами на месте. А вот на песке натоптано, да не просто натоптано, а следы очень непонятные: как куриные, только размером побольше. И не просто побольше, а такие, что ладонью-то и не закрыть. Крупные следы, в общем!

Прикинул про себя Иван Савельевич, какого размера эта курица должна быть, и почему-то припомнилась ему картинка из старой детской книжки про динозавров: большая, стало быть, пичуга вокруг его ночлега ночью бродила. И тут же мелькнула мысль, от которой нехорошо стало: а не в её ли, этой пичуги, гнезде он ночевал-то сегодня?

Ополоснул себе лицо из речки Иван Савельевич да руки в воде потёр, а тут и помощь приплыла на лодке-казанке: рыбачки знакомые на моторке возвращались с рыбалки ночной домой, в деревню. Помахал им рукой Иван Савельевич, те остановились, захватили с собой.

Колька Дыркин злой сидел у себя в саду под вишнями: был у него в саду, под вишнями, специальный небольшой столик со скамеечкой для отдыха мужского.

– Всю ночь не спал: с вечера эти сволочи комары зудели-звенели, потом эта сволочь болотная приползла, а под утро мухи злые кусать начали, как осенние.

Колька Дыркин вроде бы даже не удивился прибытию Ивана Савельевича, как будто так и должно было быть: чего особенного – человек заблудился в лесу, под ёлкой заночевал, бывает! Только вдруг он вытаскивает из-под стола бутылку, настоящую бутылку, ту самую настоящую «четверть», и ставит её на стол. Пусть и не полная она была, но даже полбутылки самогонки, синей самогонки, с утра – не похоже на аккуратного и трезвого Кольку Дыркина.

– Ты чего это, Николай? – спросил у товарища Иван Савельевич. – Что за праздник у тебя? Да и вино-то у тебя какое-то красивое, голубое. Ты где раздобыл такое? Или сам на цветочках васильковых настаивал?

– Праздника, Ваня, у меня нет, – отвечал Николай, – а вот у тебя – будет!

– А какой же у меня праздник-то, Коля? Да подожди ты бутылку-то открывать – давай грибов, что ли, пожарим

с картошкой, с луком, а потом и посидим, если такое дело случилось и бутылка на столе оказалась.

– Ну, иди жарь свои грибы. Лук-репку там, под столом на кухне, найдёшь. А лучше давай меня сначала послушай, а потом уже решишь, что тебе делать сразу, а что – потом, – и Николай снова в руки берёт бутылку со стола и снова начинает её открывать.

– Да стой ты с бутылкой своей. Я же не могу вот так, натошак, без закуски, пить это ваше местное вино. Как вы тут умудряетесь из красной обычной свеклы эту вот замечательную голубую жидкость изготавливать? Она же розовой должна быть.

– Ничего, ничего – и синенькой выпьешь стопочку, а рукавом занюхаешь. Сейчас я огурчиков малосольных выставлю: соседка Соня выделила из своих запасов банку. Тебе надо выпить, Ваня! А как мы её делаем, синенькую, я тебе потом расскажу.

Николай вытащил из ящика, что стоял у него под столом, банку с огурцами, две стограммовых гранёных стопки и наполнил их. Протянул он стопку Ивану Савельевичу со словами:

– Давай выпивай, а потом будешь мне рассказывать, где ты ночевал сегодня. Кого ты со своей мягкой лежанки согнал?

Иван Савельевич даже поперхнулся, не успев проглотить полностью свою дозу. И слёзы у него потекли. А Николай напротив – очень медленно и со вкусом выпил.

– А тебе кто говорил, где я ночевал?

– Эх, Ваня, Ваня, дурак ты, дурак – не знал ты, в чей домишко залез ночевать сегодня.

– И в чей же домишко я залез? – поинтересовался Иван Савельевич, вдруг раздухарившись и согрившись после первой рюмки самогонки и вспоминая дырявый, полуразвалившийся шалаш.

– А это был шалаш Кикиморы болотной. Слышал про такую?

– Ты чего – с ума, что ли, сошел? Какой такой кикиморы?

– Болотной Кикиморы! Слышал про такую, я спрашиваю?

– Ну, в детстве бабушка что-то рассказывала, наверное – я не помню уже. Так это же в сказках русских всё было давным-давно прописано.

– Бабушка, Ваня, у нас с тобой была, если и не одна и та же, то точно, что очень одинаковые, а может быть, и родственницы. А вот к тому, что в сказках пишется, надо относиться очень и очень внимательно. С самого с ранья, ещё не рассвело, припорочила она, в окошко стучит. Глянул я и узнал её. Рассказала она мне всё про ночёвку твою, бутылку в руки сунула и говорит, что будет ждать тебя. Иди в избу – она на диване твоём спит.

Иван Савельевич смотрел на своего Колю Дыркина как на сумасшедшего или на дурака, но тот налил в стопки своей голубой самогонки, они, не чокаясь, снова выпили, и пошел он в дом, как Коля и велел.

На его диване, точнее на том диване, который Коля выделял всегда Ивану Савельевичу на время пребывания в гостях в качестве спального места, покрытая легким покрывалом, спала молодая интересная женщина лет тридцати. Длинные русые волосы её с отливом в золото разметались, пушистые ресницы подрагивали, а сама она чуть заметно улыбалась во сне. Иван Савельевич тоже заулыбался, оценив прекрасную шутку Николая, и он уже разворачивался, чтобы пойти и выпить с ним очередную стопку, но взгляд его задержался...

Из-под покрывала торчали ноги незнакомки. Это были не женские завлекающие аккуратненькие ножки, не человеческие ноги – это были куриные лапы, с когтями и с чешуйками, только огромной величины. Иван Савельевич посмотрел зачем-то на свою растопыренную ладонь и покачал головой, пытаясь что-то стряхнуть, весь он покрылся мурашками, и волосы на голове топорщиться начали – он это прямо почувствовал.

Слышал он, конечно, про галлюциногенные грибы, которые некоторые наркоманы используют для кайфа; якобы растут такие в наших лесах, но ни разу он этих грибов не видел и даже не представлял, какие они из себя. Да и не ел он вчера никаких грибов.

На болотах бывает, что выделяется какой-то дурманящий газ, от которого тоже галлюцинации могут

образоваться в воображении, но до болота он тоже вчера не добрался.

Только вот эта дурацкая голубая самогонка могла что-то с его мозгами сотворить. Сколько раз он уже слышал, что старухи в самогон всякую дрянь добавляют, чтобы дурил клиент быстрее.

– Это что означает? – спросил Иван Савельевич у Николая, подходя к столу.

– Ничего. Вот – спит, тебя ждёт, – отвечал Николай, наливая стопки.

– Послушай, а вот эту бутылку самогонки тебе эта дамочка вручила, что сейчас у тебя там отдыхает?

– Да, она мне её подарила. А отдыхает она не у меня, а у тебя.

– В смысле?

– А в том смысле, что пришла она в гости к тебе, хотя бутылку, как ты выражаешься, вручила мне.

– Так у неё же ноги...

– Ваня, это – кикимора!

– А не могла она в самогонку какого-нибудь дерьма нам насыпать, чтобы мы быстрее одурели? Я слышал, что некоторые старухи настаивают свою самогонку на голубином говне, и тогда с такого пойла человек дуреет сразу на несколько дней.

– Нет, Ваня, этой дамочке, как ты её зовёшь, незачем голубиные кашки в самогон подмешивать. Она и без кашек любого из нас в кашку превратит – я знаю это.

– Так ты её знаешь?

– Знаю, Ваня!

– И откуда она?

– Из лесу, Ваня!

– В смысле?

– Это наша Кикимора болотная, Ваня! Ты что, так и не понял? Она к тебе пришла. И она от тебя не отстанет, пока не получит своё.

– А чего ей от меня надо?

– Она редко на людей выходит, эта Кикимора наша: раз в несколько лет. Если она напугать кого-то хочет или отвадить от места какого-то, то она старухой страшной при-

творяется и пугает: и волосы лохмами, и одета в рваньё, и нос крючком, и говорит скрипучим голосом, как Баба-Яга. Если наказать она кого-то хочет, то деревом прикинется, или пеньком, или кочкой болотной, а вот когда по-женски ей что-то надо, то является красавицей, женщиной такой в соку.

– Понял я. Наливай! Так а чего же ей от меня надо?

– Ну а чего всем женщинам от мужиков надо?

– Денег.

– Нет! Тут бери выше – ей тебя надо. Так что давай – выпивай и иди в избу! Да не бойся ты – баба как баба.

– А у тебя что – такое было уже?

– Было. Еще Зинка моя жива была. Знаешь, как она плакалась-убивалась, жалела меня. А ничего – ничего у меня не убавилось. Так что иди к судьбинушке своей. У тебя два варианта: либо ты выпиваешь и идешь мигом в объятья к Кикиморе, либо выпиваешь и уезжаешь отсюда навсегда. Потому что если ты сейчас к ней не зайдёшь, а потом вернёшься сюда к нам, то она тебя уже либо в болоте утопит, либо в лесу до смерти заплутает, – язык у Николая стал заплетаться.

Он выпил ещё стопку, уронил голову на стол и сразу захрапел.

Иван Савельевич тоже выпил стопку, взял корзину с грибами и отправился было восвояси. Да, что-то засомневался вдруг. Торкнул он дверь в избу, зашел: и диван его у стены стоял, как всегда стоял, и чистенько всё, и даже намёка никакого не было на даму ту, что привиделась ему тут с полчаса назад. Только на столе стояла банка литровая стеклянная, а в ней четыре желтых кувшинки болотных торчали: тоже явление непонятное. Да только махнул рукой Иван Савельевич на всю эту историю и отправился на станцию.

БУХ ДУБОВЫЙ

Объяснить этимологическое происхождение некоторых русских междометий невозможно. Вот наши мамы, и сердитые, и добрые, и нежные, часто говорят своим чадам, пытаюсь их напугать или предостеречь: ах, бах, трах, ух и, наконец, бух! Так вот «ах» – это удивление, «бах» – это взрыв, «трах» – это выстрел, «ух» – восторг, а что такое «бух» – понять не могу. Хотя глагол «бухнуть», что значит выпить, мне очень хорошо знаком, но вряд ли он имеет отношение к этому злосчастному междометию. А вот в глаголе «бухнуть», который обозначает возможность упасть и ушибиться, по смыслу, в котором употребляют пресловутый «бух» наши заботливые и внимательные мамы, что-то очень даже родственное есть. Хотя наши мужчины бухают, может быть, именно для того, чтобы упасть и заснуть.

Рассуждениями на эту тему, если не слово в слово, то очень близко по смыслу, я делился со своим товарищем Сашей, сидя под пышными красавицами молодыми трёхметровыми сосёнками на мелкой колючей траве. Мы ходили с ним за рыжиками, нашли их целую поляну, нарезали по полной корзине и отдыхали перед дорогой домой. В наших краях рыжики вылезают раз в пять-шесть лет поздней осенью, и ухватить их слой – большое счастье, потому что по местным понятиям, которые и я признаю, рыжик – гриб номер один наших лесов. Белый гриб-боровик всё же располагается ступенькой ниже, да и бывает он почти каждый год, просто места надо хорошо знать. А подберёзовики и маслята в берёзовых гривах и сосня-

ках стоят чуть ли не круглый год, и местные за промысел серьёзный их не считают: ну растут и растут они себе, и пусть растут.

И вдруг Саша мой, когда я уже весь свой монолог выдал и замолчал, как-то встрепнулся, привстал и говорит:

– А вот у нас в деревне никаких проблем с этим твоим бухом нет, не было и быть не может.

– Это как это? – спрашиваю я.

– А так это, – отвечает мне Саша. – У нас есть свой Бух, вполне определённый и всем населением нашей деревни вполне осознанный. И во всех соседних деревнях тоже.

– То есть?

– Ну, ты понимаешь, что все эти края, которые называются Поветлужьем, угро-финскими племенами были испокон веков заселены, точнее марийскими, и названия у половины речек и деревень тут марийские, и понятия марийские. Ты понимаешь это?

– Нет, что-то я и не задумывался.

– Ну так русские со своим православием пришли сюда совсем недавно, лет триста, не больше, и к тому же в большинстве своем это были старообрядцы-беспоповцы: бежали они сюда, в леса, от розыска царского и прятались тут, начиная с семнадцатого века. Потому всё равно подавляющее большинство коренного населения здесь в глубине души оставались самыми настоящими язычниками. Посмотри, что здесь делается на озере Светлояр в ночь на Ивана Купалу: и костры, и бесовские игрища, и венки по воде плывут.

– Это я всё видел. Только при чём здесь «бух», и какое он имеет отношение к игрищам на Светлояре?

– Вот это ты хорошо сейчас сказал, что Бух – это он!

– В смысле?

– А в том смысле, что про Кереметь ты, наверное, слышал – это как бы общее название главного марийского божества, да и не божества, а места поклонения высшим силам, и не только у марийцев, а и у мордвы, и у чувашей такие места есть. Часто места таких сакральных священнодействий связаны с отдельными деревьями или даже целыми рощами, и их обижать и оскорблять

какими-то словами и поступками своими нельзя. Вот у нас тут как-то рассказывали, что мужик один, это ещё сразу после войны дело было, украл у одной вдовы-фронтовички поросенка. Причем на виду у всех украл и убежал. Мужики побежали за ним: кто с дубьем, кто с вилами, а один так вроде как даже с ружьем. А тот жулик понял, что не убежать ему: бросил он поросенка, а сам под липу такую вот священную и здоровенную, которую все местные почитали, и сел. Эта липа росла отдельно в поле недалеко от деревни, размеров была фантастических. Мужики с кольями да с вилами подбежали к тому вору, а тот сидит спокойно под липой, и ничего. И мужики – ничего: нельзя человека под таким священным деревом обижать: как бы под защитой он. Так и ушли они ни с чем назад в деревню к себе. А мужик тот, жулик, посидел-посидел под липой и тоже пошел себе подобру-поздорову.

– Это ты к чему мне эту историю рассказал?

– А к тому, что старуха, от которой я эту историю слышал, говорила, что вора того Бух спас.

– Может быть, Бог?

– Вот и я тогда подумал так. А она мне внятно так и объяснила, что Бух – так у них, в тех краях, покровителя их лесного зовут. Я тогда ещё там жил: сюда я переехал, когда уже женился. Так вот, с удивлением через несколько лет я узнал, что и здесь лесного ихнего хозяина зовут так же – Бух.

– И что же, ты его видел? Или кто-нибудь из местных? И где же он обретается, этот Бух?

– Нет, я не видел, а где обретается он и живет, то есть где постоянное местопребывание его – могу рассказать. Только не советую тебе ходить туда – замучает он тебя потом.

– А что, примеры тому уже были?

– Ну, я не сталкивался, но поговаривали. А вообще-то местные все про такие дела не любят говорить, и тебе я не советую, если ты с местными хорошие отношения хочешь сохранить. Помалкивай лучше побольше и почаще.

– Понял, давай ближе к делу, про Буха.

– Так вот, слушай. Выше по течению нашей реки, на другом берегу, на марийском, где-то километров через пять или семь, начинается глинистый обрывистый берег, крутойр прямо. Если присмотреться, то видно даже с реки, что в том месте растут дубы. Причем дубы там старые, столетние или больше даже, что называется реликтовые. Пристать там на лодке к берегу можно, хотя и сложно: весь берег в корягах да в топляках, деревьях упавших полузатопленных. Но при желании и на берег вылезти можно!

– А зачем?

– Там, в этой дубраве, самое грибное место у нас, в наших краях, только никто туда не ходит. Роща та, по мордовским понятиям, – священная.

В общем, не понял я в тот раз ничего ни про Буха, ни про дубовую реликтовую рощу. А только уже через год получилось так, что возвращался я с рыбалки на лодке вдоль того места, про которое рассказывал мне Саша, того самого, куда в половодье прибывает подмытые и сваленные весенним паводком деревья. Я даже удивился огромному их количеству. И какое-то любопытство ещё меня в тот момент разобрало.

Заглушил я мотор на своей моторке и на веслах кое-как продрался сквозь коряги к берегу. Вершина откоса с торчащими корнями прямо нависала над рекой, я с трудом нашел место, где можно было выбраться наверх.

По самому краю, над обрывом, росла трава, мелкий кустарник, а чуть дальше шел удивительной красоты дубовый лес. Сейчас попробую пояснить.

Деревья были все похожи друг на друга, что редко в природе бывает: по полметра в диаметре, может, чуть больше, и ровные, без сучков, как сосны, до самой кроны, которая начиналась где-то очень высоко, – что называется строевые. Отстояли они все друг от друга метров на десять-пятнадцать, а земля под ними была будто выложена густым многолетним слоем дубовых листьев – прямо подушка пружинила под ногами. И ни травы, ни кустов заметных каких-то не видно было. Только кое-где на зеленых травинках красные ягодки костяники поплёскивали.

И ещё – удивительная тишина там стояла, я заметил это сразу: ни птицы не свистели, ни шум реки не доносился, и ветер даже вроде бы стих. Воздух был там прозрачен, и роща просматривалась чуть ли не насквозь.

Я прошел с пару десятков метров в глубь леса и сразу же увидел несколько белых грибов: они все были восхитительно красивы, хотя белые и так славятся своей фотогеничностью. Я присел, чтобы полюбоваться одним из боровичков, огляделся и понял, что попал в какое-то грибное царство: вокруг торчало несколько десятков таких же крутобоких красавцев.

У меня с собой не было ни ножа, ни корзины, но меня охватила какая-то страсть охотника: я снял с себя майку, завязал её узлом, превратив в мешок, и с жадностью стал срывать грибы, пока не набил её полную. И тут я заметил, что среди деревьев стали появляться какие-то необычные язычки тумана. Я закрыл глаза, потряс головой, и туман пропал – значит, он появился не случайно и не в лесу, а в моей голове! И тут я впервые услышал – бух! Причем совершенно чётко я смог зафиксировать, что этот «бух» возник у меня в голове, а не был звуком, пришедшим ко мне извне. Я огляделся вокруг и вновь увидел облачка непонятного тумана: размером, то есть объёмом они были уже больше меня, и их было не один, не два, а много, и они имели вполне определённые очертания и габариты, которые в то же время постоянно менялись, а это-то больше всего меня и смущало. А точнее – это стало меня пугать почти сразу же.

Я вновь закрыл глаза, потряс головой, услышал там «бух», и все образования, которые казались мне кусками тумана, пропали. Я хотел где-нибудь присесть и покурить перед тем, как идти к лодке и ехать домой, но не смог – я совершенно четко чувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Хотя также я абсолютно уверен был в том, что вокруг меня нет ни одной живой души. Но я чувствовал этот чужой и недовольный взгляд! Нет, не взгляд – а недобряющее внимание. И только в этот момент я вспомнил про наш прошлогодний разговор с соседом Сашей и про Буха. И тут я снова услышал – «бух». А точнее, даже не

услышал я, а почувствовал это внутри, в голове! Хотя и вздрогнул я, и испугался уже, потому что этот «бух» был уже совершенно чётким предупреждением мне, – понял я это, подсказал он мне.

Захотелось мне побыстрее выбраться из этой загадочной дубравы и попасть домой, хотя очень красивый лес там был – залюбоваться можно, а словами не передашь.

Приехал я к себе в деревню и, не заходя в избу, выложил весь свой грибной урожай на летнем столе, что для всяких хозяйственных нужд торчал у меня под окнами в огороде. А сам прошел в дом, чтобы переодеться да умыться с дороги. И что бы вы думали – у меня и на кухоньке, и в большой комнате обнаружили уже знакомые мне обитатели, те, которые в лесу меня встречали: большие клубы тумана или дыма. Они меняли свою форму, размеры, то сливаясь друг с другом, то разделяясь, казались мне то прозрачными и невесомыми, то какими-то плотными и вроде бы вполне осязаемыми. И в голове у меня вдруг как что-то лопнуло – «бух», и ещё раз – «бух». Только стоило мне потрясти головой, как все эти туманы или дымы, наполнявшие комнату, пропали. Читал я где-то когда-то про отравление кислородом, или озоном, или просто свежим воздухом, что случается с городскими жителями на природе с непривычки. Только я уже не первый день здесь, в деревне, и потому такое не могло со мной произойти. Какие-то непонятные сомнения стали закрадываться ко мне в голову.

Я умылся и через сени вышел к себе в огород. Около стола с моими замечательными белыми грибами стоял сосед Саша

– Где это ты наломал таких красавцев? – спрашивает он. – Вроде и не сезон ещё пока для белых, а тебе вон как подвезло.

– А помнишь, – отвечаю я, – в прошлом году ты мне рассказывал про дубовую рощу, что стоит на том берегу, на марийском, которую они считают своей священной?

– Да, есть там такое дело. Так ты что, там, что ли, был?

– Да, вот только что вернулся и белых там наломал. Там их какое-то безумное количество, и красивые все такие.

Я смотрел на Сашу, а он молча смотрел на меня, и я не мог понять, почему он молчит, и притом как-то по-особенному молчит.

– Ты чего молчишь, Саша? – спросил я.

– А у тебя в доме всё в порядке?

– В порядке, – ответил я, запнулся и уставился на него.

– Что замолчал?

– Да ничего... Там у меня в доме туман какой-то.

– Да, туман... – задумчиво произнес Саша. – Вот слушай меня теперь внимательно. Эти твои белые грибы – это дети того Буха дубового, про которого я тебе говорил. И вот этот наш Бух живет в той священной марийской роще.

– Так как же – Бух-то наш?

– Да, Бух дубовый наш, а живет он в священной марийской роще – нравится ему там.

– И чего же мне теперь делать?

– Не знаю! А вообще-то, знаешь, что я тебе посоветую – возьми корзинку, сложи туда всю свою добычу сегодняшнюю, то есть грибы, и отвези назад, в ту дубраву. Оставь их там. Больше я тебе ничего не смогу подсказать. Ну, и ещё – никому и никогда не рассказывай всю эту историю. А впрочем – как хочешь.

Я выполнил всё, что мне посоветовал Саша, слово в слово, шаг в шаг: грибы сложил в свою собственную добротную корзину и отвёз их на место. В отличие от прошлого раза, коряги у берега мне совсем не мешали, по крутояру вверх я нашел удобные приступки, оставил свою корзину я под ближайшим дубом рядом с тройкой симпатичных боровичков, услышал в голове своей, точнее почувствовал, дежурный уже и привычный «бух» и поспешил домой. За то непродолжительное время, что я вторично провел в этой дубовой роще, я, настроенный на что-то сверхъестественное, уже смог физически ощутить её силу, величие и неземной магнетизм, который затягивал меня, если так можно выразиться. Хотя я сразу понял, что поделиться этими эмоциями я никогда ни с кем

не смогу – по крайней мере, мне или не поверят, или не поймут.

И всё же – спускаясь вниз, к своей лодке, я неудачно оступился, подвернул себе ногу и даже упал. Это было как бы намёком на некое присутствие и даже, как оказалось, памяткой небольшой.

Не поверите – вернувшись в город, пришлось сходить к врачам, показать распухшую ногу и сделать рентгеновский снимок: трещина в голени показалась специалистам нехорошей, и они наложили мне гипс. Вот тебе и Бух дубовый!

КОТ-БАЮН НА ЧЕРНИЧНИКЕ

Стоит посмотреть ему в глаза, и сразу же становится понятно, что этот кот непростой: во-первых, один глаз у него косит, а во-вторых, он умеет в нужный момент подмигивать. Сначала он слушает тебя внимательно, а потом подмигнет хитро так, да ещё и зевнёт во всю пасть; притом из пасти у него всегда рыбой пахнет. И ещё: он сам про себя не помнит, какого он должен быть размера. То есть перед встречей со мной он как-то специально материализуется, но не очень старательно: то он огромным каким-то выглядит, ну прямо как здоровенный камышовый кот, а то так и на котёнка небольшого смахивает. Или мне всегда просто так кажется. Шерсть у него не густая, но очень жесткая, цвета болотного хаки и с темными тигровыми полосами. Зовут его почему-то Черныш, и живет он на другом порядке, у тётки Пани, но часто он не ночует дома – иногда, и чаще такое случается летом, он пропадает на несколько дней, а то и на неделю может в лес уйти загулять.

Когда я приезжаю к себе на дачу поработать над текстом, или просто побродить по лесу за грибами-ягодами, или на рыбалку с друзьями, он непременно приходит встречать меня и даже если к моему приезду он немного и опаздывает, то потом обязательно поприветствует. Делает он это необычным образом: с ходу вспрыгивает на плечо, трётся ухом об ухо и шепчет: «Привет!» Да-да! Причем, если присутствуют посторонние, он этого интима себе не позволяет: дожидается, когда мы останемся вдвоём. А вообще в наших отношениях никакого амигошонства даже следа никогда не было – серьёзные были отношения.

Никто не знает, что Черныш и есть тот самый настоящий Кот-Баюн. Тот самый, который у Лукоморья по золотой цепи вокруг заповедного дуба когда-то бродил и байки рассказывал. Я очень доволен, что он ко мне приходит. Александр Сергеевич, по всей вероятности, с ним тоже был знаком и услугами его пользовался. Только ведь байки байками, и то, что убаюкивать детей они, настоящие взрослые большие коты, хорошо умеют, и то, что лечебными свойствами обладают их песни в форме мурлыканья, всем очень хорошо знакомо. Вот, к примеру, живот у тебя заболит, пристройшься ты на лавку или на диван, чтобы в себя прийти, а кот тут же на тебя уляжется и мурлыкать начнёт, лапами с когтями перебирать – все болячки проходят.

Только мало кто знает, как Кот-Баюн частенько в лесу сам по себе один живёт-поживает, когда он от глаз людских хоронится. Ведь и дом тётки Пани, и мои с ним дружеские общения у меня на даче, когда я приезжаю, лишь вторичные, наносные и противоестественные образы его жизни и виды общения.

Настоящая жизнь Кота-Баюна проходит в лесу, там его настоящий дом. Мало кто про то знает, а мне пришлось однажды с ним в лесу столкнуться.

Раззадорил меня сосед Ильич, такой же, как я, дачник, – рассказал, где очень богатый и урожайный черничник находится, и корзину большую грибную, полную черники отборной, предъявил: заявил, что за два часа набрал. Вся черника в той корзине была размером чуть ли не с вишню горбатовскую величиной.

Известно, что все наши деревенские промысловики скрывают места свои заповедные, и грибные, и ягодные, и места для рыбалки уловистые никому никогда не покажут. А вот городские дачники запросто поделятся такими секретами.

Это вон у нас в деревне дурак один рассказал всему свету, что поймал в нашей речке стерлядку на полтора килограмма, и фотографию свою с этой стерлядкой в интернете разместил. Так уже через две недели весь берег нашей речки на десять километров и вверх, и вниз по течению был палатками уставлен, штук двести: понаехало рыбаков

и туристов на своих автомобилях от Прибалтики до Урала, и всем стерлядь подавай.

Так вот, сосед мой Ильич рассказал, как пробраться к тому черничнику урожайному, чтобы в болоте не застрять, которое там же, в районе заброшенной деревни Ершихи расположено. Да и не болото это по большому счету, а просто огромные поляны, мхом да ягодниками заросшие. И брусничник, и черничник, и клюква там отменные, и белых грибов, когда сезон, там столько, что хоть косой коси. Но наши, деревенские, всё равно те места не любят, и я долго не мог понять, отчего так.

Взял я с собой небольшую корзиночку плетёную, с которой за маслятами в соседний ельник хожу, и поехал на машине до той самой деревни заброшенной, она немного в стороне от трассы была. Оставил машину я прямо около избы какой-то, досками заколоченной, и – за ягодами. Сначала с пару километров вдоль старого елового бора прямо по кромке шел, а дальше, в низине, уже и заросшие мхом полянки начались, и ягоды уже появились. Только уж больно хотелось мне до того самого заповедного места добраться, про которое Ильич рассказал.

Добрался. А уже через пятнадцать минут пожалел я, что не взял с собой большую корзину-боковушу – ягоды с кустиков свисали такими гроздьями, что ладонью проводишь, и ладонь полная. Поляна была огромная, в несколько футбольных полей, и редко-редко по ней торчали старые голые подгнившие хлысты небольших берёзок и желтели уже по-осеннему редкие осинки.

Только забылся я как-то. А может, и не забылся, а просто судьба нас свела: вздрогнул я, когда рывкнула на меня здоровенная медведица. Я поднял голову: она стояла от меня в двадцати метрах на задних лапах, чуть-чуть пританцовывая, и рядом с ней полулежал довольно крупный сынок её и лакомился ягодами. Припомнились мне все правила, которыми пичкают нас средства рекламы и пропаганды: что надо кричать громко-громко, и что нельзя смотреть животному в глаза, и ещё всяких глупостей мешок. Только вот что делать с ногами, которые отнялись, не было совета. А они отнялись напрочь!

Может, оно и хорошо, а то бросился бы я бежать, а медведица бы бросилась за мной, и чем бы всё это кончилось, непонятно. Да и здесь, на этой волшебной ягодной поляне, непонятно чем должно было всё это закончиться, а только вдруг у меня из-за спины вышел мой Кот-Баюн. Я его узнал. Он был очень сердит и огромен. Сначала он показался сравнимым по размерам просто с крупной рысью или, может, с манулом, которого я никогда не встречал, а только по фотографиям и знаком был; но, когда мой Баюн зашипел, а потом и зарычал на медведицу, то он сразу же вырос до размеров большого быка. Притом цвет его шерсти стал черным с необычным стальным отливом. Мне показалось, что со мной что-то случилось, что это мираж или видение какое-то на меня нахлынуло. Но нет – медведица шлёпнула свою детку лапой, и они вскачь вместе удрали по поляне в сторону дальнего леса. В тот момент медведица почудилась мне мелкой проказницей по сравнению с моим Котом-Баюном.

Казалось, что это наваждение должно было сразу же схлынуть и всё встать на свои места, но мой Кот-Баюн, лишь чуть-чуть уменьшившись в размерах (я прикинул: метр в холке и полтонны живого веса!), отправился восвояси, шепнув мне доверительно басом: «Привет!» Голова от тумана быстро очистилась, и силы в ногах появились. Прихватив свою корзиночку с ягодами, я незамедлительно отправился домой.

Черныш, или мой вполне домашний Кот-Баюн, встречал меня на крыльце и сразу полез ласкаться. Я, конечно, решил никому ничего не рассказывать про мои лесные приключения, чтобы не выглядеть дураком, как тот мужик со своей стерлядкой. Может, действительно у меня что-то с головой случилось в тот момент – ведь на болотах выделяется какой-то «веселящий газ». Вот я, наверное, того газа и надыхался.

Так я и решил.

А только уже вечером, когда я вышел покурить перед сном, мой Кот-Баюн подошел ко мне, потерся ухом о ногу и, хитро с прищуром посмотрев на меня, пробормотал: «А здорово я её сегодня припугнул, эту медведицу?»

Александр КРАПИВНЫЙ

ФУРУНКУЛЁЗ

*Исследуя больного, помни, что в это же время
больной исследует тебя.*

М.Я. Мудров

Сергей Сергеевич быстрым шагом разбивал вороха опавшей жёлтой листвы, шумно подбрасывал её в воздух и радовался возможности поддеть громоздким ботинком то, что смиренно завершало свой жизненный цикл. Непременно хотелось напомнить всем вокруг, что осень обязана шуршать и пахнуть.

Прямо с поезда, не заезжая домой, Обухов спешил на работу. Его подгоняло назойливое волнение – судьба делала поворот, дразня перспективами и серьёзными изменениями в жизни. Мечта приближалась.

За несколько месяцев до учёбы, с которой теперь возвращался на работу Сергей Сергеевич, ему был задан вопрос: потянет ли он заведование хирургическим отделением. Штатный заведующий собирался уходить на пенсию. Сомнения у Обухова были, и, по большому счёту, это были вопросы к самому себе. Невидимая изнанка есть и у всякого человека, и у всякого дела, но вывернуть себя и найти где-то там ответы – такое мало кому под силу. «Вяжемся в бой, а там разберёмся», – решил для себя доктор.

Вера в себя как в специалиста к Сергею Сергеевичу пришла рано и росла от пациента к пациенту, от года к году руки становились увереннее. «Так и должна раскры-

ваться судьба врача – вместе с опытом, через пациентов», – рассуждал влюбленный в хирургию Обухов. В своём ремесле он улавливал живую силу, преображающую дело: упрямый дух жизни заставлял доводить работу не просто до конца, а увлекал за границы стандартов и условностей – туда, где ремеслу суждено превращаться в искусство. Кажалось, что это и есть прямой путь к мечте – к покорению вершин хирургии.

Вдохновлённый мыслями о своей судьбе, Сергей Сергеевич уже пересёк проходную больницы, когда его остановила громкая, вызывающе грубая ругань, суть которой сводилась к требованию предъявлять пропуск при входе.

– Да господи!.. – Обухов осуждающе посмотрел на женщину в синей униформе охранника и в знак протеста ничего не предъявил. – Вы же знаете меня! Или вам просто ругаться на людей нравится?

– Не нравится мне ругаться, а документы необходимо предъявлять на входе! Мало ли кто и кого тут знает или не знает. Положено, значит нужно делать. Мы тут не просто так сидим – мы тоже свою работу делаем.

Но доктор не дослушал – он повернул за угол и демонстративно оставил женщину наедине со своей правдой. Вся ситуация лишь всколыхнула в Сергее Сергеевиче очередную волну любви к своей работе: есть в жизни дела и цели настолько неподдельные и настоящие, что многое другое на их фоне кажется совершенно незначительным или вовсе пустым.

– Михаил Петрович, добрый день! – Сергей Сергеевич поздоровался с мужчиной преклонных лет, который неторопливо шёл к проходной.

Отутюженная небесно-голубая рубашка Михаила Петровича создавала ауру жизненной свежести, а мягкие аккуратные мокасины – иллюзию лёгкости. Но сквозь всё это поступало нечто устало-болезненное, угасающее, и, как показалось доктору, лишь благодаря упругим линиям дорогой одежды, благодаря чужой энергии, запрятанной в её ткани, тело этого человека и перемещалось в пространстве.

– Здравствуйте, – сухо ответил мужчина, его лицо чуть дёрнулось спазмом, и он остановился, – Вы прибыли с обучения?

– Да, только с поезда! – с радостной улыбкой ответил Сергей Сергеевич.

– Вам необходимо в трёхдневный срок представить авансовый отчёт по командировочным расходам, – несколько раздражённым голосом, но громко и подчеркнуто-важно проговорил Михаил Петрович Голубков – главный бухгалтер больницы, раздражаясь, видимо, оттого, что об этом вообще приходится напоминать.

– Конечно же! Все документы у меня с собой! Я могу к вам в ближайшее время зайти!

– Ко мне не нужно. В бухгалтерии заполните бланк авансового отчёта и там оставите со всеми необходимыми документами, – почти каждое слово мужчины сопровождалось болезненным напряжением.

– А вы мне не поможете? – больше шуткой, но всё же с долей надежды спросил Сергей Сергеевич. – Никогда не делал такие отчёты.

– Я не смогу, мне в поликлинику нужно, – серьёзно объяснился главбух.

– А что случилось? Может, я смогу вам помочь?

Михаил Петрович с удивлением окинул взглядом молодого доктора и начал было молча уходить, но лицо вдруг скривилось, оставаясь так дольше обычного.

– Вы же хирург? – Голубков остановился и аккуратно развернул в сторону доктора скованную спазмом физиономию. – У меня на шее, видимо, фурункул появился. Был бы признателен, если бы вы сказали, что с ним делать.

– Так... – не дожидаясь дальнейших объяснений, Обухов указал бухгалтеру на хирургический корпус. – Вам незачем ехать в поликлинику, я вас посмотрю у себя в отделении и, если нужно, то с радостью займусь вашим лечением!

– Вы уверены? Необходимо же в поликлинику сначала!

– Ох... – спохватился, сбавляя шаг, хирург. – Вам же листок нетрудоспособности нужен!

– Нет, он мне не нужен! У меня нет возможности уйти на больничный накануне работы двух больших комиссий в нашем учреждении.

– Ну, тогда не вижу никаких проблем. Пойдёмте!

Зайдя в хирургический корпус, Сергей Сергеевич постарался как можно дольше задержать дыхание – чужеродный, осязаемо-липкий дух столовой растекался по первому этажу и забирался на два лестничных пролёта выше. Преодолев это расстояние и оказавшись рядом с хирургией, Обухов глубоко и жадно вдохнул порцию воздуха, насыщенного испарениями прожаренного белья и горечью медикаментов. Это была родная атмосфера, и даже когда хирург покидал её пределы, то сами мысли о пациентах и о работе ещё долго оставались пронизанными этими запахами.

Доктор попросил бухгалтера подождать возле перевязочной, а сам быстрыми шагами, отвечая светящейся улыбкой на приветствия персонала, направился в ординаторскую переодеваться.

– Клавдия Сергеевна! – крикнул он, проходя мимо сестринской. – В перевязочную через пять минут!

Через пять минут Голубков уже лежал на операционном столе лицом вниз, а Сергей Сергеевич тщательно мыл руки.

– Ну что, свет моих очей, Клавдия Сергеевна, как вы тут без меня? – Обухов смывал густую пену с рук, в то время как медсестра, немолодая тучная женщина, ловко накидывала блестящий звонкий инструмент в белый эмалированный лоток.

– Да как... Сами знаете как... Хватает работы! – из пространства между маской и колпаком блеснул недовольный взгляд в сторону замершего на операционном столе неожиданного пациента.

– Вы как всегда во всём негатив пытаетесь усмотреть, – чутко среагировал хирург.

Работая вместе с Клавдией Сергеевной, Обухов всё чаще позволял себе перейти на высокопарную манеру общения, считая, что именно это заставляет суровую и часто ворчливую медсестру улыбаться.

– Чем же, моя душенька, нынче расстроены? – продолжал игриво Сергей Сергеевич.

– Ничем! Что об этом спрашивать-то? Лучше расскажите, как вы на учёбу съездили. Или, может, вы вовсе

не на учёбе были, а женились и уже медовый месяц успели провести?

– Не хочу вас расстраивать, но я был на учёбе! На женитьбу времени не хватает. Светя другим, сгораю сам! – С удовольствием отметив положительную перемену в поведении медсестры, хирург переключился на пациента: – Михаил Петрович, у вас есть аллергия на лекарства?

– Знаете, не было никогда, – неожиданно быстро, словно дождавшись своей очереди, проговорил бухгалтер. На лбу его проступила испарина.

– Так! А что это вы так разволновались? Всё нормально будет, не переживайте!

– Знаете, в прошлый раз, в поликлинике, очень ощутило всё было!

– Успокойтесь! Мы постараемся как можно меньше вам доставить дискомфорта!

Клавдия Сергеевна громко вздохнула и демонстративно выложила на столик ватный шарик с нашатырным спиртом.

– Вы мне лучше скажите, Михаил Петрович, что за такая страшная комиссия ожидается? – с напускным любопытством произнёс хирург, делая при этом знак сестре, что обойдётся без нашатыря.

От вопроса Голубков замер, но через мгновение последовало оживление. Методично и монотонно потекло повествование о нелёгкой бухгалтерской работе, о том, как весь удар придётся именно на него и его бухгалтерию. За всё это время Обухов лишь раз прервал речь бухгалтера, сказав «сейчас будет укол», на что Михаил Петрович чуть остановил монолог, но тут же продолжил излагать проблемы бухгалтерской жизни, пока не услышал от доктора: «Я закончил».

– Что вы сказали? – изумлённо переспросил Голубков и даже попробовал вывернуть шею так, чтобы удостовериться в честности хирурга – своими глазами увидеть его работу.

– Лежите спокойно! Клавдия Сергеевна вам повязку сделает, потом подойдёте ко мне. Я вас жду.

Общение Сергей Сергеевич продолжил уже за столиком в предперевязочной, записывая при этом на листок назначения для Михаила Петровича.

– Часто у вас такие проблемы?

– Вы про инспекцию?

– Нет, – засмеялся Обухов, – вы сказали, что фурункулы не в первый раз.

– Да, фурункулы появляются, то там, то здесь. Что тут поделаешь!

– Вам нужно обследоваться на сахарный диабет.

– Это зачем ещё? Что, фурункулы от диабета лезут?

– Правильнее же о здоровье в целом думать, а не ждать, пока что-нибудь где-нибудь вылезет. А для этого нужно причину искать. Проблемы просто так не появляются. То, что было нормой, может стать бедой, достаточно немного изменить условия.

– То есть у меня, может быть, не просто фурункулы, а какое-то серьёзное заболевание?

– Несерьёзных заболеваний нет. А у вас не «фурункулы лезут», а фурункулёз. Системная проблема. Нужно обследоваться, искать причину! – Обухов закончил назначения и вручил листок мужчине. – Жду вас завтра на перевязке!

Бухгалтер молча забрал назначения, но задержался в дверях.

– Если нужна моя помощь по отчёту, то вам лучше сегодня зайти, иначе у меня времени может не быть! – объявил главбух и закрыл дверь.

– Сергей Сергеевич, я извиняюсь, а это что за птица такая важная сейчас была? Хоть бы спасибо сказал!

– Главбух наш.

– Ну надо же, не признала, богатым будет! Пусть бы в поликлинику главбух этот шёл!

– Не огорчайте меня! Зачем человека гонять чёрт знает куда, если можно ему быстро помочь? Помните, как Шукшин сказал: «Увидел, человек нуждается в помощи, – бери и помогай. Не спрашивай»?

– Ну, не знаю. Есть всё-таки правила, – не сдавалась Клавдия Сергеевна. – Вот вы сказали сейчас про диабет... Я думаю, что проблемы-то у некоторых от слишком сладкого и особого отношения к себе любимым такими вот фурункулами и вылезают! А ещё оттого, что правила и врачебные рекомендации нарушают.

– Ну, в какой-то мере вы правы, – серьёзно ответил доктор, – ключевое слово здесь «слишком»!

Медсестра была готова и дальше отстаивать значимость правил, но, уловив переход хирурга на сдержанный тон, сменила тему. Если и он будет хмурым, то жизнь станет вовсе нестерпимой. В душе она радовалась возвращению Обухова – единственного человека, который заряжал её позитивом, не позволяя увязнуть в негативе рутины.

– Сергей Сергеевич, – настороженно начала Клавдия Сергеевна, – говорят, наш заведующий на пенсию уходит, а вы теперь исполнять обязанности будете и на должность потом встанете. Не объявляло вам начальство, когда вас поставят?

– Сейчас схожу, отчитаюсь за командировку, и объявят! – засмеялся доктор над переменами в голосе медсестры.

Обухов долго копался среди плотных стопок брошюр и журналов, привезённых с конференции, на которую он попал после учёбы, с трудом выпросив на это один день у начмеда. Найдя, наконец, нужные, сунутые в спешке документы, он пошагал в бухгалтерию, задерживая дыхание у столовой.

– Давайте всё сюда, – устало сказал главбух. Он забрал растрёпанные документы и разложил их в нужном для себя порядке. – Надо же, как сразу легче стало после вашего лечения. Но в документах у вас, конечно, бардак!

– Да уж... За людей я, видимо, больше переживаю, чем за бумажки, – смущённо начал оправдываться Обухов, не ожидая подобного замечания от своего пациента.

– Бумажки, говорите? За бумажки, как вы изволили назвать документы, стоит не меньше переживать, чем за людей!

Доктору показалось, что Голубков издевательски копирует его манеру общения с медсестрой, и ощутил, как по лицу пополз жаркий румянец. Михаил Петрович продолжал изучать документы.

– Это всё? – словно судья, неудовлетворённый оправдательными показаниями подсудимого, главбух выжидающим взором смотрел на доктора. – Так... За проживание

в гостинице или где вы там жили, вам придётся вернуть аванс. Считаем месяц проживания... Получается...

Перед лицом Сергея Сергеевича возник массивный калькулятор, на сером дисплее которого чернело число, превосходящее его месячную зарплату.

– А что не так с моими документами? – доктор подвинул стул ближе к столу главбуха; сейчас они ещё раз всё вместе проверят, и всё встанет на свои места, все чёртовы оправдательные бумажки должны быть здесь!

Вместо ответа последовала лекция с демонстрацией списка документов для отчёта по проживанию в командировке. Среди бумаг Обухова ничего из перечисленного в представленном перечне не было.

Сергей Сергеевич слушал, не желая верить в происходящее. Сумма, которую теперь нужно было возвращать, оказалась весьма существенной, хотя дело было не только в этом.

– Уважаемый Михаил Петрович, – пытаюсь сдерживать эмоции, начал Обухов, – а почему же вы мне перед убытием всё так подробно не разъяснили-то?

– Я не имею возможности каждому объяснять элементарные вещи, вся подробная информация доступна, уж извините, но вы могли бы и сами ознакомиться с точным перечнем отчётных документов, – главбух какое-то время ещё выжидающе смотрел на доктора. – У вас три дня, чтобы привести всё в порядок.

Доктор встал, пытаюсь собраться с мыслями, но в его стройный отлаженный мир, преображённый глобальными надеждами, ворвался вихрь, расшатывающий все несущие конструкции.

– Завтра утром на перевязку не забудьте явиться, – произнёс Обухов, ощущая нелепость и неуместность сказанной фразы, словно это была его просьба о помиловании.

Обратно Сергей Сергеевич шёл долго и в тяжёлых раздумьях. Только в отделении к нему вернулась целостность мира, центром которого была врачебная деятельность. Он с ходу погрузился в дела, и уже скоро казалось, что проблемы с документами должны разрешиться сами собой. Объёмы работ не оставляли времени для размышлений о недочётах

в командировочных бумагах, сделал их на фоне хирургической деятельности мелким недоразумением. По ощущениям Сергея Сергеевича, такие казусы должны разрешаться как-то сами собой или, во всяком случае, уже без его вмешательства – нельзя же бросить вот это всё и тратить время на выяснение отношений с бюрократией, причём в ущерб делу. Хотя для себя Сергей решил, что вечером обязательно позвонит и попросит выслать чек или документ на бланке строгой отчётности, как этого требовал список главбуха.

Утром следующего дня в ординаторской зазвонил телефон – Голубков приглашал Сергея Сергеевича к себе в кабинет.

– Клавдия Сергеевна, перевязки начинайте без меня, я скоро буду! – крикнул доктор в сестринскую, ощущая, что вчерашняя ситуация начинает разрешаться каким-то понятным только финансистам образом.

– Михаил Петрович, утро доброе! – с чувственным порывом чуть ли не выкрикнул Сергей Сергеевич, заходя в кабинет к Голубкову.

– Здравствуйте, присаживайтесь, – всё тем же усталым голосом ответил Михаил Петрович.

– Ну, как ваше самочувствие?

– Лучше. Присаживайтесь. Получилось у вас решить вопрос с кассовым чеком или бланком строгой отчётности?

– Вы знаете, я вчера звонил, но мне сказали, что ничего подобного у них нет. Только договор, который я вам показывал.

– Это плохо. И смотрите, что у нас получается... – перед главбухом лежали аккуратно в ряд документы Обухова, на белом листе бухгалтер что-то помечал карандашом. Но внимание Сергея Сергеевича больше привлекала фотография рядом с монитором. Никак не получалось её разглядеть, он даже вытянул шею и прищурился, пытаясь рассмотреть лица.

– Вы меня слышите? – внезапно громко спросил главбух. – Проезд мы вам тоже не оплатим, вернее, вам придётся вернуть аванс, выданный на проезд.

– Что? – доктор уставился на бухгалтера, лицо снова запыхало жаром. – Что это значит? Вы издеваетесь надо

мной? Я все документы вам предоставил, подтверждающие и моё проживание, и мой проезд туда и обратно...

Всё закипало внутри, а реальность вероломно искажалась перед Сергеем Сергеевичем.

– Успокойтесь, не нужно кричать, я вам всё объясню... Вы уехали на учёбу находясь в отпуске, а должны были сперва выйти на работу, чтобы вас отдали приказом, как убывшего на учёбу. Вы же уехали на обучение раньше, не выйдя на работу, то есть самостоятельно. Значит, проезд туда мы не можем вам оплатить.

Лицо Обухова абсолютно ничего не выражало – он молчал, глядя в пустоту. Главбух выдержал паузу, бросил несколько коротких взглядов на доктора и продолжил:

– Я вас огорчу, но это ещё не всё. По документам вы должны были прибыть на работу шестого числа, а прибыли седьмого, то есть незаконно отсутствовали на рабочем месте более четырёх часов.

– Заканчивайте уже чушь нести! – обрубил вдруг разговор Сергей Сергеевич. – Моё отсутствие было согласовано с начмедом! После учёбы я остался ещё на день, чтобы сходить на конференцию, поэтому задержался, разрешение на это я получал! Так что если это всё, что вы на меня накопили, то я пойду работать!

– Я на вас ничего не накапываю, и если бы не авансовый отчёт, то это было бы абсолютно ваше дело, где вы находитесь в рабочее время, но из-за того, что во всех отчётных документах дата вашего фактического прибытия расходится с датой вашей обязательной явки на работу, получается, что вы сами на себя этими документами, как вы говорите «накопили»! А это грубое нарушение трудовых обязанностей, и, по сути, вам светит восемьдесят первая статья Трудового кодекса.

– Чего мне светит? – чувствуя бешеный стук собственного сердца и ломоту в затылке, не проговорил, а процедил сквозь зубы доктор.

– Расторжение трудового договора... Но это уже пусть начальство решает.

Обухов хотел ещё что-то сказать, но в кабинет вошла крупная женщина, заняв собой не только много свободного пространства, но и всё внимание присутствующих.

– Михаил Петрович, вы срочно нужны в расчётом отделе! Пойдёмте, пожалуйста, прямо сейчас!

– Если не трудно, дождитесь меня! Я сейчас подойду, – сказал Голубков, вставая из-за стола.

Всё пульсировало и сжималось вокруг Обухова. Не дожидаясь главбуха, он вылетел из враждебного пространства, передёрнулся, словно стряхивая с себя все эти цепкие бухгалтерские разговоры, и поспешил в хирургию.

Когда рабочая обстановка обуздала эмоции и они, утихнув, уже не рвались бешено наружу, тогда с медсестрой завязался доверительный разговор. Наедине, в ожидании очередного больного из отделения, Сергей Сергеевич поведал ей о проблемах, связанных с авансовым отчётом.

– Ни одна профессия не приносит столько моральных переживаний, как медицина, – припоминая чьё-то изречение, разворачивал наболевшую тему и тем самым изливал душу хирург, – а в современном мире врачу приходится переживать не только за больных!

– Не знаю про весь мир, но там, на Западе, я слышала, что врачи более защищённые и вообще гораздо лучше живут! – ответила Клавдия Сергеевна, принимая беду Обухова как свою собственную. – Слушайте! Вот есть же заповедь у медиков «не навреди» – точно знаю, что такая есть! А вот у этих бухгалтеров есть ли вообще какие-нибудь человеческие заповеди или только одна есть – «обмани»?

Ответ прозвучал внезапно:

– Мы тоже делаем так, чтобы не было вреда, но вы при этом думаете об одном человеке, а мы думаем о миллионах... – в дверях стоял Голубков и, ожидая перевязку, внимательно слушал разговор медиков. – Мы о государстве думаем и защищаем его благосостояние! И о нём я думаю так же, как вы думаете о здоровье своего пациента! Иногда мне так же, как и хирургу, приходится применять болезненные, но радикальные меры для его защиты!

Смущение Клавдии Сергеевны проступило даже через маску. Она отвернулась и суетливо зазвенела инструментом, перекидывая его из лотка в тазик.

– Проходите, Михаил Петрович, давайте посмотрим теперь, каковы *ваши* дела, – спокойно, даже с некоторым

вызовом отреагировал Обухов на внезапное появление главбуха.

Пока Голубков забирался на стол, медсестра продолжала звонко греметь инструментами.

– Так... Да у нас тут всё замечательно. Не сравнить с тем, что было. Праздник!

– Конечно, праздник! – подхватила Клавдия Сергеевна, не желая после своего конфуза оставаться в стороне от результата лечения. – Мы за каждого пациента радуемся как за родного человека! Работа только на результат, и радость от работы только тогда, когда результат видим!

– А вы считаете, что только вы способны получать радость от своей работы? – с пристрастием и подчёркнутым «вы» продолжил тему главбух.

– Ну почему же только мы? Как говорится, «люди всякие нужны, люди всякие важны», если работа хорошая, то и радость от неё будет!

– И какую же работу вы считаете плохой и безрадостной? – не унимался пациент, но Обухов прервал его напористые размышления.

– Знаете, у вас тут ещё один фурункул сформировался, нужно его вскрывать, нечего ждать.

– Видимо, придется, я вам про него собирался сказать! – заворочался на столе главбух. – Вы, кстати, ушли, не закончив наш разговор в кабинете!

– Так давайте здесь и закончим!

– Не думаю, что подобный разговор здесь уместен!

Клавдия Сергеевна, услышав о предстоящем вскрытии фурункула, уже успела приготовить и поднести лоток с инструментами.

– А что вас смущает? – доктор и сам прекрасно понимал, что перевязочная не место для выяснения отношений, но назойливая, жгучая мысль о том, что ситуации с бумагами можно было избежать, доводила его до иступления. Доводила тем, что мешала работать, тем, что никто и никогда его не учил и не объяснял, как нужно составлять авансовый отчёт, а теперь от него не просто требуют, а ещё и угрожают дисциплинарными мерами! Ситуация доводила и тем, что, по его пониманию, бюрократическая

машина должна обеспечивать нормальную работу лечебного учреждения, а не создавать проблемы, не озадачивать решением неизвестных, чуждых, не относящихся к медицине вопросов.

Обухов перестал воспринимать бормотание главбуха, он и не хотел уже ничего слышать. Готовясь к вскрытию фурункула, он всё глубже утонул в своих болезненных рассуждениях о несправедливости, забравшейся в его мир. Всё, что казалось далёким и не касающимся лично его, теперь жгло внутри, не давало покоя, как инородное тело.

Сергей Сергеевич задумчиво набрал полный шприц лидокаина. Руки работали, как всегда, ловко, повторяя в тысячный раз знакомые движения. Игла с лёгким хрустом прошла сквозь напряжение воспалённых тканей вокруг зрелого фурункула.

Желание быть сосредоточенным только на врачебной работе, на своих пациентах, не замечая и пропуская мимо себя все организационные, административные противоречия, не впутываясь, не желая их принимать, не желая быть частью их, – всё это, как натянутая до предела резинка, лопнуло и больно щёлкнуло по самолюбию, по чувственному миру. А причиной этого обрыва был, конечно же, главбух!

Палец уперся в поршень шприца, столбик жидкости чуть сократился и упрямо замер, кисть хирурга напряжённо задрожала, пытаюсь преодолеть возникшее препятствие.

Должно же быть средство против бездушия бюрократической системы!

Поршень дёрнулся и непривычно быстро скользнул вдоль цилиндра. В лицо хирурга что-то смачно ударило, медсестра тяжело охнула, а Сергея Сергеевича вернуло в реальность – он ощутил, как с переносицы под маску затекает что-то теплое.

– Господи! У вас всё лицо испачкано! – суетилась Клавдия Сергеевна, подавая сначала сухие, а потом смоченные антисептиком салфетки, чтобы удалить сгустки гноя и кровь, вылетевшие из главбуха под напором анестетика. – Нельзя, нельзя в таких условиях работать, в таком напряжении!

* * *

– Сергей Сергеевич, наш бухгалтер третий день на перевязку не приходит! Не видели его?

– Не видел и видеть не хочу! Мне «замечание» объявили и сказали, что я легко ещё отделался! Сегодня нужно будет идти на ознакомление под роспись с этим моим «замечанием»! И всё это потому, что этот благодарный пациент докладную написал на проведение разбирательства в отношении меня!

– О господи! – ахнула медсестра. – За что же с вами так? Я, ей-богу, такого не встречала за свою жизнь! Вы его лечите, а он на вас бумажки пишет! И защиты-то, управы на таких нету, защитить доктора в случае чего некому! Столько сил и времени нужно на больных тратить, а тут ещё такое! Сегодня у нас ещё и комиссия должна работать! Помните? С Роспотребнадзора. Вам в отделении нужно быть!

– Буду...

Доктор отвечал устало и отрешенно. Периодически на его лице появлялся румянец, уши начинали алеть. Он закончил осматривать пациентов и пошёл на ознакомление со своим наказанием.

Бухгалтера он увидел в отделе кадров. Тот стоял к нему спиной, знакомился с каким-то документом. На шее было две повязки, совсем не свежих, одна была пропитана подсыхшим желтовато-коричневым отделяемым. Судя по состоянию повязок, они не менялись уже три дня – с того самого дня, когда был вскрыт последний фурункул.

Сергей Сергеевич стоял какое-то время и смотрел на его шею, потом подошёл ближе, взял аккуратно двумя пальцами за уголок повязки и приподнял его. Бухгалтер дёрнулся, поджал плечи и резко повернулся.

– Что это такое? Что вы себе позволяете? – возмущённо пробубнил он, болезненно сморщив лицо.

– Вы что, хотите в реанимацию угодить? Вы почему на перевязки не ходите?

– Некогда мне сейчас, инспекция на носу! У вас там тоже, если не ошибаюсь, комиссия работает!

– Вы себя угробить собрались? У вас лимфаденит уже начался! А с вашим диабетом можно не только инспекции не дожидаться, а вообще ничего не дожидаться!

Обухов крепко взял Голубкова под руку и потянул на выход.

– Вы ненормальный? Вы куда меня тянете?

– В перевязочную я вас тяну! У вас же самого ума на это не хватает!

– Я же сказал, что у меня времени сейчас нет – у меня работы много!

– И у меня работы много, а вы, между прочим, часть этой работы! И я, между прочим, не менее принципиальный, чем вы! И я считаю, что здоровье и работа врача важнее любых бумажек, потому что если вы сейчас не пойдёте в перевязочную со мной, а останетесь здесь, то уже после обеда вам придётся скорую помощь вызывать и перевязкой, уверяю вас, дело не ограничится!

Доктору удалось вытащить главбуха из отдела кадров – тот почти не сопротивлялся, ощущая в чем-то правоту и сильную хватку Сергея Сергеевича. Когда они оказались у двери перевязочной, то Голубков внезапно встрепенулся и попятился назад.

– Я же там и телефон, и очки оставил, вы меня совсем с толку сбили!

– Никуда ваши вещи не денутся! – Обухов снова крепко ухватил Михаила Петровича за локоть и завёл в перевязочную. – Проходите, ложитесь на стол!

– Никуда он не пойдёт, и тем более ложиться не будет! – в дверном проёме, перегородив дорогу, стояла, с головы до ног облаченная в операционное бельё, медсестра; глаза гневно смотрели на нарушителей через узкую марлеву амбразуру. – Вы что делаете, Сергей Сергеевич? Вы хотите, чтобы меня с работы выгнали? Там комиссия по этажу ходит, а вы непонятно что вытворяете! Всему есть предел!

Клавдия Сергеевна шагнула навстречу Обухову, показывая свою готовность вытолкать любого за пределы своей территории. Оба мужчины попятились назад, развернулись, но тут же наткнулись на другую женщину, за спиной которой толпились люди – все в одноразовой шуршащей медицинской спецодежде.

– Что тут происходит? – женщина с пышными русыми локонами, спускающимися из-под полупрозрачной медицинской шапочки на голубую накидку, хлопала длинными ресницами. – Вот, видите? Это то, о чём я вам говорила! Этого нам не победить! Хоть кол на голове теши! Больной не стационарный, в уличной одежде в перевязочной! Нарушено всё, что может быть нарушено! Кто заведующий этого отделения?

– Я исполняю обязанности... А вы кто? – хотя вопрос был лишним и Сергей Сергеевич уже понял, кто это был и куда он вляпался.

– Ну, доисполнились! – измерив взглядом Обухова, подытожила его мысль женщина со светлыми локонами.

* * *

Доктор шёл быстрым шагом на работу, размышляя о поворотах судьбы на пути к мечте. «Если и допустил ошибку, – думал Сергей Сергеевич, – то судьба и на второй круг может зайти – оставляет шанс добраться до мечты». Листья отлетали от его ботинок, но уже тяжелее и упрямо переворачивались своей тёмной изнанкой, подгнившей от долгого лежания в сырости. У проходной Обухов предъявил пропуск в развёрнутом виде.

– Здравствуйте, доктор! – женщина в синей униформе вышла из комнаты охраны. – Не могли бы вы на минутку задержаться?

– Что-то не так с моим пропуском? – Сергей Сергеевич с озадаченным видом протянул ей свой документ.

– Нет, извините! Я по личному вопросу, так сказать! Вы же хирург... не могли бы мне кое в чём помочь?

– В чём помочь?

– Работаю много, времени совсем нет на себя, а у меня фурункул вылез.

Глеб РУБАШКИН

Выкса

ЛИЗА ЕДЕТ В ГЕЛЕНДЖИК

Лиза ненавидит неопределенность. Она привыкла все всегда решать сама. Еще она не любит ехать в сумерках. Они путают и мешают мыслить четкими алгоритмами.

Зачем она поддалась на уговоры и дала втянуть себя в это палево? Кто будет ее страховать? Она даже этого не узнала. Больше всего бесит, что впервые все решили за нее, обвели вокруг пальца. Но отступить некогда.

Фары выхватывают на обочине одинокого пешехода. Услышав шум мотора, он останавливается и разворачивается лицом к дороге.

Лиза притормаживает и наполовину опускает стекло со стороны пассажирского сиденья. Она видит перед собой мужчину лет сорока пяти в ватнике защитного цвета, мятой кепке и невысоких резиновых сапогах с потрепанным рюкзаком через плечо.

– Привет! Далеко идешь?

– Здрасьте! – мужчина добродушно улыбнулся, обнажив не сочетавшиеся с его обликом два ряда ровных белых зубов. – Далеко, до Новошахтинска. Автобус сломался на полдороге. А ждать некогда совсем.

– Могу подвезти. Мне по пути. На бензин подкинешь?

– А то! Мы не бедные.

– Ну, садись тогда сзади.

– Вот спасибо! Я уже и надежду потерял, что кто-то остановится. Боятся все чего-то. А ты вот не испугалась, –

путник пристроил рюкзак на пол позади водителя и неловко протиснулся на заднее сиденье раритетного седана.

– Это еще надо подумать – кому тут бояться надо, – едва слышно процедила сквозь зубы Лиза. Но мужчина, кажется, услышал.

– А вопрос можно? Или помешаю?

– Валяй. Может, сон разгонишь.

– А ты сама-то куда направляешься?

– На юг. В Геленджик я еду.

– А что так? Не сезон ведь совсем.

– Да по делам. Он же на зиму не закрывается.

Мужчина, видимо, опешил от такой резкости и на какое-то время умолк. А Лиза как будто и забыла про его существование. Она внимательно прислушивалась ко всем звукам, которые издавала машина, так как не была уверена, что старенький «Вольво» дотянет до Геленджика без приключений.

– Вот не пойму никак, такая красивая и – одна, – попутчик все-таки был явно не из молчунов. – Да еще и в наших печально известных местах.

– А ты что, подкатываешь так ко мне? Не обольщайся. Без шансов.

– Что ты, что ты! Так, любопытно просто.

Лиза промолчала, и в салоне на несколько минут повисла вязкая и тягучая недосказанность, которую разрядил громкий и настойчивый звонок. Лиза приняла вызов на гарнитуру.

– Привет, Мясник! Да, за рулем. Где-то в Ростовской области. Дорога? Дорога свободна. Пробок нет. Так что работу сделать успею. Нет, помощь не нужна. Сама справлюсь. Ты же знаешь, я уже большая девочка. Кстати, крутой девчонка прикупила себе на этой неделе. Два месяца копила на него. Так что заготовлю для каждого из волчар по несколько гангов. Не переживай, я успею. Они от нас не уйдут. Ну давай, перезвоню, как доберусь. Сейчас не совсем удобно. Я не одна. Халтуру взяла. Ну, пока.

Пока Лиза трепалась с Мясником, сумерки окончательно уступили ночи свое место и ехать стало попроще. Дремота отступила. Зато шум мотора начали разбавлять звуки иного

происхождения. Позади происходила какая-то неестественная возня. Ростовский «пилигрим» шумно сопел.

– Дочка, слышь, тормозни, пожалуйста. Что-то прижало меня. В кусты надо отойти.

– Мы же только минут двадцать едем!

– Да почки у меня больные. Застудил еще в армии. Тормозни, а?

– Может, до заправки потерпишь? Далеко до нее?

– До заправки-то недалеко, но боюсь – не дотерплю. Зачем машину-то портить. Видишь, вон справа дорога проселочная. Как раз и остановиться удобно.

– Ну, как скажешь. – она понизила передачу и плавно завернула на обочину, внимательно высматривая на земле коварные рытвины.

Как только машина остановилась, Лиза резко развернулась назад. Но «пешехода» на месте уже не увидела. Рюкзак он, видимо, прихватил с собой.

Лиза вышла из машины, закурила айкос и минут пять внимательно смотрела по сторонам. Полная луна заполняла открытое пространство флуоресцентным светом. Мертвую тишину нарушали только изредка проезжавшие автомобили.

Лиза опустила правую руку в карман пальто. Электрошокер был на месте. Похоже, сегодня он не пригодится. Девушка потушила электронную сигарету и вернулась в машину.

Ключ зажигания оставался в замке. Брелок от него был похож на кусок дерева красного цвета с тремя узкими прорезями. Такая же, как брелок, наклейка была на крышке ноутбука, лежащего на переднем пассажирском сиденье. Рядом с красной эмблемой наклеено изображение сказочного существа – похожей на эльфа девушки с синими волосами, одетой во что-то вроде укороченного китайского халата и высокие сапоги. Подпись под изображением – Templar Assassin – для большинства непосвященных не имела никакого значения.

КАЧЕЛИ

Блики от лучей закатного солнца расцветивали фойе «Экспофорума» золотой мозаикой. Оно постепенно наполнялось участниками конгресса, желавшими размяться и почесать языками в перерыве между заседаниями тематических сессий. На первый взгляд можно было решить, что в этом академическом аквариуме собрались не крупные специалисты по топологии, кибернетике и теории чисел, а слушатели курсов английского языка, примагниченные его коренными носителями.

Олег Анатольевич, искусно огибая шумные островки изголодавшихся по общению математиков, уверенно держал путь к ближайшему кафетерию.

– Олег, О-ле-е-г... – чья-то твердая рука пыталась удерживать его за плечо.

– Да, чем обя... – дежурная фраза Олега повисла в воздухе. – Саша? Сашка! Это ты!

Через мгновение он уже тонул в медвежьих объятиях двухметрового исполина в дорогом костюме.

Олег не видел Сашу уже около двадцати лет. С того момента, когда сам помогал ему в подготовке документов и научных материалов для стажировки в США. Времена тогда были такие, что государство, выделяя деньги на обучение за границей, даже не ставило условие о возвращении на родину.

Минут через пять они уже сидели за отдельным столиком в помещении, напминавшем зал ожидания для VIP-персон в аэропорту.

– Ну что, Олег, рассказывай – как сам, как Лена, как ребята твои? – Саша откупоривал бутылку коньяка, которую они выбрали в баре.

– Да все хорошо. Лена преподает в нашем институте. Старший учится в Оксфорде, младший – в МИИТе. Я возглавляю нашу родную кафедру и еще читаю лекции в политехническом. А ты как?

– Я в порядке. Грех жаловаться. Дали полного профессора в Калтехе. Контракт на десять лет. Развелся вот недавно. Теперь наслаждаюсь полной свободой. – Саша откинулся на спинку кожаного дивана. – Я, Олег, все вспоминаю нашу поездку в Саратов на симпозиум. Как мы там вечером после докладов искали по ларькам настоящий массандровский портвейн. Помнишь?

Олег прекрасно помнил, как они, одурманенные своей первой победой над нафталиновым сборищем старых зануд, искали по ларькам настоящий крымский портвейн, пугая продавщиц своими распахнутыми настезь глазами и первобытными криками. И как потом распивали его на какой-то детской площадке, закусывая печеньем «Юбилейное». Как катались на качелях и горланили песни, не обращая внимания на окрики из окон панельных коробок.

– Да уж... Хорошо, что тогда жильцы милицию не вызвали. А то прославились бы мы с тобой в научных кругах гораздо раньше. – Саша гулко хохотнул. – Кстати, а на работе у тебя сейчас как? Предложения рассматриваешь? А то у меня на кафедре вакансия образовалась, как раз по твоему направлению. Могу оклад хороший гарантировать плюс страховку. Что скажешь? Будешь поближе к младшему. Для Лены тоже работу найдем.

– Саша, как ты, наверное, помнишь, я и двадцать лет назад не собирался никуда переезжать. – в голосе Олега зазвенели металлические нотки. – Моя позиция с тех пор не изменилась.

– Да я до сих пор не понимаю – почему ты тогда за рубеж не двинул. Ты был лучшим не только у нас в институте. Ты был одним из лучших в стране! Тебя бы с руками оторвали в любом университете из первой десятки!

– Саш, я не жалею, что остался. С тех пор многое изменилось. И отношение к науке, и финансирование. Размеры грантов сопоставимы с зарубежными.

– То есть родная наука еще как-то трепыхается?

– Слушай, все эти би-би-си каждый год пишут, что российская наука вот-вот загнется, а она вот уже почти тридцать лет как держится и еще умудряется международные премии получать и олимпиады выигрывать.

– Да все эти победители потом стройными рядами к нам на «загнивающий» Запад отправляются. Их уже со школы вести начинают. Не понимаю – что здесь можно предложить взамен того, что их ждет у нас? У нас настоящая свобода! Не то что здесь!

– И главное достижение этой настоящей свободы – Хиросима и Нагасаки? Вот уж воистину плод трудов интернационального научного сообщества, вдохновленного настоящей свободой, демократией и американской мечтой!

– Олег, к чему столько пафоса? Какая стипендия у твоих аспирантов – сто долларов, двести? Гранты, говоришь, выдают? Если вообще вероятность, что твои их получают? К нам недавно одни ребята с физтеха переехали. Они пару лет назад выиграла грант на создание какой-то дорожной лаборатории, закупили оборудование, а оно все приказало долго жить, как только дожди пошли, потому что у института денег не было крышу отремонтировать. Так что покажу все это! Еще не поздно свалить отсюда и работать с лучшими! Зачем ты свой талант ограничиваешь?

– Если я уеду – кто здесь будет этих ребят на ноги ставить? Так они и до вас никогда не доберутся. Скажешь, это альтруизм? А это не альтруизм, это – убеждения. Убеждения и принципы. Мои принципы. Сколько стоит входной билет в Гарвард, Калтех или МИИТ? Сколько талантливых ребят вместо того, чтобы заниматься наукой, мечтают о колледже, а потом полжизни расплачиваются за него? Я своих сыновей отпустил за границу. Они, если с умом подойдут, многим там полезным напитаются. Но это именно потому, что у нас с Леной есть возможность их поддерживать. Мой отец был токарем на автозаводе, а прадед – вообще крепостным. Чем бы я сейчас занимался, если бы в Америке родился с такой родословной? – Олег захрипел и закашлялся. В его грудной клетке что-то порывисто хлопотало. – А на жизнь... На жизнь я не жалею. Квартира есть, машина, дача. Детям помогаем, хоть и немного

повертеться для этого приходится. А кандидата для своей кафедры тебе долго искать не придется. Здесь много таких, которые только спят и видят... – Олег отдышался и бросил взгляд на экран мобильного. – Ну что, пора и честь знать. Я перед выступлением хотел еще основные тезисы повторить. – Вторая рюмка коньяка у него осталась непочатой.

Через полгода Саша опять полетел в Россию. Он слышал, что Олег заболел. Саша решил его навестить и впервые за двадцать лет отправился в родной город.

С пригорка Саше открывался унылый провинциальный пейзаж. Колочий ветер трепал серебряные волосы ректора.

– ...Олег Анатольевич был и останется для нас примером отношения к своему делу, к своей работе. Он вырастил несколько поколений талантливых ученых, известных не только в стране, но и во всем мире...

Одна из студенток приглушенно всхлипывала, прижавшись к подруге. Сыновья Олега Анатольевича держали под руки мать, уставившуюся строго вперед невидящим взглядом. Обреченно поскрипывали, раскачиваясь на ветру, старые ржавые качели.

Петр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

ВОВКИНА РАДОСТЬ

Отец

– Папулечка, родненький, опять ты, падло, налопался! – Вовка сидел на коленях у отца и гладил его по светловолосому с заметной проплешиной затылку.

Он трогал рыжеватые, потные и липкие волосы и весь, до последней конопушки на круглой мордашке, светился от радости, что отец был дома и сегодня не такой уж и пьяный. Запах гаража, где он работал, был всё же густо разбавлен перегаром бодяжной водки. Завидев возвращавшегося с работы отца, шестилетний Вовка Рябинин мог метров за двести не только определить его состояние, но и предугадать дальнейшие события. Если мать была в избе, а папа Лёша являлся в сильном подпитии, начиналась громкая разборка. Ругалась больше мать. При этом она обязательно лихорадочно что-нибудь делала: мыла пол, стирала или растопляла у крыльца печку-прачку. На этот раз, к Вовкиной радости, матери пока дома пока что не было.

– Пап, а пап, а давай гидравлику у моего самосвала с тобой проверим, – снова зачастил парнишка. – Ну, полдня ремонтировал, не получается... – Вовка прибавил пару слов кучерявым заветлужским матерком.

– Слушай, а что это ты, шплинт, раздухарился? – отец поставил Вовку на пол и, с трудом поднимая веки, попытался строго взглянуть на сына.

– Да, а сам вчера пьяный мамку как обзывал!

Настроение у младшего Рябинина стало портиться.

Отец вдруг прижал его к себе и стал гладить по стриженной лесенкой головёнке широкой и шершавой ладонью с прибитым, фиолетовым ногтем на большом пальце.

– Папуль, а папуль, – вновь повеселевший пацан как волчок закрутился вокруг отца. – Ну, давай самосвал вместе поремонтируем.

Матерные слова он выговаривал чисто, простые же иногда перевирал и смешно картавил.

Он схватил отца за руку и стал тянуть к выходу с кухни на веранду, где был его собственный гараж. Вовка знал, что эти большие, пахнущие горячим железом и соляжкой ладони могут всё: и подбросить его высоко-высоко, и ловко орудовать здоровенной кувалдой, и нежно и бережно отбирать из груды металлического хлама совсем маленькие железки. При этом казалось сыну, что мякиши прибитых и поцарапанных папиных пальцев, как магнит, притягивают совсем крошечные винтики и гаечки. И сейчас он предвкушал совместную возню на веранде над его любимой игрушкой «камазом»-самосвалом.

Игрушек у Вовки было много, и они быстро надоедали. Но трёхцветный «камаз» с широким блестящим бампером и почти настоящими стеклянными фарами был его любимцем. Купили они его с родителями в большом райцентровском магазине. А самое главное – уж очень он был похож на тот, на котором ещё не так давно подъезжал отец к дому, а иногда и брал Вовку с собой в ближние рейсы.

Папа Лёша неуверенно встал с табуретки. Вовка, продолжая одной рукой тянуть его за собой, другой открыл дверь в коридор. Усадив отца на низенькую скамеечку, он стал разбирать свои сокровища. Любимая машинка стояла на самом почётном месте, в уютном уголке. Вовка подкатил игрушку к ногам отца, поднял глаза и понял, что ничего у него сегодня не получится. Обмякнув на скамейке, тот спал, облокотившись на старую стиральную машину.

Вовка решил на этот раз не пытаться растолкать его и проводить до кровати. Он ещё чуть-чуть надеялся на то, что до прихода матери отец проспится и они ещё займутся сломанным «камазом».

С улицы, от калитки послышался радостный визг Найдды, беспородной, но самой умной в мире, как считал Вовка, собачонки. Ничего радостного этот визг ему, однако, не предвещал. Скрипнула калитка. Это означало самое страшное, что могло случиться на этот момент – мать возвращалась от автолавки, которая завозила в деревню Сосновку хлеб. Сын мигом по надёжной деревянной лестнице заскочил на чердак.

Чтобы не обнаружить себя, парнишка осторожно прошагал по рассыпанным по всему чердаку опилкам, прополз под двумя толстенными брёвнами переводов и наконец достиг своего убежища. Подготовил он его скрытно за последние три дня, сначала не признаваясь себе, зачем. Он мог спрятаться так, что его никто бы не мог найти целый день или даже два. А в своей избе приготовил тайник как раз на такой случай, как сегодня.

Во время одного из последних затяжных скандалов, сидя в уголке, на веранде, вдруг остро и пронзительно ощутил он, что никому Вовка, знать, и не нужен. Размазывая слёзы и сопли по лицу, долго не мог проглотить твёрдый комок, застрявший в горле. Будто подавился яблоком, диким и неспелым. Вот тогда и решил устроить себе укрытие. Всего-то надо было подыскать из обрезков две одинаковой длины доски, чтобы сделать надёжную крышу, и ещё одну, покороче, чтобы закрыть лаз. Сверху доски присыпал опилками. Внутри получившегося большого пенала расстелил Вовка свою куртку и два больших полиэтиленовых пакета.

Постепенно перетаскал к себе самые необходимые и любимые вещи. В первую очередь, кусок старого байкового одеяла в синюю и белую клеточку. Оно сохраняло ещё запах материнского молока и детской коляски.

Когда был маленьким, Вовчик без него не засыпал. Прихватил с собой тонкую книжку про всякие машины с большими цветными картинками, складной ножик с наклейками на рукоятке и два самых надёжных пистолета. Не считая всякой мелочи: гвоздей, стекляшек и шайбочек – это были главные вещи, без которых он не представлял свою жизнь. Надо было взять сюда ещё и любимый «камаз», но прежде хотелось его отремонтировать.

Прикрыв за собой лаз, натянул на голову капюшон от куртки и стал листать книжку. Луч карманного фонарика косо падал на картинки. Вовка даже попытался пальцем дотронуться до него, таким он казался ему плотным и твёрдым, будто состоящим из тысяч спрессованных мельчайших солнечных пылинок.

Он не вслушивался в крики и перебранку, доносившиеся из дома, и твёрдо решил вниз, туда, «к ним», больше не спускаться никогда. Пусть поищут. Вот умрёт он здесь, и ему сколотят гроб, только не такой большой, как соседу дяде Мише, разбившемуся на мотоцикле, а маленький. Вовка вдруг ясно и чётко представил себе, как обитый малиновой материей гробик сторожит печальная Найда.

Стало очень жалко себя. Реветь вслух было нельзя. Молча сглатывал обильные слёзы. Вскоре из его убежища слышались лишь затихающие всхлипы.

Он часто летал в своих иногда грустных, но всегда таких желанных снах-мечтаниях.

Сегодня Вовка будто бы оттолкнулся от высокого берега реки Люнды и взмыл над таким неуютным сереньким осенним миром. Любые мечты свершались немедленно и в точности. Сердце бешено колотилось, дышалось через раз, но он был счастлив все секунды полёта.

Он путешествовал по иным мирам, но одновременно и видел себя здесь, на чердаке, пахнушем сосновыми опилками и крашеным железом крыши.

В частых домашних разборках пацан всегда был на стороне матери. Вот она уже громко зовёт его, ищет. Обида на отца, такого надёжного и доброго, когда он был трезвым, обида пронзительная, вызывающая щекотку в носу и прерывистое дыхание, овладевала им.

А в последнее время, когда отец грозился и ударить мать, становилось Вовке ещё и очень страшно. Страшно оттого, что сам он готов был кинуть молотком или толкнуть тот же игрушечный, но тяжёленький «камаз» в заплетаются ноги родителя, обутые в нечищенные кирзачи. Ему казалось, что после этого тот провалится в глубокое подполье избы, прямо на рядок трёхлитровых банок с вареньями и соленьями

Думалось иногда пацану, что смогут, наверное, они с мамкой и без отца прожить. Посobie за кормильца получать будут, как две соседские девчонки Катюха и Ленка. За хлебом он и сам ходит, да и картошку пожарит. Колку дров тоже осилит. А уж любимую собачку Найду найдёт чем накормить. И всё вроде бы в его планах сходилась ровно до того момента, пока не задавал себе вопрос:

– А куда же папка-то денется?

Нет-нет! И тут же раздражался Вовка свежим приливом слёз, до громких всхлипов.

И на этот раз спрятаться от всех надолго у «партизана» не получилось. Мать быстро вычислила его лежанку и позвала в избу. Она очень любила своего Вовчика.

Мать

Анкаголик. Это слово жена Лёхи Рябинина, коренного жителя заветлужской деревни Сосновка, выговаривала именно так, и никакой ошибки тут искать не надо. В разных житейских ситуациях оно звучало из её уст в адрес супруга по-разному. Изредка бывало, что даже без большой ругани и скандала. Почти ласково. На выходе из запоя, в самой переломной точке, видя несусветные его мучения, Зинаида придвигала всё-таки к Лёхиным не находящим покоя рукам стопку спиртного и выговаривала: «Пей, да не захлебнись, анкаголик ты мой несчастный!» И получалось это у неё и ласково, и ругательно одновременно. Смирный и благодарный, конечно, не за эти слова, а за два-три глотка спасительной на сей момент самогонки, Лёха в очередной раз зарекался без всякой «зашивки» «не пить, насколько сил хватит».

И ещё он был благодарен супруге, когда она не «продавала» его, не сообщала дочке, которая работала медсестрой в городской больнице, о том, что папашка брякнулся в очередной запой.

Терпения хватало на месячишко, не больше. Но этот благодатный период был таковым не только для Рябинных – Зинаиды и сына, шестилетка Вовчика, – но и для всей деревни, так как был Лёха в свои сорок с небольшим

лет незаменимым работником. И слесарем, и электриком, и плотником. А к тому, что окликали его сосновцы неполным именем, он уже давно привык. Авария ли на водопроводе, замыкание ли где в электросети случится, большого ли есть нужда доставить до райбольницы – во всех подобных случаях все спешили за помощью к Алексею Никандровичу Рябину.

Районные начальники также обращались к нему, будто был он штатным бригадиром или старостой, но денег, конечно, не платили. Но в последнее время стал он «вздывать на каменку», выпивать то есть, слишком часто и круто.

Если нужда в его услугах возникала в ставшие стандартными недельные запои, всем просителям Зинаида Рябина отвечала негромко, но твёрдо:

– Нет Лёхи. Был да весь вышел, – и всем было всё ясно и понятно. Если терпится, надо было ждать, когда мастер «поправится».

Все понимали, что запой, как обложной дождь, надо просто переждать. За годы после развала местного колхоза многих нестарых ещё мужиков поистребили аптечные «фанфурики», водка бодрящая, спирт «Роял» и прочие стеклоочистители. Время было такое. Многие лавочки-киоскёры спешили сколотить первичный капитал. Капиталец-то скопили, а мужиков не стало. Конечно, сами же бывшие колхознички и виноваты. Молча, с пониманием и без осуждения своих спившихся земляков воспринималось всё это остающимися в живых. И постепенно становилась Сосновка деревней старух.

Из «мелких», детишек то есть, в зиму и оставался в деревеньке только Вовка Рябинин да две девчушки. Летом «вытаивали» дачники и привозили пацанву из городов к бабушкам на каникулы.

А этой осенью свершилось с Лёхой Рябининым настоящее чудо. Без кодирования и, похоже, надолго, если не навсегда, бросил он пить. Если бы на сей счёт была бы предложена анкета, то на вопрос: «Почему Никандрович так резко стал убеждённым трезвенником?» – он, кажется, должен был ответить: «По медицинским показаниям». Но про себя, в уме мужик держал всё же другие соображения.

Случилось так, что в одну из ночей особо тягостного бодряного похмелья приплохло Лёхе нестерпимо. Ломать и корёжить руки и ноги стало всяко и разное, а левые конечности становились ватными и совсем чужими. Он сопротивлялся, шепеляво матерился.

Зинаида вызвала скорую. Из районной больницы отправили страдальца транзитом до городского сосудистого центра. Был месяц ноябрь, лепил мокрый снег. Внутри больничного «уазика» было сыро и холодно. Медики разрешили Зинаиде сопровождать мужа до приёмного покоя. Лёжа на брезенте носилок, Лёха всё пытался ей что-то сказать покосившимся ртом. А она не впервой угадывала его желания без всяких слов.

Скорая резко затормозила. Водитель, чертыхаясь, попросил медсестру почистить снег с лобового стекла: забарахлили дворники. Оставшись наедине с мужем, Зинаида выхватила из кармана куртки баночку из-под детского питания, быстро свернула крышку и поднесла посудинку к Лёхиным синюшным губам. Они ещё не раз останавливались чистить снег, делали пациенту укол в вену, но всего этого Лёха уже не помнил.

Сидевшей в изголовье жене хотелось бежать впереди скорой, чтобы спасти его. В мутном окошке «уазика» в эти тягостные минуты высветились для неё и годы соседского деревенского детства, и школьная парта, за которой они с Лёшенькой сидели рядышком, и много ещё чего сокровенного и дорогого только им двоим...

В палате интенсивной терапии через пару дней пояснили Лёхе, что, опоздай он минут на десять к врачам, «деревянный бушлат» пришлось примерить бы непременно. В лучшем случае (в лучшем ли?) лежал бы бревном неподвижным. Повезло, а может, Бог помог, только ведь оклемался болезный. И рука, и нога зашевелились, и вскоре встал Лёха на ноги. И что бы врачи ни толковали, он-то точно знал, кто его спас – жёнушка его родная. Если бы она в дороге не влила в его горящее, но уже остывающее нутро живительную влагу из баночки, крандец ему был бы неминуем. Благодарен он своей Зинаиде по тот самый гроб жизни. Запой как рукой сняло. Тяга к «фанфурикам»

и прочей дряни исчезла напрочь. Сама же Зинаида на его намёки лишь загадочно и счастливо улыбалась. И кто её знает, что было в той баночке с розовым яблоком на этикетке. Может быть, крепчайшая, как кованный гвоздь, самогонка, а может, и святая светлоярская водица.

Вовка

А через год с небольшим, когда Володька Рябинин уже и не играл отремонтированным «камазом», собрались они с отцом на зимнюю рыбалку. Сын заботливо накормил Найдю, которой тоже очень хотелось бы прогуляться подальше от избы. Но мужики Рябиныны оставили её сторожить хозяйство. А вот кот, к ещё пущему возмущению Найдю, увязался за ними.

Крупный, дымчатый, с простецким уличным именем Васяга, был котяра равноправным жильцом рябининской избы. Он никогда не мешался под ногами, был степенным и обстоятельным. Его зеленоватые, малость косящие, плутоватые гляделки-блюдечки с узенькими чёрными зрачками, и будучи прищуренными, всегда и всё держали в поле зрения. А влажный носик – и в зоне обоняния. Даже пребывая в глубокой дрёме и тарахтя, как тракторок, Васяга всё слышал и чуял.

От крылечка до заросшего тальником берега Люнды было рукой подать. Карасики и плотвички, хоть и мелковатые, частенько тревожили мормышку. Навытаскивали их рыбачки из двух лунок, по строгому Вовкиному счёту, двадцать две головы, или хвоста.

Васяга не торопился уничтожать улов. Он только разговелся свежатинкой, с урчанием расправившись с двумя золотистыми попрыгунчиками. Остальных сторожил с расчётом на домашнюю трапезу. Да и не от кого сторожить-то было. Лишь одинокая сорока хлопотливо трещала поодаль. Правда, она, подозрительно сужая круги, всё же подбиралась к удачливым рыбакам. Вовка будто забыл про удочку и с настороженным вниманием следил за сорокой и Васягой.

Иссиня-чёрные грудь и спина птицы, с зеленовато-металлическим отливом по обреза крыльев, ярко высвечи-

вали её белоснежный живот. Все эти цвета причудливо переливались в косых лучах выглянувшего вдруг стылого солнышка.

Васяга сторожко уставился своими глазищами на неожиданную гостью. Застыл в изумлении от её яркого наряда. Потом по-тигриному, или, собственно, по-кошачьи, прилёг на свой солидный животик и стал осторожненько, из-за отцовской спины, подкрадываться к воровке. Вот он замер за линиялым рюкзачком, перебирая задними лапами.

Оставался всего лишь один прыжок до, кажется, ничего не подозревающей пернатой нахалки. И... Раз! Прыжок тигриний! И... мимо, конечно! Строгий сорочий зрачок отслеживал всё до мгновения, и его счёт был более тонкий и тщательный, нежели у Васяги, раздобревшего на домашних харчах.

Пока кот охотился, обползая сидящего враскоряку Лёху Рябинина, пернатая нахалка в два прыжка с подлётом и уже и с издевательским щебетаньем стибрила из снеговой ямки пузатенькую плотвичку.

Вовке одновременно было и жалко рыбёшки, и страсть как интересно наблюдать за котиком и сорокой-воровкой. Ну никаких мультфильмов не надо!

Если бы Васяга имел способность краснеть от стыда, в эти секунды стал бы он малиновым от кончиков ухоженных усов до самого кончика хвоста.

– Что, знать, промазал, деляга?

Папа Лёша спрятал горящую спичку в объёмистый лоток своих прокопчённых ладоней и прикурил сигарету.

– Нет, милый, это тебе не с печной лежанки к Вовке на колени переползать, – проворчал он ласково. – Без труда не выловишь и рыбку из пруда! Чтобы эту пройдоху словить, надобно тощим да злым от голода сделаться. Она же заранее все твои манёвры предугадала. Да и не жаль. Пусть рыбёшкой побалуется, а мы ещё словим.

Васяга с виду будто вынужден был согласиться с хозяином. Но сам для себя, переживая приключившийся конфуз, исподтишка как бы помышлял:

«Пусть ещё хоть разок явится эта пеструшка-поскакушка. Уж я её блескучий хвостик-то повыдеру!»

Он успокоился. Присел за рыбацким ящиком с подвешенной солнечной стороны и усердно начал «намыывать гостей». А вскоре и вовсе сладко задремал. Да так сладко, что даже забыл свой малиновый язычок на улице...

Вовка с отцом возвращались с рыбалки. За ними след в след, осторожно ступая и подёргивая лапами на острых льдышках, шествовал Васяга.

В первый день каникул приехала из города Вовкина сестра Валюха. Приближалось Новогодье.

Мальчишка уже почти и не верил в Деда Мороза. Думал, что это просто красивая сказка. А вот во всякие другие чудеса ему очень хотелось верить.

Но перед самым Новым годом начинал сомневаться он и в своём отношении к Деду Морозу. А вдруг всё-таки там, далеко-далеко, на его заснеженной родине, в Великом Устюге, есть он, настоящий и один на всех. А здесь, в селе, тот неправдашний и далёкий просто разрешает надевать дедморозовский костюм учителю физкультуры Виктору Евгеньевичу. Ведь можно же позвонить по сотовому телефону и объяснить, кому какие подарки дарить. Вовка даже представлял себе телефон Деда Мороза. Он должен быть особенный. Не ледяной, но прозрачный, мигающий разноцветными лампочками. А кнопки на нём будто белые затвердевшие снежинки, и все разной и сказочно-красивой формы. А ещё играет тот телефон мелодию всем известной песенки «В лесу родилась ёлочка». А подарки можно прислать и рейсовым автобусом или на аэросанях. Такие ещё по телевизору недавно показывали.

В этот Новый год мечтал мальчишка получить один заветный подарок. Мечтал он о настоящих хоккейных коньках, и только о них. Он и зиму любил больше потому, что можно было играть на льду и забивать в ворота шайбу, как Александр Овечкин. В канун праздника Рябиныны всей семьёй пришли на Светлояр – чудесное озеро, которое располагалось совсем рядом с деревней. Когда Вовка был ещё совсем маленьким, бабушка рассказывала ему историю про одного старика. Будто бы пошёл этот старик летом на рыбалку. Где-то здесь, на Люнде, рядом с озером и рыбачил. Сидел-сидел, да всё без толку, ни одной поклёвки. Обидно стало, что ни одной рыбки не поймалось. Сел он на бережок да пригорюнил-

ся, а корзинку пустую рядом поставил. И подумалось ему: «Хоть бы старики китежские помогли». Не успел подумать, как дремота на деда напала, глаза так и слипаются. Очнулся он, открыл глаза, глянул в корзину, а она полнёхонька шук, линей да плотвы. Вот решил и Вовка попросить у китежских старцев новые настоящие хоккейные коньки на ботинках.

Воскресный день был тихим, морозным и на удивление солнечным. Озеро в этом году уже в конце ноября крепкими морозами было заковано в крепкий лёд. А теперь вся его круглая белоснежная впадина будто сравнивалась и с небом, и с горой, на которой блистала золотистым крестом деревянная церковка. Рябиныны молча, как и положено, прошли по заснеженным деревянным мосткам полный круг вокруг озера, мысленно повторяя свои просьбы и молитвы китежским старцам.

Серебристые дорожки в открытом пространстве между сосен так и манили пройтись вслед за уходящим к горизонту светилом, но снег в перелесках был уже глубокий. Хорошо дышалось чистейшим и всё более прохладным воздухом. По нарядной от пышной бахромы инея берёзовой аллее к дороге они выходили уже быстрым шагом.

Ещё когда вбегал на крыльцо своей избы, Вовка уже знал, что маленькое чудо случилось. Так ему было спокойно и радостно. На столе, покрытом цветастой клеёнкой, красовалась большая картонная коробка. На ней были две красивые и блестящие буквы: «С» и «К». Это были коньки лучшей спортивной фирмы России – «Спортивная коллекция»...

На следующее утро Вовка уже примерял коньки у крыльца. Папа Лёша расчистил ему небольшую площадку и залил её на ночь водой. Найда повизгивала от радости и всё пыталась лизнуть блестящие ботинки с фирменными наклейками. Позавтракавший рыбёшкой Васяга с верхней ступеньки приступков наблюдал за домочадцами.

До весны было ещё далеко, но Вовке Рябиныну казалось, что она уже где-то рядом. И был парнишка уверен, что природный расцвет принесёт ему только радость.

ДЯДЯ ВОЛОДЯ

Дядя Володя Петрунин был соседом нашим в родимой деревушке Медведихе. Отчего её так называли, сейчас уж никто и не скажет. Может быть, в стародавние времена и шумел здесь сосновый бор, зверья всякого, как грязи на просёлке, было. Может быть. А сейчас не то что топтыгиных кривоногих в сосняке – перелеска тощенького в округе не сыщешь.

Есть в версте от двух десятков пригорюнившихся изб урочище Опалёво. Вот там курпажины орешника – лещины вцепились корнями в глинистые бугры да склоны оврагов. А в Киселёвском долу летами ковыль по коленкам метёлками хлещет.

Так вот, сосед по избе, где я вырос, был первым, кто подошёл ко мне погожим и росным сентябрьским утром-ранником, когда растоплял я у нашей бани печку-прачку. В низине, за кривым рядком мазанок, по берегу речушки Курач медленно проплывали обрывки ночной туманной простынки.

Я кипятил воду для супа на поминки. Накануне поздно вечером мы с братом и сестрой заехали в нашу уже нежилую избу, чтобы справить обряд поминовения по маме, рано ушедшей на Орловский погост.

Это сейчас, при бедах и горестях, обращаясь к облакам, я задаю вопрос:

– Для чего?

А тогда ещё, надо признаться, с горькой обидой вопрошал:

– За что?

Всё потому, что на одном году мы потеряли среднего брата и маму.

Это было время, когда в сельмагах на полках не наблюдалось ни сигарет, ни водки, ни даже стирального порошка. И в помине таких товаров не было. Легче сказать, что было. Мыло, соль и спички. Мыло, кстати, тоже вскоре пропало. Да, иногда ещё баночную кильку в томате завозили. Забыл, ещё рыба, замороженная едва ли не в предыдущей пятилетке, иногда была. Хек называется.

Водку казённую сам первый секретарь райкома распределял. Каждая бутылочка со счёту продавалась. И только по запискам со штампом КПСС оделяли крайне нуждающихся. А тут – поминки. Куда уж крайней? Не нами заведено под стопку спиртного поминать усопших, не нам и нарушать этот порядок. Иначе от людей неудобно будет. Но, видать, не вышла должностью наша мамочка, чтобы на помин её души местные власти милостливо водки продали. Всю жизнь, ей отведённую, резиновыми сапогами и летом и зимой месила она навоз на колхозных телятниках да свинарниках.

Привезенные нами пяток бутылок крепкой, как гвоздь с наковальни, самогонки под мою ответственность были припрятаны в предбаннике под навесной замок.

– Здорово, Павлух!

Дядя Володя присел на чурбак.

– Что-то ты, шабёр, в последнее время частенько эту печку затаганиваешь, ёшь твою в медь!

Он меня почему-то шабром называл, хотя наши избы и не стояли окна в окна. Родовая изба моя всеми наличниками была выставлена ровно на солнечную сторону и как бы выпадала из общего ряда завалинок. Наверное, поэтому.

Я поручкался с соседом и предложил ему сигарет «Прима». Да ещё назвал его по отчеству. Вместе взятое, это и было для него лучшим угощением.

Хотя по помятому обличью земляка, заметному мандражу его отполированных плотницким топорищем огромных ладоней и густому сивушному выхлопу усвоил я, что для полного утреннего счастья нужен соседу стопарик того самого напитка банного разлива. Он намекал на то, что в последний

год мы только и приезжали в деревню, чтобы помянуть брата, а теперь вот и сорочки мамы подросли.

– Так ведь, Владимир Фёдорович, надо нам маму помянуть.

– А как же, Алексеич, дело святое! Царствия небесного Нине Сергеевне, покойнице. Чего плохого скажешь, жили мы как родные, делить нечего было.

Сосед деловито припрятал сигарету куда-то за ухо, под военного образца картуз, оголив при этом большой лысый череп с остатками реденьких пегих волос на висках. А из своей «козьей ножки», свёрнутой переломленным кулёчком из обрывка газетной бумаги и добротной прослюнявленной, он выдал изрядное облачко до удушья ароматного самосада первой нарезки.

– Оно ведь, Павел Алексеич, – и он меня величать принялся, – оно ведь что обидно? Рано, конечно, рано матушка ваша убралась. Жить бы да жить ещё. Это всё так. А ещё обидней то, что малость и окортомились сейчас колхознички-то, жить посправней стали. Евсей-то Иваныч, председатель нашего «Завета Ильича», хоть и прибористый для себя дядюня, а всё же и нам кормиться позволяет. Давно ли зарплату деньгами ни рубля не получали? Правда, в этом году опять принялись правленцы то овсом, то ещё кое-чем расплачиваться. Пенсии опять же задерживать собес на пару месяцев навадился. А всё одно, я думаю, что в городе вам тяжелее, чем нам в Медведихе. Я вот, не хвляясь, скажу: два десятка гусей на околицу выпроводил утресь. Хряк опять же вон гнусит, хлевушок на крепость проверяет. С огорода сейчас вот помидоров лукошко принесу. Ага, у нас она ещё на грядках вызревает. Картошку опять же копать начали. Крупнуца! С полугребня по корзинке выходит. И то скажешь, больно-то хорошо не жили и привыкать не хрен. А сами себя прокормим. Только бы войны не было. Слыхать вон, в Москве митинги собирают, на революцию зовут. А я так считаю: картоху копать надо. А Миша Меченый да ЕБН пущай повыкобениваются. (Это он про Горбачёва с Ельциным.)

Дядя Володя с кряканьем и пуканьем натужно закашлялся. Отдышался немного и слезящимися ещё глазами

вдруг глянул мне в глаза чуть по-хулигански и откровенно вопросительно.

– Да есть, конечно, как не быть! – отвечивал я почему-то шёпотом. – Сей момент накапаю.

Мой собеседник виновато засуетился, быстро затушил окурок и на пару шагов отошел было за угол бани.

Ну и хитрован же! Я вышел из предбанника с початой бутылкой самогонки и позвал его. Получалось так, будто я его настойчиво приглашаю. А он будто бы ещё и не сразу соглашается:

– Ну так, говоришь, по маленькой-то можно?

– Можно и нужно, дядь Володь!

– Ну, коли так, давай взданём на каменку. Только – самую малость. Я ведь с утра никогда ни капли. Ни-ни. Моей-то, чай, у крыльца не видать? Тогда давай, Алексеич, выпьем за помин души матушки вашей, Нины Сергеевны!

Сам я тоже отхлебнул огненного банного напитка. А он заторопился к дверке своего огорода, сплетённой из орешника и таловых прутьев.

Сестра развесила на бельевую верёвку какие-то одёжки и вновь ушла в избу. Брат уехал в село договариваться с бабулей, которая умела читать Псалтырь. А я оставался кашеварить у печки-прачки.

Не прошло, наверное, и часа.

– Вы-то думали, что свежи, глянь, а это всё те же, – тот же дядя Володя, следуя из огорода, заглянул ко мне на дымок.

Он выглядел повеселевшим, домовитым и заботливым. Казалось, что даже чуть разгладились глубокие морщины на его грубоватой выделки лице. Крупный нос, толстые губы, широко посаженные блёклые глаза со светлыми ресничками – всё в нём исходило само благополучие.

– Слышь, Алексеич, вот глянь, картоха какая уродилась.

Средней величины клубни в его корзине с пятнами жирной землицы не вызвали у меня особого восторга, но пришлось согласиться, что урожай отменный. Сосед поставил на брёвнышки корзину и лукошко с помидорами и парой пожелтевших огурцов и присел на тот же чурбак.

– Моя-то в сельмаг по хлеб, вижу, умыкалась, – почти радостно доложил он, – а я вот твою пшенисную примину тут посмолю. Чай, не помешаю?

– Да что ты, Владимир Фёдорыч? Ни в коем разе.

По дороге вдруг, истошно сигналив, пропылили увитые цветными лентами и шарами два жигулёнка и чёрная «Волга».

– Ты глянь, Павлух! Женюшка Зёрин из Сквознова сына женит, – пояснил мне дядя Володя. – Сегодня ведь суббота. Ну точно, сынок его к родителям завернул. В райцентре целых три ларька Венька-то Зёрин держит. Жвачкой, «Сникерсами», «Марсами», спиртом «Роялем» и фанфуриками аптечными торгует. Дочку начальника милиции сосватал. Ишь как разгуделись!

– Лексеич, а у нас с тобой, чай, нет ли остаточка? –

– Да как не быть!

Сосед выпил уже не таясь, степенно и со вкусом. Закусил огурцом, предварительно обтерев его рукавом болоньевой куртки. Слушать его мне не хотелось, но деваться было некуда. И я поначалу лишь делал вид, что мне интересно всё, что слетало с его порядком развязавшегося языка. А потом смирился и, спасаясь от тягостных своих размышлений, стал нехотя поддерживать его трепотню.

– Нет, Лексеич, мы раньше не так женихались.

– И как же?

– А ты слушай знай!

В голосе его уже появились начальственные нотки.

– Вот, к примеру, это самое слово «секс» мы в свои годы молодые даже и не слыхивали. Это сейчас вон в газете «Спид-Инфо» всё поясняют.

– А ты, Фёдорыч, выписываешь её, что ли?

– Да нет, что ты! Так, нечаянно на сдачу в райцентре подали. И ведь что интересно, ёк макарёк! Названия такого мы и знать не знали, а ребяташки, вот и вы, к примеру, как таракашки плодились. Зато теперь по телевизору сызмальства этому делу обучают. Нет, у нас по-другому всё происходило...

Я следил за варевом, время от времени подкладывая щепок в топку печки-прачки.

Дядя Володя был ещё не пьяный, но уже изрядно «хлестнёный», как говаривали в Медведихе. Речь его ещё не была путаной. Повествовал он вдохновенно и с видимым удовольствием:

– Ну так вот, сенокосничали мы, помнится, на заливных лугах по реке Пьяне. Автобуса в колхозе тогда и в помине не было. Утюкают, бывало, нас, «медведят», в два бортовых «газона» с наставками, и закачаемся мы по кочкам да яминам. Держаться-то не за что. Вот поневоле и приходилось обниматься и прижиматься друг к дружке. А одёжка сенокосная известно какая – почти нагишом и женатики, и холостые, и девки с бабами. Разок, глядишь, съездили, поутряслись да ещё пару раз...

Фёдорыч хитренько ухмыльнулся, выдержал паузу, прикурил потухшую сигарету и продолжал:

– И весь тебе тут «Спид-Инфом». И всё понятно делается, где чьё место в кузове. Будто бы нечаянно, а так и сбивались по парам девки да парни. Как говорится: «Хороша парочка – баран да ярочка».

И я со своей так же снюхался... С полчаса, может, ещё из сельмага не притащится... Ага, прижался я к ней плотнее, чем можно, и на ушко кое-чём шепнул.

Собеседник мой задумался и чуть посмурнел лицом. Но только на пару секунд.

– Эх, бляханцы! Вот жись так жись была! И ночевать доводилось на приволье, у стожка да у костерка, после ушицы из карасиков и огольцов. Не то что сейчас! А вечеряной, после ужина, молодняк, и женатый, и холостой, от стоянки как ветром сдувало. Будто в тумане охлёстки растворялись. По осеням, как повелось, свадьбы играли. Ну а к следующему сенокосу в бригаде и пополнение поспевало. Трое-четверо, а то и пяток «сенокосников» лаёжных по крыльцам елозили...

Угощение на поминальный обед между тем сготовилось. Дядя Володя спохватился, посетовал на то, что заболтался совсем со мной, а дел у него непочатый край. Принял на один глоток ещё стопарь и нетвёрдой уже походкой, но с гордо задранной к солнцу головой пошагал к своей завалинке. Картуз он почему-то нёс в руках,

наверное, потерять боялся. Голый череп моего соседа, как алюминиевый тазик, блестел на солнце.

И тут из-за закладного бревна бани появилась она – чёрная собака. Подумал я, что это дым глаза защищал. Помигал, нет – стоит, выгнув шею, крупная собака аспидно-чёрного окраса с густой и жёсткой шерстью. Небольшая чёрная же бородка придавала ей неопрятный вид. Широкий череп, квадратная морда. Бровей нет.

И главное, стоит и не двигается, на меня уставилась. Нет-нет, главное – то, что словно погнало крупных мурашей по моему телу от левой пятки до самой маковки, – у псины были человеческие глаза. Неистово злобные и беспощадные. Черпанул я уполовником кипящего жирного бульона и плеснул ей в эти самые гляделки...

Сестра после ещё ворчала и удивлялась, как меня сподобило заляпать супом братову совсем ещё новую рубашку с модными тогда блестящими пуговицами.

Поминальный обед проводили в две смены. Всё в соответствии с местными правилами и традициями. Первое – мой суп из свинины – все ели да прихваливали. Спиртного выпили мало. Лишь один мужичок – бобыль из крайней избы попросил налить по третьей и замурлыкал было припев из песни «Миллион алых роз». Но старушки зашикали на него, и он ретировался на проулок.

Действо подходило к завершению, когда меня кто-то срочно позвал на улицу.

– Паш, там из милиции приехали. Рейд. Самогон ищут.

Я за порог метнулся. Узик милицейский у крыльца стоит. Мент – мужичок невзрачный, с кобурой на боку. Рядом женщина. Молодая, дородная. Корочками малиновыми размахивает.

Я – к ним. Что, спрашиваю, случилось. Как сейчас помню, у дамочки депутатский значок был приколот не на лацкане кожаной куртки, а там, где как раз титька выперла.

Рейд, говорит, мы проводим. По выполнению антиалкогольного указа Горбачёва. И ещё что-то начитывать мне стала.

Вот тут что-то на меня и наехало. Как осенило: ведь это и есть она самая, собака чёрная утренняя. Глаза-то точно её!

Схватил я в хлевушке вилы навозные и пошёл с ними на депутатку. Задеть-то я её не задел, а вот шлепок говённый на беретик ей налепил. А милиционер в сторону отскочил, морду лица от людей всё отворачивал. Говорят, заметно хлестнёный был.

Хоть и визжала эта сучка кожаная, что посадит меня и сгноит в тюрьге, ничего мне впоследствии не было. Может, кто слово замолвил. И тогда ведь всякие люди были.

А сосед мой, дядя Володя, на поминки не попал. Тётка Валя, жена его, пояснила, что уработался хозяин на копке картошки, ноженьку правую разломило до невозможности.

РЫЖИЙ

Дразнилка «Ёжик» будто перевелась вместе с Максимкой и его ровесниками из детсада в Нелидовскую поселковую школу.

Были среди «мелких» и Лиса – девочка, которую звали Алисой, и Волк – Вовочка Зверев, и даже Рэмбо – не по годам физически развитый и нагловатый Данька Ремезов.

Максим Зотин, или Макс, как его чаще называли, ещё и Ёжиком стал после новогоднего концерта для родителей, на котором он под фортепьянный аккомпанемент воспитательницы Галины Геннадьевны исполнил песенку-загадку про ёжика:

На лужайке колобок,
У него колючий бок...

Последними словами песенки были «Потому, что это...» На этом исполнитель в костюме колючего зверька замолчал, а вся группа малышни с восторженным энтузиазмом оглушительно выкрикивала отгадку: «Ёж!»

Не очень и обидным было прозвище, но по мере взросления мальчишка стал его стесняться.

Музыкальные и певческие способности были обнаружены у него мамочкой Анечкой, ещё когда он чисто и слова-то не все выговаривал. Смех окружающих, умиление и, конечно, аплодисменты вызывало исполнение голубоглазым, большеголовым и «лысоватым» трехлеткой пугачёвского шлягера «Миллион алых роз», услышанного им

из телевизора. Единственным недостатком исполнителя было то, что в завершение номера на его глазки, отороченные длиннющими, как бабочкины крылья, ресницами, наворачивались крупные, с горошину, слёзы. Видно, уж очень жалко было Максимке бедного художника из песни.

Вырос он до шестиклассника, не слыша дома грубого или, не дай бог, матерного слова. А в школе или на улице этого добра было хоть отбавляй. На переменах и даже, при возможности, на уроках грязные словечки из ангельских уст мальчишек и девчонок вылетали почём зря. Но каким-то образом они миновали Максима.

К этому времени он стал симпатичным подростком с коричневыми мягкими волосами, чуть вздёрнутым носом и большими, доверчивыми серо-голубыми глазами.

И ещё он был во многом не таким, как большинство одноклассников.

Заканчивалась первая учебная четверть. После урока информатики Максим подошёл к учительнице, молодой, красивой и строгой dame Ксении Вячеславовне, и спросил:

– А вы не обидитесь, если я сдам вам задание вот в таком вот виде?

– Да в чём дело, Зотин?

– Вы знаете, я немного перепутал знаки, и пришлось подтереть в двух местах ластиком.

– Ну ты и дипломат, Максим! – Ксения Вячеславовна оторвала свой взгляд от классного журнала.

– Да не дипломат я, – чуть обиженно возразил ей ученик. – Я только немножко неряшливо выполнил задание.

– Ну и что мне теперь с тобой делать?

– Да ничего не надо делать. Я обещаю, что исправлюсь.

– Ну хорошо, давай тетрадь и иди в столовую, все уже убежали...

Из всех дней недели Максиму больше всего нравились вторник и пятница. В эти дни он сразу после школьных уроков торопился в школу музыкальную. Там он пел в хоре, участники которого были из других классов и из других школ. Его частенько ставили впереди всех, и он солировал, был запевалой. Когда он своим чистым и звонким голосом выводил без музыкального сопровождения:

«Слышу голос из прекрасного далёка...» – то, конечно, «сам себя видел». К тому же в хоре никто его никак не обзывал.

В эту пятницу после уроков ему сильно захотелось в туалет. Выпитые в столовке два стакана компота просились наружу. За расхлябанной, в несколько слоёв покрашенной и местами облезшей дверью он нос к носу столкнулся с Рэмбо и ещё двумя пацанами из седьмого класса.

Рэмбо, он же Данька Ремезов, с ходу стал приставать и обзывать:

– А Ёжик песенки петь собрался! Ну-ка, ежик колючий-вонючий, снимай штаны и спой нам здесь! Ну, давай!

Уборная огласилась хохотом. Максим же не умел драться. И это все знали. Он молча, бочком протиснулся к писсуару.

– Ты чего, оглох, что ли? Пой, тебе говорят! – не унился Данька.

Одобрямый кучерявыми матерными словечками приятелей, одноклассник Макса входил в раж. На этот раз перед мальчишками, которые были чуть постарше, ему хотелось оправдать свою кликуху и быть по-настоящему крутым парнем.

– Отпусти меня, Ремезов, я тороплюсь, – отводя тянувшиеся к нему руки, попросил туалетный пленник.

– Ага, сейчас! – Данька крепко ухватил его за воротник пиджачка и с помощью остальных участников действия подтолкнул к резко пахнущему прокисшей мочой писсуару:

– Пой, говорю, а то мордой воткнём туда!

Данька с подельниками обступили Максима и, снимая сюжет на телефон, стали пригибать его голову к писсуару. А Ёжик был не такой уж и слабенький. Упираясь руками в кафельную с выбоинами стену, он сумел-таки довольно ощутимо пнуть жёстким ботинком кому-то в ногу.

– Ах! Эта падлюка ещё и пинается! – Кто-то из семиклассников хлопнул его портфелем по голове...

Они успели только нагнуть Максима лицом к писсуару. Скрипнула дверь уборной. Кто-то вошел. Возня закончилась. Рэмбо с друзьями убежали, оставив раскрасневшегося и взъерошенного пленника.

Ему расхотелось писать. Он ополоснул руки и лицо под краном и направился к выходу из школы.

Заболел живот. Решил не ходить на хор. Свернул с тротуара и побрёл домой короткой дорогой между двумя рядами разномастных металлических гаражей, заросших бурьяном и пожухлой крапивой.

Мелкий дождик сменился снежной крупой. Максим завернул за угол и справил малую нужду. Полегчало. Из полынных зарослей показался вдруг собачий нос, а потом и его обладатель.

Среднего размера, рыжий и лохматый пёс со свалывшейся шерстью и крючковатым хвостом недоверчиво уставился на него своими карими печальными глазами. Странными показались Максиму его уши. Одно ухо стояло торчком, а второе было сложено вдвое. Именно это и придавало бродячей и по виду ничейной собаке какой-то сиротский, обиженный вид.

Максим стряхнул с плеч рюкзак, чтобы достать оставшуюся от обеда булку. От этого резкого его движения Рыжий, как сразу он назвал репейного попутчика, рванул было за угол гаража. Но через секунду раздумал.

– Собака хорошая, собака добрая, собака не кусачая, – заговорил с Рыжим Максим, предлагая ему булку. Не поверил пёсик, но и убежать не захотел. Присел он на хвост и уставился на Максима. А тот бросил ему булку, которая вмиг исчезла в клыкастой собачьей пасти.

Рыжий проводил его почти до самого дома. Повернул назад, к гаражам, лишь у поселкового магазина, где было много людей.

Благодаря этой неожиданной встрече Максиму удалось немного унять свою горькую и безысходную обиду от произошедшего с ним в школьном туалете.

Мамочка Анечка заметила всё же что-то подозрительное в его поведении. Сын, не вдаваясь в подробности, пояснил, что немного повздорил с Данькой Ремезовым. А на хор не пошёл из-за того, что болел живот. Но уже всё прошло и беспокоиться не о чем.

В субботу на перемене Данька демонстрировал туалетное видео. Кто-то смеялся вместе с ним, кто-то крутил

пальцем у виска и добавлял: «Придурок». Максим же твёрдо решил никого не посвящать в эту историю.

Всё раскрылось на большой перемене неожиданным образом. Рэмбо влетел в класс с разбитой в кровь физиономией.

Приличный фингал и красные сопельки всхлипывающего и воющего Данилы Ремизова стали предметом разбирательства в кабинете директора школы и на классном родительском собрании.

Самым удивительным для Максима стало то, что прилетело его однокласснику Даньке от двух детдомовок, тоже одноклассниц, неразлучных Кристины и Леночки. Одна из них, Кристина, сидела на уроках рядом с Максом. Увидели подружки, чем похвально нагленький Данилка, он же «крутенький» Рэмбо, да и с двух сторон хорошо надавали ему по морде.

Раздувать эту историю было не в интересах школы.

У Рэмбо родители отобрали на время сотик, да ещё, по их словам, ремня прописали для сыночка.

А у Макса Зотина появился настоящий друг. Они подружились так быстро и надёжно, как будто давно искали друг друга. Родители после больших колебаний разрешили сыну поселить Рыжего в сарайке.

Рыжий провожал Максима до школы и, как по расписанию, встречал друга на обратном пути.

Папа Лёша записал сына в секцию бокса, и уже к седьмому классу даже Рэмбо не рисковал его обидеть.

Протоиерей Владимир ГОФМАН

НЕ ХОДИЛ БЫ ТЫ, ВАНЕК, ВО СОЛДАТЫ

Именно так некоторые несознательные товарищи и говорили Сереге Чижикову: «Не ходи, дескать, ни в какую армию, если ты имеешь полезную для себя возможность!» А Серега и впрямь вот такую имел возможность – в семье он был единственным ребенком, да еще и поздним. Отец умер рано, а мать пребывала уже в пенсионном возрасте. Ну а наш справедливый советский закон предусматривал призывать в Вооруженные Силы таких единственных, как Серега, только если мать не станет возражать. Серегина мать, женщина строгих правил, бывшая учительница, помешанная на дисциплине и курившая тайком от окружающих папирасы «Беломорканал», исключительно Ленинградской фабрики, а последнее многое объясняет, не возражала. Напротив, на вопрос сына о воинской повинности она ответила по-военному лаконично, с верноподданнической интонацией в голосе:

– Служи. За два года дурь-то из тебя там повыбьют!

Суровая родительница имела в виду, что чадо там возмужает и наберется ума-разума.

И еще одно имелось условие отсрочки от службы: не брали, пока единственный маменькин сынок не женится.

Серега жениться никоим образом не собирался, у него и невесты не наблюдалось на горизонте. Таким манером защищен был Чижиков от армейской службы со всех

сторон. Имел, как говорится, полное право. Иметь-то имел, да только Серега оказался патриотом. Сам он этого, разумеется, не осознавал во всей полноте, но не пойти в армию, когда все сверстники туда идут, он не мог. В то время, а речь идет о 70-х годах прошлого столетия, таких, как наш Серега, было большинство. Понятно, и тогда некоторые несознательные отмазывались от службы, но реже, чем теперь. Намного реже.

– Это как это я в армию не пойду?! – с искренним возмущением заявлял Чижиков какому-нибудь непатриотичному гражданину, что советовал ему закосить от службы. – Как это, то есть, не ходи? Да со мной ни одна девчонка разговаривать не станет. Больной какой-то, скажет, белобилетник!

Это был аргумент! Кто наберется смелости возразить против такого резона? То-то! Ну и тому подобные пламенные доказательства предъявлял Серега добровольным советчикам. Те только рукой махали: мол, чего с такого маляхольного возьмешь?

А судьба тем временем рисовала свои иероглифы. И складывались они так, что, несмотря на собственное желание и материнское согласие, в армию Серегу все равно не призывали. И причины, казалось бы, такого несознательного отношения со стороны военного комиссариата к юному патриоту Чижикову не было. Но не было и повестки. А время бежало. Уже и ноябрь подкатил. И население города надело меховые шапки.

Обиделся Серега на военкомат и отправился туда лично. А что? Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе сам. И правильно делает. Серега резонно подумал, что за спрос, как гласит народная мудрость, по роже не бьют. И пошел смело.

В военкомате, где народу было много и все сновали туда-сюда, он отыскал офицера, который занимался призывниками. Им оказался немолодой с виду капитан с красным лицом и маленькими под кустистыми бровями чрезвычайно хитрыми глазками.

– В армию хочешь? – переспросил он на бегу Серегу. – Ишь ты! Подождешь. Ты, говоришь, молодой специалист?

Ну вот. Годика два потрудишься по профессии на благо Родины, а там видно будет! Так что, твой номер шестой – у ворот стой!

И он громко засмеялся складному окончанию своей короткой, но емкой речи.

– Так мне уже к тому времени двадцать один год стукнет! – крикнул вслед веселому капитану расстроенный Серега.

А тот отмахнулся, как от надоедливой мухи: дескать, много вас тут, желающих. И не оглянулся даже.

Дело тут заключалось в следующем. Серега окончил техникум и получил направление на завод молодым специалистом. Надо было пару лет отработать. Правда, военкоматы, как известно, имели право призывать на службу и в этом случае. Но могли и не призывать. По необходимости. Или по военной, лучше сказать, надобности. Конечно, *dura lex sed lex*, но всегда найдется и *justa causa*.

В растрепанных чувствах вернулся Серега Чижиков в общежитие. А там друзья-товарищи за столом водку пьют и песни поют под гитару. Человек расстроен, а тут пир горой.

– Вы чего? – спросил хмуро Серега. – Чего это вы водку пьете? Что за праздник посреди недели?

– Да вот, – отвечает ему приятель Сашок, тоже техникум окончивший и тоже приехавший в чужой город два года отрабатывать, ну и, конечно, мечтающий побыстрее в армию отправиться, чтобы после, значит, вернуться домой и поступить в институт. – Вот, – говорит Сереге этот Сашок, – повестку я получил. Забирают в ближайшие дни.

Серега глазами захлопал и застыл как вкопанный. А счастливый Сашок ему:

– Ты чего кислый такой, как мыла наелся?

Но Серега не слышал.

– Это как же так? – наконец вымолвил он. – Как это – забирают?

– Вот так, – радостно объявил Сашок и потряс перед глазами Сереги голубой бумагой. – Вот она, повестка! Завтра на медкомиссию – и аллюр «три креста»!

Сглотнув горькую слюну, Серега подошел к столу и взял стакан с водкой. Сидящие за столом – жильцы соседних комнат – тоже взяли стаканы. Не взял только играющий на гитаре Вовчик, так ему и не хватило стакана, потому что им завладел впавший в уныние Серега. Но Вовчик и не заметил, он громко пел, немилосердно фальшивя:

Не плачь, девчонка, пройдут дожди.
Солдат вернется, ты только жди...

От этой бодрой песни Чижиков совсем грустит.

Выпили. Стало спокойнее на сердце Чижикова. Он подошел к Сашку и сказал:

– Колись, Саня. Как сумел повестку получить?

Тот подмигнул и закусил плавленым сырком.

– Соображаешь!

– Не дурак. Ну?

– А не дурак, так понимаешь, что мозгами надо шевелить.

– Значит, у меня их меньше, чем у тебя, – с нетерпением произнес Серега. – Рассказывай уже!

Сашок снова закусил сырком и сказал:

– Ладно, слушай, – он перешел на шепот. – Завтра с утра отправляйся в военкомат, найдешь там капитана Собакина, краснорожий такой. Не ошибешься...

– Так я сегодня с ним говорил! – чуть не закричал Серега. – Он меня послал...

– Тише ты! Послал и еще пошлет. Тут подход особый нужен. Скажешь ему пароль...

– Чего? – возмутился Серега. – Издеваешься, что ли? Пароль! Тоже мне конспиратор!

Между тем песня про девчонку, которой советовали ждать, закончилась, и за столом произошло оживление. Налили еще по одной.

– За маршала Советского Союза Гречко! – выдвинул тост отслуживший свое Вовчик. – Он тебе, Саня, приказ о дембеле подпишет. – Вовчик засмеялся. – Через два года!

И все выпили за маршала Гречко. А Вовчик запел на мотив «Прощания славянки»:

...И не зря проходили мы тактику,
Если надо в суровом бою,
Вспомним нашу военную практику
И учебную роту свою...

– Слушай дальше, – продолжал шептать Серега на ухо Сашок. – скажешь капитану, что ты от Копейкина. Понял?

– Понял. Это и есть пароль?

– Да.

– И что потом?

– Потом он сам тебе все скажет.

– А кто этот Копейкин? – спросил недоверчиво Серега.

– Не знаю. Да какая тебе разница? Повестку дадут, и хрен с ним, с этим Копейкиным. Да и с капитаном тоже.

Серега задумался. Конечно, все это выглядит подозрительно, но повестка-то у Сашки на руках. Факт, однако. Чем черт не шутит, надо попробовать. Но сомнения, видимо, все терзали его, и, чтобы уж совсем их развеять, он спросил:

– Ты-то сам как узнал про Копейкина?

– Ну! – махнул рукой Сашок. – И не сосчитать, сколько пацанов таким манером повестки получают!

– А капитану что с того?

Сашок стукнул себя ладонью по лбу.

– Вот! Главное-то тебе и не сказал! Когда пойдешь к капитану, захвати с собой бутылку коньяку. Хорошего. Или рому. Без этого пароль не действует. Отдашь незаметно. И все будет тип-топ. Усек?

– Усек, – ответил Серега. – А возьмет?

– Возьмет, – усмехнулся Сашок. – Еще как! На то и руки, чтобы брать, как говорил мой покойный батя.

– Военный все-таки...

– Так и что, военные из другого теста? Да брось ты сомневаться уже, бери пример с меня! – и Сашок гордо выпятил грудь.

И все получилось хорошо. Даже лучше, чем ожидал сомневающийся Чижиков.

Рано утром отправился Серега по новой в военкомат, заблаговременно приготовив бутылку рому «Порто-Рико».

На этот раз капитана Собакина он нашел сидящим за столом в кабинете. Над головой вершителя судьбы Чижикова висел лозунг:

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, твердо, решиму, правдиву.»

И подпись: «А. Суворов».

Прочитав слова знаменитого генералиссимуса, Чижиков вздохнул и неуверенно произнес:

– Товарищ капитан...

Тот поднял от бумаг голову.

«Ну и рожа! – подумал Серега. – И правда, хоть прикуривай!».

– Э-э, – прищурил капитан и без того незаметные глазки, причем левый глаз уменьшился больше, чем правый. – Если мне не изменяет память, а она мне никогда не изменяет, как, впрочем, и жена, мы уже с тобой встречались? Что новенького скажешь? Мне некогда, тут таких, как ты... – он не договорил, показав тем самым, что таких, как Серега Чижиков, в стенах военкомата бродит десяток, а может, сотня, и все они жаждут встать в строй защитников Отечества.

Серега кашлянул в кулак.

– Иди отсюда, парень! – сказал капитан и опустил красное лицо к бумагам.

Серегино сердце колыхнулось.

– Я от Копейкина, – негромко и неуверенно произнес Серега.

Капитан поднял голову, помолчал пару секунд, разглядывая будущего рядового Чижикова.

– Принес? – тоном ниже спросил он.

– Так точно! – неожиданно для себя по-военному коротко ответил ободрившийся Серега.

– Давай.

Серега протянул капитану сверток, который мгновенно исчез в недрах стола.

– Вот еще что, – сказал капитан. – Не будь дураком, не болтай языком!

Хозяин кабинета, видимо, очень любил рифмованные фразы.

– Понял?

– Понял, – бодро ответил призывник.

А через полчаса Серега Чижиков шел в общежитие, прижимая рукой в кармане желанную повестку. Он был так счастлив, как никогда в своей девятнадцатилетней жизни.

Но... Великий русский поэт А.С. Пушкин не случайно написал «Сказку о рыбаке и рыбке». Синдром старухи очень скоро обуял Чижикова. Втемяшилось ему в голову, что раз уж он идет служить в армию, так надо это сделать как можно быстрее. А в повестке указано число призыва, до которого еще целый месяц. То есть нужно работать еще 30 дней! И он снова пошел к капитану Собакину с бутылкой коньяку с пятью звездочками на наклейке. Хотел купить с четырьмя, как у капитана на погонах, но решил, что тот обидится.

Все прошло как по маслу. Капитан дал ему фальшивую повестку, в которой значилось, что Серегу призывают через неделю.

– Уволишься с завода – порвешь, – наставительно сказал капитан. – Ясно?

– Ясно.

– А на призывной пункт явишься, как положено по своей повестке, через месяц. – Он усмехнулся. – Эх вы!.. Отдохнешь немного, домой съездишь.

В голосе капитана прозвучали теплые отеческие нотки.

Серега кивнул головой и подумал, что рожа у капитана не такая уж и красная. И не рожа, а даже можно сказать – лицо.

СОМНАМБУЛА,

или Рассказ о том, как Андрей Сеницын от армии хотел отмазаться

1

Анна Петровна Сеницына, ответственный секретарь газеты «Трудовые резервы», была женщиной непреклонной. Ее в редакции все уважали и даже немного побаивались, хотя виду и не подавали. Сам главвред престарелый дядя Вова, как его называли за глаза, и тот уступал ей дорогу – и не оттого, что она женщина, а оттого, что «такая» женщина. По причине удивительной непреклонности и высокой принципиальности она и сына воспитывала одна, без мужа, который давно женился на другой, не такой всесторонне щепетильной. Анна Петровна об этом ни капельки не жалела, называла бывшего мужа с презрением слабохарактерным и «плюшевым мишкой».

– Да и очень хорошо, что ушел, скатертью дорога! – говорила она с победоносным видом. – Мало в нем было мужского. Как бы этот мишка плюшевый сына воспитывал? А я вам скажу – никак!

Она же воспитывала изо всех сил.

И вот однажды, накануне Дня защитника Отечества, когда обсуждали номер к этому празднику, Анна Петровна безапелляционно заявила:

– А мой сын в армию не пойдет!

– Как это не пойдет? – усмехнулся корреспондент Витя Макаров, недавно отслуживший в армии, в войсках ПВО, и потому меньше других пасовавший перед Анной Пет-

ровой. – Пойдет как миленький в свое время долг Отчеству отдавать! Не минует вашего чада чаша сия.

– Нет! – жестяным голосом отрезала Сеницына. – Я все сделаю, чтобы не пошел!

Повисла пауза. Корректор Зоя опустила глаза к недочитанной четвертой полосе. Фотокопу Геннадию срочно понадобилось заменить объектив новенького фотоаппарата Canon. Стало слышно, как за окном громко кричат недавно прилетевшие грачи.

Завотделом строительства и промышленности, капитан запаса Петрович, награжденный медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали», известный своим патриотизмом, кашлянул в кулак и строго спросил:

– Почему?

Анна Петровна объяснила:

– По одной простой причине. Не для того я растила сына, чтобы над ним издевались какие-то отморозки!

– Какие отморозки? – не понял бывший капитан и сдвинул на кончик носа очки.

– Что, может, вы не слыхали про дедовщину?

– А-а, вон вы о чем. Бывает, не спорю. Так все через это прошли. В армии, знаете, каждый получает то, чего стоит. И, между прочим, это очень хорошая школа. Я бы сказал, «школа мужества» в прямом смысле. Юноша узнает, на что способен. Он становится мужчиной, готовым постоять за себя и защитить того, кто рядом.

– Точно! – крикнул разгоряченный Витя. На щеках у него выступили красные пятна от волнения. – Так и есть! Вот у нас...

– Вы мне инструкцию не читайте, – оборвала сторонников призыва Сеницына. – Пускай другие учатся драться и тому подобное. Мой сын и так сможет за себя постоять.

– Вы уверены? – спросил капитан.

– Уверена! – твердо сказала Анна Петровна.

– А защищать Родину кто будет? – тихо спросил молчавший до сих пор дядя Вова.

– От кого? – усмехнулась Сеницына, поворачиваясь к редактору. – От кого защищать, Владимир Николаевич? Вы всерьез считаете, что кто-то на нас войной пойдет, что ли?

– А почему нет? – предположил Петрович и выпятил грудь под коричневым пиджаком.

– Вот именно! – поддержал коллегу Витя.

– Бросьте вы пороть чепуху! – Анна Петровна махнула рукой с ярко накрашенными ногтями. – Никому мы не нужны.

– Вы не патриот! – с растяжкой проговорил капитан.

– Ошибаетесь! Я – патриот!

– За чужой счет! – с запалом выкрикнул Витя в рифму.

Тут раздался смущенный голос корректора Зои:

– В наше время белобилетников презирали. Особенно девушки. – Щеки Зои зарумянились. – Вроде как неполноценных, извините.

В углу кто-то громко хмыкнул.

– Чушь! – с возмущением парировала Анна Петровна. – Теперь другие времена!

И она обвела собрание торжествующим взглядом. Отрицать последнее было трудно. Сегодняшний день всегда другой по отношению ко вчерашнему. Аксиома.

– Все! – дядя Вова выпрямил спину и поднялся с места. – Прекратим спор. Каждый поступает в меру своего понимания.

– И воспитания! – снова в рифму добавил Витя.

Дядя Вова посмотрел на него и сказал:

– Работаем. Полосы пора в типографию отправлять.

На том дискуссия закончилась. Больше об этом в редакции не говорили. А между тем сыну Анны Петровны неумолимо подкатывало время отправляться на службу в ряды Вооруженных Сил. И обеспокоенная мать, никогда не бросавшая слов на ветер, начала действовать.

Вскоре и повестка пришла из военного комиссариата. Андрей Михайлович Синицын приглашался на медицинское обследование как призывник. Делать нечего – пошел.

После медкомиссии в военкомате Андрюша вернулся домой унылый.

– Ну что? – спросила Анна Петровна и выключила телевизор, чтобы не отвлекаться от главной темы.

– Ничего! – буркнул сын.

– По тебе видно, что «ничего». Яблоко от яблони... – с укоризной добавила она и вздохнула. – Рассказывай, горе моё!

– Что рассказывать-то? Обследовали разные врачи. Слух, зрение и так далее... Все в норме.

– Даже плоскостопия не нашли? – в голосе Анны Петровны звучала слабая надежда.

– Нет.

– Та-ак... И что же?

– Сказали, здоровье слабое, но для категории «Б» подходит.

– Это еще что за категория? – с тревогой спросила мать.

Андрей тяжело вздохнул.

– Годен к военной службе с незначительными ограничениями, – процитировал он.

– Вот как... Годен, значит. Угу. А надо какую категорию? – настойчиво вникала в суть вопроса Анна Петровна.

– Хотя бы «Г», а круче «Д» – совсем негоден.

Безусловно, сынок малость поднаторел в призывных делах, потому что стараниями матери давно был расположен избежать воинской повинности. Так же, кстати, были настроены своими родителями и большинство его приятелей – маменькиных сынков.

Из разговора с сыном Анна Петровна сделала заключение, что следует добиться дополнительного медицинского обследования. А если и это не даст результата, тогда искать другие пути.

Она позвонила бывшему мужу, Андрюшиному отцу. Договорились о встрече.

Встреча состоялась в обеденный перерыв в торговом центре недалеко от редакции. Сели за столик в кафетерии «Шоколадница». Михаил Сергеич, так звали Синицына-старшего, заказал две чашки «Американо».

– Что случилось? – спросил бывший муж Анну Петровну.

– Пока ничего, – ответила она. – Но может случиться.

Принесли кофе. Михаил Сергеич усердно размешивал в чашке сахар.

– Что?

– Сына могут забрать в армию.

– Да-а, – задумчиво проговорил Сеницын. – Летит время.

– Пусть себе летит! – в голосе Анны Петровны звучало нетерпение. – Что ты намерен делать?

– Я?.. А что я должен делать?

– Не прикидывайся дурачком! Надо как-то устроить, чтобы Андрюшу не взяли.

Она стукнула указательным пальцем по столику.

Михаил Сергеич отхлебнул из чашки кофе, пожевал губами.

– Я считаю, что парню надо послужить в армии, – сказал он. – Всего-то год. Вот мы служили два...

Сеницына перебила:

– Мне не интересно, как вы служили. Мне нужно, чтобы мой ребенок не служил!

– А я-то что могу сделать?

– Ты – отец, к моему величайшему сожалению! Думай. Знакомства какие-то ищи. Может, кому-то денег надо дать. Дай!

– Я такими делами не занимаюсь! – неожиданно твердым голосом заявил Михаил Сергеич. Но на бывшую супругу это не произвело абсолютно никакого впечатления.

– Так займись! – сказала она звенящим шепотом. – Спасай сына!

– Спасать его надо от тебя! – окончательно осмелел отец.

Анна Петровна откинулась на спинку стула.

– Смотрите, как мы заговорили! – с сарказмом сказала она, прищурившись. – Чье же это влияние? Уж не...

Михаил Сергеевич поднялся, посмотрел на часы.

– Извини, мне некогда. Если это всё...

– Значит, помогать сыну ты отказываешься? – уточнила Сеницына.

– Понимай, как хочешь, я свое мнение высказал, – ответил Михаил Сергеич и, коротко кивнув, вышел из кафетерия.

– Ладно, – тихо, но твердо произнесла Анна Петровна и сделала глоток остывшего кофе и скривила губы. – Мишка плюшевый! Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Ладно. Посмотрим, чья возьмет!

2

Давнишняя подруга Сеницыной Марина работала медицинской сестрой в специфическом лечебном учреждении, которое называлось ПНД – психоневрологический диспансер. К ней-то и решила обратиться за советом Анна Петровна. Как-никак медик, что-нибудь, авось подскажет по дополнительному обследованию призывников.

Марина сразу поняла суть дела. Женщина была опытная, разумная и расторопная. Думала недолго.

– Ты, Аня, не переживай, – сказала она, закуривая тонкую, как гвоздик, сигарету. – Мы вот что сделаем. Мы твоего сынулю в психушку положим. Я посодействую, поговорю с коллегами.

– Зачем? – испугалась та. – Он у меня, слава богу, нормальный.

– Так что? И нормальные освидетельствование проходят в психиатрических больницах.

– И с каким же диагнозом его будут обследовать?

Подруга задумалась, и опять ненадолго.

– Лунатизм, – сказала она с уверенностью, как будто диагноз был уже определен.

– Чего-чего? – переспросила Сеницына.

– Лунатизм, по-научному – сомнамбулизм. Ну, ты знаешь, по ночам человек во сне бродит, разговаривает, какие-то дела, помнится мне, делает, привычные.

Анна Петровна с удивлением подняла выщипанные в тонкую дугу брови.

– А причем тут...

– Слушай, – с вдохновением заговорила Марина. – Все получится! Положим парня в стационар с жалобами на то, что встает и ходит ночью. Надо будет взять направление от лечащего врача в поликлинике. Ну, это не проблема. Положат в больницу. Там за ним установят наблюдение, он побродит по палате пару раз, побормочет чего-нибудь невразумительное и получит заключение, что лунатик. Мне говорили, что лунатиков в армию не берут.

– Точно?

– Уточним. Есть такое расписание болезней у экспертов, там все заболевания перечислены, с которыми служить нельзя. Я узнаю.

– Узнай, пожалуйста! – с надеждой сказала Синицына. – Выручай.

Марина затушила сигарету, подняла ладонь утверждающим знаком, что обозначало: «Не волнуйся. Все будет тип-топ!»

Через день Марина позвонила.

– Не все так просто, оказывается, – сказала она. – Есть нюансы. Разговор не телефонный, давай встретимся.

Выяснилось, что в расписании болезней, освобождающих от призыва в армию, лунатизм отсутствует. Анна Петровна шумно вздохнула.

– Что же делать?..

– Но есть исключения, – успокоила её Марина. – В первых, при проверке у парня может быть выявлено другое психическое заболевание...

– С какой стати? – возразила Синицына. – Нет у него никаких «других» заболеваний!

– Откуда ты знаешь, может, есть?

– Нет. Я – мать. Я знаю. Куда же теперь?

– погоди! Что за нетерпёж? Слушай дальше. Во-вторых, бывает, что психиатр пишет освобождение и лунатикам, если болезнь прогрессирует и случаи лунатизма повторяются часто. Что и требовалось доказать! Уразумела?

– Да, – задумчиво ответила Анна Петровна. – Стоит, пожалуй, попробовать.

– Конечно, стоит! – горячо поддержала Марина. – Чем черт не шутит!

– Не до шуток, – серьезно сказала заботливая мать и, помолчав, с тревогой спросила: – А на учет мальчишка в психушке не поставят? Это, сама знаешь...

Марина беспечно махнула рукой и закурила.

– Не волнуйся, Анечка, ситуация под контролем. И у всего своя цена. Соображаешь?

Синицына покачала головой.

– Ну, была не была! Дай-ка мне сигарету! На обман иду, – она поджала и без того тонкие губы. – Ради сына.

Андрей Синицын, получив направление от лечащего врача, пришел на прием к психиатру с жалобами на то, что поднимается ночью и ходит по дому, не просыпаясь.

Доктор, старичок с больными глазами, осмотрел пациента, постукал молоточком по коленям, поводит тем же молоточком перед глазами, предложил закрыть глаза и вытянуть руки с растопыренными пальцами, а потом попасть поочередно указательным пальцем правой и левой руки в кончик носа, что Андрею от волнения не удалось. Правой попал, а левой нет.

– Значит, по ночам ходишь во сне? – переспросил врач.

– Ходит, доктор, ходит! – привстала со стула Анна Петровна.

Врач посмотрел на неё и сказал строго:

– Я не вас спрашиваю, уважаемая, а вот этого молодого человека. Он и сам может ответить. Можешь?

– Могу.

Осмотр продолжился.

– Так-так, – часто мигая красными веками, говорил врач. – Так-так. Бывает такое. Да. Сомнамбулизм. Сколько тебе годков-то? – он заглянул в документы. – Ага, двадцать. Колледж закончил. Так-так. В этом возрасте не редкость, – и усмехнулся чему-то.

Анну Петровну эта усмешка насторожила, и она снова подала голос:

– Он, доктор, еще и бормочет при этом!

– Вот как? – врач полистал какие-то бумаги на столе и снова усмехнулся. – Бормочет?

– Да. А недавно, представляете, взял ключи и стал отпирать входную дверь. Хорошо, я услышала и уложила его в постель, а то бы ушел на улицу.

– На улицу? – спросил доктор с деланным удивлением. – На улицу! Зачем? Дома, что ли, плохо? – он оторвался от бумаг и посмотрел на Андрея.

– Не знаю, – ответил тот, потупившись. – Во сне...

– Не знаешь? Так-так. Откуда же знать? Во сне оно конечно. А тебе, юноша, судя по всему, нынче в армию идти, отсрочка-то закончилась?

– Да, – растерянно сказал Андрей и покраснел.

Анна Петровна хотела вставить, что, дескать, какая может быть армия – мальчик болен, но доктор не позволил.

– Ага, – заговорил он оживленно и с удовлетворением, как будто узнал что-то важное, и сделал пометку в тетради. – Значит, в армию, так-так... – Врач задумчиво смотрел на Андрея. – Что же, надо обследовать парня. И обследуем. Эпилептиков в роду не было? – неожиданно обратился он к Синицыной, и тон его голоса стал профессионально серьезным.

– Нет, не было, – испуганно ответила та. – Хотя... я ведь не могу знать...

– Разумеется, – сказал доктор и определил будущего призывника в стационар для дополнительного обследования и установления точного диагноза.

3

В палате на два окна с лепниной на потолке и старым паркетным полом разместилось шесть коек. Пять из них были заняты такими же направленными на дополнительное обследование призывниками. Андрею определили освободившееся место у окошка. Преимуществом тут оказался широкий подоконник, на который можно было что-то поставить. Сосед напротив, например, поставил небольшой телевизор.

Телевизора у Андрея не было. Он взял с собой айфон, наушники и книжку Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», которую, по рекомендации отца, начал читать несколько месяцев назад, но осилить до сего дня сумел несколько страниц. С детства не любил чтение. Читать он и в больнице не намеревался, так просто взял, для виду.

Анна Петровна с Мариной скрупулёзно инструктировала неопытного симулянта.

– Вставай ночью, после двенадцати, – учила мать. – Броди по палате с закрытыми глазами, говори что-нибудь. Понял?

– Понял, – покорно отвечал тот.

Марина добавляла, с сомнением глядя на парня:

– И в холл выходи. Где сестринский пост. Делай чего-то.

– Что делать? – пожимал плечами Андрей.

– Ну, то, что дома часто делаешь. Работу какую-никакую там – пол, что ли, мети.

Горе-актёр засмутился. Оно и понятно. Дома он ничего не делал. Никогда. Спал, ел, смотрел телевизор да слушал музыку. Остальное, жизненно необходимое, было заботой матери. Андрюша даже носки себе не смог бы постирать, потому что не знал, как это делается.

Женщины переглянулись. Марина укоризненно покачала головой, задумалась. Но уж через минуту радостно воскликнула:

– Нашла! Вот какая мысль. Там в холле много цветов. Всяких-разных. У нас везде цветы. – И пояснила: – Для больных, для успокоения. Терапия такая. Ты, Андрей, будешь их ночью поливать. Как бы во сне. Этому нехитрому делу мы тебя скоренько обучим.

Цветы поливать Андрей научился. Ему даже понравилось ходить с леечкой и брызгать на растения. Мать наставляла:

– Ты поливать-то поливай, да и лопочи чего-нибудь. Пой, к примеру.

Андрюша фальшиво запел цоевскую «Кукушку». Он знал слова только одного куплета:

Где же ты теперь, воля-вольная...

– Символично, – поморщилась Анна Петровна. – Лучше не пой.

Но сынок, видимо, вошел во вкус и продолжал тянуть:

... Ласковый рассвет встречаешь...

А Марине понравилось. Правдоподобно. А что фальшиво – это ничего. Зато психологически достоверно.

– Ну, – с гордостью подвела она итог, – благодаря чуткому руководству процесс пошел.

И все бы ладно, но неожиданно выяснилась еще одна весьма серьезная проблема. Заключалась она в том, что

сын Анны Петровны обычно спал как убитый. Голова только коснется подушки, и всё: хоть из пушки пали – не разбудишь!

– Это у него от отца! – удрученно заметила Синицына. – Тот тоже поспать был не дурак. Единственное, пожалуй, что он умел. Что будем делать?

Помяв пальцами длинную сигарету, Марина ответила философски, то есть, не ответила. Она сказала отрешенно:

– Вечный вопрос!

И замолчала.

Подруги ломали головы, но придумать ничего не могли – природу не обхитришь. Все попытки с их стороны разбудить уснувшего Андрюшу оканчивались неудачей. Не говоря уж о том, чтобы он проснулся самостоятельно – и не в десять часов утра, как обычно, а в полночь.

– Миссия невыполнима! – сказала Анна Петровна мрачно.

Марина была настроена более оптимистично.

– Не унывай! – она поставила чашку из-под кофе вверх дном на блюдце. – Что-нибудь придумаем. Нужен небанальный ход.

Такой ход был в конце концов найден. Ларчик просто открывался. В одну из бессонных ночей Анна Петровна вспомнила, что сынок её с детства не переносил комариный писк. Бывало, услышит на даче комара и уснуть не может, пока не уничтожат источник звука. Всем семейством комара ловили – и мама, и бабушка с дедушкой. Собаки лают, соловьи поют, грачи кричат – ничего, спит. А комар зазвенит – не может уснуть, и все тут! Что ж, и такое случается. Бабушка пример приводила. Дескать, жил в старинное время в Москве звонарь, так он терял сознание, как услышит один из колоколов. Сорок сороков звонят – и ничего, а как этот ударит – так, значит, бедолага чувств и лишается.

Вспомнив про комариный писк, Анна Петровна бросилась к телефону, чтобы найти в будильнике нужный рингтон. Нашла и решила проверить. На цыпочках подкралась к двери Андрюшиной комнаты. Прислушалась – за дверью стояла тишина. «Спит!» – решила Анна Петровна. Не-

много приоткрыв дверь, она включила в телефоне нужный звук. Раздался комариный писк, и через мгновение Андрей замахал рукой около уха, а потом и вовсе сел, озираясь, на кровати.

Эксперимент увенчался успехом. Довольная мать выключила телефон и так же бесшумно, словно привидение, проскользнула в спальню.

И вот теперь, лежа на койке у окна в психдиспансере, Андрей думал о том, что в двенадцать часов ночи под его подушкой запищит комар. Нужно проснуться, отключить звук, встать с постели и, побродив по палате, идти в холл поливать цветы.

– Да не забудь глаза закрыть! – вспомнил он материнское напутствие и вздохнул. Не хотелось ему в эту авантюру, придуманную матерью с подругой, ввязываться, но он не привык сопротивляться. К тому же и в армию идти желания не было. Он бы, может, и пошел, да друзья смеяться будут, дураком назовут. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Авось пронесёт!

И все-таки в первую ночь в диспансере он послушался матери и отключил сигнал на телефоне. Спал безмятежно, как дома. Даже слюна из уголка рта потекла – вот как сладко спал! Утром молоденькая сестра Катя протянула ему термометр и с улыбкой сказала:

– Что-то ночью я тебя не заметила! А говорили, луна-тик! Прикидываешься, что ли?

Андрей, еще не совсем пробудившийся, засмутился и ничего не ответил. Катя ему понравилась.

Cherchez la femme! Обычное дело. Катя Андрею понравилась. Это и сыграло роковую роль в замысле Анны Петровны. Народная мудрость гласит: кабы знал, где упадешь, то соломки бы подстелил! Знали бы предприимчивые подруги, что так случится, постарались бы отправить молодых медсестер в отпуск. Ну, не всех, а уж зеленоглазую Катю – точно.

На вторую ночь, поднявшись по писку комара, Андрей пошел-таки поливать цветы. И лейку отыскал с закрытыми глазами (он еще днем подсмотрел, где она стоит), и ходил аккуратно, бормоча заветное «где же ты теперь,

воля-вольная...». И все бы хорошо, но Катя, а надо признать, Андрей ей приглянулся, и она, уже имея кое-какой опыт, сразу раскусила, что весь его лунатизм – липа, так вот эта самая Катя решила подшутить над симулянтом. Она подкралась к Андрею сзади, когда он сосредоточенно поливал очередной фикус, и спросила ровным голосом:

– Водички не подлить?

Весёлая была девушка.

От неожиданности Андрей выронил лейку и, повернувшись на голос, сказал:

– Что?

И тут оба рассмеялись.

– Пойдем чай пить, – предложила Катя, и Андрей пошел. А кто бы не пошел?

Было тихо и темно. Только на сестринском посту горел свет. Они пили чай с конфетами «Ромашка», и Андрею казалось, что это самый вкусный чай из тех, что он пил, и самые вкусные конфеты.

– От армии косишь? – напрямую спросила Катя.

Соврать этой девушке невольник материнской любви не смог. Он согласно склонил голову, потому что слова почему-то застряли у него в горле. А Катины глаза мягко светили зеленым огнем.

Дальше случилось то, что должно было случиться. Намеченный матерью распорядок был нарушен. Днем Андрей спал, слушал музыку и даже начал читать, причем с интересом, «Над пропастью во ржи». Вот что любовь делает с человеком! А ночью, когда дежурила Катя, они сидели на посту и болтали обо всем на свете.

– А что же ты в армию-то не хочешь идти? – спрашивала Катя, оглядывая фигуру Андрея. – Вроде не слабак.

Про маму Андрей, конечно, промолчал. Взял всю вину на себя.

– Жалко время терять, – отвечал он, расправляя плечи. – Целый год там строем ходить. А толку?

Катя пожала плечами.

– Ну, как-то, знаешь... Парню, мне кажется, надо... для общего развития!

И она засмеялась.

– На развитие я не жалею, – обиделся Андрей. Он встал с дивана и отжался от пола десять раз. – И здоровья хватает!

Надо заметить, что Андрей регулярно ходил в тренажерный зал и на физическое развитие действительно не жаловался.

Она погладила его по голове, как маленького.

– Не квадратная! – сказала, продолжая смеяться. – А если серьезно, то я думаю, что все-таки мужчина должен быть готов взять в руки оружие. Чтобы защищать. У меня отец служил и два брата. Да и друзья их тоже...

Андрей насупился, молчал. Потом сказал:

– И твой жених, наверно, служил?..

– Был бы жених – обязательно бы служил, – ответила Катя.

– А его, значит, нет?

– Значит, нет, – махнула девушка рукой. – Не бери в голову. Делай, как сам решил.

И еще через три дня и три ночи он решил.

В журнале наблюдений за пациентом Синицыным не оказалось ни одной отметки о каких бы то ни было проявлениях сомнамбулизма. Обследование закончилось. В эпикризе написали, что он здоров.

Анна Петровна и Марина явились встречать подопечного. Сидели на скамейке у входа. Вышел Андрей, он показался матери выше ростом. И что-то новое было в его лице. Рядом с ним шла золотоволосая девушка. Они держались за руки! Анна Петровна, почуяв серьезную опасность, насторожилась.

– Мама, – сказал Андрей. Такого голоса она никогда не слышала. – Мама, – повторил он. – Это Катя! Я ее люблю!

И засмеялся, легко так, счастливо. Анна Петровна, сдвинув брови, вымолвила несколько растерянно:

– Э-э, какая Катя?

Молодые улыбались.

– Вот такая!

– А лечение? А справка?

Андрей повел плечами и выпятил подбородок.

– Ну её, эту справку! Не хочу я, как малахольный, цветочки поливать.

В голосе Андрея Анне Петровне послышались отцовские нотки.

– То есть как? – произнесла она хрипло, все еще находясь в прострации.

– Так! – ответил выросший за десять дней на голову сынок. – Я пойду в армию! Я так решил!

Марина сломала в пальцах сигарету. Анна Петровна поняла, откуда ветер дует. Взгляд её лазерным лучом прожигал девушку. В нем были выражены все материнские чувства – и лучшие, и худшие. А девушка – хоть бы что, улыбалась открытой улыбкой.

– Я его буду ждать, – сказала она. – Из армии.

– А потом мы поженимся, – добавил Андрей.

– А у матери ты спросил? – Анна Петровна начала приходить в себя, и голос ее окреп. Но сын, казалось, не обратил на это никакого внимания. Он усмехнулся и сказал:

– Решение окончательное и обсуждению не подлежит!

Он обнял за плечи Катю, и они направились по дорожке к выходу из больничного сада.

– Да, – обернулся Андрей. – Мы к отцу сейчас съездим. Хочу его с Катей познакомить. Чао, мама! Всего хорошего, Марина Владимировна!

Две женщины посмотрели друг на друга.

– Любовь! – с неожиданной теплотой в голосе сказала Марина. – Эх!..

Анна Петровна не ответила.

Остается добавить, что у этой повести хороший конец. Все вышло так, как и сказал матери Андрей. Он отслужил в армии, Катя его дождалась, и они поженились. А Анна Петровна уволилась с работы, чтобы нянчить маленького Илюшу. Вздыхая, говорила еще ничего не понимающему внуку:

– Не бери пример с отца! Слушай бабушку!

И вздыхала. Но как-то по-доброму.

Павел ЛАПТЕВ

Выкса

ТЁТЯ ЮЛЯ

Что бы ни писали о том времени, последнем времени советской власти, нет, не перестроечного лихолетья, а чуть раньше, – оно было благословенно. Не потому, что люди были проще и добрее. Всякие были. А потому, что у многих нынешних взрослых там осталось детство. Неизвестно, где теперь выросший мальчик Толик, и жив ли. Живы ли те жители деревни Аристово, маленькой деревни из одной улицы от леса до дороги. Известно точно, что весёлой полной доярки Юли в живых уже нет. При любой власти, при любом названии страны, в любое время, независимо от количества куполов, всегда есть люди, на которых стоит Россия. Бескорыстные, кроткие и смиренные, о которых и говорится в заповедях блаженства.

Юля надолго пережила мужа, одна вырастила дочь, которая вышла замуж и жила в Гусь-Хрустальном.

Она, тётя Юля, для мальчишка Толика – весёлая, говорливая, но всегда с печальными глазами, это противоречие подмечали многие. И баба Катя тоже.

– Ты, Юля, как юла заводная, – подшучивала она, забирая поздно вечером, когда темнело, у соседки в окно трёхлитровую банку парного молока. – Везде успеваешь, и коров доить, и нам принести.

– Катя, – хмурилась и одновременно улыбалась тётя Юля, растягивая гласные в середине слов, – ты давай,

выливай молоко-тко и банку живей. И окно закрой пока, а то комарья напускаешь.

– Слава богу, – крестилась баба Катя одной рукой на образ архангела Михаила, другой выливая молоко в кастрюлю на кухне. – Сейчас молочка налью, Толь.

Шестиклассник-хорошист Толик, сидевший рядом, которого родители привезли на пару недель к бабе Кате, морщился и почёсывал комариные укусы.

– А зачем этот Бог комаров создал? – недоумевал он, недоверчиво посматривая на потемневшие иконы.

– Значит, так надо, – отвечала баба Катя. – Птицам корм. Вот для чего.

– А птицы зачем? Не было бы птиц, и комары не нужны были бы.

Толик выпивал тёплое молоко, пахнущее коровами, и ложился на кровать под марлевым пологом, подвешенным к потолку от этих самых комаров. Ложился на душистую постель, подушку и матрац из сена. И просыпался иногда только на заре, от стука пастушьего кнута или петушиного крика. И засыпал снова. Засыпал, когда тётя Юля уже возвращалась с утренней дойки домой.

– Ты спишь-то когда, горемыка? – причитала баба Катя, когда уже днём Юля заходила к ней.

– А и не знай, – махала рукой та. – Прилягу, забудусь, и хватит мне, и выспалась.

– Вон сахар бери, коли, – давала баба Катя сахарные щипцы.

Тётя Юля сильными большими руками колола сахар, наливая в блюдце чай и вприхлебку пила.

– Как в школе дела, Толюн? – спрашивала мальчика.

Толик пожимал плечами, морщился, что напомнили о надоевшей школе.

– Наверно, учёным будешь, – шутила тётя Юля.

– Музыкантом, он на баяне играет, – отвечала за Толика баба Катя. – В музыкальную школу ходит.

– Это хорошо, уже с малолетства и специальность есть, – говорила тётя Юля. – Плохо – баян не привёз, поиграл бы.

– Ага! – недоумевал Толик. – Ты что, тётя Юль. Он тяжёлый вон какой.

– Молоко-то вкусное моё? – всё спрашивала тётя Юля, подливая в блюдце чай.

– Нормальное. Как это – «моё», коровье ж? – отвечал Толик, смотря на большую грудь тёти Юли.

– Пей, пей, тебе расти надо. Будешь умным, не то что мы тут, – улыбалась тётя Юля. – Вот неучи, четыре класса образования, поэтому и коров доим и картошку копаем. А ты в науку иди, человеком будешь.

Толик тоже улыбался, смотрел на «неумную» тётю Юлю и гордился про себя, что он такой «учёный», в хорошей школе учится. Что дома есть у него баян, телевизор цветной, каток, где в хоккее можно играть. Не то что здесь, в деревне.

– Ох, Катила, и мы когда-то были молодые, – говорила тётя Юля.

– А я и не старая, – обижалась баба Катя и доставала из шкафа несколько фотографий.

– В Гусе ещё фотографировались, – еле выговаривала последнее слово. – Это я молодая.

– А это кто толстая? – спрашивал Толик, кивая на толстую женщину на завалинке.

– Это Шура Белая, помнишь, Юль? – отвечала баба Катя. – Тётя Шура белая, папиросы делала... Она в церкву ходила за десять километров, ночевала там на лавке, утром домой уходила, тяжело ей было с таким весом. А вот, Юль, ты, – показывала карточку с молодой Юлей.

Тётя Юля со своею дальноркостью шурилась, дальше отводя руку с фотокарточкой.

– Это где я? В Гусе, ага. А у меня нет такой, где-то потеряла. Я возьму?

На фотокарточке тётя Юля в цветастом платке стояла возле вазы с цветами.

– В Гусе делали, я помню. Ох, как давно...

Как-то вечером тётя Юля предложила:

– Ну что, в лес пойдём за грибами?

– Когда? – радовался Толик.

– Завтра, с дойки приду и пойдём, лес рядом, чего нам. Катюх, пойдём?

Баба Катя вздыхала, нехотя говорила:

– Посмотрим.

Утром они ушли за грибами, по дороге Толик наткнулся на змею и закричал. Баба Катя подбежала и убила змею палкой.

– Ты зачем её убила? – недоумевала тётя Юля. – Помешала тебе, что ль?

– Я их не люблю, гадин, – оправдывалась баба Катя.

– Ну и что, ты не любишь, убивать-то зачем, прошла мимо, и всё. Змея тоже жить хочет.

– Это сатана, Еву соблазнила, – отвечала баба Катя, что знала ещё с детства.

– Глупая ты, Катя, не эта же змея соблазнила, – ругала её тётя Юля.

– Эта, не эта, всё гадина, да, Толь? – улыбалась баба Катя.

Радостный Толик кивал головой.

– Прежде чем гриб брать, смотри, нет ли змей, понял? – учила баба Катя.

– Понял, – отвечал Толик.

Вечером баба Катя чистила грибы на кухне и повалилась, упала на пол. Толик испугался и побежал к соседке тётке Юле.

– Находилась по лесу, вставай, Катюха! – била Юля по щекам бабу Катю. Но та только стонала.

Юля винилась:

– Эт я виновата, потащила в лес вас, Толюнь.

А тут как раз девушка почтальонша с пенсией подошла, отдавать не хотела, мол, расписаться некому. Так её Юля отчитала:

– Человек живой, не померший ещё. Ну лежит, ну плохо ей. Войну пережила. За трудодни вкалывала в колхозе. Креста на тебе нет. Ишь! Ну-ка, я за неё черкну подпись, давай сюда. Вот Бог видит всё и накажет тебя, дочка. Сама так брякнешься об пол, и некому поднять будет, – страшила почтальоншу, показывая на Катины иконы.

– А церкви нет давно, разрушили, наказывать некому, – отвечала почтальонша.

– Церква у тебя внутри, дура, – хмурясь, непонятно отвечала Юля.

Почтальонша пенсию тогда отдала. Баба Катя отлежалась день и встала, возраст, что ж. На пенсию Толику в райпо шоколадку купила, а ещё телеграмму на почте вместе с Толиком послала сыну, чтобы забирали его. Это Толик настоял, надоело ему в деревне уже, скучно и боязно стало с бабкой.

Как-то осенью, когда Толика уже забрали, поехала Юля в Гусь дочку навестить, но стало ей плохо в автобусе. Душном львовском автобусе с запахом горелого масла в салоне. Женщина встала с места, шатаясь, начала ходить в проходе, падала несколько раз на пассажиров, бормотала что-то. Водитель остановился и высадил её на обочину, мол, пьяная она. Юля постояла, уже не понимая, где она и что с ней, и упала в траву, и умерла.

Много автомобилей проехало мимо неё, один остановился. В то время не было мобильных телефонов, водитель «москвича», только когда в город приехал, сообщил в милицию о трупе на дороге. Долго искали родственников, ведь документов не было. Лишь фотокарточка, которую и показали по телевизору. Фотокарточка, где она молодая и красивая, добрая тётя Юля.

ЗЕРКАЛО

Дополнительное образование в нашей стране развивается, несмотря на мизерное финансирование. О заработной плате, дабы не заплакать, лучше молчать. Преподавателям приходится приносить из дома подручные материалы, а попросту – мусор, чтобы из него с ребятишками мастерить поделки.

Елена Никаноровна также не выбрасывала всевозможные коробки, пластиковые бутылки, фантики из-под редких конфет, тряпки, а несла всё это добро в кружок умелых рук, который она вела. Даже старые обои, содранные со стен, и те тащила на работу. Из-за того, что Елена Никаноровна копила это добро в разных местах квартиры, были нередкие разборки в её семье. И муж, и дети упрекали её в этом, периодически настоятельно намекая на вынос из квартиры этих куч.

Но есть мусор, который действительно необходимо выбросить. Елена Никаноровна периодически, то есть каждое утро по пути на работу подходила к мусорке, размахивала пластиковым пакетом, распугивая бродячих собак и ворон, и запускала пакет в один из баков.

– Гол! – радостно крикнула она после такого удачного броска одним зимним утром.

– Осторожно, – недовольно сказала копающаяся в баке женщина в дырявом пальто и облезшей шапке. – Ходят тут, интеллигенты, блин.

– Извините, – извинилась Елена Никаноровна, поскольку считала себя очень интеллигентной, и, чтобы сгладить ситуацию, спросила: – Есть что-нибудь ценное?

– Есть! – отрезала женщина и повернула к Елене Никаноровне опухшее лицо с синяками под глазами. И опять продолжила копаться в мусоре.

– Понятно, – обиженно ответила Елена Никаноровна. – Валяйте себе, – и добавила: – Люмпен-пролетариат.

– Валяю! – грубо сказала женщина. – Строят из себя...

– Да, да, хотим и строим, – переговорила Елена Никаноровна, в ней закипела злость. И она уже собралась вступить в дискуссию о необходимости здорового образа жизни, образования и всего того полезного, что, по её мнению, составляет правильную жизнь. Но женщина в дырявом пальто воскликнула:

– Опа! Зеркальце! – и залезла всей собой в бак, так, что одни ноги наружу. И через полминуты вытащила большое, дюймов на двадцать, зеркало в деревянной оправе.

Елене Никаноровне тут же понравилось это зеркало. Понравилось оно и женщине возле бака, и та осторожно вытащила находку, быстро очистила от налипшего мусора и понесла куда-то.

– Подождите, – остановила её Елена Никаноровна. – Дайте-ка посмотреть?

– Чего ещё? – зло бросила женщина.

– Зеркало, ага, – подтвердила Елена Никаноровна, приблизилась к собеседнице и схватила руками находку.

– Ага, нечего! – не отдавала зеркало женщина.

– Что значит «нечего», оно что, ваше? – Елена Никаноровна стала выдёргивать зеркало из рук женщины.

– Наше, наше, отстань, нафиг! – удерживала зеркало женщина.

– Оно всяких, то есть всех, то есть ничейное совсем! – усилила напор Елена Никаноровна.

– Уйди!

– Отдайте! Отдай!

– Не отдам!! – не отпускала женщина свою драгоценность.

– Дай! Дай! Дай! – дёргала Елена Никаноровна.

Зеркало вырвалось, упало и, как ему полагается, разбилось. И в этот момент, в один момент, разбилась у этих женщин – злоба. Не стало объекта злобы, и самой её

не стало. И, словно с появлением сверкающих зеркальных осколков, обе женщины ощутили в сердце осколки любви. Просто любви. Друг ко другу, к миру этому, заключённо-му сейчас в маленькой помойке с несколькими баками, к мужчине, выбрасывающему в этот момент свой мусор.

– Простите, – извинилась Елена Никаноровна.

– Да чего там, пустяки, – ответила женщина.

И обе женщины засмеялись.

– Дуры! – рявкнул на них мужчина.

– Дуры, – согласилась Елена Никаноровна.

– Ещё бы не дуры, самые настоящие, что ни на есть они, – весело согласилась женщина в дырявом пальто. – Эх, плевать на всё! – она сняла облезшую шапку, бросила в бак и поправила свои волосы.

Мужчина махнул на женщин рукой, и все трое медленно разошлись.

Вечером после работы Елена Никаноровна купила зеркало размером чуть поменьше, чем разбитое на помойке. И утром, когда выбрасывала очередной мусор, поставила зеркало возле бака. А на него повесила свою ещё не старую шубу и вязаную шапку. Постояла, подождала, когда подойдёт женщина в дырявом пальто. Не дождавшись, но с радостью в душе пошла на работу, думая, что зеркалом-то была для неё эта несчастная женщина в дырявом пальто. Как, впрочем, и любой ближний для нас.

МАШЕНЬКА

Тётя Маша очень любила конфеты. Кто ж их не любит, скажет читатель, не водка же горькая. И не будет дальше читать. А зря. Тётя Маша любила не только вкус и запах конфет, а ещё обёртки. За сорок лет одинокой жизни она собрала их, наверно, вагон. Эти фантики были у неё дома всюду: в книгах, шкафах, коробках из-под конфет и обуви. Просто так собирала, как мы делаем разные дела. Просто так ходим в школу, женимся, рожаем детей, работаем. Коллекционируем всякую, извините за выражение, хрень. А спросят, зачем? И мы начинаем придумывать причины. Мол, надо зарабатывать на хлеб, продолжать род, гладить кота для понижения давления и так далее. А потом умираем. Просто так. И ничего не остаётся от наших дел. Потомки выгоняют кота на улицу, выливают рыбок в унитаз, выбрасывают фантики в мусорный мешок. А нужно-то стяжать иное. Но это совсем другая история...

Тётя Маша как-то затеяла очередную ненужную уборку и просматривала свои фантики. И на одной картинке увидела... себя. Она сравнила со своей фотографией в пятилетнем возрасте в платочке. И название-то – «Машенька», ну вылитая она. Как раньше-то не замечала? Наверно, мать дала это фото представителю кондитерской фабрики безо всякого коммерческого интереса. Всяко четыре десятка лет прошло.

Тётя Маша вынесла во двор фантик и показала сидящим на лавочке женщинам. Кто-то согласился:

– Ты, Машк, ну вылитая, я ж помню тебя маленькой. Бывало, надуешь в штаны и стоишь, орёшь...

Кто-то сомневался:

– Да нет, не похожа. У той щёки пухлые, а у тебя впалые, как у скелета.

Были и оппоненты:

– Так это сколько лет назад было, мы все тогда другие были.

И начался разговор о вечном.

– Вон она, молодёжь, ходит почти голая, тьфу, прости господи. Проветривают ляжки. У нас разве мыслимо было так-то?

– Мы мыли, а они проветривают, – процитировала где-то услышанный анекдот старушка и засмеялась сама.

Никто больше не смеялся, наоборот, все погрузились на минуту в воспоминания о чудесных минутах личной гигиены.

На каждую истину всегда найдутся критики:

– А и нам хотелось ходить так, перед парнями щеголять.

– Хотелось! Мать бы за это высекла как сидорову козу.

– Ничего, они думают, жизнь длинная, но она вон какая короткая. Тоже будут в нашей партии старых и больных...

Тётя Маша нашла адрес фабрики и написала письмо: мол, за такой большой срок использования её физиономии полагается гонорар. Подумала и написала: миллион рублей. И даже фотографию свою детскую вложила. Через какое-то время пришло ответное письмо. Там, к сожалению тёти Маши, миллиона рублей не было. А была её фотография и бумага, в которой, за подписью главного инженера, написано, что лицо девочки на обёртке не есть лицо тёти Маши, а просто собирательный детский образ. Так что никакой миллион мы вам не вышлем, ни в письмо не вложим, ни на карточку не переведём.

Тётя Маша с грустью решила, что правды в наше санкционное время она не добьётся. Пошла в магазин и купила на остаток пенсии все шоколадки, что были в гастрономе. И раздала всем присутствующим в это время во дворе. Только фантики забрала назад, для коллекции.

НАВОЗ

Всё у нас заканчивается навозом, но начну с него. Без этой субстанции ничего в России не растёт, особенно в нашем районе, где песчаная почва. Навоз есть целая философия, если рассматривать его абстрактно. Это, можно сказать, наша жизнь. Ведь у доброго человека редко что получается. А как только подбросишь дерьма в чью-нибудь судьбу, так всё и налаживается у самого.

Вот бабке Ульяне, которая жила в деревне, тоже прикатили навоз. Привозили и раньше, но прямо в огород сваливали. А тут деньги отдала немалые, около пяти тысяч, договорилась на такой-то день. Но тракторист приехал в другой, не получилось у него в этот. А Ульяны не было дома, в магазин ушла. Подождал мужик минут двадцать, покурил, в ворота постучал не раз и вывалил навоз прямо в палисадник. И уехал. Бабка, когда пришла через десять минут, так и села на плеть.

– Бляха медна! – завопила. – А! Ведь сказала, когда везти. Нет, он сейчас! А привёз-то, привёз! – голосила, – Целу гору! Зачем столько? Мол, меньше невыгодно возить им! Свалил и уехал! Деньги, мол, потом отдашь!

«Свалил и уехал». Вот так в литературе новые афоризмы рождаются.

В общем, сидела Ульяна и долго рассказывала прилетевшим клевать навоз радостным воробьям о своём горе. Теперь его, такой тяжёлый нужно таскать в огород. И ещё она спрашивала птиц, зачем ей столько удобрения. Года немалые, живёт одна. Чёрт прислал целый трактор, пять тонн за три тысячи семьсот рублей. Такие нынче цены.

Сидела бабка Ульяна, горевала и придумала так. Продавать его хитро. Одно ведро или мешок на продажу, второе покупатель должен принести на грядку. Придётся скинуть, конечно, цену. Что ж, посчитала, получилось примерно половина кучи за ту же цену. Пять тонн – это пятьсот вёдер. Может, меньше. Навоз сырой, тяжёлый. Ну, рублей семь за ведро. Половину продать, а другую пусть таскают бесплатно. А! Русская смекалка!

Вот первый брёл мимо. В деревне по именам не любят называть, а по кликухам токмо. «Цыган».

– Ты бы ещё, Ульян, на дорогу насыпала, – посмеялся он над бабкой.

А та:

– А эт у меня бизнес такой, – ответила. И объяснила: мол, за семь рублей бери ведро, второе за пять, а третье в огород носи.

Цыган поморщился, подумал, что навоз нужен. Но вёдер двадцать, помидоры подкормить. Что там, нормалёк, двести рублей всего. И согласился.

Потом ещё пришёл с ребятишками, поболе купил.

Так до вечера Ульяна и «утаковала» свой навоз. Посчитала – не прогадала.

С навозом разделалась, теперь надо дрова на зиму купить.

АНТРЕСОЛЬ

Наше время шумное. За окном нескончаемые автомобили, и днём и ночью. Помогают разве что пластиковые окна. А лет сорок назад таких окон ещё не было, да они и не нужны были, потому как шум, наверно, на порядок был меньше. Редкие легковые «Жигули», «Москвичи» да «Волги». И грузовые автомобили. Быстрые, со стройматериалами для строящихся микрорайонов в ту «застойную» эпоху. И медленные, с опущенными бортами и открытыми гробами, впереди похоронных процессий. И лошадиные повозки. С рынка, из мебельного магазина.

На одной такой повозке, с сидящим маленьким бородастым мужиком, был шкаф, стенка с антресолью. Мужик в длинной подпоясанной рубахе и сапогах, будто из прошлого века, сидел, как положено, впереди. Сзади же сидел покупатель. Такой классический очкастый интеллигент, инженер в костюме. Он щурился и улыбался весеннему солнцу и покупке. Вместе с ним радовались теплу воробьи, которые следовали за повозкой и клевали регулярный лошадиный навоз. А мужик-извозчик был хмур. Может, по причине усталости или своего положения на социальной социалистической лестнице.

На одном из поворотов он так стеганул лошадь, что она резко и неправильно дёрнулась. С повозки упала антресоль прямо в грязь, отлетела дверка. Как положено, мужик нецензурно протараторил в бороду. Инженер только айкнул. Повозка остановилась. Оба мужчины спрыгнули с неё. Извозчик замахнулся на лошадь кнутом.

– Не надо так! – остановил его инженер. – Она ж лошадь, животное безмозглое.

– Так что, я виноват, что ль? – гневно крикнул мужик.
 – Кто виноват, это уже не актуально. Нужно думать теперь, что делать, – сказал интеллигент.

Извозчик почесал бороду, рассматривая антресоль.

– Чего ж, поднимаем тогда. Вроде не шибко сломалась балясина. Приделать дверку и почистить надо токмо.

– Давайте, поднимаем, – согласился инженер.

– Только покурим сперва, – предложил извозчик.

Он достал пачку «Беломора», вынул одну папиросу, подул в неё.

– Эх, мать честная, спички кончились. У тебя нет?

Инженер помотал головой.

Извозчик огляделся, нашёл сзади на тротуаре курящего прохожего, молодого человека с длинными волосами, в цветной рубашке с засученными рукавами и расклепанных брюках.

Извозчик подбежал к парню и прикурил от его сигареты.

– На дискотеку, что ли? – хитро спросил он прохожего.

– Каку-ую дискотеку! – протянул парень. – В путьгу.

– А-а, – протянул извозчик. – А на кого учишься?

– На слесаря.

– Это дело, – сказал извозчик, и крикнул инженеру: – Вот профессия хорошая, хлеб в дом – слесарь! – Затянулся папиросой и сказал тихо и весело парню: – И каждый день пьяный.

Парень усмехнулся и тоже выпустил дым, сказал:

– Ну нет, зачем же.

– Ну-ну. Мебель поможешь поднять? – попросил извозчик.

Парень поморщился.

– Некогда мне, – сказал и пошагал себе.

Извозчик махнул рукой – мол, ладно, иди. А сам подошёл к повозке.

– Ты в коммунизм веришь? – спросил он инженера, глубоко затягиваясь дымом.

– А? – не ожидал такого вопроса инженер.

– В победу его, коммунизма?

Инженер скривил рот.

– Фиг знает, надо верить, – ответил.

– А я не верю, – сказал мужик.

– Что касается нынешней ситуации, то мне грех жаловаться, – сказал инженер. – Образование есть, работа тоже. Квартиру дали. Что ещё надо? От каждого по способностям, каждому по потребностям.

Извозчик затянулся несколько раз, переваривая слова инженера, поднял камень и бросил в воробьёв. Те взлетели и сели на ветки берёзы.

Инженер почесал затылок и сказал:

– Страна идёт вперёд, заводы дымят, дома строятся. Вон микрорайон как вырос за две пятилетки, разве плохо? И лучше будет.

Извозчик стряхнул пепел с папиросы.

– А я с детства извозчиком, мальцом с батей ездил. И вот уж старый, а ничего не изменилось.

– Ну, тут свой закон, – объяснил инженер. – Диалектики.

– Как?

– Количество перешло в качество. Ты рос, мужал и стал опытным и сильным извозчиком.

– Не понимаю, – сказал извозчик и бросил далеко окурок.

Из-за поворота показалась похоронная процессия. Впереди ехал грузовик с бордовым гробом. За ним двое мужчин над головой несли крышку гроба, женщины – венки, далее шли немногочисленные провожающие. Процессия подошла к повозке и остановилась. Подошёл мужчина в чёрной рубашке и спросил:

– Ну и чего?

– Чего, чего – авария, не видишь, что ли? – объяснил извозчик.

– Нам на кладбище надо, – сказал мужчина в чёрной рубашке.

– Всем надо, – сказал инженер, и добавил: – Когда-нибудь. Антресоль помогите поднять, и дорогу освободим.

Мужчина в чёрной рубашке вздохнул, сплюнул и позвал других мужчин из процессии. Вместе они погрузили антресоль на повозку, и извозчик съехал на обочину. Процессия последовала дальше.

Извозчик погладил бороду и сказал тихо:

– Какая разница, коммунизм, не коммунизм. А все вон туда, затылок тереть... Ленин бегал всю жизнь по ссылкам да швейцариям, а лежит тоже в мавзолее... Знаешь, в чём самая большая беда человечества? – вдруг громко крикнул.

– Не знаю, – не ожидал такого инженер.

– Что предыдущие поколения не знают, что с ихними идеями сделают, как это... после них?..

– Потомки, – помог инженер.

– Ну вот, – согласился извозчик. – Если бы Маркс знал, что с его книгами Ленин сделает, ни фига бы не согласился.

Инженер вздохнул.

– Не знаю, – сказал. – Может, поедем?

Они сели и поехали. У подъезда, царапая мебель о повозку, кое-как спустили на землю шкаф. Инженер дал мужику извозчику рубль на бутылку портвейна – бумажный советский рубль, который в эпоху развитого социализма был больше доллара. И стал вместе с воробьями, купающимися в луже, ждать у подъезда жену и соседа, чтобы затащить на пятый этаж шифоньер с антресолью. Извозчик отказался тащить даже за три рубля, мол, радикулит у него.

Лирический портрет

Евгений ЭРАСТОВ

ЗА ВЫСОКОЕ РУССКОЕ СЛОВО...

* * *

Крупный снег повалит сразу – и породист, и пушист,
Как отточенная фраза на тетрадный ляжет лист.

Он завалит наши крыши, заметелит купола.
Выше, глуше, тише мыши, вот такие, брат, дела.

И деревья он покроет, и корявые кусты.
Все мирское он зароет, чтоб его не вспомнил ты.

Не направо, так налево, не налево, так вперед –
Голос Снежной Королевы что-то нежное поет.

Как зима немилосердна! Но отважна и горда
По снегам блуждала Герда в царстве холода и льда.

Снился датской недотроге ледяной суровой край,
Где в заснеженной берлоге спал несчастный
мальчик Кай.

Так иди ж на Север прямо, позабудь про теплый Юг –
Раямяки, Куусамо, Калдоайви, милый друг.

Скоро станешь снежной глыбой вместе с лирою тугой.
Угостит лапландка рыбой – много ль надо, дорогой?

В небесах созвездье Девы, в чашке – козье молоко.
Царство Снежной Королевы, не подскажешь, далеко?

Так дойдешь до края света, где дворец ее стоит.
...Почему пишу всё это? Просто крупный снег валит.

* * *

Здесь листвы утонченная дрожь
Да истома соломы шуршащей,
Здесь ты истинной жизнью живешь –
Целокупной, манящей, звенящей,

Что уходит на дно, трепеща,
Ничего не оставив подранку,
Чешуей серебристой леща,
Проглотившего рыбку-приманку.

Ты слонялся во тьме, дурачок,
Ты искал с фонарем человека,
Опасаясь попасть на крючок
Меркантильного подлого века.

Ты же видел Божественный Свет!
И была твоя жизнь не ошибкой.
Для чего ж ты гонялся, поэт,
Столько долгих, мучительных лет
За своей силиконовой рыбкой?

Там, на глинистом, илистом дне
Не ищи философского камня!
В первозданной своей тишине
Прошепчи обветшалою луне:
«Мировая тоска велика мне».

Здесь, у старицы, вечный юнец,
Вечный отрок, поймешь, наконец,

То, что знают речные стрекозы,
Что не поняли Кант и Спиноза.

Медитация квелой плотвы,
Желтоглазых лещей глаукома,
Разговор оголтелой листвы,
Откровение полой соломы.

* * *

Медвежий угол. Край Руси.
Здесь носом роют караси
Запуганную глину.
Стрекоз железных вечен зуд.
Букашки черные ползут
И падают на спину.

Замшелый мост. Кривой овраг.
На берегу застыл рыбак
В штормовке камуфляжной.
Неужто это наш удел –
И комариный беспредел,
И заговор овражный?

Медвежий угол. Край Руси.
Воскликнешь: «Господи, спаси!»
Но кто услышит, право?
Не верь. Не бойся. Не проси.
Болото. Ров. Канава.

* * *

Теплый ветер, мокрые палатки,
Своеволье непослушной прядки
В волосах подруги из Ухты.
Я не помню, Оля или Лена.
Помню только – море по колено
Было нам действительно, и ты

Мог идти вперед по часу с лишним
По песчаной отмели, и та
Оля-Лена, чьи глаза как вишни,
Мне шептала: «Что за красота!»

Вещих звезд слепые отраженья
Коченели в море без движенья,
И спросила девушка меня:
«Что там впереди, не знаешь, Женя?»
Прядкой непослушную маня.

Что там впереди? Как эфемерно
Наше счастье... И тогда безмерной
Жизнь казалась. Где ее края?
«Впереди Румыния, наверно», –
Южной ночью ей ответил я.

Здесь рыбак закидывает леску,
Ну а там – товарищ Чаушеску
Свой народ сгибал в бараний рог.
Книжный мальчик с логикою дружен
Был всегда, но в жизни безоружен –
Как и все поэты, видит Бог.

Девушка была не слишком строгой –
Лишь купальник бежевый под тогой
Белого халата был порой.
Но ходила чаще без халата,
Хоть в медпункте лагеря дощатом
Числилась заштатной медсестрой.

Ей плевать на наши интересы.
Это не бухие поэтессы!
Что ей мир очкариков-лохов!
Говорила мне про мерседесы,
Про богатых южных женихов.

Звездной ночи как мы были рады!
Восставали сонные Плеяды

Там, в нерукотворных небесах.
Было всё и сказочно, и сладко.
Где же ты, причудливая прядка
В непослушных черных волосах?

Где вы, склоны вкрадчивого юга,
Ветра туапсинского потуги?
Знаю, времена уже не те.
...Где ты, длинноногая подруга?
Неужели всё еще в Ухте?

Костя Треплев

«Люди, львы, орлы и куропатки...»
Убежать хотелось без оглядки
В те непостижимые края,
Где трава растет по самый пояс,
В те края, где жить не беспокоясь
Ты бы смог, желанья не тая.

Вечный сын Гармонии Небесной
Припадал бы к заросли древесной,
К вечному кастальскому ключу.
И смотрел на горы и на нивы,
На соцветья яблони и сливы,
Там ты был и сильный, и счастливый,
Там любое дело по плечу.

От греха спаси его, Создатель.
У него такой печальный вид.
Костя вдруг решил, что он – писатель.
Мастер сцены, русский Еврипид.

Кто сказал, что будешь ты в анналах?
Призраки маячат в зеркалах.
Пьесы не печатают в журналах,
Горничные шепчутся в углах.

От пастозных, сиволапых танек
Словно нутряной исходит ток:

«Подари целковый или пряник,
Балахнинский, с кружевом, платок.

Девушка не станет на халяву,
Нужен ей конкретный интерес». Там, в сенях, не думают про славу,
Не читают квелых поэтесс.

Грубый мир осмыслить не пытайся,
Всех своих обидчиков прости.
...Костя Треплев, только не стреляйся!
На Руси романтики в чести.

* * *

Мне такая приснилась картина –
Дождь картавый, парижский бульвар,
Обветшалых годов паутина,
Ходасевич, Берберова Нина,
Эмигрантский столикий кошмар.

Большевицкие пули со свистом
Прерывают обугленный стих.
Брось поэзию, стань журналистом,
Нигилистом, дружок, пофигистом,
Мой кастрюлю одну на двоих.

И суши свои простыни рядом
С простынями парижских бродяг,
Пей абсент под сквозным листопадом
За Поэзию, мать твою так...

Крошки стряхивай с ветхих матрасов,
Но не смей ни кривиться, ни ныть!
Ведь сказал же однажды Некрасов,
Что поэтом ты можешь не быть.

Сильный ветер задует мне в спину,
Вспомню дождь и соборных химер,
Владислава я встречу и Нину
На бульваре des Filles-du-Calvaire.

Расскажу, как жестки и суровы
Стали люди от бед и труда.
За высокое русское слово
Предложу я им выпить тогда.

За издания «Гиперборея»,
Царскосельских пугливых бельчат,
За детей, что растут всё быстрее,
Тех, которые ямб от хорей
Через тысячу лет отличат.

* * *

В траве земляника алеет,
Чихает хозяйственный еж,
И облако в небе белеет,
А в поле лоснится и зреет,
Полнеет красавица-рожь.

Глубокого неба колодцы
Двуххвостые режут стрижи,
И в узеньком темном болотце
Смешные резвятся ужи.

И каждый свернувшийся ужик,
Что весел, отважен и лих,
Болотную тину утюжит
В сообществе юрких ужих.

Там кочка мягка, как подушка,
И среди узаконенной мглы
Скучает царевна-лягушка
В предчувствии острой стрелы.

* * *

Как мучнистый седой мотылек
 Над увядшим пасленом порхает,
 Так и жизни дарованный срок
 Растворяется, тает и тает.

Да и стоит ли вечно порхать
 Над поруганным русским болотом?
 Уж не лучше ли в небе летать
 Величавым ковром-самолетом?

В сонной речке резвится малек,
 В чистом поле цветет василек,
 Пыль стоит на дорогах Отчизны.
 Но мучнистый седой мотылек
 Что-то важное знает о жизни.

Знает то, что не знает другой,
 В узколобой ночи дорогой
 Заскорузлые башли считая.
 И безбожно чернеет паслен,
 И желтеет раскидистый клен.
 ...Скоро осень придет золотая.

Татьяна БАТУРИНА

Волгоград

В РЕБРАХ

Отец и мать

Ложились отческие рати
 Во снѣги смертны, не во сны...
 Но шли и шли отец и мать,
 Всѣ шли по времени войны.

Их души прятал Огнь Небесный
 От преисподнего огня –
 И возвышался ход сокрестный
 В святом предчувствии меня.

СНИМОК

(50-е годы XX века)

Ничего нет в судьбе, только мать и отец
 Там, в окрестностях дома и детства:
 Беззащитность калитки... листвы изразец...
 Святость послевоенного бедства...

Порфира

Лазурь, лазурь! Родимы взоры
 Над Отчим краем,
 Где мы встречаем наши зори,
 Где умираем,

Где всякомалую былинку
 Стражит Порфира
 Святой Руси и, что кровинку,
 Мы чаем русскую таинку
 В наитьях мира.

Святая простота

...В мирозверстве не зная искусства,
 Русь покорна Всевышней мяте*
 И жива во святой простоте,
 Но чужие – всегда в полверсте...

Да неужто природного руса
 Чужь распнёт на его же щите?
 Да не быть!
 При державном хребте
 Станем пиками древних знамён,
 Необъятностью новых имён.

В рёбрах

Не в брёвнах церковь, сказано, а в рёбрах.
 Бреду, бреду по выжженной гряде,
 Укрывшей брёвна, что купались в реках,
 Потом в артельной маялись страде,
 Входили над землёю колокольной,
 Оградою взлетали, алтарём...
 Здесь лишь ковыль сберёг седые корни,
 Стоит у врат незримых вратарём.

Распалась деревянная былина,
 Сражённая пожаром иль ордой.
 Но, Господи, отчизна – не чужбина,
 Бреду и я своею чередой
 По этой древней, этой чёрной глине,
 Под солнцем старорусским чуть дыша...

* Мята́ – цель (др.-рус.).

Но вздох хотя б единый о святине
 Есть в рёбрах –
 есть бессмертная душа.

Перевал

На перевале,
 на гребне лет,
 не пряча взгляда, –
 да или нет, да или нет? –
 ответить надо...

М. Луконин. На перевале

Твой голос, зари провозвестней,
 У тёмного края притих,
 Где бездна зовет о бездне
 Огнём водопадов своих.

Взгляни же, певец дерзновенный,
 На грозные эти труды,
 Творящие пламень нетленный
 Из камня, земли и воды!

Не всякий пиит велеречен
 Сред пропастей диких и скал,
 Не зная, ничтожен иль вечен
 Судьбинный его перевал.

Но ведомо: в свётах и безднах
 Мятётся душа на веку,
 В победах и бедах прелестных
 Навряд ли найдись пустяку.

Сонет

Случившиеся ныне иль вчера,
 Не ставшее ни счастьем,
 ни бедою,

Наскучивает скоро, что игра
В шары,
 да и проходит чередою.

Зато былою ветреностью лет
Любуюсь,
 ведь она не повторится,
Как молодая грозка-пламенница,
Сверкнувшая из небыли
 в рассвет.

Всё это ты, душа моя, всё ты
Надумывала тайны и мечты,
Изобретала радостный раёшник...

Труды порой бывали нележки,
Но ты носила в милые деньки
Корону на главе, а не кокошник!

Плач простительный

Отпустите меня,
Отпустите меня...
В колыбельюшку сна,
Где покой и весна,
Положите меня.

Обнимите меня,
Обнимите меня,
О прощенье моля...
У иконы Кремля
Помяните меня.

Яблони-былины

Зашумят родные листопады,
Про зимовку вспомнят корабли,
Повернут их белые армады
На былины Русския земли.

У былин судьбинушка прямая:
Как наивно лепестились в мае,
Снеговыми розами цвели,
В белоснежных снах не разывая
Вековечность Русския земли!

Коль крепки порфиновые глины,
То и держат былей купину:
С ласковостью яблони-былины
Ко плечу родному так и льну.

Не страшусь,
 что древние печали
Завлекут меня в иную часть
Бытия, где непросветны дали, –
Жаль, что без меня
 помчится дале
Мир, младым цветением лучась.

Но, себе ж таинственно переча,
Верю, что на стогнах и в глуши
Золотятся яблони и свечи
Во спасенье Русския души!

Владимир БОЛОХОВ

Новомосковск

Из цикла «ОКЛИКИ АУКНУВШЕГО»

Святослав

*Так говорит преданье: Святослав, князь
древлерусский, «идучи на рать», слал
к ворогу гонца – с предупрежденьем:
– Иду на вы...*

Иду на вы... Кто честен – тот и прав.
Тем паче там – где и не пахло правом.
Иду на вы... И стяги Святослава
вздымались – вызов недругу послав.

Иду на вы... И мирное орало
менял на меч – хлебодобычный – смерд.
Гласит преданье: презирал забрало
крестьянин ратный – идучи на смерть.

Иду на вы... Легендою лукавой
не обольстить – взыскательную – честь.
Но печенег, сразивший Святослава
из-за угла, – взыскующая весть.

Сквозь рёв ракет я внемлю чутким слухом –
былинный клик связующей молвы.
И, печенегу совести и духа,
иду на вы...

Баллада о блокадном яблоке

Памяти блокадников Ленинграда

Мать сыну яблоко дала.
А на вопрос: «Где раздобыла?» –
ответила: «Стирать ходила
и обменяла на обмылок...
Ешь-ешь, я... пару уплела...»

Мать сыну яблоко дала.
А тот – к подружке – торопливо.
С голодной радостью стыдливой
она гостинец поделила –
линейкой строгой – пополам.

С улыбкой губ иссиня-белых,
голодный спазм сумев унять,
воскликнул отрок: «Я... штук пять!..»
И – смолк, пронзённый мыслью: мать –
огрызка яблока не съела...

Она солгать ему сумела,
чтоб мог он так же честно лгать.

Баллада о высшем звании

*Причастный Тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
Александр Блок*

Не нюхал он каши армейской,
хлебнувший... баланды иной...
И всё же медалью гвардейской
форсил он и был – старшиной...

Катили с войны эшелоны –
войну превозмогших – домой.
И сплошь семафорил «зелёный» –
трудягам Второй мировой.

Запомнил о том малолеток –
в теплушке, набитой битком,
где шастал в кирзовых «штиблетах»,
под нары гуляя пешком.

Бойцы вещмешки тормошили,
даря – кто чем мог – огольца.
Они же скроили и сшили –
ему – гимнастёрку бойца.

Спроворили даже погоны –
в старшины мальчика посвятив.
Весь день не стихал по вагону
шутливых приветствий мотив.

И даже медаль «За отвагу»
приладил к щенячьей груди
один бесшабашный парняга,
да осадил командир:

«Не цацкой – в запечье на брюхе –
разжился, – и ваньку не строй!..
А ты не горюй, лопухий,
держи-ка сухарик, геро-ой!..»

Потом прошептал еле слышно –
зубами припав к рюкзаку:
«Дитё... – нету звания выше...
Ну-к, на, старшина, сахарку...»

Но вот и пора расставанья,
шинельно-бурлящий перрон.
«Бывай, старшина!.. До свиданья!..» –
казалось, кричал весь вагон.

Волшебник

У витрины магазина,
где глазастей – детвора,

вспомнил я: «Беру-у ре-зи-ину!»
и ровесников «урра-а!»

«Кость беру-у!» – неслось протяжно
из телеги ломовой.
И утильщик – гость преважный –
открывал прилавок свой.

Сбив торчком на плешь кепчонку,
дед крутил табачный ус.
Босоногие девчонки –
от стеклянных млели бус.

Рты мальчищечьи круглели –
у капроновой! лесы.
Зачарованно сопели –
повлажневшие носы.

«Шевелись! Не спи, ребята!
Есть важнецкие крючки!»
И впечатывались пятки
в пыль двора – вперегонки.

И – за тапку без подошвы –
получал пацан крючок
иль – за рваные галоши –
звонкий глиняный свисток.

Ну а кто латунный чайник
или медный котелок –
в свалке найденный случайно –
с визгом радостным волок,

уж того – вдвойне добрея –
дед одаривал – вдвойне.
Потому что медь – ценнее,
а уж так нужна – стране!..

Лупоглазый и горластый –
некорыстный – гаснул торг.

Продолжался полновластный –
детства нищего – восторг.

Дед будил конягу: «Ми-илай!
Аль приснился сена клок?..»
Я свистел – в пупке ломило –
в заработанный свисток.

И катил волшебник сивый –
чистый мальчик со спины –
по руинной по России,
чуть вздохнувшей – без войны...

Счастливым

Вновь неказисто-загородный лес
пригож – в цветенье майского рассвета...
С одышкой припадая на протез,
он к ней спешит – в победный день – с приветом...

Испарина – как после марш-броска –
на лбу, гудящем от скрипучих мыслей...
Сухой сучок вдруг хрястнул у виска,
как тот – сваливший друга – вражий выстрел...

Вновь ветеран доковылял сюда –
душой припасть к плечу плакучей ивы,
той самой – им посаженной, когда
он без ноги с войны пришёл – счастливый...

Кантата

...И если, спятив, жить устану –
среди русских смут – герой-с-дырой,
пусть память о войне восстанет –
Отечественной-мировой.

Не надо кривды – контрабандной
и свойской истины – без дна.
Пусть в душу ахнет клич набатный –
сороковых: «Вставай, страна!..»

И на земле, перед которой
всяк – ею вскормленный – в долгу,
я поступлюсь – тропой неторной,
такого ради – я смогу.

В бесчинном звании поэта
смогу – понятно, не в строю –
тьму отличить от бела света –
у бездны мрачной на краю..

Из свежей прозы

Юрий ФАНКИН

Муром

ЖИЛ СТАРИК У ОЗЕРА...

Долго текла река по испытанному руслу, но с годами, потревоженная весенними разливами, взяла да и повернула вправо, где меньше глины, жилистого коряжника и больше податливого песка. А двухкилометровый отрезок старого русла со временем превратился в лесное Озеро, большое, голубое, отороченное кустами ольхи, ивняка, вербы.

Озеро смотрело в небо, а небо вместе с облаками и звёздами купалось в тихой воде.

Озеро, как всё живое, нерукотворное, помнило особой памятью свои первые зимы, то по-женски мягкие, то лютые и какие-то вероломные, без обманчивого предзимья, когда осень, притворяясь зимой, скручивала листву ивы в жёсткие стручки и стеклила окрайки Озера слюдяным ненадёжным покровом.

И всё же после осенних уловов приходил настоящий холод, когда Озеро, освободившись от плавающей ряски, становилось чистым, а мороз, пришедший всерьёз, покрывал толстым льдом не только изнеженные близостью леса затоны, но и материк бывшей реки.

С неба сыпались мохнатые хлопья, и Озеро, поверив переменам, медленно засыпало под ласковый шёпот пада-

ющего снега. Тёмные прибрежные ели надевали высокие шапки-боярки, накрывались серебристой парчой.

В сильные морозы над Озером сияла необыкновенная луна, обвитая двойным кольцом, зеленоватым ближе к диску и желтовато-молочным, плавно сливающимся с белёсым небом. Призрачный свет сеялся на спящее Озеро, обозначая санный след, ведущий от одной деревни к другой.

Озеру, закованному в льды, хотелось дышать. Ему помогали полыньи и незамерзающие ручьевини. Но больше всего выручали рыбацкие проруби – молочный пар окутывал ветки, опущенные в лунки, и сосульчато, с налётом инея, застывал на них, словно на мужицкой бороде в лютый холод.

Но не вечен зимний полон. На Сретенье зима встречалась с весной, а там и чёрный, как головешка, грач подоспевал...

Вспухнет, посинеет материк Озера и под напором полной воды треснет так, как будто подводный богатырь подпёр плечом да и вытолкнул навстречу пристальному солнцу ледяную преграду.

После зимней спячки придут в себя караси. Глотая сладкий воздух, они выберутся из своих спасительных ям, из вязкой тины и, очищая грязные бока в осоке, направятся к своим кормным местам возле ручьевин. А вечная гроза карасей – зубастые щуки потянутся к тёплым затонам, чтобы оставить в затопленных кустарниках и подводных травах золотистые нити икринок.

Откроется Озеро и гомонливым птицам прилётным. Царственные лебеди, мерно махая белоснежными крыльями, прокричат Озеру приветное: «Клинг-клинг, клинг-клинг». Упадут на воду серой тучей гуси-гуменники, собьются в живой, копошащийся, словно муравейник, островок, пожируют вдоволь и отправятся дальше, на свои любимые севера. А тут и стаи уток и связи подспеют – с кряканьем и свистом пронесутся над неузнаваемым по весне Озером, выскывая старые гнездовья и присады. Неприметная серая утица в камышовой гущаре заголотит громко, подзывая к себе разнаряженного в пух и прах ревнивца-жениха.

Скромные зимние краски обернутся настоящим пиршеством цвета. Засинеют сосны и ели. Заневестятся белоствольные берёзы, набросив на себя лиловато-розовую фату. Гибкую иву облепят пухлые, в золотистой пылице серёжки. На зеленовато-матовых побегах вербы появятся серебристые, мягкие, как плюш, почки.

Не отстанет в красоте своего обновленья рано зацветающий орешник: в каждой его почке загорится красная «звёздочка».

Когда пойдёт на спад водополье, белым черёмуховым снегом покроются берега, и соловей, птичка-невеличка, напившись росы с берёзового листа, засвистит, защёлкает, разольётся жемчужной трелью, и будет его весенняя песня, не зная устали, звучать день и ночь.

А на сырых местах отпотевшей земли появятся яркие, как яичные желтки, калужница и мать-и-мачеха...

По голубому, приветливо распахнутому небу будут плыть разноцветные облака: то синие, то серовато-бурые, то белые, словно кипящие. Иногда небесная наволочь будет долго скрывать солнце, но неудержимый луч всё же пробьётся к пахнувшей талым снегом воде, и Озеро ответит небу такой же светлой улыбкой.

Даже в цветущем мае случаются коварные зазимки. С тёмного неба будет сыпаться снежная мокредь. По-осеннему зашершавятся волны. Умолкнет птичий гомон, и напуганные утки забьются в глухие камыши.

И всё же не найдётся в природе сила, способная извести райскую красоту новой весны и наступающего лета.

* * *

За окном ошалело, громыхая крыльями, заорал соседский петух.

Фёдор протёр глаза, затянутые старческой смолкой, погладил ноющие бока. Всю ночь не давали покоя эти бока.

Чтобы избавиться от нудной боли, он то и дело переворачивался с боку на бок, пытался лежать на спине, но просыпался, разбуженный собственным храпом. Хотел было в поисках покоя перевалиться на живот, но передумал...

Он понимал, что виной ночным страданиям не болезнь, а обыкновенная старость. Мышцы, лишённые былой упругости, быстро затекали. Иногда рука, придавленная бедром, становилась безжизненно ватной.

И всё же Фёдор, пусть и урывками, умудрялся спать. Ему даже снились сны. Полуночные сны забывались, а предутренние помнились.

В эту летнюю ночь ему снилось, как он взбирается на большую, почти отвесную, гору. Фёдор вползал на неё чуть ли не на коленях, хватаясь за жидкую траву. Не было рядом ни единого кустика, за который можно было бы уцепиться.

Он падал, оступался. И всё же, словно приговорённый к восхождению, полз. Полз и задавал себе вопрос: зачем?

И не находил ясного ответа.

Петух помешал Фёдору одолеть крутую гору. А ведь он уже добрался до самой вершины с белоснежными облаками.

– Дёрнуло тебя заорать! – пробормотал Фёдор.

Он попытался подремать, вернуть себе ускользящий сон, но снова истошно заголосил петух, и Фёдор понял, что сегодня ему не суждено добраться до вершины.

Однако недавний азарт ещё жил в нём, не давал покоя: «Эх, ещё бы чуть-чуть...»

Через тюлевые занавески, похожие на рыболовную сеть, падали на подоконник утренние лучи. Жена Лиза хлопотала на кухне. Под Фёдором скрипнула кровать.

– Проснулся? – спросила жена.

Фёдор промолчал. Помедлив, втянул парной сладковатый запах и грустно спросил:

– Овсянка?

Лиза не ответила. Да и нужно ли было отвечать: после прошлогодней операции мужа она часто готовила для него овсяную кашу на постном масле.

Фёдор спустил ноги на пол. Несколько минут, приходя в себя, поглаживал костлявые колени. Ноги казались ему чужими, непривычно слабыми. Ему предстояло сегодня хорошенько «расходиться», вернуть ногам посильную прочность.

С особым интересом Фёдор вглядывался в левое колено — он словно хотел обнаружить на нём синяк или ссадину от ночного восхождения. И ему вдруг показалось, что чашечка немного посинела.

«Ничего себе...» — удивился Фёдор.

Он задумчиво потрогал щёки. Давненько не брился. Щетина жёсткая, колючая, словно стерня. Обычным станком едва ли возьмёшь, да и, признаться, Фёдору надоели современные станки: то и дело приходится менять. Куда удобней зольингенская раскладная бритва.

Опершись на руки, Фёдор встал с кровати. Пошатнулся, но сумел выпрямиться и, немного постояв, направился вялой походкой в коридор, где возле умывальника с зеркальцем были разложены бритвенные станки, высохший помазок в мыльнице и немецкая опасная бритва, которой пользовался не только отец, вернувшийся с фронта, но и дед Данила.

Фёдор попробовал пальцем остриё бритвы, даже легонько прошёлся лезвием по серебристой щетине. Ему показалось, что бритва не очень остра...

Он вернулся в комнату и долго, сердясь на самого себя, искал отцовский ремень.

Армейский кожаный ремень потрескался с внешней стороны, но внутренняя, выглаженная за много лет опасной бритвой, была гладкой, словно лёд. Он прицепил ремень пряжкой к настенному крючку и, используя натяг, стал тщательно выглаживать бритву. Осторожно, с лёгким нажимом, водил лезвием, то и дело меняя стороны, пробовал остриё заглубившим от плотницкой работы пальцем. Казалось, не бритву настраивает, а подаренную отцом трёхструнную балалайку.

Наконец бритва устроила Фёдора. Щетина никла от малейшего прикосновения.

Фёдор довольно крикнул, сходил на кухню за тёплой водой и начал старательно гонять в пенной мыльнице жёлтый обмылок.

Лиза вышла в коридор.

— Ну что ты возишься? Каша остывает...

Фёдор промолчал. Остывает, ну и пусть остывает. Трудно разогреть?

Лиза стояла возле мужа, с любопытством смотрела, как Фёдор неторопливо, подпирая щёки языком, снимает с лица пенистые разводья. Фёдор молодец на глазах. И когда муж, в довершение к тщательному бритью, помазал кожу питательным кремом, с улыбкой спросила:

— Ты что, в гости собираешься?

Фёдор хитро глянул на жену:

— Может, и собираюсь.

Фёдор говорил серьёзно, а Лизе почему-то казалось, что муж на её шутку отвечает такой же шуткой...

Они сели за стол, и повторилась обычная история.

— Положи, как себе... — попросил Фёдор.

Но Лиза ослушалась. Положила себе пять, не очень полных, ложек овсянки, а Фёдору целых шесть, да ещё с верхом. Когда подносила эти ложки к тарелке Фёдора, то даже ладонь подставляла: как бы не упала щедро наложенная каша.

— Опять навалила! — сердился Фёдор. — Сколько раз тебе говорить? Как об стенку горох...

Лиза делала невинные глаза:

— Велика ли разница? Пять, шесть... Ты же мужик! Нечего равняться со мной, бабой!

— Был мужик, да вышел! — злился Фёдор. — Укатили сивку крутые горки!

— Да ешь, ешь! — не сдавалась Лиза. — Каша вкусная, полезная!

Фёдор ворошил горячую кашу ложкой и продолжал придирается:

— Говоришь, остыла! А я чуть рот не обжёг...

Лиза помалкивала. Глядя на неё, и Фёдор замолчал. Правда, носилась у него в голове коварная мысль: взять да и переложить лишнюю ложку в тарелку жены — пусть кушает себе на здоровье, коль не видит разницы, — однако в последний момент сменил гнев на милость.

«Так и быть, в следующий раз...» — успокоил себя Фёдор.

Попив чая с рассыпчатым печеньем и съев плавленый сырок, Фёдор с усилием, словно после обильного застолья, выбрался из-за стола, буркнул «спасибо» и, поглаживая плоский живот, упрекнул жену:

– Опять перекормила!

После завтрака Фёдор обычно выходил на огород, искал посильную работу. Работа, как правило, была нудной, скучноватой, и вид у Фёдора был, как у тягловой лошади: не хочется тащить воз, а надо.

Но в это утро по хитроватому виду Фёдора, по живому блеску глаз Лиза быстро догадалась, что муж что-то задумал.

Она не удержалась:

– Ты куда?

– Куда-куда, – по-мальчишески передразнил Фёдор. – Тащить кобылу из пруда.

Лиза не обиделась. Только усмехнулась. Пусть себе поворчит, потешится! Никуда он не денется со своим «секретом». Или сам, голубчик, проговорится, иль она без него догадается.

Да и сам Фёдор, конечно, понимал, что от жены, как от Божьего ока, не укроешься, и всё же продолжал играть в детские прятки.

– Ну куда я пойду? – посерьёзnel Фёдор. – У меня то двор, то огород...

Вроде бы и правду сказал старик, но не до конца.

– Иди! Иди! – поддержала Лиза. – Смотри, не перетрудишься!

Фёдор потоптался у двери и, взбадривая себя, сделал несколько рывков руками.

«Маши! Маши! – грустно улыбнулась Лиза. – Далеко не улетишь!»

Фёдор подозрительно глянул на Лизу: не собирается ли идти за ним?

Но жена как будто забыла о его существовании.

Фёдор повеселел и, торопясь, обеими руками оттолкнул внутреннюю дверь, и, когда закрывал дверь, чуть не прищемил ринувшегося за ним рыжего кота Ваську.

– И ты туда же! – пробормотал Фёдор. – Шпиён эдакий!

Кот не обиделся, ласково потёрся о штанину Фёдора.

– Подхалим и есть подхалим! – упрекнул Фёдор. Он даже хотел отшвырнуть Ваську ногой, но удержался.

Кот весело замурлыкал: ругай, ругай! знаю я тебя!

Фёдор грозно притопнул ногой:

– Плохо ты меня знаешь! Я такую трёпку могу задать...

Васька не хотел обострять отношения. Он обидчиво мяукнул и отошёл в сторонку. Даже перестал крутить пушистым хвостом.

– То-то! – довольно проговорил Фёдор.

Щупая правой рукой гладкое перильце, старик спустился по сосновым ступенькам во двор.

Сквозь верхнее незастеклённое окно сеялись лучи, высвечивая на потолочной балке кисею паутины и лепнину ласточкиного гнезда.

Фёдор обогнул мотоблок и мелкими расчётливыми шажками – легко было споткнуться и упасть – направился к противоположной стене, где темнела разошедшаяся от времени дедовская лодка-долблёнка, нагруженная ивовой хвостушей с истлевшей перевязью, остройгой-трезубцем и запутанными, собранными в ком сетями...

Сколько раз приставала Лиза: «Выбросил бы ты этот хлам!» Фёдор на словах соглашался, но медлил, а потом и вообще дал задний ход: «Пока живу, ничего не трону. Пусть другие выбрасывают – у них память короче...»

Возле покупных бамбуковых удочек Фёдор отыскал свою любимую, «заговорённую на золотых карасей», простую удочку-рогатку. К этой удочке Фёдор относился ревниво, словно старовёр к обиходной посуде: никому не давал и обычно прятал в отдельный угол.

Привыкший ко всему естественному, Фёдор терпеть не мог всякие современные рыбацкие приبلуды, разные там «твистеры-глистеры», «попперы-жопперы», «поролоновые рыбки» и предпочитал ловить рыбу на обыкновенного земляного червяка, которого уважительно называл «черваком». Фёдора поправляли. «Я что, не знаю?» – презрительно хмыкал Фёдор и продолжал называть червяка по-своему. Ему казалось, что «червяк» звучит как-то просто, жидковато.

Давая о себе знать, Васька вежливо мяукнул.

Старик оглянулся:

– Что, Василь Василич, рыбки захотелось?

Кот понятливо мотнул головой: да!

– Будет тебе рыбка. Будет.

Фёдор внимательно осмотрел удочку: удилище крепкое, с достаточным прогибом, клинковая леска в порядке, пробочный поплавок с гусиным пёрышком на месте, а вот бородку крючка, пожалуй, следует подточить.

Фёдор поставил удочку в укромное место и занялся поиском подходящей посуды – ведь нужно куда-то поместить уважаемых «черваков». На столярном верстаке он обнаружил пол-литровую стеклянную банку. Понюхал её, проверил на свет и, вытряхнув дохлых мух и труху, опустил в пластмассовое ведёрко.

Конечно, он мог бы обойтись и без ведёрка, но Фёдор маскировался. Увидев в его руках банку, Лиза могла бы догадаться...

В гряде хозяйственного инвентаря Фёдор отыскал вилы с плоскими зубьями. Прежде чем выйти со двора в сад-огород, с минуту постоял, прислушиваясь...

Лиза, похоже, была занята своими делами.

Шустрым шажком, будто от кого-то убегая, старик выбрался в сад-огород.

Солнце ослепило Фёдора. Он, покачиваясь, немного постоял и неторопливо, поглядывая себе под ноги, направился к сливам, где оставалась полоска невскопанной земли.

Старые мшастые яблони, посаженные ещё отцом, провожали Фёдора до разросшейся огородной клубники. Одна из вызревших ягод, крупная, зернисто-красная, особенно манила Фёдора, но он удержался от соблазна. Да и нагибаться лишний раз ему не хотелось...

Старик остановился возле слив, посмотрел на бледные плоды в скудной листве, грустно вздохнул и нажал резиновым сапогом на плечико вил.

Он поднимал за пластом пласт, но желанного «червака» не было и в помине. Зато хватало личинок майского жука. Жирные белые личинки судорожно шевелились и, вытягиваясь, норовили закопаться в рыхлую землю.

Фёдор знал, что и на эти личинки кое-кто ловит рыбу, но брезговал. Мало ли кто на что ловит! И на синих стрекоз, и на рыжего муравья. Даже лягушку используют в качестве

наживки для зубастых щук. Нет уж, эти штучки-дрючки не для Фёдора! То ли дело испытанный «червак»...

Фёдор ломал голову: куда же подевался, радующий его рыбацкую душу, «червак»? Может, морозы в бесснежную зиму погубили? А может, поели расплодившиеся в последнее время кроты?

Думая грустные думы, старик прислонил к груди гладкий черенок вил. Ему вспомнилось недавнее нашествие майских жуков. Они облепили яблони, вишни, сливы. Особенно им полюбились молодые берёзки за огородом. Днём, в жару, жуки куда-то прятались, а вечером летали жужжащим роем по саду-огороду, не боясь угодить человеку в лицо. Они обгрызали сочную листву до самых прожилок.

Страхивая с веток жуков, Фёдор ходил по саду с длинной метлой, и под его ногами похрустывали их светло-коричневые панцири.

Оставив личинки в земле, жуки навсегда исчезали, а листва на деревьях и кустарниках ещё долго болела и восстанавливалась...

Кот бродил рядом с Фёдором, принюхивался к кротовым норам. Личинки его не интересовали.

– Ну, что будем делать, Василь Василич? – спросил Фёдор. – По-моему, голяк.

Кот понимающе мяукнул и посмотрел на дощатую калитку, которая вела на зады. Там, за домашним картофельным участком, начиналась тропка к заброшенной молочной ферме.

– Ну что ж, на ферму так на ферму! – согласился Фёдор. – Может, там повезёт.

Торопливо оглянувшись – не вышла ли Лиза в огород? – Фёдор поспешил к забору, отбросил крючок покосившейся калитки. И снова воровато оглянулся, когда закрывал за собой дверь.

Васька, почуяв волю, зашевелил усами. Выгнув спину, поднапружился и бросился вперёд. Только изогнутый хвост весело замелькал в траве.

Когда-то, в числе других беспризорных кошек, Васька кормился на бывшей ферме. Кошки хорошо знали время

дойки и, дождавшись своего часа, тянулись цепочкой на звон подойников. Доярки наливали им молока в блюдца и чашки.

Лиза особенно жалела рыжего котёнка и старалась кормить его отдельно от больших нахальных кошек. За летней оградой, возле кустов бузины, для Васьки была припасена фаянсовая чашка с отбитым краешком.

Когда ударил колючий зазимок, Лиза решила взять малыша к себе. Фёдор не возражал. Только поинтересовался: кот или кошечка? «Котик!» – ласково сказала Лиза. «Тем лучше! – улыбнулся Фёдор. – Одним мужиком больше...»

За огородами открывался просторный луг. Когда-то с этого луга колхозники брали по два укоса, а теперь брошенный луг дичал и вырождался.

Под лёгким ветерком дружно клонились зелёные струнки овсяницы, мятлика, лисохвоста. Только конский щавель, чертополох да репейники, опутанные старой, похожей на мочало, травой, как будто застыли.

Серыми стайками носились юркие воробьи. Неподдалёку, в глухом сизом бурьяне, скрипел зануда-коростель: «Крэк-крэк... Крэк-крэк...»

По шевелению трав, по ленивым кучевым облакам Фёдор понял, что сегодня сильного ветра не будет, и это было ему на руку. Он, как и его дед Данила, предпочитал удить рыбу на тихой воде, где по слабому тычку и осторожной потяжке можно было догадаться, какая рыба клюёт.

Показалась дырявая крыша молочной фермы. Возле неё возвышалась водонапорная башня с покосившейся железной лесенкой.

Фёдор подошёл к провисшим, гладким, словно обглоданным, пряслам летнего загона. Загон был удивительно чист.

Весь навоз до железобетонных, ровно уложенных плит выбрали на удобрение деревенские жители и расторопные дачники.

Всю осень, до затяжных дождей, развозили этот навоз по дворам на тачках, тележках и даже на легковых машинах с прицепами. Ну а потом к делу приступили жуки-навозники.

Так работяги всё подчистили, что от дармового «золота» только жёлтая пыльца осталась.

Стадо перевели на центральную усадьбу, а вскоре пустили под нож. Ходили слухи: за долги.

Фёдор, не отдавая себе отчёта, стянул с головы фуражку и понуро, словно оказался на кладбище, среди родных могил, смотрел на пустой загон, переводил повлажневший взгляд на крышу с разобранным решетником. Восемь лет тому назад Фёдор вместе со своим шурином Петраком крыл эту крышу. От души старались плотники. Под рубероид подложили широкие полотна гидроизоляции, стыки поджали железными лентами и густо залили битумом. Петрак довольно потирал ладони: «Эта крыша нас с тобой переживёт!».

А в лихие девяностые всё пошло под откос. Колхоза не стало, да и Петрак, балагур и песенник, вскоре отправился на тот свет – отравился дешёвой бодяжной водкой...

Фёдор решил поискать «черваков» поблизости от фермы, в унавоженной за долгие годы земле. Держа вилы наизготовку, он ступил в заросли ярко-зелёной сочной крапивы и едва не споткнулся о синеватый, с подтаявшими краями, кусок льда. Фёдор зябко передёрнул плечами: что за чудеса?

Кусок льда оказался солью-лизуном, который давали коровам.

Фёдор отбросил вилами льдистый кусок и стал копать. Верхний слой перегноя оказался пустым, легковесным, но глубже, в тёмной, как кубанский чернозём, земле, появились первые червяки.

Прежде чем опустить добычу в банку, Фёдор внимательно разглядывал червяка и недовольно ворчал:

– Ну и червак пошёл! Висит, как сопля. То ли был червак! Слово угорь, извивался... Берёшь такого, а сам думаешь: как бы сквозь пальцы не сквозанул! А этот, этот... Вялый, сонный. Ты что, голубчик, после зимы не очухался?

И вдруг на стариковское ворчанье откликнулись хорошие червяки.

Фёдор воспрянул духом:

– Ах, какой шустрый! Молодец, молодец... И ты в самый раз! Гладенький, игривый... Был бы я карасём – наверняка бы клюнул!

Фёдор заполнил банку червями, присыпал влажнова-той землицей, а сверху для верности положил лопушок. А то завянут «черваки» по дороге – и последняя курица не польстится.

Он постоял немного, прислушиваясь к ногам. Как будто окрепли. Правда, мышцы ещё потягивает – но ничего, всё будет в порядке! Главное: побольше ходить и поменьше думать о своих болячках...

– Кис-кис! – негромко позвал Фёдор.

Было тихо. Только шмели гудели возле розовых бутон чертополоха.

– Вась-Вась! – поправился Фёдор. – Василь Василич!

И кот сразу откликнулся на уважительное обращение.

Волоча вилы по земле, Фёдор подошёл к кустам цветущей бузины и увидел Ваську. Блаженно распластавшись, кот лежал возле своей фаянсовой чашки с отбитым краешком.

Миска потемнела, забила сухими листьями.

– Ну что, Васятка, попил парного молока? – ласково спросил Фёдор.

Васька сыто облизнулся и замурлыкал.

Лиза гладила бельё.

Фёдор подозрительно глянул на жену и, успокоившись, прошёл на кухню, чтобы напиться. Потрогал чайник на плите – хорошо, что остыл! Хотелось поскорее напиться и уйти. Он поднёс к лицу пузатый чайник и стал пить прямо из носика. Как ни старался, а всё-таки замочил рубаху...

Лиза помалкивала. Да и Фёдора не тянуло на разговоры.

– Как там, на улице? – поинтересовалась Лиза. – Не сильно печёт?

– Терпимо! – Фёдор облизал губы. – Да и ветер так себе, вяленький.

Сказал и тут же спохватился:

«Зачем я про ветер? Ещё догадается...»

– Ноги-то расходил? – Лиза вытерла пот со лба и внимательно посмотрела на мужа.

– Расходил, расходил! – проворчал Фёдор. Ему казалось, что Лиза потихоньку-полегоньку подбирается к главному. – Скоро в пляс пойду...

– Самое время! – усмехнулась Лиза. – Только себе на ногу не наступи.

Фёдор не ответил на шутку. Поправил сбившийся ремень на поясе и тихо – будто разговаривая с самим собой – сказал:

– Ну, всё! Нечего бары-растабары разводить. Я пошёл...

И уже громче, уверенней повторил:

– Ну, я пойду!

И сам удивился, как резво понесли его ноги к двери.

И ушёл бы старый без задержки, если бы Лиза не крикнула вслед:

– Ты чего, муженёк, разгулялся? Третье желание открылось?

Фёдор оглянулся. Лиза, набрав воды в рот, торопливо фыркнула – побрызгала бельё. Из-под электрического утюга пошёл лёгкий парок.

– Какое третье желание? – недовольно спросил Фёдор. – Ты на что, Лизавета Петровна, намекаешь?

– Какие тут намёки! – ответила Лиза. – Всё ясней ясно-го. Неужто про своего батюшку забыл?

– Батюшку? – Фёдор задумчиво покусал губы. – Вот ты о чём...

И вспомнились Фёдору три желания отца, Василия Даниловича, которые тот загадал в промёрзших окопах Сталинграда:

«Если буду жив, вернусь в родную Берёзовку и перво-наперво попрошу свою Алёну сделать мне яишницу на сале. Из семи яиц. Потом... Что потом? Высплусь досыта. Буду спать, пока сам не проснусь. Сутки, двое – неважно. Ну а после, когда телом отдохну, возьму удочки и один отправлюсь на Озеро. И буду рыбачить дотемна, пока поплавки видно...»

Все три желания исполнил солдат Василий. На всю жизнь запомнилось шестилетнему Фёдору, как отец,

сияющий, счастливый, вернулся в сумерках с заветной рыбалки, бросил жене под ноги, словно дорогой трофеей, вещмешок с золотыми карасями и устало проговорил: «Теперь всё!.. Отвоевался! Я сегодня словно в Раю побывал. Наконец-то душа на место встала...»

«Ну и баба! – сокрушённо подумал Фёдор. – Всё-таки догадалась! Такой только в уголовке работать...»

Отпираться не имело смысла. Конечно, можно разругаться и уйти. Но каково рыбачить с камнем на сердце?

– А почему бы и не порыбачить? – простодушно сказал Фёдор. – Что за беда? Подремлю часок-другой с удочкой...

– Значит, свежей рыбки захотелось? – Лиза повернулась к мужу раскрасневшимся лицом. – Карасиков?

– Я бы и от щучки не отказался... – улынулся Фёдор.

Лиза сердито фыркнула.

Фёдор решил схитрить:

– Сергей в отпуск сулился... Он тоже рыбку уважает.

Лиза как будто задумалась. А Фёдор, почуяв слабинку, пустился в откровенный подхалимаж:

– Помнишь, какие ты рыбные пироги готовила? Карась в пироге – ум отъешь! А щучка заливная? Лежит на сковороде, бока румяные, глазки белые, заливочка подрагивает...

Фёдор выразительно почмокал губами.

Лиза молчала. И хоть стояла к нему спиной, Фёдор ощутил на её лице улыбку.

«Может, клюнула?» – с надеждой подумал он.

Но Лиза сорвалась с крючка.

– Жди! – сказала она с обидой. – Жди! Угостишь сыночка. Небось, опять Эвелина утащит на юга. Да и что им делать в нашей дыре? Мухи, клещи, туалет на улице. Никаких удобств!

Лиза всем телом нажала на утюг.

– Говоришь, удобств нет? – подхватил Фёдор. – Мухи, клещи... Ты про комаров забыла.

Лиза кивнула: да, и комары.

– А ещё овода, слепни, осы...

Лиза согласно кивала. Казалось, муж поддерживает её.

– Говорят, бешеная лиса объявилась! – старался Фёдор. – Змеюки ползают...

Лиза положила утюг на подставку и устала на мужа.

– Блохи! – продолжал Фёдор.

– Ты что говоришь? – удивилась Лиза.

– Клопы! – чуть не рычал от негодования Фёдор.

– Господи! Какие у нас клопы? – возмутилась Лиза. – Ты чего, старый, несёшь?

– Клопы! Блохи! – не сдавался Фёдор. – Самые натуральные, травяные.

– Ты что, смеёшься надо мной? – обиделась Лиза.

– Ухахатываюсь! Аж скулы свело. Подожди маленько – я ещё до мошкары не дошёл! – Фёдор нащупал дверную ручку. – А как насчёт мышей? Ну да ладно, всего не перечислишь! Я лучше на двор схожу. Мне ещё надо крючок подточить.

– Подожди! – встрепенулась Лиза. – Разве я против рыбы? И ушку сделаю, и заливное. Только вот... не надо бы самому...

Фёдор терпеливо ждал: пусть по конца выскажется.

– Можно, к примеру, у Сашка-Афганца рыбу купить. Он без рыбки не живёт. У него, как говорят, щука в обед и карась на ужин. Сашок не откажет. И возьмёт недорого.

– Я не дачник, чтобы рыбу покупать! – отрезал Фёдор.

– По нечаянности и утонуть можно!

– Ой, беда-беда! Утонуть можно! – передразнил Фёдор. – Напугали бабу хреном! Так и замуж не вышла...

Лиза покачала головой и снова взялась за утюг. Нажимала изо всех сил.

– Ты как?.. – с придыханием в голосе спросила она. – Ты как... собираешься ловить? С берега? Иль с лодки?

– Неужто я буду, как горелый пень, на берегу торчать? – обиделся Фёдор.

– Значит, к дальнему... берегу собрался? К Лосиному броду?

– К броду! – признался Фёдор.

– А лодку где возьмёшь? – допытывалась Лиза. – С Мамаем договорился?

– Куда ж без Мамаю! – усмехнулся Фёдор. – Уже благословил...

Главный егерь Мамаев с женой и дочерью жили неподалёку от Фёдора. Целыми днями он пропадал на работе, как говорил, «находился при исполнении». Застать его было не проще, чем гулёного кота Ваську в мартовскую оттепель.

И всё же Фёдор отловил ускользящего, словно угорь, главного егеря.

Как-то, направляясь с ведром к колодцу, Фёдор увидел возле палисадника Мамаевых знакомую «Ниву», забрызганную свежей грязью. Медлить было нельзя: Мамай дома!..

Большой, грузный, прокопчённый на солнце до сизого блеска, Мамай то ли обедал, то ли ужинал, с удовольствием налегая на окрошку. Перед ним стояла початая бутылка водки.

– Здравствуй, Паша! – чинно сказал Фёдор, одолевая высокий порог. – Хлеб да соль!

Заплывшие глаза Мамаевы весело блеснули:

– Ешь, да свой.

Фёдор нахмурился.

– Ты чего, Василич? – добродушно проговорил Мамай. – Шучу я. Давай присаживайся! Хошь – на диван, хошь – к столу.

Фёдор опустился на кожаный диван. Тугие пружины поиграли под ним и быстро успокоились.

– Как здоровычко? – справился Мамай.

– Слава богу! Ноги ещё передвигаю. Есть и похужей меня, грешного.

– Что верно, то верно! – согласился Мамай. В его левой, свободной, руке появилась вторая деревянная ложка. Он осторожно сгрёб с разделочной доски в миску мелко нарезанную зелень. Сдобрив окрошку, Мамай не сразу растался со второй ложкой...

Фёдор улыбнулся: казалось, Мамай собирается есть с обеих рук.

А Мамай, облизнувшись, продолжал:

– Верно, Василич, есть и похужей нас. Какое теперь здоровье? Пиво – море разлитое, наркота. Молодые, словно мухи, мрут. Уж лучше водочки пропустить.

– В меру! – уточнил Фёдор.

– Ну конечно в меру! – подхватил Мамай. – Ну выпил стакан, другой, и всё! Зачем напиваться?

– Золотые слова! – с улыбкой поддержал Фёдор.

Мамай намазал кусок чёрного хлеба горчицей. Мазал густо, не жалея. И вдруг глаза его округлились, превратились в пятаки. Крылья носа заиграли нервной дрожью. Ещё секунда, и чихнёт так, что Фёдора снесёт с дивана. Однако не получилось.

– Осечка! – сказал Мамай.

Вытер увлажнённые глаза и важно произнёс:

– Твоё здоровье, Василич!

По-петушину задрал голову, Мамай вылил гранёный стакан в горло. Булькнуло, как в воронке. Заразительно, со вздохами, стал жевать ржаной кусок. Потом весело и как-то удивлённо глянул на гостя – будто увидел его впервые...

Мамай любил, когда к нему приходили с просьбами. Бывало, и отказывал, но отказывал вежливо, не убивая надежды: мол, извини, дорогой, пока не время, надо маленько подождать. Это «маленько» растягивалось на месяцы и даже годы.

– Значит, такие дела, Василич... Такие, брат, дела... – говорил Мамай, выжидательно поглядывая на Фёдора: ну, давай выкладывай, зачем пришёл!

Фёдор мялся.

И тогда Мамай, улыбнувшись, сыграл на опережение:

– Порыбачить, что ль, надумал?

– Есть такое дело! – признался старик. И от смущения стал потирать руки.

– По-онятно, по-онятно! – протянул Мамай и сделал вид, что погрузился в великую думу, даже сборки морщин появились на лбу. – Рыбачить, полагаю, хочешь с лодки? Так? Понимаю-понимаю. На воде интересней... – Мамай замолчал и сосредоточенно заработал ложкой. Казалось, он будет молчать до тех пор, пока не вычерпает до дна свою уёмистую миску.

Фёдор терпеливо ждал. Он знал Мамаев как облупленного.

«Пускай поломаётся! – думал Фёдор. – Ну как не набить себе цену!»

Мамай вытер губы и неожиданно спросил:

– Как там Сергей? Не приезжает?

– Сулился! – сказал Фёдор и неожиданно для себя соврал: – Недельки на две. Не меньше.

Мамай оживился. Даже ложку отложил.

– Это хорошо! Хорошо! Он мне в прошлый раз бурятские унты обещал. На волчьем меху.

– Обещал – значит, сделает! – обнадежил Фёдор.

– Я как-то ноги обморозил! – пожаловался Мамай. – Бывает, так занюют к непогоде – впору на стенку полезай. Мне такая обувь позарез нужна! – Мамай для убедительности полоснул рукой по горлу.

– Будут, раз обещал! – сказал Фёдор.

Мамай удовлетворённо хмыкнул и потянулся к бутылке. Поднял её перед собой, проверил на свет – сколько там осталось? И, вздохнув, вылил остатки в стакан. Пристально глянул на старика.

– Послушай, Василич! – заговорил Мамай душевным голосом. – Ну на хрена тебе эта канитель? Рыба нужна? Понимаю! Но неужели я соседям не удружу? Сколько тебе? Два килограмма? Пять? Ты же не тонну попросишь...

«Вот так поворот!» – удивился Фёдор. Приходя в себя, заговорил, взвешивая каждое слово:

– Конечно, спасибо. Но мне бы... самому хотелось. Кто знает... Кто знает, может, последний раз на Озере...

Мамай глянул на хмурого Фёдора и уступил.

– Ну что ж! – сказал Мамай с искренним вздохом. – Вольному – воля. Теперь слушай... Слушай! Возьмёшь лодку Цыганёнка. Я его вчера в отпуск отправил. Лодка, как обычно, возле Большого затона. Ну там, где сломанная сосна...

– Знаю, – сказал Фёдор.

– Вёсла там, при лодке. А ключ у меня! – Мамай вылил остатки водки в широко открытый рот. Закусывать не стал. Только живо, как рыба на суше, пошевелил губами.

Фёдор ждал ключа.

– Ну вот что... – сердито, преображаясь на глазах, заговорил главный егерь. – Ты, Василич, не думай, что я здесь царь и бог. И на меня есть управа...

«Пой песню, пой... – насмешливо подумал Фёдор. – Не ты ли как-то хвастался: у меня всё схвачено, за всё заплачено?..»

А Мамай гнул своё:

– Может областная инспекция нагрянуть! Да и федералы не дремлют. Такой шухер устроят – мама не горюй! Если что, сам выкручивайся! А я голову подставлять не буду. Мне ещё до пенсии год и три месяца...

Фёдор усмехнулся.

– Что, не веришь? – обиделся Мамай. – Я каждый месяц на притолоке зарубки делаю. Я этой пенсии, как солдат дембеля, дожидаясь.

«А на сверхсрочную не собираешься?» – подумал Фёдор, но не спросил. Только согласно кивнул головой и успокоил:

– Не волнуйся, Паша! Не подведу.

Мамай грузно развернулся и взял с подоконника рыжую барсетку. Расстегнул молнию и стал шарить вслепую, не заглядывая. Какие-то бумажки, похожие на квитанции, норовили выпасть из пухлой барсетки, но Мамай терпеливо засовывал их обратно:

– Куда вы, черти!

Наконец в его руке появилась связка ключей.

Мамай успокоился и стал перебирать ключи, словно чётки. Вид у него был добродушный, даже благодостный. Наконец он снял с общего кольца неказистый, со следами ржави, ключ и, улыбнувшись, показал Фёдору.

Фёдор покачался на пружинистом диване и не сразу встал. Было такое ощущение, что он выбирается из трясины.

Мамай торжественно, словно вручая награду, протянул Фёдору ключ от лодки.

– Не беспокойся! Всё будет в порядке! – ещё раз заверил Фёдор. Ему хотелось поскорее уйти.

Долгие сборы – лишние разговоры.

Больше всего Фёдор опасался, что Лиза вмешается в его дела, начнёт по доброте душевной давать советы: то-то возьми, вот так оденься. Однако Лиза, зная характер мужа,

предпочитала помалкивать. Молчать-то молчала, но, словно заботливая квочка, бродила рядом. Правда, уже не кудахтала: «Куд-куда?». Было ясно куда. Хочешь не хочешь, а пришлось смириться...

Взять с собой еду Фёдор отказался:

– Не на сутки ухожу!

Однако бутылочку колодезной воды сунул в рюкзак. Захватил Фёдор и облатку валидола: как бы сердце не прихватило.

Кот Васька забрался на лавку и, жмуря зелёные глаза, поглядывал на своих хозяев. Он всё понимал и даже мог мякнуть в поддержку Фёдора, но предпочитал не вмешиваться. Влезать в человеческие дела, принимать чью-либо сторону – себе дороже.

Фёдор примерил бейсболку сына. Кепчонка не нравилась старику, но ему нужен был козырёк, защищающий от солнца.

– Вроде неплохо! – осторожно сказала Лиза.

Но Фёдор забраковал головной убор:

– Я что, пеликан?

Привычной оказалась старая фуражка с большим козырьком и пипкой-кругляшом наверху, другими словами – «иждивенцем».

Лиза иногда оставляла мужа и выходила на улицу. С надеждой смотрела на небо: не появятся ли дождевые тучи?

Но не было желанных туч, и тёплый ветерок лениво облизывал кроны ракут.

Казалось, сама мать-природа благоволила к Фёдору.

«Отдохнул бы перед уходом! – думала Лиза. – Куда в самую жару?..»

И Фёдор, словно услышав её, согласился:

– Я, пожалуй, отдохну часок. Если разосплюсь, разбуди!

– Поспи! Поспи! – согласилась Лиза. А про себя подумала: «Может, проспишь свою рыбалку! – И тут же засомневалась: – А я что скажу? Забыла разбудить! Разве он поверит? На ночь глядя уйдёт!»

Фёдор бросил подушку на кушетку и, не раздеваясь – только тапки сбросил с ног, – прилёг. С наслаждением вы-

тянулся в полный рост и под размеренный бой настенных часов погрузился в дрему.

Ему начало казаться, что он лежит в лодке-колыбели, и эту лодку, подобно материнской руке, легонько покачивает синяя волна.

«А где же моя удочка?» – сонно подумал Фёдор и пошарил рукой. Удочки рядом не было.

«Да я же сетью ловлю!» – догадался старик. И в ожидании доброго улова спокойно заснул.

По его лицу скользила едва заметная улыбка.

Он спал ровно час, и его разбудил домашний сверчок.

Сверчок-цвиркун стрекотал в удивительной близости, где-то возле головы, и Фёдор едва удержался от желания отодвинуть подушку и посмотреть на своего «дневального».

Поднявшись, он долго шарил ногами, пытаясь надеть разношенные тапки. Они скользили по полу, не давались.

– И вы поперёк дороги! – рассердился старик.

Перед самым уходом Фёдор, уже в полном облачении, плотной куртке, резиновых сапогах и с рюкзаком за плечами, решил по русскому обычаю присесть. Раньше, когда уходил на Озеро, такое за ним не водилось – не за тридцать земель собирается.

Стараясь не глядеть на жену, Фёдор неторопливо поднялся, перекрестился на старую икону в красном углу и тихо, словно боясь нарушить тишину, сказал:

– С Богом!

И Лиза отозвалась, словно лесное эхо:

– С Богом!

Она пошла его проводить. Он знал, что глаза Лизы на мокром месте.

«Словно на войну провожает!» – подумал Фёдор и, чтобы снять напряжение, весело сказал:

– Ну и погодка! Как по заказу!

Лиза молчала.

Фёдор уходил, не оборачиваясь. Всё делал, чтобы его шаг в глазах жены выглядел спокойным, уверенным.

«Словно солдат на параде!» – подумал он.

Старик пересёк белёсую от известняка просёлочную дорогу, свернул в прогон, и тут предательски кольнуло в сердце.

– Вот тебе на!.. – прошептал Фёдор. – Господи, повремени!

Сбился Фёдор с уверенного шага. А Лиза продолжала следить за ним. И, чтобы обмануть жену, Фёдор остановился и сделал вид, что поправляет сбившуюся штанину в сапоге.

Покусывая губы, поправил, выпрямился по-гренадерски и осторожным, но чётким шагом двинулся дальше. Старался поднимать ноги повыше...

И сразу, как только скрылся в прогоне, стало Фёдору легче – будто порвал он на крутом свороте житейскую привязь. Порвать-то порвал, но длинная супружеская верёвочка из двух ниток, шёлковой и пеньковой, никуда не делась – будет, напоминая о себе, тянуться за ним до самого Озера. Ну а дальше – как получится. Может, удастся снять обрывок с поясного ремня, свернуть его в колечко и оставить на зелёном бережку – пусть супротивного рыбака дожидается...

Возле опушки леса на обструганном столбе висела табличка с выцветшей надписью:

«Заказник “Приокский”. Охота и рыбная ловля категорически запрещены».

Фёдор невольно опустил удочку, и она на время превратилась в обыкновенную хворостинку. Щуря глаза, старик стал вглядываться в табличку, изрешечённую дробью. Дыры были крупные, рваные.

– Нда-а! – протянул Фёдор. – Обнаглел народец!

Он потоптался возле таблички и пошёл дальше. Теперь, когда Лизы не было рядом, пропала всякая нужда думать о походке. Он шёл как мог. После неожиданного укола в сердце сапоги потяжелели – казалось, он держит путь к озеру не в начале июля, а в осеннюю мокрогодицу.

Старик вдыхал полной грудью смолистый запах высоких строевых сосен, медовый аромат донника и кипрея, и после долгого домашнего плена у него, как после любовно изготовленной вишнёвой наливки, слегка кружилась голова. Но этот лесной хмель, в отличие от домашнего, не горячил его, не ударял предательски в ноги. Наоборот, Фёдор чувствовал себя бодрее, крепче, и с его сапог стала потихоньку слетать осенняя налипь.

Он шёл спокойно, не оборачиваясь, но в какой-то момент ощутил за спиной присутствие живого существа.

Фёдор оглянулся и увидел метрах в пяти кота Ваську.

Кот тянулся за ним вкрадчивым пружинистым шагом, пригнувшись к лесной тропке.

Фёдор остановился. И кот присел.

– Значит, порыбачить собрался? Вместе со мной?

Кот подхалимски завил хвостом.

– Иди, Вася, домой! Ты мне мешать будешь.

Кот изобразил удивление:

«Раньше не мешал...»

– Мало ли что было раньше! Сегодня я с лодки буду рыбачить, не с берега.

Васька смиренно склонил голову:

«Рыбачь на доброе здоровье! Я подожду...»

– Ну вот что, товарищ дорогой! – Фёдор начал сердиться. – Мне некогда с тобой лясы разводить! Топай домой и жди меня.

Васька понурился, опустил хвост, даже лапой провёл возле влажного глаза.

– Иди! Иди! Не обижайся! – сказал Фёдор. – Нечего по лесу шляться. А то ещё на лису нарвёшься. Или коршун в башку долбанёт. Тебе это надо?

«Не надо!» – кивнул Васька, но, судя по всему, уходить не спешил. Озеро манило его не меньше, чем Фёдора.

– Иди, иди, неслух! А то... – Фёдор топнул ногой.

Васька жалобно мяукнул и посеменил прочь.

– То-то! – одобрительно сказал Фёдор.

Он постоял немного, вслушиваясь в переливы певчих птиц, переложил удочку из одной руки в другую и пошёл дальше.

Старик никуда не спешил, даже подаренные сыном «командирские» часы не захватил с собой – так и остались они, незаведённые, лежать на тумбочке. А ведь раньше по-другому было: жил с быстротекущим временем, словно с молодой женой, – в обнимку. А теперь земное время отпускало Фёдора. Почему-то казалось: впереди вечность. Он всё сможет, всё успеет. И его заветная рыбка непременно попадётся на крючок. Попадётся без особых

стараний с его стороны. Ведь это предназначенная именно ему рыбка: будучи икринкой, она сумела прилипнуть к водяной траве, стала мальком, не угодила в пасть прожорливой щуке, не погибла при заморах, не попала в сети и на удочку...

Фёдор остановился возле большой муравьиной кучи, прислонившейся к старой сосне.

От бегающих рыжих муравьёв куча словно кипела.

«Дождя не будет!» – убедился Фёдор.

Муравьи дружно бегали по едва заметным дорожкам, что-то тащили, передавали друг другу. От этой иглистой мономаховой шапки веяло вечным, разумным. Каждый раз, наблюдая за муравьями, Фёдор невольно испытывал чувство стыда: Боже, какие они малые, с виду ничтожные, и как далеко до них высокомерному человеку!

Ему доводилось видеть по весне этот муравейник порушенным, в глубоких рытвинах, но в этой беде не было вины самих муравьёв. Здесь постарались налётные гости: тетерева и дятлы. Как замечал Фёдор, особенно охоч до рыжих муравьёв был самый красивый дятел – жёлто-зелёный с красной шапочкой.

Фёдор удивлялся, как муравьи быстро восстанавливали своё коллективное жильё. Его, как опытного плотника, особенно интересовало устройство «крыши»: обвершка муравейника почему-то не протекала...

Фёдор прислонил к ореховым кустам удочку и стал искать длинную и жёсткую былинку. Былинка в траве нашлась.

Он тщательно, словно бывалый курыка самокрутку, поклонявил её, неторопливо присел, опираясь на согнутое колено, и положил в самое пекло муравейника. Подождал немного, а потом осторожно извлёк. Стряхнул муравьёв с былинки и, улыбнувшись, лизнул. Ему показалось, что тогда, в далёком детстве, муравьиная кислинка была ярче, острее, даже прижигала язык.

По дороге к Озеру Фёдор ещё раз отвлёкся: забрёл в густой колючий малинник.

С солнечной стороны ягода вызрела. Фёдор набрал целую горсть, выщелкнул из душистых ягод зелёного клопа

и, сладко жмурясь, стал медленно жевать. Его суховатые губы по-молодому заалели...

Озеро плеснуло Фёдору в глаза яркой синью. Слеплённый, старик зажмурился и с минуту постоял, чувствуя, как Озеро притягивает к себе. Он покачивался взад-вперёд и боялся, что потеряет равновесие. Потом надвинул фуражку поглубже, открыл помолодевшие от синевы глаза.

Он увидел просторный, в солнечных чешуйках, материк Озера и противоположный лесистый берег. Матово-зелёные осинки, подточенные бобрами, и слабо укоренённые сосны низко склонялись к воде, напоминая удочки.

Фёдор сгустился с бугорка, усеянного рыжими сосновыми шишками, и подошёл к памятной с детства излучке Большого затона. На песке после отлива зеленела узкая лента – это была пыльца цветущих сосен. Старик перешагнул изумрудную кайму и оказался на мелководье.

Он взял в пригоршню воды и, прежде чем умыть разгорячённое лицо, жадно втянул расширенными ноздрями озёрный запах.

Вода пахла тиной, осокой, ракушечником и, как ему показалось, свежей рыбой.

Старик смотрел, как убывает вода в неровно сложенных ладонях, а потом, спохватившись, оросил остатками потное лицо...

Нужно было идти к обломанной старой сосне, где держал свою лодку Цыганёнок.

Фёдор поднял с земли удочку, поправил на спине рюкзак, в котором стояло узкое пластмассовое ведро, загруженное самым необходимым, и пошёл направо, вдоль берега. Он одолел сухую протоку, проделанную полой водой, поднялся выше и береговой извилистой тропкой двинулся к спрятанной лодке. До приметной сосны было не так уж далеко – каких-то метров сорок. Тропку то и дело пересекали витые закаменелые корни ближних сосен. Фёдор держал правую руку свободной: если поскользнётся, всегда можно ухватиться за нависшие кусты.

Наконец-то! Дошёл...

Видавшая виды лодка Цыганёнка вместе с обшарпанными вёслами была привязана чалочной цепью к сосне.

Фёдор отложил удочку в сторонку. Покрутившись, снял с плеч ремённую упряжь. Достал из нагрудного кармашка тусклый, с полым отверстием, ключ.

Ключ с трудом втиснулся в замочную скважину и глухо застыл.

«Неужели этот прохиндей подсунил другой ключ? – Старик покачнулся, хватаясь обеими руками за ствол. – И что теперь делать? Возвращаться не солоно хлебавши? Снова идти на поклон? Пашка, конечно, ощерится: “Извини, Василич, промашка вышла. С кем не бывает!”»...

Старик посмотрел с тоской в сторону Озера: Боже мой, ведь он уже мысленно плывал возле Лосиного брода, а теперь его, по-рыбацки снаряжённого, словно обобрали до нитки! Ах, Пашка, Пашка...

Фёдор с трудом отлепился от сосны и с отчаянной силой ухватился за ключ.

Ключ жалобно скрипнул, дужка ослабла, отпала.

– Господи, прости меня, грешного! – повiniлся старик. – Напраслину возвёл на человека.

И сразу стало спокойнее на душе.

Фёдор повертел в руках замок и понял: Цыганёнок не прикрыл скважину лепестком задвижки, вот и заело механизм после недавних дождей.

Стараясь не вымазать пальцы гудроном, старик с трудом опрокинул лодку на днище. Провёл ладонью по ручкам вёсел: гладкие, руки не занозишь!

Фёдор взялся за чалочную цепь и, пятясь словно рак, потянул лодку к Озеру. Она шла по песчаному склону довольно легко, оставляя ровный, словно утюгом выглаженный, след. Возле кромки Озера лодка скрипнула – похоже, днище раздавило ракушку.

Прежде чем опустить лодку на воду, Фёдор по старой рыбацкой привычке плеснул в перегородки, на сухое дно, несколько вёдер воды.

Он завёл лодку в тростники, долго топтался в воде, пытаясь забросить ногу за борт. Лодка раскачивалась, не давалась, словно строптивый конь, но Фёдору всё же удалось оседлать чужую посудину.

Старик поплевал на широкие, в застарелых мозолях, ладони и взялся за вёсла. И вместе с несказанной радостью неожиданно ощутил тревогу.

Он осторожно отжался и легко, словно по маслу, выплыл на чистинку.

Из притопленных зарослей чёрной ольхи с тугим свистом вылетела утка-крякуша – с её лапок, похожих на резные листья клёна, падали, сверкая, крупные капли.

Фёдор, то и дело оглядываясь, правил лодку на Лосиный брод.

Уключины потрескивали, глуховато побрякивали. А Фёдору чудились скрип дергача и весеннее бормотанье краснобрового тетерева.

Вода была зеркально-спокойной. Лишь на материке Озера поигрывала рябь.

Над Озером, таким тихим, величавым, погружённым в свои неведомые человеку думы, кружились белоснежные чайки. Иногда птицы замирали в полёте – в эти мгновенья они казались подвешенными – и вдруг резко снижались и в коротком целующем движении касались озёрной глади.

Фёдор поначалу попытался считать гребки, но сбился и бросил.

Он старался не выпускать из вида Куриную ногу – сосну-топляк с выступающими над водой скрюченными сучьями. Этот закаменелый, без коры, топляк был главной приметой Лосиного брода.

Фёдор грёб расчётливо, стараясь глубоко не погружать вёсла. Он мерно покачивался вперёд-назад, перекладывая нагрузку на спину.

Вода, которая при первых гребках казалась такой лёгкой, почти невесомой, стала превращаться в густую, плотную – будто не летом грёб, а в разгар мутного весеннего половодья.

«Надолго ль меня хватит?» – подумал старик. Но подумал как-то вскользь, без особой тревоги.

Недалеко от Куриной ноги Фёдор оставил вёсла и, склонившись к борту, стал с детским любопытством наблюдать за бегающими по воде пауками и водомерками. Коричневый жук-плавунец выглянул из воды, глотнул

свежего воздуха и скрылся, оставив после себя дрожливое колечко.

Колечко расплывалось, напоминая робкую поклёвку.

Старик снова взялся за вёсла. И вода, и вёсла словно полегчали после отдыха. Не сближаясь с Куриной ногой, Фёдор выгреб правее, к тростниковой гуще, возле которой на ковре зелёных листьев-сердечек золотились кувшинки. Ему захотелось погладить эти крепенькие соцветья, собранные в кулачок, а если удастся, притянуть к себе и понюхать...

Когда-то, в пору молодости, Фёдор частенько рыбачил в этом месте. Дедовская лодка-долблёнка была лёгкой, словно скорлупа, поворотливой, не в пример посудине Цыганёнка, однако Фёдор держался в лодке уверенно, не боясь оступиться или выпасть. Бывало, погружая руки в воду, он без особого труда выбирал сеть-сороковку...

Чуть-чуть привстав, он потянулся к цветку. Волна, поднятая лодкой, то скрывала, то обнажала жёлтую «кубышку». Фёдор попытался подтянуть кувшинку за длинный, словно резиновый, стебель. Кувшинка не давалась, выскальзывала из руки. В какие-то моменты Фёдору казалось, что он пытается освободить леску, угодившую в зацеп.

Он помучил цветок и отпустил.

– Бог с ней! – смирился старик.

Он поднёс к лицу пальцы, окрашенные золотой пылью.

Кувшинка пахла терпко, медово. Он с удовольствием вдыхал знакомый с детства аромат...

Работая вёслами попеременно, Фёдор начал заворачивать к Трясинам, месту надёжному, уловистому – там караки когда-то в очередь выстраивались за его «черваками».

Метрах в десяти от берега торчала плавающая кочка. Фёдор, щуря глаза, пригляделся: да это же рыбацкая вешка!

Какой-то хитрый рыбачок привязал к жердинке кудель соски, а сам, утопив сетёнку, отплыл. И теперь где-нибудь поджидает, когда его снасть заполнится золотыми карасиками

«Да это же Сашок-Афганец!» – догадался Фёдор.

Не удержавшись, похвалил себя:

– Меня, брат, не проведёшь! Я – рыбац со стажем!

Известный всей округе Сашок доставил немало хлопот главному егерю. Вернувшись с боевым орденом из-под Кандагара, Сашок, собрав всю родню и друзей, размашисто, по-русски, погулял неделю, а потом, явившись к Мамаю, заявил откровенно: «Хочу рыбачить. И Христом-Богом прошу: не цепляй. Как мои деды рыбачили, так и я буду. Заказник – не приказник! Всё Озеро не выловлю, но и без рыбы не останусь!»

Мамай пристально посмотрел в диковатые, ещё воспалённые от нездешнего жара глаза старшего сержанта и ответил кратко: «Ну, смотри!». Всё выразил Мамай в одном слове: мол, действуй, но смотри, если что... А когда Сашок Мамай с рыбой выручил – позарез нужна была ушка для высоких гостей – да ещё бешеную лису отловил, то Мамай окончательно к Сашку расположился и, как поговаривали, даже предложил парню войти к себе в штат, в помощь Цыганёнку. Но Сашок только рукой махнул: «Отстань, Поликарпыч! Из дуги оглоблю не сделаешь!»...

Фёдор прикинул, где может находиться сеть. Боясь её задеть, выгреб повыше.

Осторожно работая вёслами, старик сблизился с прибрежными тростниками, глухими, измочаленными, и уже готов был сложить вёсла, чтобы, оглядевшись, сделать первую тоню, но взглянул на Косой мыс, заросший жидким березняком, и передумал: если окопается в Трясилах, наверняка устанет и вряд ли потом возникнет желание плыть за этот мыс, его, возможно, дожидаются толстогубые, покрытые слизью линьки. Они берут неторопливо, с приглядкой, ну а если взяли, то тянут уверенно – только не зевай с подсечкой!

Однажды в спокойных водах Фёдору удалось взять с десяток ровненьких, чуть больше ладони, линей. Он торопливо снимал скользких рыб с крючка и дивился тому, как меняется их окрас: из тёмных, чуть-чуть золотистых, они на глазах превращались в розоватых, с мягким радужным отливом...

«Погляжу, какой там клёв! – прикидывал Фёдор. – Если пустыха – вернусь к Трясинам. Трясины никуда не уйдут...»

Фёдор развернул корму в сторону мыса и неторопливо погрёб. К тихой гребле располагало озёрное безмолвие. К крикам чаек Фёдор привык, как привыкают к цвирканью домашних настенных часов, и теперь он не слышал монотонных криков парящих и падающих к воде птиц.

Он обогнул Косой мыс и увидел Сашка-Афганца.

В лёгкой армейской тельняшке, в пятнистой панамке Сашок стоял лицом к берегу и, судя по всему, не заметил появления Фёдора. Сашок даже не услышал мерные всхлипы вёсел. К тому же уключины, скрадывая приближение Фёдора, вдруг перестали скрипеть и подсвистывать.

Удочка Сашка висела на борту, а сам Сашок, покачиваясь из стороны в сторону, что-то держал в правой руке.

Иногда он делал осторожный замах – казалось, вот-вот бросит в воду, – но, почему-то передумав, Сашок опускал руку.

«Что у него в руке? – прикидывал Фёдор. – Прикормка?»

– Ну что, старичок, по рыбке соскучился? – внятно и не без ехидства спросил Сашок. – Халявки захотел?

Фёдору стало неловко: странные слова!

– Подожди, старичок! – не оборачиваясь к Фёдору, продолжал Сашок. – Не промахнись случаем. А то нырнёшь в воду...

«Он что, заговаривается? – подумал Фёдор. – Ещё не оклемался после контузии?...»

Он не сводил глаз с парня. Коричневая линия шрама тянулась от загорелой шеи Сашка мимо уха и терялась на затылке, в светлых, как у малого ребёнка, волосах.

«Эх, парень-парень!» – вздохнул Фёдор.

Так и не выдав себя ни словом, ни лишним движением, старик ждал, что будет дальше.

– Десантура, го-отовсь! – крикнул Сашок. – Рр-аз, два-а! – И, чуть помедлив, резко закончил: – Три-и!

Он, словно салютуя, высоко выбросил руку. В воздухе что-то сверкнуло...

И в этот миг с береговой сосны сорвалась большая рыжеватая птица. Ястреб ловко закогтил рыбку, подброшенную Сашком, и, торопливо махая широкими крыльями, скрылся в просвете между деревьев.

Фёдор изумлённо покачал головой и предупреждающе кашлянул.

Сашок как будто не удивился появлению старика.

– А-а, дядь Фёдор! – спокойно проговорил он. – Здорово!

– Здравствуй, Саша!

Фёдор вглядывался в Сашка и не узнавал в нём комиссованного старшего сержанта. Куда девались жёсткие складки возле губ! Глаза сияют. И нос облупился по-мальчишески – до красноватого озорного блеска.

– А я тут целый птичник развёл! – улыбнулся Сашок. – Ястреба, чайки. Недавно две скопы присоседились. Такие прожоры!

– Птичник – дело хорошее! – сказал Фёдор. – А как насчёт клёва?

– Да так... Пока мелочёвка. А ты как тут оказался? По комсомольской путёвке?

Глядя на весёлого Сашка, и Фёдор расплылся в улыбке. Давно так широко не улыбался...

– Какой там! – Фёдор махнул рукой. – Откомсомолился! Я, так сказать, от общества пенсионеров. По обмену опытом с молодым поколением.

– Так в чём дело? Окапывайся здесь. Я у тебя поучусь, а ты, глядишь, у меня. А там и на Доску почёта попадём.

– Спасибо, Сашок! Я, пожалуй, назад, к Трясинам, махну! – Фёдор, колтыхая вёслами, стал разворачивать лодку.

Он, как и многие рыбаки, предпочитал удить в одиночестве.

Фёдор не заметил, как оказался возле Трясин. Будто и не грёб. Долго выбирал чистинку. Наконец, отступив от плавающих сплошняком лопухов, решил заякориться.

Он ощупал тёмный, с засохшей зелёной ряской, кирпич, обвязанный крест-накрест верёвкой, и медленно, словно ведро в колодец, отправил на дно. Кирпич лёг мягко – место было илистое, топкое, недаром рыбаки прозвали этот затон Трясинами.

Фёдор стянул фуражку, чтобы вытереть пот. В его простом неторопливом движении было что-то возвышенное, молитвенное. Казалось, после долгих, затягивающих, словно болото, домашних дел он вновь оказался на пороге Божьего храма

Старик глянул на синий купол неба и тихо сказал – буд-то выдохнул:

– С Богом!

Стараясь задержать в себе благостное чувство, он подождал с минуту, а потом с лёгким сердцем приступил к обыкновенным делам: почистил острым ножичком пробковый поплавок, проверил пальцем крючок на зацеп и начал неторопливо – как бы не повредить кожу! – насаживать сонного, безразличного к своей судьбе лилового червяка. Чтобы как-то оживить наживку, Фёдор побрызгал на неё водой, а после, не изменяя давней привычке, трижды поплевал.

Поплевал и вспомнил, как ехидный Петрак подтрунивал над ним: «Что проку, Василич, от твоих слюней! Ты лучше с похмелья плюнь. Тогда любая рыбка на червя поведётся. Как схватит, так и захмелеет. От глушёной не отличишь. Бери спокойно – не трепыхнётся!» Фёдор отшучивался и продолжал поплёвывать на своих червяков...

Старик погладил удочку:

– Ну, милая, не подведи!

И, привстав, замахнулся широко – словно длинным падушшим кнотом. Леска юркнула в воду, а поплавок покачался и замер. И одновременно с поплавком замер, превратился в изваяние рыбак. Всё как будто затаилось в нём, только глаза оставались живыми.

Фёдор то и дело поглядывал на стоящий торчком поплавок, вслушивался в необыкновенную тишину. И вдруг ему, не лишённому осторожности, показалось, что за ним кто-то наблюдает. Однако наблюдает не так, как обычный человек, только с одной стороны, а как-то широко, всеохватно. Этому наблюдателю Фёдор открывался, как на ладони. Это наблюдение было не просто внешним: Фёдор стал с беспокойством ощущать, как кто-то исподволь докапывается и до его мыслей: зачем ты здесь?

– Господи! Да что это такое? – испугался Фёдор.

Озеро ещё немного помучило старика и отпустило. Стало легко. Фёдор даже засомневался: а было ли что-то с ним?

Он целиком погрузился в ловлю. Но рыба не торопилась с клёвом: ни щипка, ни потяжки. Он переводил глаза с поплавок на воду и постепенно терял ощущение пространства.

По светлой чистинке плыли белые кучерявые облака. Иногда они касались поплавок, но поплавок почему-то не отзывался на прикосновение.

Фёдору начало казаться, что он закорился в небесной синеве.

В осоке прыгнула лягушка.

Фёдор вздрогнул и переместился с неба на землю.

Чтобы привлечь рыбу, он решил поиграть удочкой. Круги от притопленного поплавок разбежались по тихой воде. Фёдор подёргал сильнее, вызвав мелкую, как во время слепого дождя, рябь. А потом замысловато черкнул удилицей по воде – словно расписался в своём присутствии на Озере.

Но рыба по-прежнему не трогала червяка.

«Где ж вы, мои любимые карасики? – сгорал от нетерпения Фёдор. – Может, вас зубастая щука распугала?»

И уже готов был на время отказаться от своих карасиков – лишь бы любая рыба клюнула, пусть даже костлявый подлещик или колючий ёрш.

Но и подлещик с ёршом не спешили радовать старого рыбака. И он начал сердиться:

– Ну и рыба пошла! Совсем заелась. Червака за мясо не считает!

И как тут было не вспомнить, Царствие ему Небесное, дедушку Данилу, который смыслил не только во всех снастях и приманках, но и знал особое, волшебное, «слово». Это слово старик держал в великой тайне и только тогда, когда совсем одряхлел и отстал от рыбалки, поделился своим секретом с любимым внуком.

Приложив к губам указательный палец: «Тсс! Не расточи кому-нибудь случаем!», дед Данила заговорил ласково,

нараспев: «Иди, рыбица, ко мне, рабу Божию Даниле, по всяк день и по всяк час, на утренней заре и на вечерней заре, в день под солнцем, в ночь под месяцем, и под частыми звёздами, и под всей окружностью Божиею...»

Фёдору так и не удалось воспользоваться этим наговором: рыба и без волшебного слова неплохо брала. К тому же, этот длинный наговор со временем подзабылся, а вот другой наговор на уду и рыбицу, короткий и довольно забавный, ему запомнился. И теперь Фёдор, отчаявшись, был готов впервые в своей жизни прибегнуть к тайному совету: поймав маленькую рыбу, следовало отпустить с таким приговором: «Пошли отца, пошли мать, пошли тётку, пошли дядю...»

Но и мелюзга не клевала. А как без неё достучишься до взрослых рыбьих родичей?

Фёдор продолжал наблюдать за пристывшим к воде поплавком. Иногда он закрывал глаза, потом торопливо открывал.

От такого вглядывания порой казалось, что поплавок тихо смещается с места, не оставляя следа.

«Неужто клюнула?» – оживал старик. И снова задрёмывал.

Пальцы немели. Фёдор устал переключать удочку из одной руки в другую и в конце концов ухватился за удилище обеими руками – словно вожжи, держал.

«Ты зачем здесь? – корил себя Фёдор. – Рыбу ловить или спать?»

Однако упрёки не помогали. Может быть, настоящей злости не хватало.

«Может, сплавиться поближе к кустам? Сделать другую тоню?»

Но лень было поднимать со дна якорь и брать в руки вёсла.

Однажды поплавок и в самом деле встрепенулся. Легонько, но заметно – словно лукаво подмигнул Фёдору. Старик пригляделся и увидел на гусином пёрышке синюю стрекозу. Обманщица поигрывала слюдяными крыльшками. Её длинное, как у червяка, тельце едва не касалось воды.

– Нашла место! – Фёдор сердито подёрнул поплавок.

Стрекоза нехотя оставила поплавок, но, прежде чем улететь к тростникам, покружилась, вздрагивая в полёте, возле Фёдора. Казалось, в её пристальном внимании к старому рыбаку было что-то осмысленное, даже вешее. Она как будто предупреждала: просыпайся, дедушка, шевелись – сейчас начнётся главное.

Фёдор встрепенулся. Он почувствовал, как пальцы резко вцепились в удилище.

Спящий до поры поплавок вдруг задрожал мелко-мелко, словно осиновый листок, и замер.

Фёдор не спешил с подсечкой. Он соскучился по клёву, и ему хотелось как можно дольше продлить игру поплавка.

Поплавок снова ожил, заплясал дробненько, а потом, весело подпрыгнув, пошёл вкруговую.

Старик медлил и всё же боялся прозевать заглот.

Наконец поплавок резко, почти отвесно, скрылся в воде.

Фёдор резко, по-молодецки, рванул удилище вверх. Он почувствовал глухой зацеп – казалось, крючок впился в подводную корягу. Но в следующее мгновение леска ослабла.

«Неужто сошла?» – забеспокоился Фёдор.

На крючке болталось что-то похожее на комок травы.

Он подвёл к глазам странную добычу, и стало ясно: на крючке болталась голова рыбёшки-малевки. То ли краснопёрки, то ли окуня.

Руки Фёдора затряслись от волнения: большая хищная рыба ходила где-то рядом. Он потрогал рыбью голову – хорошо ли сидит на крючке? – и, подавшись вперёд, торопливо утопил леску с обкусанным живцом.

Поплавок колыхнулся и замер.

Дрожащими от напряжения руками Фёдор сжимал удилище и очень жалел, что не прихватил с собой сачок:

«Как же я так опростоволосился?»

Теперь поздно жалеть. Рассчитывал на карасей, а клюнула, как видно, щука.

Фёдор вспомнил, как в осоке шлёпнулась лягушка. Матёрая щука не только лягушку проглотит, но и утёнка утянет за собой – бывали и такие случаи.

Подумал о леске:

«Ноль-семь. Должна бы выдержать!»

А сам-то выдержит?

Он не сводил глаз с поплавок. Сейчас всё решится...

Поплавок лениво шевельнулся. Щука брала вяло, неохотно – словно была сыта по горло. А может быть, её озадачил необычный живец: без хвоста, без туловища, одна голова.

– Ну, давай! Давай! – подстрекал Фёдор. Заманивая щуку, он сделал длинную потяжку.

И тут поплавок резко нырнул. Леска натянулась, зазвенела, словно балалаечная струна. Удилище едва не вырвалось из рук Фёдора.

– Ах, мать моя, женщина! – взволнованно проговорил старик.

Ему показалось, что даже лодка сдвинулась с места.

После мощного рывка леска неожиданно ослабла. Но Фёдор был уверен: схода нет. Желая окончательно убедиться, он легонько потянул леску на себя.

Щука тянулась покорно, словно древесный обломок, но возле кормы всё изменилось. Щука свечкой вылетела из воды. Фёдор успел разглядеть длинное, в зеленоватых пятнах, тело и зубастую полуоткрытую пасть.

Оставив после себя кипящую воронку, щука ушла в глубину, тревожно подёргалась и затихла: она словно раздумывала, что ей делать дальше.

Фёдор на всякий случай стравил леску до предела: пусть погуляет щучка на свободе, успокоится. Он знал, что за покоем последует бунт, и ему долго, держа натяг, придётся водить рыбу, пока она не утомится до бесчувствия. И тогда, с божьей помощью, он попытается затащить её в лодку.

По вкрадчивому шевелению лески Фёдор догадался, что щука отдохнула и собирается к травам. Такое перемещение не устраивало Фёдора. Он подтянул леску к себе, и щука, играя в покорность, уступила старику. Не делая резких движений, она кружила в заливчике, то поднимаясь кверху – Фёдор видел, как она судорожно открывала рот, – то устремлялась в глубину.

Фёдор понимал: её нужно почаще тревожить, выматывать, а самому, по мере возможности, беречь силы.

Но и щука не торопилась уступать Фёдору. Не раз в её долгой жизни щуке приходилось ломать крючки и обрывать лески. Она ждала своего мгновения и по натягам, которые чередовались с частыми ослаблениями, чувствовала, что ею управляет старый человек.

Старик отдыхал, и вместе с ним отдыхала щука. Потом Фёдор с новой силой хватал «вожжи», чтобы взнудить рыбину. Привыкшая к воле хищника металась, взбрыкивала, и у Фёдора не было уверенности, что она выдохнется первой.

Он мучил рыбу, а рыба мучила Фёдора. Ныли плечи. Горели ладони и пальцы. Кровь стучала в виски. Сердце ещё терпело...

Воспользовавшись очередной передышкой, Фёдор решил убрать якорь. Он с трудом поднял тяжёлую, будто налитую свинцом, кирпичину, облепленную жирным илом, бросил под лавку. Достал из ведра острый нож и воткнул рядом с собой. Он к чему-то готовился и толком не осознавал, к чему. Смутно чувствовал: так надо.

Когда рыба выписывала круги возле борта, в отчаянье подумал:

«А не оглушить ли её веслом?»

Но тут же осадил себя:

«Не дури! Терпи, пока терпится!»

И тут произошло удивительное. Щука словно потеряла волю к борьбе, стала вялой, как во время замора.

Подтягивая рыбу к себе, Фёдор начал перебирать скрюченными от усталости пальцами леску. Сейчас он подтащит щуку к борту, сдавит ей глаза пальцами и, пока она не опомнилась, бросит в лодку.

И неожиданно услышал внятный, с хрипотцой, голос деда Данилы:

– Оставь леску, Федька!

«Почему?» – мелькнуло в голове.

– Живо! – прокричал дед.

Фёдор торопливо отпустил леску и схватился за удилище.

Вовремя отпустил.

Леска рванулась, заныла, словно встревоженная оса. Фёдор обмер. Горячий пот потёк в глаза. Растерянно моргая, он понял, что могло произойти: леска в своём отскоке обретала ножевую остроту. Ещё чуть-чуть, и пальцы отсекло бы до самых костяшек.

Фёдор стравил леску до дна. Щука повозилась и замерла – похоже, готовила новый подвох.

– Ну какова! Какова! – покачивая головой, заговорил старик, и трудно было понять, чего больше в его словах – то ли укора, то ли невольного восхищения.

Щука, постояв, ожила, поплыла вдоль лодки, даже попыталась нырнуть под корму – старик едва удержал.

Он понимал, что уступает. Лихорадочно искал выход и не находил. Возникла позорная мысль: хотя бы сошла! Сколько можно возиться!

А щука и не думала сходить. Похоже, крючок крепко зацепился в желудке. Она металась из стороны в сторону и вдруг потянула к притопленным сетям Сашка-Афганца.

И тут Фёдора осенило:

– Ах, ты, голова, два уха! Как же я раньше не догадался!

Зажав удилище между коленей, Фёдор сделал несколько сильных гребков. Снова взял удилище в руки. Почувствовав, что щука плавно, без рывков, стремится к сетям, повторил гребки.

– Давай! Давай! – в азарте повторял Фёдор.

Он старался не выпускать из глаз метку Сашка, похожую на рыжеватую кочку, и, когда до сетей оставалось несколько метров, выхватил острый нож и полоснул им по леске.

И сразу, как только исчез обрывок лески, старик взял в руки весло и смачно пошлёпал им по воде:

– Давай, голубушка, давай!

Он вставил весло в уключину и стал приглядываться к тому месту, где находилась сеть. Вода была спокойной.

«Неужели ушла?» – подумал Фёдор. И удивился своему безразличию: ушла, и бог с ней! Значит, не его рыбка!

И вдруг вода забурлила, запенилась. Вынырнула зеленоватая верёвка и, поиграв серебристыми ячейками, исчезла.

Старик обрадовался.

– Попалась! – едва шевеля губами, проговорил он.

Только сейчас старый Фёдор в полной мере ощутил свою усталость. Он попытался поднять плавающие вёсла, расположить их возле себя, но не смог.

Словно крылья большой подстреленной птицы, вёсла плавали в безмятежно-тихой воде.

Ссутулившись, сложив на коленях руки замком, Фёдор сидел на скамейке и толком не понимал, где он и зачем.

И только через некоторое время Озеро стало напоминать о себе...

Неизвестно откуда взявшийся ветерок-вьюнок прошёлся кругами по воде и окропил лицо Фёдора свежей пылью.

Старик провёл языком по губам и ощутил едкую соль.

Он слышал, как кричат чайки, ощутил сладковато-вяжущий запах ивняка и водяных трав.

Над ухом тонко и хищно запищал комар. Фёдор, лениво махнув рукой, убил прильнувшего к щеке кровопийцу.

Старик приходил в себя. Он с трудом разомкнул сложенные на коленях руки, стянул с головы дедову фуражку. Решил зачерпнуть ею воды.

Он смотрел в фуражку с медленно убывающей водой и вспомнил, как в детстве пил из своей кепки-шестиклинки. Пил и не боялся бабушкиного остерега: «Не пей, Феденька, воду из Озера. Не то лягушки заведутся!». «А как они заведутся?» – удивлялся Фёдор. «А так... Проглотишь икринку – выведется головастик. А головастик в лягушку превратится. Будет она в твоём пузе квакать...»

И всё же на рыбалке, в летний зной, он пил воду из Озера. Пил и зорко поглядывал: а не плавает ли в ней лягушачья икринка?

Фёдор вылил воду под ноги. Потом порастягивал изнутри фуражку, придавая ей прежнюю форму, и натянул на изнывающую от жары голову.

И сразу успокоилась кровь в висках, перестала стучать.

Он достал из рюкзака пластмассовую бутылочку с колодезной водой и, жмуря глаза от удовольствия, начал пить, смакуя каждый глоток. Не заметил, как опустела бутылочка.

Глянул с удивлением: неужели всё? И, выждав, оросил последними каплями широко открытый, как у голодного птенца, рот. Пожалуй, теперь всё! Такой вкусной воды он не пивал никогда.

Сеть под ударами щуки уже не выпрыгивала из воды.

Лишь иногда ощущалось вялое подводное колыханье. Похоже, щука зацепилась. И зацепилась хорошо – за жабры.

Фёдор потёр застывшие колени и взял в руки вёсла. Он знал, что делать...

Он держал курс на Косой мыс. Озеро, словно помогая старику, мягко, пружинисто выталкивало вёсла. Да и сами вёсла, казалось, полегчали...

Сашок оторвался от удочки, удивлённо глянул на возникшего словно из-под воды Фёдора:

– Ты чего, дядь Федя? Или червяки кончились? Могу дать займы без отдачи!

Фёдор откашлялся, невнятно забормотал. Наконец открылся голос.

– Вот такая!.. Здоровенная!

Сашок улыбался. Он ничего не понимал.

– Понимаешь, моя щука в твою сеть попала!

Сашок рассмеялся:

– Ёшки-мошки! Что значит «моя»? Неужто всех щук на Озере пронумеровали?

Не в состоянии долго объяснять, Фёдор потряс удочкой с обрезанной леской.

Сашок посерьёзней: до него кое-что дошло.

– Давай, Саша, быстрее! – заторопил Фёдор. – А то уйдёт!

– Не бойсь, дядь Федь! – успокоил Сашок. – Куда она, зубастая, денется? Дальше Озера не уплывёт!

– Вот такая! – Фёдор, вдохновляя Сашку, широко развёл руками. – Не щука, а акула!

– Ну и ну, – поразился Сашок и, сложив удочку, стал разворачивать лодку.

И тут до Фёдора донёсся тревожный клёкот. Большая птица беспокойно переступала на нижнем суку разлапистой сосны.

– Сиди, пернатый! – крикнул Сашок. – Я скоро вернусь!

Ястреб успокоился.

Сашок развернул лодку. Вода за кормой заиграла пенными кругами.

– Давай, Саша! Давай! – повторял старый Фёдор и сам себе удивлялся: пока отдыхал, не очень-то думалось о щуке, а теперь вдруг проснулся молодой азарт.

Он смотрел, как забугрились, заходили лопатки под армейской тельняшкой Сашка – казалось, ещё мгновение, и эти лопатки, похожие на крылья мужающего слётка, разорвут плотно облегающую ткань, и Сашок, подобно вольной птице, полетит над озером...

Сашок то усиленно грёб, то, дожидаясь старика, притормаживал. К Трясинам они приплыли почти одновременно. Сашок погасил движение лодки и стал копать в рыболовных припасах.

– Помочь? – спросил Фёдор. Спросил вежливо, на всякий случай. Знал, что Сашок привык обходиться без напарника.

– Подержишь сеть за край! – сказал Сашок и сдвинулся к борту, прикидывая, куда бросить железную кошку о четырёх лапах.

Зацепистая кошка нашла притопленную сеть с первой попытки. Сашок поднял край сети вместе с грузилом-кирпичиной и передал в дрожащие от нетерпения руки Фёдора.

Старик увидел, как в ближних ячейках бьются и вздрагивают золотистые рыбки: вот где, оказывается, его заветные карасики!

Направляя лодку, Сашок неторопливо, словно гусяр звонкоголосые струны, перебирал капроновые ячейки над верхним урезом сетей. Он отцеплял запутавшихся рыб и почти не глядя бросал в лодку. Большой рыбыны не было видно, но Сашок, подбираясь, уже чувствовал в провисших сетях её немалый вес и удивлялся щучьему спокойствию. Он достал просторный сачок и, раскачивая лодку ногами, приблизился вплотную к сетям: если щука и выскользнет, то всё равно окажется в лодке.

Фёдор неотрывно следил за каждым движением парня. Хотелось что-то подсказать, но удерживался: сам не любил, когда говорили под руку.

Сашок насторожился. Щучья голова с окровавленными жабрами высунулась из воды. Показалось пятнистое вялое тело – казалось, щука уснула.

– Здорово ты её укатал! – Сашок прицелился сачком.

– Неизвестно, кто кого укатал! – сказал старик. – Смори, Саша, не зевай! Щучка ещё та!

Сашок ловко подцепил щуку, сунул в мешок. Торопливо завязал.

И тут щука проснулась. Забилась, завертелась. Мешок, словно живой, стал приближаться стреноженными скачками к борту.

– Куда, подруга? – весело закричал Сашок. – По лягушкам соскучилась?

Он оттащил мешок на прежнее место. Щука то подёргивалась, то затихала.

– Бросай грузило! – крикнул Сашок и довольно потёр облепленные чешуёй ладони. – А неплохая щучка тебе попалась! Килов на восемь потянет, не меньше...

Фёдор расправил край сети и неторопливо опустил окслизлую кирпичину на дно: ловись, рыбка, большая и маленькая, но лучше – побольше!

– А щучка-то не простая. Модница! – усмехнулся Сашок. – С пирсингом!

– С каким таким прессингом? – удивился Фёдор.

– Да не прессингом. С пирсингом! – поправил Сашок, закручивая мокрую верёвку на своей кошке. – Прессинг – это по части Мамаё!

– Не понимаю! – сказал Фёдор, сближая свою лодку с лодкой Сашка.

– Мода такая. Среди молодёжи. Вставляют всякие кольца в пупки, губы, даже в язык. Вот и у твоей щучки чей-то крючок-самоделка на губе.

– Пирсинг... Пирсинг... – задумчиво повторил старик. – Мода, говоришь? Знал я такого модника. Важный, сердитый. С таким лучше в узком проулке не встречаться. Идёт враскачку, по сторонам зыркает. А в ноздре – кольцо железное...

Сашок весело глянул на Фёдора:

– Бугай, что ли?

– Да, племенной бычара. И звали его не по-нашенски. Бурбон!

Сашок захохотал. Зашёлся здоровым, ядрёным смехом, и, глядя на него, старый Фёдор не удержался. Только смех у него был тихий, шелестящий – будто осенний ветер гулял в соломенной застрехе.

А потом старый и молодой притихли.

– Ннда-а! – протянул Сашок.

– Такие, брат, дела! – сказал – словно подытожил – Фёдор.

И обоим почему-то стало грустно.

– Я тебе пару-тройку карасиков подброшу! – вдруг сказал Сашок, доставая прозрачный пакет.

В былые времена Фёдор наверняка бы заартачился: «Да зачем?», «Спасибо! Не надо!», «Ты мою рыбку не обижай!». А теперь, смиряя рыбацкое самолюбие, тихо согласился:

– Ладно. Разве что парочку...

Сашок засунул мешок со щукой в рюкзак Фёдора, туда же отправил пакет с карасями. Положил не пару, а трёх: бог троицу любит! И, судя по всему, даже не усомнился, что ноша придётся по плечу старому Фёдору. Знал по своему опыту и по опыту других рыбаков: свой улов не тянет!

Беспокойство вызывала не тяжёлая щука, а другое. Вглядываясь, как старик с усилием разворачивает лодку, Сашок спросил:

– Послушай, дядь Федь! Как ты эту лодку затащишь к сосне?

– Как-нибудь... – неуверенно отозвался старик. – С божьей помощью!

– Постой, постой, Василич! – у Сашка прорезался командирский голос. – Это не дело! Зачем тебе жилы рвать? Давай-ка мне лучше ключ с замком. Я сам твою лодку к сосне подтащу. Ну а ключ... – Сашок задумался. – Ключ я тебе послезавтра занесу. Вечерком. А сегодня мне ещё в город надо. Моё дежурство...

И старый рыбак покорно протянул замок со вставленным ключом молодому рыбаку.

Легонько, словно прощаясь, стукнулись бортами две лодки и поплыли в разные стороны. Сашок – за Косой мыс, где его дожидался на сосне прикормленный ястреб, а Фёдор неторопливо погрёб к Большому затону, возле которого в густом, выцветшем от солнца тростнике таился проход к берегу.

Три чайки, провожая старика, парили над его головой, и одна из них, самая смелая, даже опустилась на корму.

Чтобы не спугнуть её, Фёдор опустил вёсла.

Остроносая птица с шоколадными бархатистыми щёчками зорко поглядывала на старика. И чем дальше он глядел на неё, тем сильнее становилось ощущение, что эта птица прилетела к нему из других миров – казалось, чья-то родственная соскучившаяся по Фёдору душа приняла облик обычной чайки и теперь радовалась желанной встрече.

Фёдор испытывал смешанное чувство радости и тревоги.

Не выдержав, он кашлянул.

Чайка грустно взглянула на него и улетела.

Старик взялся за вёсла. Хотелось побыстрее добраться до уютной земной тверди, но Озеро почему-то не отпускало. Он старательно помахивал крыльями вёсел, но, словно птица при встречном упругом ветре, почти не двигался с места.

Однако Фёдор упрямо грёб, и желанный берег стал ощутимо приближаться.

Нужно было беречь силы. Переносить поклажу от Сосны до Большого затона по узкой тропке с нависшими кустами было бы непросто. Поэтому Фёдор решил расстаться с ношей у Большого затона, а потом перегнать лодку к Тростникам.

И от Тростников, уже налегке, вернуться к затону – передохнуть на знакомом с детства взлобке, а потом, навьючив на себя рюкзак, отправиться домой.

Он так и сделал. Не выходя из лодки, выбросил на берег затона рюкзак, пустое ведёрко и удочку с обрезанной леской. А потом неторопливо, обходя густые травы, погрёб к Тростникам.

Войдя в Тростники, Фёдор нащупал веслом песчаное дно и, оттолкнувшись, вывел лодку на отмель. Держась обеими руками за борт, старик выбрался на желанную землю и едва не упал: после долгого сиденья в лодке почти обезножил. Приходя в себя, он тяжело, по-медвежьи, потоптался на месте, стал растирать занемевшие колени. Потом взглянул вверх, где стояла сломанная сосна, грустно подумал:

«Нет, пожалуй, не дотащил бы!..»

Держась за гибкие ветки, словно за причальные канаты, старик потихоньку добрался до Большого затона, собрал в одну кучу своё рыбацкое добро и со вздохом облегчения опустился на твёрдую землю.

Он смотрел на Озеро. Глядеть на вечное Озеро можно было бесконечно.

В синеве воды уже угадывались брусничные проблески заката. В спокойной воде появлялись и исчезали пузырьки – рыба играла. И эта игра напомнила старому Фёдору другую, детскую игру: когда-то он здесь бросал в Озеро плоские камушки. Эти камушки быстро скользили по воде, образуя «блинчики».

Было тихо. И вдруг в благостной тишине зазвенело чужое слово:

– Пирс-синг! Пирс-синг!

Это слово кружилось возле Фёдора, словно обеспокоенная оса. Но эта «оса» не собиралась кусать. Она прилетела, чтобы напомнить. Но о чём?

Старик напряг память:

– Что сказал Сашок? Пирсинг? Тьфу на этот пирсинг! Крючок на щучьей губе?

И вдруг в памяти всплыло:

«Самоделка! Крючок-самоделка!»

– Ах ты, мать честная! – Фёдор взволнованно хлопнул рукой по колену. – Да это же дедов крючок!

Он ярко, словно у него открылось неведомое обычному человеку зрение, увидел на губе щуки тусклый, с радужными пятнышками крючок, предназначенный для живца. Это был знакомый булавочный крючок: дед Данила мастерил рыболовные крючки не только из гвоздей и иголок, но из стальных булавок.

– Ну и дела! – продолжал удивляться Фёдор.

А как тут не удивиться? Мечтал о золотых карасиках, а родное Озеро, изрядно помучив, наградило его метровой щукой, да и то не «своей», а ускользнувшей от деда. Правда, золотые карасики ему всё же достались, но, как и щука, – из чужих сетей...

И тем не менее старик не чувствовал себя обделённым.

Он посмотрел на рюкзак, и щука, словно ощутив пристальный, любопытствующий взгляд, нервно шелохнулась и даже попыталась подпрыгнуть. Фёдор не сомневался, что надкостницу с губой пробил дедов крючок, и всё же ему – так, на всякий случай, – хотелось убедиться своими глазами.

Слушая глубокую тишину леса, старик закрыл утомлённые глаза, и вдруг услышал позади себя, в густых кустах, вкрадчивый низовой шорох.

Фёдор прислушался.

Кто-то деликатно фыркнул.

– Василь Василич! – догадался Фёдор. – А ну, вылезай! Нечего таиться.

Из-под свисающих веток орешника выглянула плутовавшая морда кота Васьки.

– Иди сюда, неслух! Не бойся.

Виновато глядяваясь в хозяина и припадая к земле, Васька стал подползать. Он вслушивался в голос Фёдора и смелел. Наконец выпрямился и молодцеватой походкой направился к старику. Замурлыкал низким грудным голосом, ласково потёрся о бок хозяина.

– Ах, подхалим! Подхалим! – Старик отцепил сухой катышек репейника с кошачьего хвоста. – Где ж ты пропал? Наверно, все мота обошёл!

Кот насмешливо хмыкнул: а сам-то какой?

Фёдор всё понял, но не обиделся. А чего обижаться? Как говорится, два сапога пара.

Тихо, стараясь не нарушить лесной покой, они сидели на берегу большого Озера и не торопились домой, под железную крышу.

Заросли тростника и осоки обрамляли Озеро светло-зелёной лентой, а на мелководье и сырых местах ещё цвели июльские травы.

Нежно голубела болотная незабудка. Зеленели цветы птичьей гречихи. Розовые соцветья-початки белокрыльника украшали серебристые листочки, похожие на паруса. Как всегда, пышно цвела таволга, и от её кремовых цветов исходил медовый аромат пасеки.

Старик с жадностью вдыхал запах хвои и сосновой смолы, капельки которой, выступая из трещин коры, вытягивались в янтарные сосульки.

И вдруг в лесной тиши подала голос кукушка. И это было удивительно: уже миновали Петровки, после которых кукушка, подавившись житным колосом, должна бы замолчать. Но она, вопреки примете, закуковала. И старый Фёдор, услышав грустноватый, булькающий, словно весенний ручей на перекатах, голос, принялся загибать пальцы на левой руке:

– Рр-аз! Два-а...

Закончились пальцы обеих рук, а кукушка не умолкала.

– Ну и обманщица! – Фёдор покачал головой. И, улыбувшись, добавил: – А всё равно приятно!

Кукушка продолжала куковать.

Сергей СМИРНОВ

Москва

ТРАКТОРИСТ

«Двигатель трактора оставлю на ночь работающим, чтобы утром при минус тридцати не пришлось опять отогревать паяльной лампой», – решил Сашка, попивая горячий крепкий чай в теплой кабине своего двенадцатитонного «Кировца» после тяжелого рабочего дня. Чтобы не мерзла бритая голова, поглубже натянул на нее шерстяную шапочку. А завтра еще предстоит очистить для проезда нефтевозов дорогу к нефтехранилищам на Волге. Снегопады в эту зиму часто обрушивались на поволжские дороги и степи. Сашка сутками не вылезал из кабины. Бывало, закончишь к двум часам ночи расчистку трассы, тут же эсэмэска из соседнего села: «Дружище, выручай! Машины застряли в пургу. Не выбраться». И Сашок, матерясь и нехотя врубая третью скорость, спешил на помощь. Случалось, и гусеничную технику, отправленную на пробивку дорог, приходилось вытягивать из глубоких, прорезанных бульдозерами траншей. Мощному трактору «Кировцу» все нипочем.

Как-то поехал Сашка откапывать грунтовку в соседнем населенном пункте. Дорогу там за несколько недель порядком запустили. Люди, запертые в снежном плену, экономили на всем. Ни одна автолавка пробиться не могла. Туда и почтальон с пенсией только на лыжах добирался. Скорая не принимала вызовы, потому что все равно не до-

ехать! Да и ехать некому. Медперсонал в результате оптимизации сократили. Не то что больницы, а сельские амбулатории и фельдшерские пункты закрыли.

А в январе темнеет рано. После двух часов дня можно смело включать фары. Сашка старательно вглядывался в слепящий глаза белый ад. По пути справа у дороги заметил бугор снега. Тракторист вылетел с лопатой и в ярком свете фар быстро откопал старенькую «четверку». Прильнул к боковому окну машины. В ее салоне, уронив голову на руль, спал вечным сном замерзший водитель. Сашка позвонил гаишникам, но сам не стал дожидаться. Тронул рычаг и без видимых усилий пошел чистить дорогу.

Сегодня снежный настил плотный и твердый, словно бетон. Поддавался с трудом. Большие, обутые в зимние шины колеса буксовали. Даже березовый черенок лопаты затрепал, когда Сашка на морозе пытался поддеть снег, проверить его на прочность. Пришлось запустить турбонаддув. Дизель трактора заревел. Тракторист пробовал «бабочкой» взять! Развернул фронтальный нож и на первой скорости ринулся на белого врага. Пласты снега, срезаемые стальным лезвием «бабочки», скрипели и визжали. «Кировец» упорно пробивал себе дорогу. Сашка в азарте даже вспотел и сбросил куртку, оставшись в одной футболке.

До главной трассы оставалось всего ничего, но тут мотор начал захлебываться и глохнуть. Сашка посмотрел на стрелку уровня топлива. Недоглядел – оба бака почти по нулям. Пришлось, не глуша дизеля, одеться и бежать к уазу, стоявшему в низине за елками, с прикрытыми брезентом бочками соляры на борту. Буханка – машина что надо! Несмотря на то, что выпускают ее более полувека без всякой модернизации. Уж сколько жалоб на нее было от шоферов, но дело свое она знает! Везде пролезет этот неприхотливый полноприводный внедорожник. Бензиновый движок завелся на удивление легко. На малой скорости буханка подъехала к трактору. Сашка с помощью электропомпы перекачал топливо, обтер руки снегом, вытер насухо ветошью и снова на прорыв! Работы на всю ночь. Утром по трассе должны пойти рейсовые автобусы, нефтевозы...

А самому когда же в отпуск? Забор вокруг дома из гофролиста никак не поставит. Уже и материал купил, а руки все не дойдут. Давно у всех заборы новенькие стоят, а его штакетник дырявый скоро развалится. К тому же масло подтекает в гидравлике – надо менять фильтр. И ремни в генераторе вконец измочалились. И трещину в серьге задней подвески надобно подварить. Да какой тут может быть отпуск, когда посевная на носу! Земля зовет. На селе один день год кормит. Засеять надо несколько полей, а трактористов всего двое. Он да Васька. У Васьки тоже все не слава богу. В его колесном тракторе «Беларусь» надо отрегулировать зажигание. Плунжерный топливный насос высокого давления тоже накрылся...

На тракторном дворе для будущего посева надо будет поставить новые подошвы. Силиконовые трубки-семеноводы в прошлой посевной потрескались, сгорели от солнца. Их тоже на замену. Мужики из сервиса для будущей работы в полях привезли на «Кировец» резину низкого давления. Пока ее ставили, весь день прошел...

После тяжелой зимы в распаханном поле грачи неспешно и важно разгуливали. Знали, где подкормиться можно. Сашка разрыхлил ладонью влажную черную землю, сжал ее в кулаке. Порядок, работать можно. Почва прогрелась и влагой пропиталась. Через пару дней посаженное зерно начнет набухать и набираться силенок.

Сашка, не торопясь, на второй скорости, включил задний вал-привод отбора мощности. Не вылезая из трактора, с помощью гидравлики отпустил широкую линейку плужков-подошв со множеством колес-бегунков. Похлопал ободряюще по приборной панели своего «Кировца» и приступил к главному делу в своей жизни – севу пшеницы.

Надежда КОЖЕВНИКОВА

г. Новозыбков, Брянская область

СТАРАЯ ЛАМПА

Тик-так, тик-так, тик-так! – всю ночь слышалось в дальнем углу помойки. «О, как меня раздражает это бесконечное тикание. А ещё бы не раздражало: тикают часы, часы – это время, время идёт – жизнь продолжается. Для тех же, кто попал сюда, время закончилось, а значит, и жизнь закончилась. И нечего без конца напоминать об этом. Главное, что и отвлечься-то никак не получается. Хоть бы уже собаки поскорее прибежали», – думала наполовину засыпанная мусором настольная лампа.

Собаки прибежали на помойку каждое утро. Они проводили ревизию вчерашних завозов на предмет съестного. Но сегодня их почему-то не было. Зато прилетела ворона и принялась с азартом разбрасывать спрессованное тряпьё. От её бурной деятельности часть огромной кучи поехала вниз и похоронила часы. Стало тихо.

– Наконец-то, – непроизвольно вырвалось у лампы. Утреннее солнце уже хорошо прогрело мусорный полигон, и он «задышал». Поднимаясь вверх, дрожащие струйки испарений становились менее заметными, а затем и вовсе растворялись в чистом голубом небе. Пахло, как всегда, отвратительно, но лампа уже привыкла, две недели – это срок, она тут долгожитель. «Сегодня неудачный день, – подумала лампа, – надо же, только угомонились часы, как завели спор туфли». Сделанные из качественной, дорогой

кожи, ещё крепкие, но уже сильно поношенные женские туфли ругались из-за потерянной пряжки.

– Ты во всём виновата! – выговаривала правая левой. – Где пряжка? Уронила? Не удержала! Кому мы теперь нужны такие неодинаковые?

– Она всё время была со мной! Она только здесь оторвалась, когда нас из машины выгружали, – оправдывалась левая.

– Держать надо было хорошо! Вот где она теперь? – не могла успокоиться правая.

– Я не знаю, – винулась левая.

– Ты никогда ничего не знаешь! Кто набойку в первый же день потерял? Кто постоянно натирал ей мизинец? – наседала правая.

– Не придирайся! Тебе просто нога самая лучшая досталась, безмозольная. Зато подмётка у тебя у первой стёрлась! – защищалась левая.

– Так она же шаркала правой ногой! – возмутилась правая, но тут же смягчилась: – Ничего, что шаркала, – всё равно наша хозяйка самая лучшая женщина на свете. Помнишь, как она любила нас и холила? Помнишь, говорила: «Такой удобной обуви у меня сто лет не было. Я в них прямо как босая».

– Да-а-а, помню. Она для нас ничего не жалела. Крем дорогой покупала. Импортный! Ах, какой благородный блеск придавал он нашей аристократической внешности! – поддерживала правую левая.

– Ну, завели-и-сь. Удобные они! Блестели они! Всё! Постарели-отблестели, на помойку прилетели. Нечего ныть, сохраняйте достоинство, раз уж внешность аристократическую не сохранили, – посоветовала им лампа.

– И вовсе мы не старые, – хором сказали туфли, – а растоптанные, так это для удобства. Нас нечаянно выбросили. За нами скоро придут и заберут обратно.

«Ну-ну. Может, и придут, – подумала лампа, – да не те, кого ждёте. Наконец-то все замолчали, наконец-то тишина. Теперь можно спокойно подумать, жизнь свою по полочкам разложить. Воспоминания – самое интересное и увлекательное занятие в старости! А вспомнить мне есть

что. Я жила так долго, – думала лампа, – что не грех уже и здесь оказаться. Я честно выполнила своё назначение, светила трём поколениям интеллигентных порядочных людей. В доме всегда было уютно, чисто и светло. А сколько семейных вечеров я провела в их обществе! Сколько чудесных книг и стихов прочитали они мне! Сколько было сшито костюмов, сколько новогодних игрушек изготовлено при моём непосредственном участии! Даже у зеркала без меня не обходились, его всегда подвигали ко мне поближе, чтобы привести в порядок лицо и причёску... Как же я любила и люблю эти милые-милые лица, эти неспешные разговоры за вечерним чаепитием. Хозяйка безгранично доверяла мне. Всю корреспонденцию, даже личные письма, она читала в моём присутствии. А как она заботилась обо мне – ни одна пылинка не смела сесть на зелёный прозрачный плафон, ни одна соринка не имела права коснуться белого керамического основания. Но и я старалась соответствовать – ни разу не позволила себе перегореть в самый ответственный момент...». Приятные мысли уносили лампу в далёкие времена её молодости, отвлекали от тошнотворных запахов и глупой болтовни обитателей помойки.

– Вот она – моя пряжка! – закричала вдруг левая туфля, прерывая воспоминания лампы на самом интересном месте. – Эй! Кто-нибудь! Держите её! Держите воровку!

Ворона, откопавшая в мусоре золотистую пряжку, не обращала на вопли никакого внимания. Довольная находкой, она перехватила добычу поудобнее и где шагами, где прискоком, преодолевая мусорные препятствия, понесла прятать.

– Отдай! Отдай же! – дуэтом рыдали ей вслед туфли.

– Надоели. – Лампа попыталась отвернуться. Получилось с трудом. Её раньше гибкая и упругая шея теряла подвижность, начинала ржаветь.

И всё же она смогла заметить двух человек, направляющихся в их сторону.

– Какой ужас! Бомжи! Только не это, – испугалась лампа.

– За нами уже идут! Нас сейчас заберут! Мы едем домой! – подпрыгивали туфли, пытаясь отряхнуться от налипшей грязи. Они тоже заметили людей.

Бомжи, неопрятные и вонючие, с одинаково синюшными одутловатыми лицами, остановились. Один из них, похоже, женщина, заинтересовался туфлями.

– Глянь, а ничё говнодавы! И размерчик вроде мой.

Женщина подняла туфли, осмотрела их со всех сторон и, оторвав с правой золотистую пряжку, сунула в авоську, где уже лежали старые кроссовки и прорезиненный плащ.

«Только бы они меня не заметили! Только бы не заметили! Не хочу им светить! У меня была чудесная жизнь, и другой мне не надо», – шептала лампа. Напрягаясь изо всех сил, она упрямо наклоняла вниз негнущуюся шею.

Бомжи подходили всё ближе, ближе, и тут... в проржавевшем штативе что-то хрустнуло, зелёный плафон съехал набок, и лампа бессильно уткнулась лицом в мусорную кучу.

Мария БУШУЕВА

Москва

БЛИНЧИКИ

Вот это, то есть не то чтобы это, а вот такое дело: Аглаю Сергеевну напрягала соседка сумасшедшая сверху, нет, не крикливая, не била она ничего, не бегала с молотком по их подъезду, тихая такая, с какой-то своей идейкой туда-сюда, то есть ходила туда-сюда и все время к Аглае Сергеевне забредала, позвонит в дверь, чего-нибудь попросит, ну пятьдесят рублей или флакончик из-под духов, чтобы воды туда налить и себя этой ароматной водой обрызгать, и вот как только она у Аглаи Сергеевны побывает, у той в квартире однокомнатной, обставленной новенькими штучками-дрючками, трюмо даже красного дерева из антикварного магазина недавно приобретенное, между прочим на свои заработанные, Аглая Сергеевна из Италии одежду возит, а здесь продает, так вот, как побывает, так сразу тараканы заводятся, причем чем чаще соседка к ней ходит, тем тараканов больше, можно было бы, конечно, решить, что она их сама в кармане и приносит, по одному, главаря в коробочку из-под спичек посадит и принесет, тем более соседка живет в огромной коммуналке, такие еще сохранились в самом центре города по одной на подъезд, и там еще семья – работяги с завода, их и не видно, только по пятницам, когда гуляют, потолок слегка обсыпается, Аглая Сергеевна тогда сразу в полицию звонит, их утихомиривают... Да. А таракан из кармана в квартире Аглаи Сергеевны найдет себе наложницу и расплодится, да только соседка-то ну абсолютно такая тихая, даже почти богомольная, крестик на шее, не понесет

она тараканов точно, потому-то и загадка – по какому такому закону жизни они в квартире Аглаи Сергеевны появляются?

А вот потом соседка исчезла, дрель гудела полгода, и въехал такой стриженный, в дорогом костюме с золотыми часами, с тату на плече, пролетариат из коммуналки он выселил в новостройку возле птичьей фабрики, а тихую эту с тараканами куда-то вывез – погрузил с ее деревяшками и флакончиками из-под духов и вывез.

И тараканы у Аглаи Сергеевны сразу исчезли.

Не жизнь, а восторг: чисто, красиво, домашний кино-театр и розы искусственные в вазах, сплошной фэн-шуй.

Однако у нового соседа с золотыми часами дочь оказалась лет пятнадцати, школьница, одета круче Аглаи Сергеевны. И как-то эта девчонка сразу ей не понравилась: тощая, длинная, прыщавая, такие кроличьи ноги прятать надо, а она мини носит, тащит свои спагетти через двор и ни с кем не здоровается. Аглая Сергеевна ей замечание сделала. Та фыркнула-буркнула. А тут Аглая Сергеевна ее с сигаретой увидела: стоит на своих спицах с каким-то таким же прыщавым, длинным и курит. Аглая Сергеевна все ей высказала: и про спагетти, и про курение, мол, травись сама, если мозгов нет, несколько еще определений прибавила, а других травить не смей. И вот тощая эта стала Аглае Сергеевне жизнь портить: то музыку свою ужасную, этот, как он называется, тяжелочугунный рок, врубит его в одиннадцать вечера, а это лучше дрель слушать, плеском прибора покажется, то пляски устроит с субботы на воскресенье, папаша ее съедет в загородный дом, в подъезде все уже о его материальном уровне откуда-то узнали, жена бухгалтерша бывшая, а теперь только за городом живет, как начнут плясать на своих спицах, точно гвозди в голову Аглае Сергеевне вбивают... И нарочно пройдет мимо эта прыщавая, опять не поздоровается. Нагло в глаза посмотрит.

То есть стала она Аглае Сергеевне досаждать, а как стала досаждать, блохи в квартире появились. Это, выходит, вместо тараканов.

Блохи маленькие черненькие лезут отовсюду, кусают пребольно, все ноги искусаны, исцарапаны, вздуваются аж. Аглая Сергеевна пошла в ветеринарку, свою кошку врачу

показала, шампунем раз десять кошку вымыла, ничего не помогает, вам, посоветовала ветеринарша, нужно санэпиде-мобработку заказать, приедут, все обольют, блохи пропадут. Приехали, обработали, вроде не пахнет, а как-то медицинским кабинетом отдает, и черненькие пропали, но через месяц запрыгали отовсюду снова. И эта пляшет себе каждую субботу хоть бы что.

И все-таки и этим мучения пришел конец: как приехал с золотыми часами и с тату внезапно, так и уехал: не круто ему в бывшей сталинке показалось, новый кирпич-мо-нолит нашел, сто метров. И прыщавую свою со спагетти увез. И блохи пропали.

Снова началась не жизнь, а радость: тишина, чистота, блох точно и не бывало, улыбается трюмо красного дерева из антикварного магазина, цветы алеют и так далее. Даже немного скучновато порой: не с кем бороться. Сидит Аглая Сергеевна в своей уютной кухне, пьет кофе, смотрит на летающих над соседней крышей голубей, ждет, хоть бы НЛО, что ли, появилось, развлекло, в смартфоне новости листает, гламурный журналчик почитывает, а то в телевизор одним глазом глянет... Она любит на артистов смотреть и про артистов читать. И тут вдруг ей на каком-то сайте такое попадается! Да еще с фотографиями артистки, когда-то в подростковые годы Аглаи Сергеевны Ассоль в театре сыгравшую. Аглая Сергеевна тогда спектаклем этим так впечатлилась, что жизнь по нему построила, глаза под-водила и брови выщипывала, чтобы на Ассоль-артистку лицом немного походить, всем женихам отказывала, поскольку завалившие не тянули на Грэя, то есть принца ждала под алыми парусами. Одна Аглая осталась, одна и дочь родила, та уже в восемнадцать выскочила замуж за американца и уехала в Техас. Аглая Сергеевна туда съездила, поудивлялась, как можно жить в такой скукотище, а потом от одиночества коммерцией занялась, и весьма доходной оказалась ее точка в холле большого супермаркета.

И вот эта Ассоль, гладкая, как яйцо, выглядит молодо, упитанная да холеная, дает интервью и, плотоядно улыбаясь, рассказывает, как хорошо и вкусно она готовит, особенно удается ей самое ее любимое блюдо: блинчики с мозгами.

Аглаю Сергеевну точно оглушили: неземная, тонкая, удивительная Ассоль готовит и жрет, как трактирщица! Это выходит... выходит вся жизнь Аглаи Сергеевны была ошибкой?! Ведь всегда она верила, что пьеса та старая, где артистка играла, была про нее, Аглаю! Оттого лоснящемуся завхозу отказала на закате советов, торговцу овощами на восходе капитализма, сохраняла себя от липких пальцев!

Как сомнамбула, достала Аглая Сергеевна альбом, в который еще в детстве клеивала фотографии любимых артистов, вырезанные из журналов, перелистала: одних уж не было, другие готовили блинчики с мозгами для ненасытной утробы, блинчики без мозгов... взяла зажигалку, поднесла к картонной странице альбома... Страница загорелась не сразу, но потом, обманутая вроде бы ласковым прикосновением огня, все-таки оказалась им охвачена полностью. И тогда Аглая Сергеевна выскочила на открытый балкон и, демонически хохоча, сбросила горящий альбом вниз. Она хохотала неистово, балконные перила от ее смеха тряслись, так сильно она их сжимала ледяными пальцами. Внизу уже метались люди, перекидывая, точно огненную тыкву, горящий альбом от одного к другому, пламя летало по двору, скаля зубы. Потом его погасили.

Зазвонил мобильный в кармане, сообщил Аглае Сергеевне, что повышают плату за аренду, нужно ехать подписывать новый договор у новой владелицы торговой компании. Надо признать, Аглая Сергеевна от пережитого шока тут же оправилась, однако ее почему-то охватило сильнейшее беспокойство. Она сняла домашний халат, впахнула себя в итальянские тряпки, служащие одновременно рекламой продаваемого товара, помчалась на своем крохотном «фольксвагене».

В приемной ее попросили подождать, она поерзала на кожаном сиденье кресла, посмотрела в окно, и ей показалось сначала, что за ним летит не вертолет, а все-таки НЛО. Наконец вышел, манекенно улыбаясь, молодой менеджер и пригласил ее войти в кабинет к новой хозяйке компании: за главным столом сидела ее бывшая соседка, та самая, с тараканами.

Андрей БАРАНОВ

Москва

ТРИ НОЧИ

Ночь одна, что прожить мне дано...

Давид Самойлов

И был вечер, и было утро... А ночь? Ночь была?

Разумеется. Возможно, только она и была единственной достоверной реальностью! Хотя нет, конечно – были и утро, и день, и вечер, и всё-таки ночью происходит нечто такое, что недоступно другим временам суток: открываются завесы, срываются покровы, проступает истинная сущность вещей в бездонном чёрном космосе, открытом для глаз без слепящего солнечного софита. На самом деле было двадцать пять тысяч ночей, но все их можно свести к трём, которые, может быть, в пределе и есть одна-----единственная?

Итак, ночь первая.

Дима приехал погостить к отцу. После того как родители развелись, это случалось не очень часто, во всяком случае, гораздо реже, чем этого хотелось. Дима не понимал, почему родители, которые всю его маленькую жизнь были вместе, которые шли по залитой солнцем улице, тесно прижавшись друг к другу, когда он гонял вокруг них на велосипеде, к которым он забирался утром в кровать, расталкивая, руками, ногами, головой, пока не отвоёвывал, наконец, уютное местечко между их большими сонными телами и не замирал в сладкой дрёме,

чувствуя их успокаивающее тепло – почему они вдруг разъехались по разным квартирам? Он пытался выяснить этот вопрос у обоих, но они, как будто сговорившись, отвечали, что у взрослых бывают свои странности и, когда вырастет, он обязательно их поймёт, а пока ему надо знать лишь то, что они любят его и в их решении жить отдельно нет никакой его вины. Дима подозревал, что взрослые просто успокаивают его, а на самом деле, наверное, в этом есть какая-то его вина (а как же иначе?), но какая именно, он не понимал, да и не особо старался, поскольку и без того вокруг было много чего, о чём стоило подумать.

Например, о космосе.

Новая отцовская квартира была совсем маленькой – всего одна комнатка и крохотная кухонька, но зато – огромная лоджия, на которой можно было поставить раскладушку и в погожие летние ночи спать, не опасаясь замёрзнуть и простудиться. Дима особенно любил ездить к папе в его новую квартиру из-за этой лоджии, и ритуал вытаскивания раскладушки на балкон, раскладывания её, застилания матрасом и бельём был любимейшим его ритуалом. Отец заботливо накрывал его одеялом, подтыкал края, проверял, не поддувает ли где-нибудь, гладил по голове, что-нибудь рассказывал на ночь, а потом желал спокойной ночи и уходил обратно в квартиру – «на материк», как придумал для себя Дима, а сам он оставался на острове, вернее полуострове, омываемом с трёх сторон космическим океаном и связанном с материком только узкой балконной дверью, ведущей на кухню.

Отец гасил на кухне свет, чтобы тот не мешал сыну спать, и шёл в комнату, где садился за свои книги и бумаги, но свет от тусклой настольной лампы на лоджию почти не проникал, как не проникал сюда свет и от других окон дома, равно как от соседних домов. Свет уличных фонарей оставался глубоко внизу – отец жил на самом верхнем, семнадцатом этаже – а если, ко всему прочему, ещё и не было луны и стояла ясная погода, то очень скоро чернота августовской ночи наваливалась на мальчика всей своей необъятностью, и он постепенно начинал погружаться в её бездонную глубину, где горели и манили к себе маяки бесчисленных звёзд. Дима

рано научился читать, обожал детские книги по астрономии и из этих книг знал, что звёзды – не просто святающиеся в ночи фонарики, а огромные светила, равные по величине, а то и во много раз превышающие размерами привычное земное солнце, вокруг многих из них вращаются планеты, а на некоторых даже может существовать жизнь. Дима любил лежать вот так, смотреть на какую-нибудь звезду, и ему начинало казаться, что он различает вращающиеся вокруг неё планеты. Он представлял себя на борту межзвёздного космического корабля, подлетающего на сверхсветовой скорости к этой звезде, он парил в космической невесомости у огромного иллюминатора и видел всю планетную систему так же чётко, как в погожие лунные ночи наблюдал луну: вокруг звезды кружились три планеты: красная, жёлтая и голубая. На красной и жёлтой не наблюдалось признаков жизни – только горы, вулканические и метеоритные кратеры, и больше ничего, а вот третья чем-то напоминала Землю, на ней ясно различались океаны и жёлто-зелёно-коричневые пятна материков, диковинных, неземных очертаний. Космический корабль начинал торможение, он ложился на планетарную орбиту, постепенно снижаясь, и чем ближе становилась поверхность планеты, тем чётче Дима различал неведомые города и дороги между ними, голубые прожилки рек и каналов, пятна лесов, напоминающие с высоты разноцветные мхи, и контуры каких-то гигантских сооружений непонятного предназначения. Да, эта планета, безусловно, обитаема! Интересно, как выглядят её жители? О чём они думают? Что любят, а что ненавидят? Можно ли их понять, подружиться с ними?

Дима никак не мог поймать момент, в который мечты уступали место снам. Снова и снова ложась спать, он убеждал себя, что уж сегодня-то он точно поймает за хвост тот неуловимый миг, в который явь сменяется сном, но миг приходил, и Дима проваливался в глубокий сон, так и не успев зафиксировать его в своей голове.

В следующее мгновение солнечный свет начинал пробиваться сквозь ресницы, на кухне кипел чайник, шипела сковородка – папа готовил завтрак и поглядывал, не проснулся ли его космонавт.

– Доброе утро, – радостно приветствовал он сына, заметив, что тот уже не спит, – как спалось?

– Доброе утро, папа! Просто замечательно! А какие сны чудесные снились! Сейчас я тебе расскажу. Как жаль, что нельзя спать на балконе круглый год!

Вторая ночь случилась с Дмитрием лет через тридцать после первой. Разумеется, между ними были тысячи других ночей, спокойных и разгульных, овеванных ароматом романтики и наполненных страхами, бессонных ночей, проведённых рядом с любимыми женщинами или у кровати больного ребёнка, в дежурствах и караулах или в душевных разговорах с друзьями. Были ночи у костра, возвращавшие в древние времена, когда ещё не было изобретено электричество, и в гремящих тысячами децибел ночных клубах, в самолётах и поездах, на спящих улицах старинных городов и на берегах экзотических морей под бриллиантовыми звёздами и опрокинутым полумесяцем, похожим на венецианскую гондолу. Множество ночей он, конечно же, тупо проспал, уткнувшись лицом в подушку и пуская сладкую тягучую слюну, но, учитывая возраст, таких ночей было не намного больше, чем прожитых в бодрствующем сознании, хотя бы частично. И всё же прожитые за три десятилетия ночи при всей их важности и насыщенности не помнились в таких подробностях, как эта.

Ему только-только исполнилось тридцать семь, он работал топ-менеджером в крупной компании, был женат вторым браком и воспитывал двоих детей: сына от первого и дочь от второго. Его жизнь была забита под завязку служебными и домашними заботами, вокруг постоянно толпилось множество людей: друзья, сослуживцы, партнёры, клиенты, домашние... Ему нравилась эта жизнь, он вдыхал полной грудью воздух большого города и каждым нервом ощущал его беспокойно пульсирующий ритм. Даже когда он ненадолго оставался один, бесстрастный камердинер-смартфон не давал ему расслабиться: звенел вызовами, тренькал оповещениями, опутывал социальными сетями.

Но однажды в этой отлаженной машине существования произошёл незапланированный сбой. Если честно, это

даже сбоем назвать нельзя – так, короткая остановка в пути. Никто из окружающих этой остановки даже не заметил, а вот Дмитрий запомнил на всю оставшуюся жизнь. По делам бизнеса он оказался тогда в небольшом приволжском городе – это была рядовая бизнес-поездка, каких он совершал по три-четыре в месяц. Эти поездки давно уже стали чем-то рутинным: встреча в аэропорту, поездка в город, деловые переговоры, вечер в ресторане, ночь в гостинице – утром снова в аэропорт. Города слились для него в один бесконечный типичный российский город, где обязательно была самая богатая в России картинная галерея, самый лучший провинциальный театр (а кроме того колбаса, рыба, водка, пиво, конфеты, далее по списку) и обязательно какие-нибудь уникальные достопримечательности в виде древних монастырей или нигде более не производимых пряников.

В этот раз всё было как обычно. После ресторана Дмитрий приехал к себе в гостиницу, принял душ, почистил зубы, созвонился с женой, посмотрел какую-то передачу по телевизору – и лёг спать. А среди ночи вдруг проснулся. Часы показывали два часа после полуночи, но спать почему-то совсем не хотелось. Неудержимо потянуло на улицу.

Он оделся и вышел в пустынный гостиничный коридор. Гостиница поражала своей освещённостью и пустотой. Его шаги гулко раздавались на безлюдном этаже, пустой лифт гостеприимно распахнул свои автоматические двери, холл внизу был залит мёртвым электрическим светом, но даже за стойкой ресепшена никого не было.

Выйдя из освещённого нутра гостиницы, Дмитрий тут же потонул в темноте. Провинциальные города вообще ложатся спать довольно рано, а уж в два часа ночи все мирно спят и видят десятый сон. Ни человека, ни машины, ни даже бродячего пса не попало ему навстречу. Уличные фонари горели тускло и находились где-то в стороне, окна домов ослепли. Гостиница находилась недалеко от крутого волжского обрыва. Заезжая в неё утром, Дмитрий успел заметить бескрайний волжский простор, врывающийся в окно его номера, а сейчас на том месте зияла чёрная пустота, и в пустоте раскачивались перламутровые звёзды августа.

Луны не было, но света звёзд, дальнего света фонарей и мерцающих огней на Волге хватало, чтобы не потеряться в темноте и продолжать двигаться по направлению к обрыву.

И вот здесь-то, на волжском обрыве его и накрыло. Чувства, которое охватило Дмитрия, он не испытывал никогда раньше и никогда потом. Как позднее он ни пытался воскресить в себе это чувство, оно ускользало от него, а все состояния, в которые ему удавалось себя ввести, были лишь бледными отголосками глубокого, мощного и всеобъемлющего переживания, охватившего его той ночью на берегу.

Бессмысленно искать слова, описывающие это чувство. Если вспомнить самые яркие ощущения, связанные с любовью к женщине, нежностью к матери и собственным детям, триумфальными победами в спорте и в деловой карьере, выбросом адреналина во время полёта на тарзанке или при спуске с крутого склона на горных лыжах, – так вот это всё и близко не могло сравниться с чувством, захлестнувшим его тогда, оно было тысячекратно более насыщенным и в то же время (о чудо!) спокойным и умиротворённым. Что-то подобное Дмитрий испытывал пару раз в храме на Божественной литургии, несколько раз при созерцании красот природы, особенно в море или в горах, да ещё на некоторых концертах при исполнении Бортнянского или, может быть, Баха. Но опять же – и это были лишь бледные копии восторга, который охватил его в ту ночь.

Он перестал существовать. Всё мелкое, суетное, чем в изобилии были наполнены его дни, вдруг исчезло вместе с его телом, умом, памятью, характером, судьбой. И в то же время он почувствовал, что никогда ещё не существовал так истинно и наполненно. Он осознал (не иллюзорно, а абсолютно реально), что звёзды – живые, и Волга – живая, и этот лёгкий ночной бриз, и шелест невидимой в ночи зелени, и аромат невидимых в ночи цветов – всё это живёт и дышит, и, что самое главное, он ужасно интересен всему этому мирозданию, оно с любопытством смотрит на него и говорит с ним.

Он ощутил удивительный приток сил и почувствовал себя всемогущим, он видел и понимал всё, тайна мира раскрылась перед ним, словно редкая книга мудрых мыслей на

непонятном языке, и в охватившем его экстатическом вдохновении он ясно понимал этот язык, и слышал, что прямо в ухо нашёптывает ему мироздание. Оно шептало, что жизнь его будет бурной и яркой, что впереди ждёт много великих дел и потрясающих открытий, а смерти вообще нет!

Позднее Дмитрий не мог точно сказать, сколько длилось это озарение, но ему показалось, что прошли века. Время остановилось. Купол неба вращался над ним, луна вставала и садилась за горизонтом, горели на Волге огнями теплоходы и перекрикивались друг с другом гудками, вот уже забрезжил восток, и из темноты начали проступать свинцовые волжские воды, и далёкий противоположный берег, и очертания плывущих куда-то кораблей. А с утренним туманом стало, как вода из проткнутой пластиковой бутылки, вытекать из него по каплям ночное чувство, бледнеть, умаляться, пока не вытекло совсем, оставив по себе лишь смутное воспоминание.

Прошла ещё четверть века – и наступила третья ночь. Ночи, следовавшие за Ночью Озарения, становились всё более обыденными и безликими. Всё реже попадались между ними ночи любви и дружеских застолий, лесных костров и рискованных приключений, основная масса ночей стала ночами сериалов и сновидений, дежурных ласк и разыгравшихся болезней. Дмитрий Иванович сменил несколько компаний, и в каждой новой компании он всё выше поднимался по карьерной лестнице, но первым лицом так и не стал и в положенный срок ушёл на пенсию.

Его дети выросли, создали собственные семьи. Теперь у него были две внучки, которые на выходные вместе с родителями приезжали к деду на дачу, носились по двору с собаками, рвали малину и крыжовник, стреляли из лука, играли в бадминтон. Зять и сын жарили шашлыки на мангале, дочь и невестка резали салаты под неусыпным контролем бабушки Насти. Потом сидели, выпивали, разговаривали. Гости приносили жизнь и радость в их однообразный стариковский быт, но после гостей оставалась усталость, которая проходила только через два-три дня – а там уже и новые выходные!

Спать ложились рано и потому летних ночей почти не замечали, разве что в августе, когда день сильно уменьшался и, несмотря на ранний отбой, удавалось ухватить иногда кусочек звёздной и звездопадной августовской ночи.

В одну из таких ночей Дмитрий Иванович сидел на скамейке возле своего дома и смотрел на небо. Ему казалось, что летнего неба он не видел уже много лет – и потому смотрел на него с наслаждением. Прямо над головой на кончике хвоста Малой Медведицы горела Полярная Звезда. Дмитрий Иванович пошарил по небу глазами и, словно старых знакомых, узнал и Большую Медведицу, и Персея, и Кассиопею. Было много и других созвездий, названий которых Дмитрий Иванович не знал, а может, просто уже не помнил.

Надо же, спокойно размышлял Дмитрий Иванович, годы идут, жизнь проходит, дети уже давно взрослые, скоро и внучек нужно будет замуж выдавать, и весь мир изменился до неузнаваемости, а эти звёзды как светили в моём детстве, так и теперь светят.

И вспомнилась Дмитрию Ивановичу первая августовская ночь у отца на балконе, когда он видел в звёздах загадочные далёкие миры, к которым, как ему тогда казалось, он обязательно когда-нибудь полетит. Смешно, ей-богу! Интересно, а внучки так же смотрят на небо, как я тогда, или у них теперь всё по-другому? Надо бы спросить, подумалось.

И припомнилась ему вторая ночь в далёком волжском городе, как смотрели на него живые звёзды, и он чувствовал с ними неразрывную мистическую связь. Он попробовал посмотреть и сейчас с таким чувством, но ничего не получилось – звёзды были далеки, холодны и ничего ему не нашёптывали. Странно, как ему могло тогда такое привидеться?

Из дома вышла Анастасия.

– Не спится? – понимающе спросила она.

– Да нет, просто решил посидеть, посмотреть на звёзды – давно не глядел. Садись, посиди.

Жена присела рядом и тоже подняла голову к небу. С неба сыпался персеидный дождь.

Лирический портрет

Евгений КУХТИН

И РОССИЯ ВЗОЙДЁТ МОЛОДАЯ...

* * *

Нет, не хочу ни деревом, ни птицей
Быть после смерти, ни водой в горсти.
Тем более в другого воплотиться
Я не хочу – и жребий свой нести.

Но дай мне Бог терпения и сил
Всё вынести, что суждено от века,
Чтобы сказать: я счастья не просил. –
И умереть счастливым человеком.

Ночной вокзал

Зал ожидания как судьба – нелеп.
В душе – звезда, в котомке чёрствый хлеб.

Пустой перрон уходит в никуда,
И сладок дым, и манит неизвестность;
Пакгаузы, заборы – что за местность? –
Прожектора слепящая звезда.

Нехитрый жизни скарб: картонки, связки;
И храп, и детский плач плывут под своды;
И исповедь – живым глотком свободы! –
Попутчика по этой страшной сказке.

Спит тяжело кочующий народ,
В своей привычке к тяготам великий.
И что ни год сильнее ветер дикий,
Губительней планет круговорот.

Спит девушка у друга на плече;
Мужчина, с ним жена его, сынишка
Вповалку спят.
Свободных мест не слишком,
Но всё – тепло, спасение, ночлег
На холоде немислимых кочевий;
Темны пристанционные деревья;
И порожняк грохочет вдалеке;
Мы все в дороге этой налегке
В ночи, что на просторах залегла,
Где выпало любить и жить так мало, –
И вместе с нами в ночь уйдёт Земля,
Сверкнув на миг серёжкой вокзала.

Софийский собор в Вологде

Одна из многих – сколько их! – столиц.
Как смрад болота, будущность туманна.
Собор Софии в Вологде стоит,
Воздвигнутый по воле Иоанна
Лицом к реке...
Был царь угрюм и горд,
Но новую он жаловал столицу –
Убогий город на краю болот,
Господь над ним простёр свою десницу.
Метался царь ночами, воспален,
Что в государстве вьёт гнездо измена.
О Боже, укрепи! всё прах и тлен.
Одна София на века нетленна...

Прольётся кровь, и засмеётся кат,
И дико вскрикнет человек на плахе.
Он – государь, он вечно виноват,
Перед Всевышним пребывая в страхе.

В его ли власти и живот, и смерть?
Несчастных жертв не сякнут вереницы.
Изнемогая мыслию, смотреть
В бездонные и чёрные глазницы.
Яви, София, свой пресветлый лик
И, Мудрая, реши тоску сомнений:
Он – государь, и потому велик?
Он слаб и сир,
Поэтому смиренен...
Не отвратись, Господь! Мы все рабы.
Уже мрачит край небосклона смута.

...И умер царь. И мёртвый страшен был.
И звон колоколов заполнил утро.

По дороге на Суздаль

Ничего уж от жизни не просишь.
Дождик льёт на поля не спеша.
Но сверкнёт неожиданно просишь –
И от света зайдётся душа.

И следишь, забывая всё разом,
Как в потоке сверкнувшего света
Стая птиц опускается наземь –
Словно пепел сгоревшего лета.

Церковь Покрова на Нерли

Покрова на Нерли, в лугах,
Загляделась ли в светлые струи...
На своё разуменье и страх
Кто воздвигнул тебя такую?

И столетья прошли... На заре
Птицы машут тяжёлыми крыльями.
Но вмерзала ты в лёд в ноябре –
И сроднилась с просторами стылými.

Но шепталась ты с талой водой,
Оттого-то твой взор затуманен, –
И осталась навек молодой,
Как и эта земля за холмами.

Быль какую иль сон таишь,
Что откроется ненароком?
Ты в каком столетье стоишь
И в каком мгновенье высоком?

... Смех и шутки над пёстрой толпой;
Бесконечно идут друг за другом
То ли шумной народной тропой,
То ли просто затоптанным лугом.

Им всёзнающий умный гид
Объяснит и расскажет толково,
И с какого века стоит,
В память дня и князя какого,

И что строили люди простые,
В кладке сведущие и резьбе
(А как надо бы о России,
Одиночестве и судьбе)...

Покрова на Нерли, в лугах,
Сколько гроз над тобой грохотало!
Семицветная встанет дуга,
Повторив очертанья портала.

И всё суетное отойдёт,
Все заботы твои растают.
Эта церковь в воде плывёт,
Словно на воду села стая...

А когда все ушли и века
Тишиной опустились над лугом,
Стая птиц поднялась на закат
И с небес окликала подругу.

* * *

Что ты хмуришься, ненаглядная?
Ссора – сущая ерунда.
Посмотри, как весна нагринула:
Стаял снег и громады льда.

Сколько было зла наворочено,
Мир, казалось, идёт к концу.
А осталась лишь тень от облачка,
Проскользнувшая по лицу.

* * *

Ветер чёрный над Родиной веет,
Снег взметает – ни зги не видать.
Что там – морок старинных поверий?
Нам отпущенных дней благодать?

Правый Боже пытается любовью,
Прозревая в отчаянье стыд.
Это ль мы не потешились вволю
С гиком, свистом и песней навзрыд?

Нам ли жаться друг к другу в боязни?
Стынут в памяти нашей года:
Свист метели и посвист бродяжий,
В полынье молодая звезда.

Ни сумы не избежешь, ни хуже:
Выжигающей душу тюрьмы.
Только знать, что ты Господу нужен
И что свет воссияет среди тьмы.

И в глубоких снегах пропадая,
Знаю я: созревает вода,
И Россия взойдёт молодая,
Ослепительная, как звезда.

Денис КАЛЬНОВ*г. Каменка, Пензенская область***ЧЕРНИЛА ЗАЧЕРПНУЛ
НЕБЕСНЫЙ КОВШ...**

* * *

В прошлом ближе тропинки, растения
взгляду детскому. Вещи точны.
И метафоры как ощущения:
череп ящерицы – череп луны.
Ближе мир со своими планетами
из карбида, смолы и песка.
Ближе вид, занесённый кометами,
и ожившие старыми кедами,
существа со страниц дневника.
Им в шкафу создаётся убежище,
как задумал Илья Кабаков;
плотной тканью проёмы завешены;
вот приёмник, узлы проводов.
Здесь не страшно героям причудливым,
их никто никогда не найдёт;
хоть и разум железный, искусственный,
есть душа вместе с сердцем игрушечным
и в иную юдоль звездолёт.
Фантастический фильм за помехами
еле слышно – слабеет сигнал.
Полдень клонится к вечеру нехотя.
И гудит паровозом вокзал.

Парижское

Проливные дожди Сен-Мишель затемняют на тон,
Только литера «N» остаётся почти неизменной;
Этот мост, точно книга, хранит вереницу имён
И оковой сжимает рукав у серебряной Сены.
Меланхолией веет такой же, как в рифмах Рембо,
И с неясной надеждой устройство трёхсложного такта
Разбавляет мистический гул христианской мольбой,
Что вмещает и мост, и размер, отражающий дактиль.
Но в бреду полусна всё не так, и широкий пролёт
Открывает дрожащую зыбь на поверхности свода,
Где кино со столетними датами тайно плывёт;
Кто-то в нём милосердный стоит (ожидает) у входа.
Эта водная кисть поменяла ненужный браслет,
И теперь украшенья запястья с оттенком фарфора.
Вот добавить бы пару штрихов на сырой силуэт.
Вместо лужи гаргуля получится с башни собора.
Базилика-маяк Абади навсегда вдалеке;
Утихают в туманных огнях дождевые потоки;
Здесь художник гуляет со шрамом на правой щеке,
Возвращая в Париж персонажей со стен и подтёков.

* * *

Одинокий светильник, удвоенный ночью в воде,
неким знаком рябит, уподобленным яркой звезде.
Натюрморт оживает. По жилам струится раствор
из мельчайших вещей, образуя при этом узор.
Из чего состоит этот ангел, что смотрит анфас
со строки (с высоты) на прохладный квартал и на нас?
Видно, кто-то представит его постояльцем гравюр,
а быть может, посланником древнего рода скульптур,
но никак не живым и имеющим разум и дух,
в белоснежном хитоне и книгу читающим вслух.
Зыбь текущих зеркал, как намёк на невидимый мир,
создаёт из пространства и света в себе эликсир;
узнаёт с арамейской структурой в канале слова
на мосту современный прохожий (почти Валтасар).

Трактовать невозможно догадки ума и души;
 раздаются лишь признаки жизни шагами в тиши.
 И возможно, что там, повстречавшись с прохожим
 любым,
 будешь рад, ощущая себя в то же время другим.
 А пока одинокий светильник на тёмной воде
 неким знаком рябит, уподобленным яркой звезде.

* * *

Чернила зачерпнул небесный ковш,
 подсвечены развалины у храма,
 рельефный камень с колыбелью схож,
 добавлен ломтик лунной диаграммы.
 Деревья-караульные во тьме
 сливаются с восточной частью неба;
 растянутые строки, как в псалме,
 под куполом, который утром лепят
 стремительные ласточки на день
 (по меркам скоротечности их жизни)
 в стране фонтанов, пыли и арен,
 где стены, как и книги, рукописны.
 Ты только в этом месте новый гость,
 замороженный множеством деталей:
 округлый замок, ветер, мрамор, мост,
 монах-доминиканец, спрос сандалий.
 Бег времени понятнее сейчас,
 и, в сущности, понятней принадлежность
 одной судьбы к эпохе (без прикрас),
 которая, возможно, с чем-то смежна
 другим (земного выше и светлей),
 где значимость явления иная
 и нежная инверсия вещей
 восходит к заповеданному раю.

* * *

Итальянской речи отголоски.
 Вечер. Мимолётные наброски

создаются кадрами кино.
 Жизнь в доме изображено
 эхо суммы звуков от движений:
 звон стекла серванта от шагов,
 сумма задрожавших отражений
 и паденье стрелки у часов.

Вдруг исчезнет и опять вернётся
 шум в гостиной. Ключ задребезжит.
 За стеной квартиры отзовется
 каждый отзвук с признаком души.

* * *

Оконный лёд растаял, и вода
 Размыла компоновку на Советской;
 У тротуара, будто в никуда,
 Ребёнок смотрит (кажется, соседский).
 Его игра (пока ещё один)
 Несёт в себе конструкции сюжета,
 В котором сонмы кипенных лепнин
 Живые сходят с влажных парапетов.
 Квартал взирает тысячами глаз
 Пустых иллюминаторов квартирных,
 И столб, совсем немного наклонясь,
 Дарует горсть железок сувенирных.
 Но вот разрушен мир для одного,
 Окликнули из булочной: «Обедать!»
 А там печенье, вафли, молоко
 И вытянутый чайник разогретый...
 Вот снова на проспекте. Всё не то.
 Пропало зазеркалье на сегодня.
 В разгаре полдень, но за суетой
 Ложится тень на улице нечётной.
 И кажется, подсказка говорит,
 Что всё ещё однажды повторится:
 Под аркой и у тех гранитных плит
 Появятся придуманные лица.

Дмитрий КАРШИН

Курск

**ВДВОЕМ ПО УЛИЦЕ –
ОНА И ЛИСТОПАД...**

* * *

Нет, я не сплю, я слышу – по дому ходят дети.
Трогают пальцами стены, хихикают в рукава,
Шуршат плащами в прихожей, звякают
кухонной медью,
За убежавшей монеткой ползают под кровать.

Пожалуйста, не говори мне, что это всего лишь старость,
Что дом наш горбом согнулся, кашляет и кряхтит,
Что кран подтекает в ванной, что ветер хлопает ставней,
Что осыпаются в вазе высохшие цветы.

Неужто тебе не ясно – мы умерли в прошлом веке
Вместе с письмом бумажным, с ручкою перьевой.
Высохли наши чернила. По дому ходят дети,
И из часов с кукушкой время кричит совой.

* * *

Та девушка, которую не помню,
Чье пианино ниже этажом,
А также Джо Дассен и Элтон Джон,
И в листьях традесканций подоконник,

И длинное неяркое пальто,
Шаги по лестнице, хлопок подъездной двери,
И аромат серебряных духов
Слегка похож на запах карамели.

Вдвоем по улице – она и листопад.
Туда, где в сумерках теряется сегодня,
Пока ее сапожками стучат

Мои часы, и прошлое, как сводня,
Подсовывает письма наугад
Той девушки, которую не помню.

* * *

Город снится черной рыбе,
В час, когда последний грош
Растворяется в заливе,
Ты по берегу бредешь,

Тесной улицей, где ветер
Воробьев сдувает с крыш,
Где травой асфальт изъеден,
Где над пылью вьется стриж,

И читает мальчик рыжий
У раскрытого окна.
Город снится черной рыбе.
Теневая сторона.

* * *

Ветер под утро запутался в платьях,
Пододеяльниках и полотенцах.
Свечи истаяли, звезды погасли,
Птицам над крышами пусто и тесно.

А к подоконнику комнаты вашей
Из-за реки прилетает синица,

ются из моего рта и, вальсируя, уходят вверх, к солнцу. Перед глазами сновали мелкие, шустрые, разбуженные весной водные насекомые... Потом тьма стала густеть, окутала меня, будто холодное одеяло, и я потерял сознание.

Я навсегда, в деталях запомнил всё, что со мной случилось тем майским днём. Понял, с чем встретился и чего мне посчастливилось избежать. Наверняка эта встреча наложила отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь и взгляд на мир. Но какой отпечаток? Я уверен, что встреча со смертью в столь раннем возрасте оказала не раскалывающее, а, скорее, укрепляющее действие на личность. И то, что я потом читал у Кастанеды, будто надо использовать смерть как союзника, а у святых отцов находил изречения вроде «держите неотступно смерть перед глазами своими», только укрепляет меня в этом убеждении.

Поединок

Когда мы вернулись в Вормс, дворец гудел, будто дымовая труба в ветреную погоду. И повод для того имелся: Данкварт, королевский конюший и младший брат Хагена, решил биться с Зигфридом. Ему, похоже, надоело, что никто из сильнейших рыцарей королевства так и не рискнул бросить вызов нидерландцу, и он, отчаянная, но безмозглая голова, решил в одиночку постоять за честь Бургундии.

Сомнений в исходе поединка у меня не было. И Данкварта мне совсем не было жаль. Мне вообще никого не жаль, иначе какой из меня шут? А вот Хагену определённо стоило встревожиться за сводного брата. Но разве кто сможет определить, что творится в душе у Хагена? Это не проще, чем разглядеть спрятанный под землёй клад или увидеть дно озера в Вогезском лесу.

Итак, пустоголовый Данкварт собрался биться с Зигфридом. В конном состязании копьё будут, конечно же, лишены железных наконечников, но потом, если Данкварт сможет подняться с земли, поединщики возьмутся за мечи, а это уже дело довольно опасное...

Как же я всё-таки рад, что Зигфрид разворошил наш сонный угол! При дворе все возбуждены, шушукуются, глаза

горят, щёки раздумянились. За поединщиками следуют целые свиты, обхаживают, ободряют, исполняют прихоти...

Я мог бы наблюдать за схваткой с королевского балкона и с безопасного расстояния, но я из-за беспокойной своей природы люблю находиться поближе к центру событий, в первых рядах зрителей. Да, тут есть шанс получить обломком копьё по лбу, и время от времени кому-нибудь из зрителей прилетает такой «подарок», но, согласитесь, в этом есть некая справедливость. В конце концов, почему зрители должны находиться в большей безопасности, нежели бойцы, сражающиеся ей на потеху?

Небо заволочло тучами, начал сыпать мелкий, как пыль, затяжной дождь, но зрителей это не испугало, слишком интересное зрелище предстояло нам увидеть.

Трубы герольдов провыли сигнал к началу поединка.

Всадники, нещадно рая бока благородных скакунов шпорами, рванули с противоположных концов ристалища. Неслись навстречу друг другу тяжело и уверенно, будто два боевых корабля, подбрасываемых волнами. И когда между поединщиками оставалось не более двадцати шагов, Зигфрид совершил поступок сколь безумный, столь и невиданный в истории рыцарских турниров. Он отбросил копьё, отразил удар вражеского оружия так, что оно лишь скользнуло по его щиту. Следующим молниеносным движением нидерландец поднял щит, и заострённый край его ударил соперника прямо в лоб. Данкварт на мгновение завис в воздухе и с глухим стуком рухнул на землю.

Толпа была столь обескуражена невероятным манёвром нидерландца, что взорвалась оглушительными криками и аплодисментами лишь после продолжительного молчания.

Вопреки всеобщим ожиданиям, Данкварт сумел встать и, шатаясь, вытащил меч, показывая, что готов продолжать поединок. Мокрые от дождя доспехи его были изгвазданы землёй и травой. Двигался он медленно, будто плыл против течения. Нет, вот чего у Данкварта не отнять, так это мужества и жажды битвы. Как бы ни складывалась схватка, он всегда оставался бойцом, этот глупый отважный Данкварт.

Зигфрид, видя, что соперник его снова готов к бою, спешился, оценил состояние противника и внезапно

направился в мою сторону. Он встал прямо передо мной и гулким из-за шлема голосом произнёс:

– Ты как-то предлагал мне свой меч. Я не принял его. Теперь он мне понадобится.

Я мгновение поразмышлял и ответил:

– Добрейший Зигфрид, я слишком уважаю Данкварта, чтобы позволить тебе победить его деревянным оружием.

Зигфрид на мгновение замер от моей дерзости, а потом расхохотался. Его смех звучал задорно даже сквозь шлем.

– Ты прав, шут. Данкварт никудышный боец, но он смелый воин и не заслуживает, чтобы его отделали дубовым мечом.

Зигфрид уложил Хагенова брата тремя взмахами Бальмунга. Я был уверен, что после таких ударов шлем Данкварта не возьмётся починить даже самый искусный кузнец. Как выяснилось впоследствии, никто и не взялся. Впрочем, сам Данкварт выжил, поэтому будем считать, что несчастный кусок железа сослужил свою службу и принял гибель, как верный вассал.

Я отыскал на трибуне Хагена, протиснулся поближе.

– Твой сводный братец не потянул против нидерландца, – сказал я.

– Ты заметил, как ни был плох Данкварт к началу пешего поединка, ему удалось прорубить доспех на правом плече Зигфрида?

– Весьма похоже на то.

– Меч Данкварта точно достал плечо нидерландца, и после такого ранения он никак не мог орудовать правой рукой.

– Но он ей орудовал и, как я заметил, весьма неплохо. Голова Данкварта моталась под ударами, будто цветок колокольчика под ветром.

– Именно. Простой смертный так не смог бы.

Я лишь пожал плечами в ответ.

– Помнишь, ты недавно спросил меня, человек ли я.

– Было дело, дядька.

– Сейчас было бы правильнее задаться вопросом, человек ли Зигфрид.

– Говорят, он когда-то искупался в крови дракона, после чего ороговел и стал неуязвимым для любого оружия. Не-

которые теперь зовут его Роговым Зигфридом. А некоторые даже Стальным. Стальной Зигфрид – как звучит!

Я наклонился к уху Хагена и спросил:

– Что, дядька, думаешь, он и вправду неуязвим?

Хаген кинул на меня короткий взгляд, и в нём сверкнула искра ярости такой силы, что я невольно осмотрел себя, не тлеет ли на мне одежда.

«Да ведь ты боишься его, непобедимый воин, – подумал я, пряча глаза, чтобы тот не разгадал моих мыслей. – И не навидишь больше любого из смертных».

Хаген сжал кулаки так, что хрустнули суставы. Взгляд его снова был глух, тяжёл и непроницаем.

– О чём ты говорил с Зигфридом? – спросил Хаген, глядя, как впавшего в беспамятство Данкварта уносят с ристалища.

– Он попросил мой деревянный меч. Представляешь, хотел поколотить им твоего братца.

Морщины на лбу владельца Тронье стали резче и глубже.

– И что же ты? – спросил он ровным голосом.

– Я ответил ему, что Данкварт – уж ты, дядька, не обижайся – дурак, каких поискать, но я не хочу, чтобы его победили оружием шута.

– Думаешь, Зигфрид смог бы уложить его деревянным мечом?

– Обижает. Лучший дуб и лучший плотник Бургундии чего-нибудь да стоят! Но ты, дядька, сильно не расстраивайся. Я так скажу, что пасть от Зигфридова Бальмунга тоже весьма почётно.

Хаген от ярости медленно закрыл и снова открыл глаза.

– Тебе бы, дядька, в балагане выступать, – тихо заметил я, отодвигаясь на почтительное расстояние. – У тебя выразительное лицо и несомненный талант к лицедейству.

Опять моё любимое мелкое хамство. Впрочем, Хагену было явно не до меня – он наблюдал, как рука лежащего на носилках королевского конюшего бессильно волочится по мокрой траве.

– И, дядька, ты же видел этот удар щитом, что нанёс Зигфрид? Этот божественный, невероятный удар! Думаю, ни до, ни после, ни Бургундия, ни какая иная земля не видела и уже не увидит ничего подобного. Такие удары под силу только богам и героям.

Последние слова я произнёс уже в спину Хагена, покидающего трибуны.

Данкварт через месяц снова появился при дворе. И знаете, никто даже не пытался насмехаться над ним после того поражения. Вормс, похоже, окончательно понял, со сколь великой и непреодолимой силой он столкнулся в лице Зигфрида.

Нидерландца, куда бы он ни отправился, неизменно сопровождали восхищённые взгляды. И восторгались им равно и люди благородного сословия, и простолюдины. И всех их можно понять, не каждому удаётся увидеть при жизни настоящего героя.

Что же до Кримхильды, то ей к тому времени всё ещё не довелось ни поговорить с нидерландцем, ни даже встретиться с ним лицом к лицу.

Размышления человека, сидящего в яме

* * *

Зигфрид – герой и большой ребёнок. И настоящий герой он именно потому, что, даже повзрослев, остался ребёнком и солипсистом. Он рубится с драконом с той же чистой отвагой, с какой дитя крушит палкой крапиву.

Он не подвержен сомнениям и рефлексии, он весь здесь и сейчас.

Герой, в сверхчеловеческом смысле, в чистом изводе этого слова, абсолютно бесстрашен, убеждён в своём всемогуществе и, как ребёнок, уверен, что мир вращается вокруг него и существует только для него одного. Настоящий герой – всегда солипсист.

* * *

В герое нет ненависти к себе. В обычных людях она так или иначе присутствует. А вот герою и солипсисту совершенно не за что ненавидеть себя или кого бы то ни было.

* * *

Советская вера во всемогущество человека, вера в человека-героя очень сродни детскому солипсизму. «Учение Мар-

кса всесильно, потому что оно верно». Граждане СССР, кто больше, кто меньше, верили в коммунизм и свою избранность. Однако годы шли, социализм не излечил нас от зла, коммунизм не стал ближе, и в людях зародились сомнения. «Если я, человек всесильный и всемогущий, несмотря на ясно поставленную цель, за семьдесят лет советской власти не излечился от зла, не смог построить коммунизм, не отринул пороки, тянущиеся с первобытных животных времён, значит, что-то со мной не так и, возможно, я недостойн коммунизма? Может, я неизлечимо больное злое существо?»

Принять зло в себе, признать его вечной и неуничтожимой частью земного человеческого бытия – недостойно всемогущего строителя коммунизма. А значит, не остаётся ничего иного, кроме как почувствовать себя слабаком, непригодным для осуществления коммунистической идеи, или, хуже того, её предателем, и что тогда? Какой выход? Возненавидеть себя? И все несчастья, которые с нами случились в дальнейшем, по крайней мере с теми, кто верил в коммунизм и светлое будущее, стоит рассматривать как самонаказание за преданную мечту?

* * *

Построение коммунизма – стало нашим мессианством. Мы поверили в исключительность своей миссии. Освободить человечество от зла, от власти животных инстинктов, от стремления доминировать и унижать, направить людей к всеобщему равенству и братству... Можно ли придумать цель выше и ослепительней? Это был наш путь героя. И неважно, потерпели мы на нём поражение или добровольно предали его, – падать с таких высот очень больно, настолько больно, что чревато полным перерождением и самоуничтожением.

* * *

Мы оказались слабы в коленках для построения рая на земле – коммунизма, не простили этого друг другу и принялись мстить самим себе. Жестоко, безумно, в криминальных войнах, голодных, этнических, войнах ни за что и просто так.

Мы не потянули роль спасителей мира и призвали на свои головы все мыслимые кары. Повторюсь, чем выше вознёсся, пусть даже всего лишь в мечтах, тем больше падать. Многие не выживают.

* * *

Верил ли я в коммунизм в детстве? Не знаю. Но в то, что надо быть честным, хорошо учиться, уважать старших, не врать, не воровать, верил. По крайней мере, в сознании у меня эти заповеди присутствовали, и, если я их нарушал, а я их время от времени нарушал, какая-то часть меня обязательно испытывала стыд.

* * *

Коммунизм часто использовал кнут, чтобы люди спасали свои души, капитализм пользуется пряником, чтобы люди их губили.

Или, если перефразировать, коммунизм использовал кнут, чтобы отогнать человека от грязи, капитализм применяет тысячу соблазнов, заманивая человека в грязь.

* * *

Почему мифологические герои часто влюбляются в женщин, которых никогда не видели? вспомните, сколько героев легенд и сказок отправились в дальние страны, поскольку прослышали о красоте некоей девы. (Если буквально следовать сюжету «Песни о нибелунгах», то Зигфрид тоже явился в Вормс, прослышав о красоте Кримхильды и желая увидеть её воочию, но в силу буйной и жадной до битв натуры не решился сразу высказать истинную причину своего явления и предпочёл бросить вызов Гунтеру и всем бургундам сразу).

А дело тут, похоже, опять же в солипсизме истинного героя. Настоящий герой всегда один на всём свете. Влюбляясь в некую далёкую прекрасную деву, герой влюбляется в своё представление о ней, своё воображение, то есть, по сути, в себя. И такой вариант, учитывая солипсизм, героя вполне устраивает. Единственная женщина, которой он

достойн служить, а служить настоящим героем не может никому, может быть только порождением его фантазии. А потом, после получения руки и сердца красавицы, ему вроде как не годится бросать её, он всё же герой, а не подлец, и он на ней женится. Но женится, как мы понимаем, на своей фантазии.

Гунтер, к слову, не будучи героем, пытается вести себя как герой. Поэтому и отправляется вместе с Зигфридом в Исландию, исполненный эфемерной любви к Брюнхильде (она то, кстати, как раз герой). В связи с этим Бургундия получает множество проблем, а мы – прекрасную и трагическую историю.

* * *

Герой всегда одинок. У него могут быть помощники, спутники, но он всегда один и сам по себе. Поэтому многие сказки о героях и подвигах оканчиваются свадьбой. Покончив с одиночеством, герой покидает героическую стезю и становится обывателем, одним из многих... Так выглядит смерть героя.

Два брака, две истории

Большинством своих самых постыдных приключений я обязан пьянству.

Где я только не просыпался за свою жизнь! В дровяных сараях, под столами в кабаках и пиршественных залах, в яслях (будто Христос-младенец), в закопчённых котлах (будто обитатель преисподней), в пахучих стружках плотницких мастерских, на свежевскопаных грядках, в золе кузнечных горнов, на груди мечей в оружейной... Когда в Вормсе свирепствовала чума, мне довелось проснуться в леднике, куда складывали тела умерших, перед тем как отвезти на кладбище. Видно, похоронная команда, не сильно желая разбираться, сочла меня мёртвым и отнесла к мнимым братьям по несчастью. Я просыпался на крышах, балконах, в чистом поле, в городском рву, на подъёмном мосту, в мясном складе среди потрошёных туш, в погребе, на кладбище (о, много раз!),

на берегу Рейна (тоже неоднократно), в постелях деревенских вдовушек и скучающих дворянок, в стогах сена, на грядках с брюквой, пшеничных полях, камнях булыжной мостовой (это особенно неприятно, потом всё тело ломит от холода и неровностей камня) и ещё десятках мест, которых моя память оказалась не в силах сохранить.

Я ни разу не просыпался в гробу. Это я помню точно, поскольку такое не забудешь. Нет, могильщики рассказывали мне о случаях, когда им волею судьбы приходилось вскрывать могилы и они обнаруживали покойников, лежащих в гробах вниз лицом под сплошь исцарапанными крышками, но сам я, к счастью, в подобных ситуациях не оказывался. Если рассудить здраво, то даже такое злобное существо, как я, не пожелало бы даже своему врагу очутиться в столь скорбном положении.

Когда я открыл глаза и не увидел ровным счётом ничего, кроме густой, как смола, темноты, меня это не сильно смутило. Но стоило мне протянуть руку вверх и нащупать всего в нескольких дюймах над собой доски, признаюсь, сердце моё дало сбой, каких ещё никогда себе не позволяло. Тело мгновенно стало ледяным и невещественным, будто выдох на морозе.

Я уже готов был дико, по-волчьи закричать от ужаса, когда послышались шаги, со стуком распахнулась дверь, жёлто-багряный свет факелов ворвался в узкое пространство, где я лежал, и до меня дошло, что я оказался под самой обычной кроватью. Тут бы мне расхохотаться и вылезти на свет, но до меня донёсся голос Гунтера, и он меня остановил. Несмотря на то, что вино ещё бродило в моей голове, сквозь его мутное марево передо мной во всей полноте и ясности встала мысль, что меня занесло в королевскую опочивальню. А среди ног, что заполонили комнату, я, приподняв свисающий до земли подзор, разглядел платье Брюнхильды. «Она задушит меня, стоит мне открыться, – подумал я, вспоминая синеющую руку Гунтера. – Эта бестия не в том настроении, чтобы восторгаться глупыми шутками».

Я закрыл глаза. Занесла же нелёгкая... От страха даже опьянение прошло. Голова вмиг стала стеклянно чистой.

Впрочем, подзор надёжно укрывал меня, и вряд ли кто, даже опустившись на колени, смог бы разглядеть меня в

моём убежище. Если случайно обнаружат, прикинусь мертвецки пьяным, решил я. Благо трудности в этом нет ни малейшей. Разить от меня должно было, как из погреба с прокисшим вином.

Вскоре слуги покинули опочивальню и супруги остались вдвоём. Любопытный, как кошка, позабыв о страхе, я принялся наблюдать.

Свадебное платье Брюнхильды, белое с красной оторочкой, тяжело легло на пол. Поверх мягко пали браслеты, ожерелье из огромных рубинов, диадема и массивные серьги. Белые ноги с тонкими щиколотками двинулись к кровати и исчезли.

По другую сторону кровати упала на пол одежда короля. Я слышал шумное жадное дыхание Гунтера, от Брюнхильды же не доносилось ни звука.

– Мне погасить свет, любимая? – услышал я срывающийся от страсти голос.

Итак, царица, дело за тобою.
Люби супруга истинного...*

– беззвучно обратился я к королеве, молитвенно складывая руки на груди и делая постно-монашеское лицо.

Я кривляюсь даже когда меня никто не видит.

– Не спешите, король, – ответила спокойно и холодно Брюнхильда. – Ответьте прежде на один вопрос. Только, прошу, честно. Мы тут одни, вам нечего бояться лишних ушей. Почему вы отдали сестру за холопа?

– Зигфрид не холоп... – снова попытался возразить Гунтер.

– Холоп! – оборвала его резким выкриком Брюнхильда. – Он признался в этом дважды. Так в чём причина вашей не любви к собственной сестре, раз вы с такой готовностью выдали её замуж за вассала?

– Но Зигфрид король...

– Я уже слышала эту ложь и не намерена выслушивать её снова.

– Поверь, я никогда не отдал бы её за человека, уступающего мне в происхождении...

* Еврипид. «Елена», перевод Иннокентия Анненского.

Гунтер сделал шаг к кровати, но Брюнхильда, похоже, остановила его жестом, и король замер.

– Я спрошу третий и последний раз, как посмели вы, король Бургундии, выдать особу королевской крови замуж за собственного холопа?

– Уверю, я никогда бы... – подался к ней Гунтер.

– Достаточно. Я больше не желаю вас слушать. Правды вы говорить не хотите, а внимать лжи я считаю унижением для себя и для вас.

Кровать скрипнула, похоже, Брюнхильда устраивалась для сна. Растерянный, не погасив светильника, улёгся и Гунтер. Опасливо, осторожно, будто воришка.

Всё затихло, но вскоре послышались лёгкие поскрипывания, кто-то перемещался по обширному ложу.

– Достопочтенный витязь, – послышался голос Брюнхильды, – уберите руки. Я не стану вашей до тех пор, пока не услышу правды. Если вы не доверяете мне, я в дальнейшем не позволю вам дотронуться даже до края моей рубашки.

– Я твой муж, женщина! – холодность Брюнхильды начала выводить короля из себя.

– Пусть так считает ваша дружина и ваши вассалы, но в спальне я буду решать, кто возложит руку на моё лоно.

– Так погоди же! – воскликнул Гунтер, и кровать закрипела визгливо и резко, будто на ней шла ожесточённая борьба.

Сражение, впрочем, длилось недолго. Вскоре звуки борьбы затихли – дева-воительница скрутила бургундского короля. Я слышал шумное и беспомощное дыхание Гунтера и будто наяву видел его красное, со вздувшимися на лбу венами, лицо, вдавленное в перину.

Бедная, бедная Бургундия...

– Раз вы не желаете оставить меня в покое, проведёте ночь на крюке, будто мясная туша, – послышался азартный, разгорячённый схваткой голос Брюнхильды.

Белые ноги с тонкими щиколотками ступили на пол и направились к противоположной стене. Я бесшумно переместился к краю кровати и приподнял подзор.

Ослепительно прекрасное тело Брюнхильды обожгло мне глаза. Широкие бёдра, тонкий стан, маленькая краси-

вая грудь с розовыми ягодами сосков и тёмными окружающими, белая кожа, оттенённая чёрными волосами... На руках она, словно младенца, несла Гунтера, и он плакал, как ребёнок. Руки его были притянуты к ногам поясом Брюнхильды, расшитым золотой нитью и александритами. Легко, будто этот воин, заваливавший голыми руками быка, весил не более снопа, она пристроила его на торчащий из стены крюк. Затем развернулась, и я, хоть это и было опаснее, чем гладить гадюку, не смог опустить подзора и смотрел на неё во все глаза. Она не заметила меня, иначе эту повесть попросту некому было бы рассказать.

Если Кримхильда божественно прекрасна в одежде, стоящая в сиянии белого дня, то Брюнхильда поражала красотой при свете факелов, будучи раздетой.

Гунтер застонал, видя, как вождельная женщина отворачивается и уходит от него. Слезы, в которых смешались боль унижения и неудовлетворённая страсть, текли по его большому доброму лицу.

Брюнхильда погасила факелы и улеглась на кровать прямо надо мной. Я протянул руку, тронул гладкое дерево досок, словно надеясь дотянуться сквозь них до желанного, светящегося чёрным и белым тела. Близость мучила, бессилие выводило из себя. Двигаясь тише, чем лунный луч перемещается по полу, я целовал доски, тёрся о них щекой, лбом. Закрыв глаза, воображал, что могу оказаться рядом с этой прекрасной и манящей женщиной...

– Один звук, одно неосторожное движение, и она сломает мне хребет, – повторял я, но воображение было не в силах изгнать образ озарённой светом факелов бледнокожей исландской королевы, изящной, как морская рыба, и столь же холодной.

Добавлю, что не только близость Брюнхильды мучала меня, но и чувство, что, предаваясь бесстыдным фантазиям об исландке, я изменяю Кримхильде. И стыд тот был острее, нежели шипы терновника или иглы речного окуня.

Не стоит и говорить, мог ли я уснуть, зная, какая женщина лежит прямо надо мной на расстоянии вытянутой руки. Вряд ли уснул и Гунтер. А вот наша мучительница Брюнхильда, похоже, безмятежно спала до самого рассвета.

И Гунтер, надо отдать ему, влюблённому дураку, должное, не посмел ни вздохом, ни скрипом петли, которой был стянут, потревожить её сон.

Я гадал, смогу ли сколь-нибудь достойно описать увиденное, когда в мои руки попадёт перо. Эсхил или Софокл, без сомнения, смогли бы, а вот способен ли я хоть в чём-то уподобиться великим грекам?..

Когда нежные розовые блики легли на стены и потолок королевской опочивальни и петухи поприветствовали рождение нового дня, первый из бургундов осмелился подать голос:

– Моя королева... – позвал он.

Та проснулась не сразу.

– Что вам угодно, мой государь? – сонно спросила она.

Господи, какой у неё мягкий и волнительный голос сонья! Я едва не заскрипел зубами от вожделения.

– Прошу, снимите меня с этого позорного крюка. Уже рассвет, и скоро сюда придут слуги. Что они подумают обо мне и нашем браке, если застанут меня в таком положении?

– Они подумают, что вы не король, а я не королева.

– Верно, моя госпожа. Так позвольте мне встретить их так, как и подобает королю – в супружеской постели.

– Я согласна, – ответила Брюнхильда после небольшого раздумья. – Но прежде дайте мне обещание, что впредь не дотронетесь до меня в постели даже случайно.

Принять такое условие было нелёгким решением для самолюбия и достоинства Гунтера, но, скрепя сердце, голосом, полным самого неподдельного отчаяния, несчастный король произнёс:

– Клянусь.

Не вынесла обиды Гера – ложе
Парисовой утехи обратила
Она в ничто...*

– прошептал я.

Брюнхильда встала. Не в силах совладать с собой, я снова приподнял край подзора, и белоснежное тело опять обожгло мои глаза. Брюнхильда сняла своего печального мужа

и повелителя с крюка, уложила на кровать, распустила узлы на ремне. Гунтер застонал, разминая затёкшие члены, и в голосе его слышалась не только боль, но и отзвук перебродившей в едкий уксус любовной страсти.

Брюнхильда улеглась на противоположной стороне кровати, и, насколько можно было судить из моего убежища, Гунтер не сделал и попытки приблизиться к ней.

Если я правильно расценил увиденные утром раны на ребре его левой ладони, вскоре он разгрыз кожу и замарал брачную простыню кровью, чтобы избежать кривотолков, на которые равно горазды и слуги, и придворные.

К слову, мне до крайности стыдно за дворян, которые повторяют слухи, разносимые дворцовой челядью. Будто подъедают то, что не доели все эти горничные и псары. Наверное, то брезгливо бунтует моя королевская кровь.

В нашем случае слухов не было. Кровавая простыня с королевского ложа выглядела достаточно убедительно и, как и следовало ожидать, всех убедила.

К слову сказать, вылезши из-под кровати, я лишний раз убедился, что королевские слуги ленивы и нерадивы: пыли на меня налипло столько, что её впору было принять за шерсть, а меня – за исполинскую серую мышь. Можно, конечно, было попенять Гунтеру на нерадивость прислуги, но зачем? Закончится эта история, начнётся следующая. Возможно, опять придётся прятаться под кроватью. Хорошо ли будет, если меня обнаружат излишне старательные слуги?

Видя, как закручиваются события, несколько дней подряд я старался не отходить от Гунтера. Один раз мне снова удалось провести ночь под королевской кроватью, но ничего интересного я из этого не извлёк. Гунтер спал в одной постели с супругой, однако, насколько можно было судить из-под кровати, старался держаться от неё подальше, благо размер ложа это позволял.

Гунтер, хоть и должен был представлять перед придворными со счастливой улыбкой на устах, как и подобает счастливому новобрачному, ходил тёмный, будто пропитавшийся торфяной водой, весь погружённый в себя. Не заметить этого мог разве что слепой. Влюблённый – тот же слепой, но однажды и Зигфрид прозрел и обратился к Гунтеру:

* *Еврипид. «Елена», перевод Иннокентия Анненского.*

– Король, прости, я все эти дни так оглушён своим счастьем, что даже не спросил, как прошла твоя брачная ночь? Как ты чувствуешь себя в браке с прекрасной Брюнхильдой?

Дело было во время одного из тех бесконечных пиров, которые последовали за свадьбами.

– Благодарю тебя, шурин. Всё хорошо.

Новоиспечённые родственники сидели плечом к плечу, как равные, жёны располагались по сторонам от них, поэтому, если не повышать голос, бургунд и нибелунг могли говорить, не опасаясь, что супруги услышат их разговор.

– Гунтер, не стоит лгать родственникам. Ты сам не свой. Это вижу я, хуже того, это видят вассалы. Что с тобой? Могу я чем-то помочь? Не забывай, я, как и прежде, в неоплатном долгу перед тобой. Кримхильда дала мне счастье, за которое я ввек не смогу расплатиться.

Гунтер невесело усмехнулся. Опустошил кубок, смял его, будто тот был из воска, аккуратно положил рядом с собой.

– Друг Зигфрид, сдаётся мне, в своё время я недооценил мудрость твоего предостережения. Исландка настолько же необузданна, насколько прекрасна.

Я сидел на корточках за их спинами вместе с собаками и молился, чтобы короли меня не заметили.

– Я всего один раз прикоснулся к своей жене, – продолжал Гунтер. – И в наказание провёл ночь подвешенным на крюке, словно мешок или баранья туша.

Зигфрид не сдержал себя и расхохотался во весь голос.

– Шурин, как же она красива, – сказал несчастный Гунтер, дождавшись, когда нидерландец отсмеётся. – Я знал многих женщин, но она... Ей нет и не будет равных.

Казалось, он сейчас расплатится.

– Раздетая она так прекрасна! Я не смогу описать, Зигфрид, никто не сможет описать её красу. От её красоты хочется умереть. Разрезать грудь и подарить ей сердце...

Я кинул взгляд на Брюнхильду. Нет, одетая она не была и близко столь обворожительна, как обнажённая.

Зигфрид, легкомысленная душа, дитя-волк, хлопнул в ладоши.

– Так что же мешает вашему счастью?

– Она! Она отказывает мне в супружеских ласках. Победи её, Зигфрид, – вдруг горячо заговорил Гунтер, наклонясь к нибелунгу. – Одолей. Докажи ей, что я сильнее её, как уже доказал однажды.

– Гунтер, прекрати, я не могу больше смеяться. Я готов помогать тебе на ристалище, но не на супружеском ложе, – с улыбкой ответил Зигфрид.

– Зигфрид, не оставь меня без помощи, друг. Это не женщина, это демоница. Невообразимо прекрасная и столь же невероятно сильная. Мне не одолеть её. Помогите, прошу.

– Ничего не понимаю. Как помочь? Ты в своём уме? Я никогда не изменю своей жене.

– Не надо изменять, – умолял Гунтер. – Просто сломи сопротивление Брюнхильды. Одолей, победи её. Заставь признать моё верховенство и немедленно уйди.

– Гунтер, – я почувствовал в голосе Зигфрида закипающий гнев, – ты помнишь, как я отговаривал тебя от этого брака?

– Помню. Всё помню. Но теперь она моя жена, и я хочу стать её мужем.

Короли молчали.

– Зигфрид...

– Ты подумал, что скажет Брюнхильда, когда в спальню вместо тебя войду я?

– Пусть всё случится в полной темноте. Когда погаснет последний светильник, ты выйдешь из укрытия и заменишь меня.

– Гунтер, мне кажется, мы хотим исправить одну ошибку, совершив другую.

Король бургундов отвернулся, руки его бессильно упали.

– Тогда я не знаю, что мне делать...

Зигфрид взял лежащую на столе чашу, смятую Гунтером, принялся расправлять её, металл пошёл трещинами, стали отваливаться целые куски. Тогда, разозлившись, Зигфрид, с лёгкостью, будто в руках его был ком снега, а не золото, смял её и произнёс:

– Хорошо, я помогу тебе.

Надежда влила в Гунтера новые силы, даже голос его изменился:

– Просто распластай её на ложе, обездвигь и спроси, признаёт ли она себя побеждённой.

– Это всё?

– Нет. Есть ещё просьба. Зигфрид, прошу, не лишай её девства. Если не сможешь победить, убей, но не лишай девства. Заклинаю тебя нашей дружбой и жизнью моей сестры.

Когда нибелунг уяснил, что от него требуется, к нему снова вернулось весёлое расположение духа.

– Пока со мной рядом Кримхильда, неужели ты думаешь, что я смогу польститься на кого-то ещё?

Зигфрид потрепал по холке попавшуюся под руку Бюру, сунул ей в пасть жареного перепела.

Гунтер облегчённо вздохнул.

Я тихо отошёл от царственных особ и перевёл дух. Столько всего узнал и остался незамеченным. Ну не чудо ли? Иногда мне кажется, что я и впрямь могу становиться невидимым.

Чудные дела творятся в твоём доме, Бургундия. Один король просит другого завоевать для него жену, а потом умоляет помочь ему стать мужем этой жены. Видано ли где ещё такое?

Следующий день, как и предыдущие, прошёл в пирах и турнирах. Но теперь Гунтер был весел, много смеялся, без счёта раздавал золото и роскошные одежды бойцам-победителям, а также шпильманам, угодившим ему своей игрой и песнями. Бойцы и музыканты, почувствовав возросшую щедрость владыки, рублились так, что треск копий и лязг мечей слились в затаенной грохот, подобный звуку камнепада в горах. А музыканты... Ах, знали бы вы, как они старались! Какие чувства пробуждали в дамах и витязях их песни! Слёзы текли по щекам женщин, будто капли в дождь. Витязи прятали глаза, боясь, чтобы их не заподозрили в излишней чувствительности. Казалось, даже собаки и те, не дыша, слушают шпильманов.

В общем, атмосфера во дворце установилась самая чувственная и располагающая к любви. Я, зная о том, что произойдёт сегодня в королевской спальне, загодя проник туда и в третий раз спрятался под мощным и обширным ложем.

В этом дворце, где меня знают все и я знаю всех, я могу проникнуть куда угодно и когда угодно. Во-первых, мне, как

королевскому шуту, открыты все пути. А туда, куда они закрыты, я умею попадать с помощью природной ловкости и умения становиться незаметным. Почти как Зигфрид со своей шапкой-невидимкой, если, конечно, принимать всерьёз рассказы Хагена. Я шут, меня замечают только тогда, когда я этого хочу, всё остальное время я скучное домашнее животное, недостойное сколь-нибудь внимательного взгляда.

Брюнхильда весь день выглядела холодной и равнодушной. Дочь Исландии напоминала айсберг. Я видел его однажды – большой, как собор в Вормсе, и белый, будто зубки младенца. Может, я не очень внимательно наблюдал, но, помоему, за весь день королева не сказала Гунтеру и трёх слов. И даже его внезапная весёлость не удивила и не насторожила её. Возможно, она решила, что король окончательно смирился со своей участью и радуется жизни, какой бы она ни была.

Под кроватью я заснул, и разбудил меня скрип открывающейся двери и шорох шагов. Спросонья я снова не сразу понял, кто это, но потом вспомнил подслушанный разговор – то Зигфрид! И тут меня осенило: сейчас нидерландец начнёт искать место, где спрятаться! А где в спальне самое надёжное укрытие? Там, где уже находился я! Холодный пот выступил у меня на лбу, ладони взмокли.

Убил бы он меня, если б обнаружил? Ни малейшего сомнения. Но, по счастью, королевская гордость удержала его от того, чтобы лечь на пол и затаиться, словно мышь, в пыли под кроватью. Он встал за портьеру. Это укрытие менее надёжно, но зато никакого ущерба для гордости.

– Интересно, что сейчас думает Кримхильда, – подумал я, чуть успокоившись. – Мечется, поди, бедняжка, мужа ищет. Где он? Почему бросил её? Любит она его, ах, как же она его любит! Меня так никогда и никто не любил. Правда, и я тоже никогда и никого не любил. Разве что Кримхильду, да Мартина – «иерихонскую трубу». Но в этих чувствах я даже себе признаюсь с трудом. Что я за холодное и равнодушное создание? Почему не способен любить? За что мироздание наградило меня столь чёрствой душой? Временами я напоминаю себе ходячего мертвеца.

В отличие от меня, замершего, будто деревянный святой в соборе, Зигфрид за портьерой шевелился, шуршал. Я не сразу

понял, что он раздевается, явиться на супружеское ложе надо было обнажённым. Покончив с одеждой, нидерландец всё равно не затих, часто вздыхал, посмеивался, скорее всего над Гунтером, несколько раз принимался вполголоса петь охотничьи песни, но быстро себя обрывал. Прошёл ещё час, прежде чем в опочивальню в сопровождении слуг явились Гунтер и Брюнхильда. Гунтер старался производить как можно больше шума, шутил, громогласно раздавал указания, верно, боялся, чтобы никто не услышал случайный шорох Зигфрида. Но тот, вопреки его опасениям, сидел тихо, хотя за это трудно ручаться, учитывая, сколько шума производил король Бургундии.

Наконец слуги покинули королевские покои, одежды упали на пол, факелы погасли. Брюнхильда улеглась, слышался шорох отодвигаемой портьеры, на ложе вместо Гунтера взошёл Зигфрид, и на короткое время в спальне воцарилась тишина, напоминающая короткие мгновения безмолвия перед боем.

Но вот раздался скрип и темноту всколыхнул низкий сочный голос Брюнхильды:

– Государь, я вижу, жизнь вас ничему не учит, и вы снова намерены измять мою сорочку?

Зигфрид, чтобы не выдать себя, отвечать не стал.

Лёжа под кроватью, сложно описывать то, что происходит на ней.

Если возню Гунтера и Брюнхильды я называл схваткой, то новому единоборству гораздо более подошло бы слово «битва». Скрытые беспросветным мраком, герои скоро покинули ложе и принялись метаться по спальне. Слышались глухие удары, мебель, отлетая, билась о стены, трещала и рушилась. В какое-то мгновение я почувствовал, что кровать сдвинулась в сторону и я лежу, укрытый одною лишь темнотой. Не теряя ни мгновения, я снова спрятался под кровать, а битва титанов продолжилась. Я слышал хриплое дыхание, выдавленные сквозь сжатые зубы проклятия, утробное рычание, хрип и скрежет зубов. Не зная я, что здесь дерутся два человека, решил бы, что слышу борьбу зверей. Брюнхильда иногда выкрикивала что-то, очевидно проклятия, на исландском. Зигфрид же не произнёс ни слова.

Однажды мне показалось, будто Брюнхильда почти задушила нибелунга, так яростно шипела она и так беспомощно хрипел он, но вскоре ход схватки перевернулся, на кровать рухнула такая тяжесть, что заскрипели ножки, и, донельзя искажённый напряжением, так что никто не признал бы его владельца, голос Зигфрида произнёс:

– Признаёшь ли ты себя побеждённой, Брюнхильда?

Исландка промолчала, но кровать резко скрипнула, раздался исторгнутый женским горлом крик боли и послышалось сдавленное:

– Признаю.

– Обещаешь ли отныне во всём подчиняться мужу?

– Обещаю.

– Клянёшься ли быть верной королю Бургундии Гунтеру до конца времён, а если потребуется, то и дальше?

– Клянусь.

В произнесённом слове чувствовалось самое глубокое отчаяние и самая глухая тоска.

С кровати кто-то еле слышно встал. Короли поменялись на ложе.

– Брюнхильда, теперь, когда я победил тебя, – произнёс Гунтер, дрожащим от страсти голосом, – клянусь, что не встречал девы прекраснее, и обещаю хранить верность тебе до конца времён, а если потребуешь, то и дальше.

Потом послышались звуки любви, жаркие, ненасытные, под которые сначала Зигфрид, а чуть позже и я выскользнули из королевских покоев.

Предания говорят, что с потерей девства могучие девы-воительницы лишаются своей силы. Может, предания правы, а может, признание себя побеждённой сломало и смирило дух гордой королевы, но только с тех пор я ни разу не слышал, чтобы она перечила мужу.

Вот тут бы самое время и объявить о счастливой развязке нашей истории. Сколько жизней спасла бы такая концовка, сколько судеб не было бы искалечено!

Но историю не остановить. Случайное скрещение нитей судеб спустя месяцы обернётся узлом, а через годы сетью, в которые будут уловлены целые страны и народы.

Тут история заставляет меня забежать немного вперёд, иначе многое для читателя останется непонятным. Такого в нашем повествовании ещё не было, но всё когда-нибудь случается в первый раз.

...Это была глухая ночь. Королева Кримхильда сидела передо мной с потемневшим лицом, в траурной одежде, и слова, что она говорила, были черны, как мир в глазах слепца.

– Незадолго перед тем, как наши войска выступили в тот странный поход против датчан и саксов, ко мне пришёл Хаген, – сказала она. – Он был тих, учтив, почти робок...

«Это что-то новое, – подумал я. – Хаген-то! Робок! Впрочем, помня о его таланте лицедея...»

– Хаген принялся говорить о своей беззаветной преданности Зигфриду и превратностях битв. Говорил, что многие великие войны погибли от нелепых ран, которых могли бы избежать. Припомнил осаду греками Трои, Ахиллеса и его смертельное ранение в пяту. Что я могла сказать ему? Я без памяти любила мужа и страшилась войны. Хаген поклялся, что будет защищать моего супруга, как не защищал бы даже родного брата. Зигфриду нет равных ни среди воинов прошлого, ни среди тех, кто будет ходить по земле в будущем, так говорил он мне. И больше всего на свете, Кримхильда, я хотел бы снова стоять рядом с ним и, если мне будет позволено, стать хоть немного полезным ему. Скажи, есть ли у него слабое место? Есть ли на теле его уязвимые точки, куда может поразить его случайное копьё или стрела? Если таковое имеется, он клялся положить жизнь, но прикрыть его.

Когда я представила, что моего милого Зигфрида может настичь гибель, суставы мои ослабели, глаза закрылись, задышала я часто-часто.

– И вы... – начал я.

– И я ответила ему, что, когда мой муж, непобедимый Зигфрид, купался в крови дракона, на спину ему, меж лопаток упал случайный листок липы и оградил то место от действия крови чудовища. Да, Зигфрид стал «роговым», «стальным», но место меж лопаток осталось уязвимым.

– Хаген, – добавила я, – не держи на меня зла за неразумные слова, что бросила я твоей королеве. Мне и так досталось за них. Нет, Зигфрид не тронул меня и пальцем, он

слишком любит меня, но, узнав о произошедшей ссоре и оскорблении, нанесённом мною Брюнхильде, посмотрел так, что взгляд его был хуже любой пытки и любых побоев.

– Я не держу на вас зла, – заверил меня Хаген. – Я знаю вас с колыбели, как я могу желать несчастья вам или вашему супругу?

– Хаген пообещал, – продолжала королева, – что щитом, кольчугой, собственной плотью, наконец, станет защищать уязвимую спину Зигфрида. Я обрадовалась. Телохранителя более могучего, чем хозяин Тронье, не было ещё ни у одного короля в мире.

– И вы...

– Я хотела защитить моего мужа и пообещала тонкой шёлковой нитью нашить крестик на том месте, которое Хагену надлежит прикрывать не щадя жизни.

– Он пообещал?

– Он поклялся своим счастьем...

– И вы...

– Я нашла крестик из двух стежков на том месте, куда некогда упал листок липы.

Королева закрыла глаза и замолчала.

– Это я! Я виновна в гибели моего супруга! – прошептала она.

Я отвернулся. Меня переполнял бессильный и оттого особенно жгучий, гнев.

– Зачем ты это сделала, Кримхильда? – забыв о приличиях, принялся я бросать упрёки. – У тебя было слишком много счастья? Пресытившись, ты решила узнать, каково на вкус горе? Надеюсь, теперь ты сполна испила его?

Кримхильда закрылась рукавом и произнесла:

– Ещё немного, и я прикажу изрубить тебя, чтобы твою плоть склевали куры, – пообещала она.

Вот так всё было...

Но это случилось позже, а пока страна готовилась к быстрой и победоносной войне под руководством непобедимого «стального» Зигфрида.

В назначенный день дружина под предводительством нидерландца покинула Вормс. По традиции воинство провожал весь город. Жители наперёд были уверены в победе,

и потому проводы вышли на редкость весёлыми, хмельными, почти праздничными. Девушки пели воинам хвалебные песни, а дети кидали им под ноги цветы.

Хаген ехал позади Зигфрида и пристально вглядывался ему в спину. Сейчас я понимаю, что он там высматривал. Тогда же не придавал этому особого значения. Хотя то, что Хаген смотрит кому-то в спину, меня удивило. Не такой он человек, чтобы плестись за кем бы то ни было.

Дружина не удалилась от Вормса и на три мейле, как навстречу им попались гонцы с известием, что Людегер и Людегаст передумали воевать с бургундами, отводят войска и клянутся не ходить войной на наши земли во веки веков.

Зигфрид и Гизельхер так возмутились, что едва не зарубили гонцов. Оба были молоды, кипели силой и жаждали битвы. Хаген и другие воины с трудом сумели их успокоить. Это далось нелегко. Судите сами, легко ли привести к покою двух львов, почуявших запах крови?

Но, как бы то ни было, благоразумие возобладало, гонцы сохранили головы, а земле не пришлось впитывать потоки крови и принимать терзания от лопат могильщиков.

Войско, не обнажив мечей и не нанеся ни единого удара копьём, вернулось с победой в Вормс.

Колокола снова подняли оглушительный трезвон, улицы наводнились людьми, горячо приветствовавшими возвращение Зигфрида и воинов. Гунтер, не покидавший столицу, с распростёртыми объятиями встретил победителей.

Видя, что Зигфрид зол, как раненый вепрь, из-за уведённой у него из-под носа забавы, Гунтер предложил:

– Шурин, а не будет ли вам угодно завтра же отправиться на охоту в Вогезский лес? Там мы отведём душу, выслеживая медведей и вепрей, а заодно и отпразднуем блистательную победу, что одержали вы над датчанами и саксами.

– Какая победа? О чём вы? – негодовал нидерландец. – Мы не только не видели врагов, мы не видели даже пыли, поднятой копытами их коней! И стоит такая победа не дороже той самой пыли.

– Не стоит огорчаться, доблестный Зигфрид, – сказал Хаген. – Древние говорили, что самая ценная победа та, ради которой не пролито ни капли крови.

– К дьяволу такие победы, – отозвался Зигфрид, хотя по всему было видно, что слова Хагена польстили ему.

Злая складка на губах Зигфрида разгладилась.

– Хорошо! – воскликнул он. – Если уж не война, так пусть будет охота! И будь я проклят, – добавил нидерландец с жаром, – если не набыю дичи больше любого, кто захочет потягаться со мной!

Довольные короли ударили по рукам и отправились во дворец.

Тут, да простят меня читатели, мне снова придётся забежать вперёд, иначе слишком многое останется непонятым.

Изнанку истории этой нелепой войны поведал мне Хаген, когда мы сидели с ним на осклизлой соломе в тесной, воняющей землёй и гнилью темнице. На руках и ногах владельца Тронье висели пудовые цепи. На мне кандалов не было. Я в этом смысле был чуть свободнее, если это слово вообще может быть употреблено по отношению к человеку, запертому в каземате.

С потолка капало. Я старался дышать ртом. Пусть моё детство и прошло среди навозных куч и выгребных ям, но десятилетия, проведённые во дворце, приучили меня к совсем иным запахам.

– Подумать только, мы затеяли целую войну, и всё ради чего? – оказавшись в кандалах, Хаген утратил молчаливость и замкнутость.

Мрачная оболочка опала с него, будто чешуйки с молодого распускающегося листа. Он снова стал тем открытым общительным человеком, которого я знал в детстве. Словно сбросил доспехи, но не внешние, а те, в которые был облачён глубоко внутри.

– ...Целая война ради двух стежков на полукафтанье! Как тебе такое понравится? Но ведь как ловко я всё обставил! Никто ни о чём не догадался. А знали, что происходит на самом деле, лишь я да Гунтер. Скажу, что мне не сразу удалось его уломать на эту авантюру. Но ты же знаешь, если всерьёз захотеть убедить Гунтера в том, что небо чёрное, а солнце зелёное, то рано или поздно он поверит. Кримхильда, как и весь Вормс, тоже поверила в неминуемость грядущей войны и перепугалась за мужа. А уломать напуганную

женщину сможет и немой. Немного скорбных взглядов, немного сострадательных жестов, и вот уже она обещает пометить одежду Зигфрида условным знаком. Я разглядел крест, когда мы ещё не выехали за городские ворота, и всё остальное время просто ждал, когда навстречу нам попадутся «гонцы» – мои люди, которые вырядились в саксонскую и датскую одежду. Они сделали своё дело, сообщили о мнимом отступлении Людегера и Людегаста.

Хаген засмеялся, вспоминая.

– Зигфрид и Гизельхер едва не зарубили их прямо там от досады. Парням крупно повезло, что избежали смерти. Уж больно эти два белобрысых чудовища хотели битвы.

– Значит, вся заваруха была затеяна ради шёлкового крестика? – спросил я.

– Только из-за него! Что ж, иногда приходится затевать ещё и не такие действия ради куда менее значительного результата.

– Ты не боялся, что Зигфрида весть о мнимом отступлении Людегаста и Людегера лишь разъярит и он ринется в Саксонию и Данию, сметая и сжигая всё на своём пути?

– Боялся? Речь шла о том, чтобы сохранить Бургундию и защитить честь королевы. Выбирать не приходилось.

– Ради этого? Ты уверен? А что если ты пошёл на это единственно ради того, чтобы избавиться от Зигфрида и остаться первым мечом Бургундии? Пусть даже для этого пришлось бы пожертвовать всей Бургундией целиком.

– Кто знает?.. Может, и так. Себя мы любим обманывать не меньше, чем других.

Хаген говорил спокойно, почти весело.

– Помнишь, когда я упал в торфяную яму? Я провёл там всего несколько мгновений. Но иногда мне кажется, что я до сих пор сижу в ней. Не знаю, когда я успел, но там, в яме, я поклялся, что больше никогда не окажусь в столь бессильном положении. Поклялся всем святым, что, если выберусь, стану самым сильным человеком в мире и никому не позволю решать свою судьбу.

– И когда ты не принял вызов Зигфрида, то возненавидел весь Worms и всю Бургундию, потому что они стали свидетелями твоего бессилия? Так?

– Думай что хочешь. Мне уже всё равно.

Я, скривившись, отвернулся к чёрной, будто закопчённой, стене. Хаген верно понял мой жест.

– Что ж, можешь плюнуть в меня, я всё равно не смогу дотянуться, чтобы отомстить. Смелее.

Я не стал отказывать себе в этом маленьком удовольствии и плюнул ему на босую ногу. Хаген прислушался к ощущениям.

– Слюна тёплая, – сообщил он. – В здешнем холоде это даже приятно.

– Наслаждайся, – буркнул я.

Я смотрел на него в тусклом свете факела и видел странное противоречие в его словах. Закованный в цепи, бессильный, ожидающий скорой и неминуемой смерти, он выглядел теперь очень спокойным, жизнерадостным и свободным. Похоже, тюремщики освободили его от такого груза, перед которым все остальные горести казались не тяжелее липового листа...

Но вернёмся к нашему повествованию.

Излишне говорить, что я отправился на охоту вместе с Зигфридом, Хагеном и королями. Удержать меня в Worms можно было бы только посадив на цепь, как пса.

Сборы оказались недолгими. Двор начал готовиться к празднованию победы одновременно с приготовлениями к войне. И вин, и яств запасли в избытке. Теперь осталось лишь доставить их в Vogesский лес.

Зигфрид очень обрадовался такой готовности. Он любил, чтобы всё происходило внезапно, без подготовки, такой ход событий неизменно приводил его порывистую и деятельную натуру в восторг.

Мы живём в сытое унылое время. Люди разучились восторгаться. Зигфрид один из немногих, в ком сохранилось это качество, и именно поэтому я его обожал.

В Vogesский лес въехали рано утром, когда на траве и иглах сосен ещё висели тяжёлые, будто самородная ртуть, капли росы. Лес наводняла тишина – тягучая, тревожная, напоённая кровью тихих убийств.

Пахло дымом. Затяжная жара высушила землю, пробудив дремавшие в земных недрах торфяные пожары.

Я лежал в кибитке на мешках с солониной и сушёной рыбой. Запахи соли и дыма, соединяясь, навевали кошмары.

«Все мы здесь пропитаны торфом... Хозяева ли мы тому торфу, что нас пропитал?.. И если не мы, то кто его хозяин?.. И кого нам винить в том, что загорается торф?..»

Мысли и видения роились в моей голове. Мне снилось, я путешествую по подземным дворцам, всё в которых, стены, потолки, кровати, гобелены на стенах, всё сделано из пламени. Я гулял по залам и палатам, окрашенным в красное и чёрное, и огонь не причинял мне вреда. Лежал на кроватях, закутавшись в пламя, будто в одеяло, пил из пылающих кубков, ел с горящих блюд. Бродил по улицам, где дома были сложены из раскалённых докрасна, исходящих сухим жаром камней. Из окон, дверей, труб домов вырывались огненные лохмы. Я видел соборы, целиком состоящие из торфа и пламени. Пылали алтари, сквозь витражи лился багровый мерцающий свет, с потолка осыпались огненные хлопья, и некто, изваянный из огня, взирал на меня из царских врат...

Я проснулся, когда конюх выдернул из-под меня мешок с солониной, и я со стуком приложился головой о деревянный настил кибитки. Способ пробуждения, может, и не самый приятный, но конюх избавил меня от такого жуткого сна, что я поневоле был ему благодарен и не произнёс ни единого бранного слова. К слову сказать, сон так сильно подействовал на меня, что я ещё долго ходил сам не свой, молчал и вспоминал образы из сновидения. Было в этом сне что-то леденящее, обещающее большие беды. Несмотря на огненную его природу, оттуда несло нездешним холодом, от которого я мёрз изнутри.

Не люблю охоту и в иное время ни за что не поехал бы с королями. Охотник из меня, как из петли подарок, но поездка, я чувал это, как пёс чует раненого зверя, обещала самые интересные и непредсказуемые события. В поведении Гунтера и Хагена я замечал в последнее время некое тайное напряжение, точно они ждут чего-то, Гунтер со страхом, Хаген с торжеством.

Братья-короли снабдили Зигфрида целой сворой собак, егерей и тропознатцев. Не прошло и получаса после начала

охоты, как егеря стали возвращаться с добычей и криками оповещали лагерь:

– Этого вепря убил Зигфрид Нидерландский, известный всем также под именем нибелунга... Этого оленя поразил копьём Зигфрид Нидерландский... Этого льва... Эту косулю... Этого подсвинка... Нибелунг... Нибелунг... Нибелунг...

Зигфрид в одиночку набил больше зверья, чем все остальные дворяне вместе взятые. Хотя, по правде сказать, дворянство в основной своей массе сразу после прибытия улеглось на мягкие ковры, намереваясь отдать дань восточным винам и сравнить их с бургундскими. В том, что касается выпивки, с бургундами мало кто может сравниться. Уже к полудню, когда настало время созывать охотников на обед, многие из них лежали исключительно потому, что стояли с трудом. Я развлекал себя тем, что ходил по коврам, то и дело наступая кому на ногу, кому на брюхо, а кому и на не в меру жирную для воина задницу. Увернуться от тех, кто пытался меня при этом схватить, большого труда не составляло, так потешно нелепы наши витязи, когда крепко подопьют. Настоящих воинов я старался не задевать, да их тут, впрочем, было совсем немного. Кто охотился, а кто и вовсе не поехал, отказываясь праздновать победу в войне, которая кончилась, не начавшись.

Скучно было донельзя. Я пинал и щипал наших добрых бургундов, те лениво бранились. Не было запала даже для хорошей перебранки.

– Что развалились? – подначивал я их. – Овечьи курдюки вы или соколы нашего доброго короля Гунтера? Опять один Зигфрид должен отдуваться за вас? Если уж из вас такие никудышные охотники, побежали бы тогда вместо псов, загонять нибелунгу добычу! Хотя и гончие из вас тоже наверняка так себе. Вот ты, к примеру, – я ткнул носком кожаного пулена захудалого дворянчика из низовьев Рейна, – ну-ка, полай! Да не бойся, я не укушу. Ну-ка, голос!

Дворянчик оказался не промах, молча кинул мне, будто собаке, кусок окорока.

– И голос подать не умеешь... – разочарованно развёл я руками. – Эхе-хе, даже в гончие Зигфриду не годишься.

Поддел кончиком пулена кусок окорока и отправил обратно.

– Хоть бы спели! Ну?

У моей милашки
Вот такие ляжки!
Вот такая задница
У моей красавицы!..

– Чего молчите? Только жрать и горазды!

И всё, наверное, так и прошло бы, невыносимо пьяно и скучно, если б не Зигфрид. Вскоре после того, как Гунтер распорядился протрубить в рог, призывая охотников вернуться в лагерь, наш красавец-нибелунг въехал на своём белом, будто облако, жеребце в центр бивуака и остановился, давая всем возможность рассмотреть свой трофей. А трофеем был, ни много ни мало, целый медведь. Висел, притороченный к седлу, надёжно связанный сыромятными ремнями, и только и мог, что вертеть головой да недовольно порывкивать.

Как выяснилось потом, одна из гончих Зигфрида подняла косолапую в зарослях ежевики и погнала, оповестив об этом округу громким лаем. Зигфрид, услышав её призыв, развернул коня и отправился за нею следом. Вскоре погоня оказалась в непроходимых для всадника дебрях. Нибелунг, не теряя ни мгновения, спешился, оставил коня и продолжил преследование. Он настиг медведя, когда тот подмял под себя гончака и совсем уж было задавил его. Пёс жалобно визжал, предчувствуя гибель, но, как известно, на всякого зверя всегда найдётся зверь пострашнее. Бросив лук и меч, Зигфрид с голыми руками пошёл на медведя. Вы видели когда-нибудь взрослого матёрого медведя? Ваша голова поместится в его красной, дышащей яростью пасти, словно колоб в печи. Одним ударом когтистой, тяжёлой, будто булава, лапы он может оторвать руку бойцу в кольчуге. Когда медведь бежит, он обгоняет лошадь, когда плывёт – лучшего из пловцов, а лазает по деревьям он так, что ни один кот не сравнится с ним. Вот какой он противник, наш бурый обитатель чащоб. Но что такое медведь для того, кто расправился с драконом? Зверь был смят, будто

жухлый лист детской ладонью, и стянут ремнями, подобно тому как колбасник стягивает бечёвками колбасу к празднику урожая. Нибелунг играючи оттащил медведя к коню, нагрузил, приторочив к седлу, и, торжествуя, отправился в лагерь.

Поначалу явление Зигфрида с таким живым трофеем вызвало живейшее ликование. Даже те пьяницы, что были не в силах подняться с земли, кричали и махали руками, приветствуя подвиг белокурой бестии. Но и они подскочили и бросились, куда глаза глядят, когда nibelung распустил ремни на звере и предоставил ему полную свободу действий. Медведь заревел так, что полегли травы, а с сосен посыпались иголки и шишки. Из огненно-красной пасти его, казалось, вырвалось пламя, словно у дракона. Потеха началась самая незабываемая. Несколько дворян сломали руки и ноги, когда падали, пытаясь убежать от бурого чудовища. Пару слуг зверь сильно помял и едва не изорвал в клочья. Полотняные шатры трещали и рушились, сносимые этим слепым комом ярости. Медведь переворачивал телеги с лёгкостью башмачника, копающегося в заготовках для обуви. Влетел на кухню, опрокинул в огонь котлы с супами, подливами и бульонами. Поднялись тучи золы и клубы удушающего, плотного, будто октябрьский туман, дыма, что ещё более увеличило суматоху и хаос.

А чем, вы думаете, был занят в это время Зигфрид? Он стоял и хохотал громче моей «иерихонской трубы»! Его голос перекрывал шум разоряемого лагеря: топот сотен ног, вопли раненых и насмерть перепуганных, рёв медведя, треск ломающихся повозок, шатровых шестов и разрываемой ткани. Я был рядом с nibelungом, хохотал и подзуживал зверя на новые «подвиги». Слёзы текли по моему лицу ручьём, дым ел глаза, а солнце, пробиваясь сквозь клубы, слепило. У меня болел живот, рёбра, челюсти, шея, а я всё никак не мог остановиться.

Даже когда медведь наконец покинул лагерь и всё более-менее успокоилось, я один продолжал хохотать и корчиться от веселья, будто в падучей.

Очнулся я, когда Хаген жёсткой, как медвежья лапа, рукой поднял меня и хорошенько встряхнул. Внутри меня

словно что-то хрустнуло, я наконец замолчал. Вытерев руку о мою куртку, Хаген оставил меня. Я глубоко вздохнул, посмотрел вверх. Дым почти рассеялся, в разрывы сосновых веток било светом синее летнее небо.

«Что так развеселило меня? – подумал я. – Да, за последние минуты тут было немало весёлого и нелепого, но не настолько же, чтобы хохотать не переставая, будто юродивый».

Что-то не так. То ли со мной, то ли вокруг меня.

Противно заныла шея.

Много смеяться – к несчастью, вспомнилась примета. Противно, по-змеиному, заворочались мышцы живота.

А небо сияло меж зелёных ветвей, слепило глаза, расшитое солнечными лучами, будто королевское облачение золотыми нитями. Вот слетели бы сейчас ангелы да и забрали меня на небо под белы рученьки. Как хорошо было бы, подумалось мне...

Лагерь меж тем понемногу привели в порядок. Поставили заново шатры, разложили ковры и покрывала. На кухне снова загорелись костры. Протрезвевшим в суматохе гостям принесли еду и питьё. Лекари, а ни одна охота и ни один турнир не обходятся без присутствия лекарей, перевязали пострадавшим раны и наложили шины.

Загудели голоса трапезничающих. Поднялся Гунтер, поздравил победителей и отдельно Зигфрида. Пир пошёл своим скучным чередом, как вдруг Зигфрид перевернул чашу вверх дном и, обратившись к Гунтеру, сказал:

– Король, моя чаша пуста, а твой виночерпий сказал, что в винных бочках нет больше ни капли влаги.

– Доблестный Зигфрид, виночерпий не солгал, – ответил Хаген. – Вина действительно не осталось ни капли.

– Что за королевство у вас, Гунтер? – немедленно пришёл в раздражение Зигфрид. – Ваши земли перестали питать виноградные лозы? Казна истощилась настолько, что не на что купить вина у торговцев? Могу предложить вам в дар любую сумму, чтобы впредь у вас хватало питья для каждого из гостей...

Зигфрид произносил оскорбление за оскорблением, едва ли думая, что говорят его уста.

Я посмотрел на поднявшегося Хагена, лицо его было жёстче камня и такое же бесстрастное.

– Это моя вина, – сказал он, обратившись сначала к Гунтеру, а затем к Зигфриду.

Голос его скрежетал при этом так, словно мельничный жёрнов, в который засыпали гранитную крошку.

– Это и в самом деле вина Хагена, – подтвердил Гунтер.

Я хорошо знаю, когда мой король врёт, и мне это сильно не понравилось. Даже сильнее, чем мой нездоровый приступ хохота.

Животзанылещё пуще, внутри стало нехорошо-нехорошо.

– Я отчего-то подумал, что мы повезём гостей охотиться в Шпессарт, – продолжал человек из Тронье. – И отправил все запасы вина именно туда. А то, что случайно попало сюда, ещё до обеда успели выпить витязи, не пожелавшие развлечь себя охотой.

– Но вода-то, вода, по крайней мере, у вас должна быть! – вскричал Зигфрид. – Я не вижу здесь даже воды!

Гунтер посмотрел на Хагена.

– К сожалению, вода тоже была отправлена в Шпессарт.

– Лучше бы, Хаген, ты отправил в Шпессарт свою голову, – сказал Зигфрид, смеясь. Он вообще легко переходил от гнева к смеху и обратно. – Да, да! Свою голову. С яблоком во рту.

У него неплохое чувство юмора, у нашего «царственного отморозка». Вот только плохо, когда оно направлено на Хагена, это чувство юмора.

Я посмотрел на первого бойца Бургундии. Черты лица его, вопреки услышанному оскорблению, внезапно смягчились.

– Доблестный Зигфрид! Я происхожу из здешних мест и с удовольствием покажу вам озеро с чистой водой, где вы сможете вдоволь напиться.

Я вспомнил поездку с Хагеном на озеро сюда, в Вогезский лес, и понял, что обязательно отправлюсь с ними. Я встал и бочком-бочком принялся выдвигаться из центра пиршества.

– Озеро! Река! Болото! Хоть оленьё копыто! Всё равно! Я хочу пить! – крикнул Зигфрид и отправился за Хагеном.

– Погодите! – окликнул их Гунтер. – Я пойду с вами. Сдаётся мне, что пить я хочу не меньше вашего.

Я уже говорил, что одно из главных умений всякого, кто обитает при дворе, – становиться при необходимости невидимым и неслышимым. Это я и продемонстрировал самым великолепным образом и тем в очередной спас свою ничёмную жизнь.

Едва воины отошли от лагеря, Хаген отменно учтивым тоном, каким он не пользуется, даже когда обращается к братьям-королям, спросил:

– Зигфрид, я слышал, вы довольно быстро бегаєте?

Нибелунг окинул его весёлым взглядом.

– «Довольно быстро»? Ты сказал «довольно»?

И расхохотался.

– Я бегаю так, что в меня без пользы стрелять из лука. Я обгоню любую стрелу.

– Ну, разве что выпущенную из детского лука. Да и то на излёте.

Хаген умеет произносить речи, состоящие из одного чистого яда.

– Что? – Зигфрид мгновенно закипел. – Хочешь удостовериться?

– Нет, если вы говорите, значит, так оно и есть... – с ледяной вежливостью согласился Хаген.

– Спорить с вассалом – унижать и себя, и вассала, – заявил Зигфрид. – Беги. Всё увидишь сам.

Гунтер, и этому я совершенно не удивился, тоже загорелся идеей посоревноваться с Зигфридом. Он из тех, что думают реже, чем сожалеют.

– Да и я, пожалуй, приму участие в вашем состязании.

«Глупый азартный Гунтер. Всё ещё не оставил надежды хоть в чём-то одолеть нибелунга», – подумал я.

– Если не возражаете, высокородный Зигфрид, я сниму одежду, чтобы мне легче бежалось, – сказал Хаген.

– Что ж, пожалуй, и я свою скину, – присоединился Гунтер.

Ох, не зря Хаген дал понять Зигфриду, что хочет как можно сильнее облегчить себе задачу. Не зря. Вот только зачем? И зайцу ясно, что этот забег ему не выиграть.

– Хорошо, – заявил Зигфрид, тоже входя в азарт. – Тогда я побегу со щитом и копьём, а кроме того, ещё и дам вам фору.

– Но у вас нет при себе ни щита, ни копья, – указал ему Хаген.

– Так сейчас будут.

Зигфрид в мгновение ока метнулся в лагерь, благо мы ушли недалеко, и вернулся обратно с оружием.

На лице Хагена мелькнула усмешка победителя. Вот только в чём он видел свою победу, недоумевал я, следя за происходящим из зарослей багульника.

Запах цветущего багульника резок и ядовит, от него болит голова, случаются видения, а долгое пребывание рядом с ним может вызвать безумие. Даже мёд, что собирают пчёлы с его цветов, может стать отравой.

– Король, я могу отвести Зигфрида не к озеру, а в такие гибельные торфяники, где он сгинет в одной из огненных ям. Посмотрим, каков он против хозяина торфа. Тогда наши руки останутся чисты, – произнёс Хаген.

– Руки останутся чисты...

Гунтер (о, этот слабый Гунтер!) колебался.

– Нет, – промолвил он наконец. – План слишком ненадёжен.

– Я тоже так считаю, – с готовностью согласился Хаген, – и именно поэтому отправил Зигфрида за оружием.

– Ты хочешь...

Гунтер не договорил и со страхом посмотрел на человека из Тронье.

– Верно лишь то, что совершается собственной рукой, – твёрдо сказал Хаген.

Хаген и Гунтер разоблачились и остались в одеянии Адама. Я, хоть и не большой поклонник мужской красоты, невольно залюбовался их телами. Широкие плечи, руки, перевитые канатами мускулов, решётка бугров на животе, бедра мощные, как у лесных вепрей... Господь хорошо постарался, вылепивая эти стати.

– Вы готовы? – спросил вернувшийся Зигфрид.

Лицо его горело молодостью и задором, голос был зычен, как звук рога.

– Да, – хором ответили те.

– Далеко ли до озера?

– Около двадцати минут, если бежать не жалея сил, – ответил Хаген.

– Значит, мне хватит и десяти, – кивнул нидерландец. – Что ж, бегите, да, смотрите, не жалейте себя.

Король и его вассал сорвались с места и, легко ступая по слою палых иголок, устремились в глубь леса.

Зигфрид заулюлюкал им вслед, будто поднятым зайцам, а после улёгся на землю, положив на грудь щит, а сверху копьё. Поза его, особенно когда он закрыл глаза, так напоминала позу покойника, что мне стало жутко, хоть покойников я повидал на своём веку немало. Солнце играло, острие копья светилось, будто злая звезда. Лицо нидерландца стало неподвижным, словно у статуи святого в храме.

Не желая более созерцать эту картину, сначала шагом и на цыпочках, а потом бегом во всю прыть, я отправился за королём и Хагеном.

Я уверен, Зигфрид слышал мои шаги, но что за дело ему было до чьих-то шагов?

Я неплохой бегун – тощ, ловок, руки и ноги мои тонки и легки, словно лоза. Такому телу нетрудно мчаться сквозь чащу. Хаген и Гунтер производили шум, подобно двум лосям, продирающимся сквозь валежник, и держаться за ними особого труда не составляло. Мы бежали уже довольно долго, когда что-то стремительное и почти бесшумное пронеслось слева. Лишь очертания фигуры да наличие щита и копья позволили догадаться, что это Зигфрид обгоняет нас.

– Оружие! – поразила меня внезапная догадка. – Хаген хотел, чтобы нидерландец захватил оружие!

Когда я крадучись приблизился к берегу тёмного озера, где уже стояли участники состязания, Зигфрид, приложив руку к груди, предлагал Гунтеру первым отведать из чаши озера, не желая утолить жажду прежде хозяина пира. Гунтер задыхался, дышал хрипло, словно готовился выплюнуть лёгкие. Взгляд его был мутен и выдавал усталость. Хаген смотрелся немногим лучше. Зигфрид же дышал почти ровно, и лишь капли пота, выступившие на гладком лбу, указывали, что и ему эта гонка стоила кое-каких усилий. Щит

и копьё он поставил возле растущей у самой воды высокой липы с толстым, как храмовая колонна, стволом.

Гунтер рухнул на землю, будто раненый олень, и принялся пить большими глотками.

Как и в прошлый наш визит, в чаше озера снова было безветренно. Может, тут вообще не бывает ветра? Гладь озера выглядела тёмной и непроницаемой и более всего походила на огромную плиту чёрного полированного мрамора.

– Как можно напиться от чёрного камня? – подумал я, глядя на Гунтера.

Наконец, король утолил жажду. Всё ещё шумно дыша и с видимым трудом даже открывая и закрывая глаза, он распрямился, уступая место Зигфриду.

– Хаген, твоя «чистейшая» вода на деле оказалась чистейшим торфом, – бросил нибелунг.

Герой не спеша лёг на место, освобождённое королём, разметав перед тем лежащие на земле сучки.

Онпил жадно, с удовольствием, как делал всё, за что брался.

Но не успел он сделать и трёх глотков, как Хаген крадучись подошёл к липе, где стояло оружие нибелунга, взял копьё и, сопровождаемый исполненным ужаса взглядом Гунтера, со всего размаха вонзил оружие в спину Зигфрида. Точно в то место, где Кримхильда нашла почти невидимый для постороннего глаза крест.

Зигфрид издал изумлённый захлёбывающийся звук. Поднял голову, прислушался к боли. Кровь дракона сыграла с ним злую шутку: он забыл, что такое боль. На краткое мгновение герой застыл, изучая забытое ощущение, медленно поднялся. Ткань полукафтаны на его груди была натянута острием копья, пробившим тело нидерландца насквозь. В недоумении посмотрев на горб, выступивший у него на груди, Зигфрид повернулся к Хагену.

– Стой... – сказал нибелунг, но хозяин Тронье ринулся прочь от него.

Зигфрид подошёл к липе, и только тут осознав, что поражен собственным оружием, схватил в отчаянии щит и побежал вслед за Хагеном. Пусть Хаген и был вымотан предыдущим забегом, мчался он так, как не бегал никогда

в жизни. Но, как ни старался человек из Тронье, он всё равно не мог оторваться от Зигфрида, который преследовал его с пробитой насквозь грудью и тяжеленным копьём в спине.

Я смотрел на нибелунга и в который уж раз думал: «Да человек ли он?..»

Трудно представить себе зрелище более жуткое. Копьё раскачивалось, разрывая плоть, кровь хлестала из спины и груди, нидерландец мчался, словно бы вовсе не замечая этого, и глаза его горели азартом погони и убийства.

Вскоре, однако, оказалось, что Зигфрид не сверхъестественное существо, а человек из плоти. Испытав красным свой путь и потеряв, наверное, две трети всей крови, он стал замедляться, спотыкаться и терять цель из вида. Наконец, поняв, что времени у него более нет, он сорвал с руки щит и метнул его, угодив убийце точно в затылок. Ужасный по своей силе удар швырнул Хагена наземь, и он застыл лицом вверх.

Подбежал на заплетающихся ногах Зигфрид. Замер на мгновение, точно пытаясь напоследок собрать расплывающийся мир, и рухнул на Хагена, не имея иного оружия и целя проступившим из груди остриём в сердце врага. Враг вскрикнул, Зигфрид обнял его и стал сжимать железные объятия, стараясь, чтобы лезвие как можно глубже погрузилось в грудь владельца Тронье.

Так они и лежали, глядя друг другу в глаза и прижимаясь один к другому тесней, чем любовники во время соития.

Как бы странно это ни прозвучало, но не будь Хаген так утомлён бегом в момент своего удара, он, наверное, и не выжил бы. Острие копья, которое он всадил в спину ничего не подозревавшего Зигфрида, недостаточно далеко вышло из груди героя и не смогло убить человека из Тронье.

Так слабость Хагена сохранила ему жизнь, но запустила цепь событий куда более страшных и трагических.

Глаза нибелунга закатились, голова упала. Хаген тяжело скинул с себя тело, поднялся. Обнажённый, с обильно кровоточащей раной у сердца, он напоминал бы Христа, не будь я уверен, что Христос первый плюнул бы в его отверстую грудь. Возможно, я очень плохо думаю о Христе или, что вернее, слишком сужу о нём по себе.

Когда прибежал Гунтер, всё было кончено. Зигфрид уже не дышал. Над залитым с ног до головы кровью телом героя стоял столь же окровавленный Хаген, и в этом кровавом одеянии они, надо сказать, не сильно отличались друг от друга. Хаген, выплёвывая из раны багряные капли, произнёс:

– Вы свободны, король. Вашему трону и Бургундии больше ничего не угрожает.

Гунтер после этих слов упал на землю, приник к холодеющей руке нибелунга и закричал:

– Ты убил единственного моего друга!..

«Как я тебя понимаю», – прошептал я холодными губами.

– Нидерландец был буен и непредсказуем. Он мог разрушить королевство, – возразил, закрывая рану рукой и пытаясь унять кровь, Хаген.

– Зигфрид был мне другом! Он готов был ради меня на всё... Ради меня он ходил под смерть.

– Я тоже ходил под смертью ради вас.

– Если бы ты ходил туда, где бывал он, то не стоял бы здесь. Делать то, что делал Зигфрид, мог только Зигфрид. Ты убил того, без кого не было бы сейчас ни моей семьи, ни Бургундии!

– Он был опасен, король. И я не боюсь его крови.

С тем Хаген погрузил ладони в обильно текущую из ран кровь нибелунга и принялся обмазывать ею себя.

«Зачем тебе кровь Зигфрида? – шептал я, глядя на это действо. – Ведь он не дракон! Это ты – дракон!»

Когда в лагерь вошёл чёрный от запёкшейся крови Хаген с мёртвым телом на руках, все вокруг застыли, будто от взгляда Медузы Горгоны.

Человек из Тронье положил героя на землю. Мне казалось, в каждом изгибе тела Зигфрида читались беспомощность и детская обида на то, как несправедливо и подло с ним обошлись.

– Свершилось огромное несчастье! Зигфрида убили лесные разбойники! – прокричал хриплым, похожим на треск ломающегося дерева голосом Хаген.

– ...Лесные разбойники!.. – отозвался эхом Гунтер.

– Мы скорбим, и сердца наши рвутся от горя.

Дворяне, трезвые, пьяные, едва стоящие на ногах, – все они в молчании подошли к телу убитого. Многие из них ещё совсем недавно падали под ударами его меча или вылетали из седел, встретившись с копьём нидерландца, но скорбь каждого из них была глубокой и неподдельной. Над лагерем нависла тишина, стал различим каждый шорох.

Так, наверное, и будет во время конца света. Сначала наступит большая и невыносимая тишь. Некоторое время все будут молчать, а потом раздастся непрекращающийся, многоголосый вопль:

– Господи, уничтожь нас! Ибо мы невыносимы сами себе!

И снова наступит великая вселенская тишина. Только уже без нас.

Словно вторя моим мыслям, молчание нарушил вой десятков гончих, от которого загудел вековой лес. Вслед за собаками завывли и заплакали бургунды. Плакали горько, с рычанием и оскаленными зубами. И пусть я понимал, что по большей части из их глаз текут не слёзы, а выпитое вино, вместе с тем я знал, что Зигфрида в Бургундии полюбили так, как не любили никого и никогда. За силу, победы, детскую жажду жизни, за то, что «царственный отморозок» не знал и не признавал никаких правил и жил так, как мечтал бы жить каждый.

Гунтер плакал горше всех. Хаген же не проронил и слезы. Лицо и душа его были спокойны, как гладь тёмного озера

– Что за бабьи страдания я вижу? – обратился он к бургундам. – Да, мы потеряли великого воина, но с нами Бургундия и три короля! Только их нам никто не сможет заменить, а воинов, подобных Зигфриду, женщины родят нам ещё.

Тело нибелунга уложили на устланный свежими сосновыми ветками щит и на копьях понесли в Вормс.

В мельтешении сборов я успел заметить, как Хаген нацепил на пояс меч Зигфрида – Бальмунг.

«Тебе мало жизни Зигфрида, ты хочешь ещё и его славу?» – подумал я, глядя, как человек из Тронье извлекает оружие из ножен и любуется его статями.

Глухой ночью, преодолевая ветер, который рвал на нас одежды, будто кликуша на похоронах собственные волосы, наша скорбная процессия приблизилась к Вормсу.

– Кто? – окликнул часовой в надвратной башне.

– Я! Ваш король Гунтер! – крикнул государь бургундов.

В бойницах башни зажглись огни, заскрипели могучие шестерни, и подъёмный мост, поднятый, как и положено, в тёмное время суток, медленно опустился перед нами, открывая вход в город.

Наши шаги зловеще и глухо отдавались в каменных лабиринтах улиц, скрежетали подковы коней по булыжнику мостовых, визжали тележные оси, ревел и выл, будто сотня ведьм, ветер.

У входа во дворец Хаген отослал остальных охотников.

– Дальше мы с королём понесём Зигфрида сами. А вам я запрещаю говорить кому-либо о его смерти до рассвета. Если же я узнаю, что кто-то открыл рот ранее назначенного срока, то своими руками раздавлю ему горло, и слова о нидерландце будут последними, что он произнесёт.

Хаген не из тех, с кем спорят, а сам Хаген спорит даже с королями.

Король и первый воин на собственных плечах отнесли тело нибелунга к двери Кримхильдиных покоев и оставили там лежащим на сосновых пахучих ветвях. После этого Гунтер и Хаген покинули тело, а я оставался возле мёртвого Зигфрида до самого рассвета. Смотрел на лицо героя, и расчёсывал пальцами слипшиеся от крови волосы, и пел ему колыбельные песни.

Скажи мне, мой мальчик, что грустен твой взгляд?

Что ж бледные веки от горя дрожат?

Дитя, ты блуждаешь в отравленных травах,

Рождённый во зле, в мире, полном обмана...

Я не знал, человек он или нет, но он был столь жаден до жизни, что рядом с ним и я поневоле загорался этой жаждой. Каждый шаг его, каждый взмах руки и каждое слово изобличали в нём бескорыстную и неуёмную волю к счастью. Он радовался удару меча, доброму вину, чистому лесному воздуху, синему небу, текучим водам Рейна... Да, он без счёта перебил людей, но лишь потому, что видел в битве высшее проявление любви. Бой был его молитвой. Каждый удар меча возносил осанну, каждая летящая в цель стрела

пела псалмы. Убивая и побеждая, он славил жизнь. Каждым выигранным противоборством всё выше и выше поднимал её знамя, каждым победным кличем провозглашал её святое торжество.

Размышления человека, сидящего в яме

* * *

Смерть героя – главная тема литературы.

* * *

В биографии Зигфрида и Сталина есть интересные параллели. Один явился в Бургундию, другой на политическую сцену России, чтобы разрушить государство в том виде, в каком оно существовало на тот момент. Зигфрид желал сместить потомков Данкрата и сделать Бургундию своим достоянием, Сталин хотел сменить в стране политический строй. И тот и другой в итоге стали работать на благо этих стран: Зигфрид своими воинскими талантами спас Бургундию от нашествия датчан и саксов, Сталин спас страну в Великой Отечественной войне. Вскоре после смерти и того и другого спасённые ими государства рухнули. При этом бургунды сами убили Зигфрида. Сталина физически никто не убивал, но после смерти попытались покрыть его имя грязью, убить память о нём.

Вот что я имел в виду, когда вынес в эпиграф фразу «в основании каждого рухнувшего государства лежит могила героя».

Конечно, не только в этом, но и в этом тоже можно увидеть корень самоубийственных бросков бургундов к гуннам и народов СССР в дикую свободу девяностых – подознательную вину перед убитым героем. За десятилетия у нас возник коллективный скрытый комплекс вины перед Сталиным и перед идеей коммунизма в целом. От этого комплекса народ попытался избавиться, ввергнув себя в самоубийственный хаос «перестройки» и девяностых. Годы предательства накопили в обществе негативный ресурс вины, который не замедлил реализоваться.

* * *

Мы, русские, очень сильная нация, и победить нас можем только мы сами. Наверное, поэтому среди нас то и дело встречаются предатели, а история наша часто совершает самоубийственные кульбиты. Видимо, природа так устроила, чтобы мы не завоевали весь мир.

* * *

Предать – большая наука. Нужно отказаться от столь многого. Наука космического масштаба и космической же мудрости. Необходимо столько всего себе объяснить, в столь многом убедить себя. Почему ты плюнул на могилы предков и предпочёл мелкую избушку своего «я» огромной стране своего народа, почему бросился в объятия чужаков, которым ты, будем честны, совсем не нужен и интересен только до поры до времени.

Предательство... Какое поле для раздумий. Начни объезжать это поле и не объедешь.

Тема предательства на Руси неисчерпаема, как впрочем, любая тема на Руси.

Ненависть к себе, к собственным несовершенствам, ненависть к несовершенствам государства здесь оборачиваются предательством так часто, как, наверное, нигде.

Русское предательство... Тема злободневная, живая, живучая и болочая. Ей посвящать тома, собрания сочинений, библиотеки, полные книг о том, как русский предаёт русских.

Всякая сила, а народа сильнее русских не найти, несёт в себе зерно своей гибели, и с этим остаётся только смириться.

Непобедимых нет. Но обилие предателей среди нас лишь подтверждает нашу силу.

Владимир СЕДОВ

МИЛОВКА

По легенде, передававшейся в каждой семье из поколения в поколение, деревня получила поэтическое название «Миловка» от первых переселенцев с Севера, которые осели здесь более десяти веков назад.

В те стародавние времена эти холмы, еще свободные от пахоты, сплошь были покрыты душистым клевером и полянами алой луговой клубники.

Вокруг холмов струилась серебряным пояском быстрая и юркая речушка. Была она настолько вертлява и непредсказуема, что получила пусть и странное, но абсолютно меткое название Пьяна.

Брала она свое начало неизвестно где, подпитывалась из многочисленных ручейков и речушек, впадала в Суру, а затем в великую и могучую Волгу. Из Волги в неё заходили на нерест и стерлядь, и осетры, а бывало, что и огромная белуга наводила своим «рёвом» ужас на всю округу.

И такой простор расстилался вокруг, такая красота, что древние люди не смогли пройти мимо этих мест.

Остановились.

От восхищения воскликнули: «Мило, как же здесь, други, мило!»

И назвали свою будущую деревню Миловкой.

Возникновение нового поселения на пустом месте всегда дело удивительное, загадочное.

Почему именно здесь?

Кто и зачем остановил людей?

Надолго ли эти первые шалаши и землянки?

Что будет потом?

Будет здесь село или город?

Или все это сгинет бесследно?

Первым поселенцам это было неизвестно. Оставалось только обживаться и верить в правильность своего выбора.

Основатели-первопроходцы к природной красоте этих мест добавили красоту своего крестьянского труда – поля, засеянные рожью и репой.

Странствующий монах из Греции привез в Миловку новое растение гречиху. Так у селян появились гречневая каша и гречишный мёд.

Во времена Петра I появилась картошка. Она оттеснила гречу и стала самым любимым продуктом у селян.

Поселенцы разбили вокруг деревни огромные фруктовые сады с привитыми от южных сортов яблонями и вишнями. Завели пчелиные пасеки. Посреди деревни в овраге построили плотины и в образовавшихся прудах развели темно-бордовых карасей. Караси так прижились, что в иные года пруды «кипели» рыбой.

Когда число дворов в деревне перевалило за пятьдесят, Миловка была жалована императрицей Екатериной II князю Хованскому, участнику южных военных походов.

С приездом князя деревня Миловка быстро разрослась до двухсот дворов. Была построена церковь, и деревня стала называться селом.

Шло время.

Рядом с Миловкой, на самом красивом месте, возвели Хованские свою усадьбу из камня.

Чтобы жить успешно в непростом российском климате, когда надо постоянно готовить себя к жаркому лету, сылкой осени, морозной зиме и весенней распутице, князь, вместе со своими людьми, начал заводить промыслы. С этой целью были выписаны из Германии несколько семей, которые на родине занимались изготовлением ткацких и гончарных станков и ветряных мельниц. Поселили их недалеко от Миловки. Немцы постепенно прижились. Так появилась немецкая слобода Брюкс.

В самой Миловке семьи были большие: от семи до пятнадцати человек. Промыслы и умения передавались от поколения к поколению.

Наиболее шустрых и догадливых Хованские поставили на торговлю.

По осени, после Яблочного Спаса, из года в год, на краю Миловки стала собираться огромная ярмарка. На нее съезжались крестьяне со всей губернии.

А производили в Миловке с божьей помощью, княжеской заботой и трудовой смекалкой крестьян всё, что было необходимо для жизни в те времена.

На всю зиму грибы, помидору и капусту солили в бочках, а огурцы – в вычищенных гигантских тыквах.

В огромных количествах варили варенье, сушили грибы, ягоды, фрукты и овощи.

На особом положении был крыжовник. Выращивали его более двадцати сортов. Крыжовник был и зеленый, и желтый, и красный, и бордовый, и темный до черноты, и белый, как молоко. И маленький, как горох, и большой, с крупную сливу.

Из особого сорта зелёного толстокожего крыжовника делали «царское» варенье. Кислые, как щавель, ягоды собирали чуть-чуть недозрелыми, разрезали пополам, вынимали мякоть и зерна, отжимали их и получали сок, а вычищенные дольки складывали в большой чан и варили их в этом соку почти сутки. Затем, в последние минуты варки, добавляли в почти готовое варево гречишный мёд. Варенье становилось прозрачным, золотистого цвета.

Поставлялось это варенье в Санкт-Петербург к царскому двору, поэтому оно и называлось «царским». Туда же на Рождество везли и сушеную по особому рецепту миловскую вишню. Была она высушена таким образом, что мякоть под присушенной кожицей внутри ягоды оставалась мясистой, сочной и сладкой, как у только что сорванной с дерева.

В водоёмах вокруг Миловки и в вертлявой, но многоводной реке Пьяне водилось очень много рыбы. Её добывали и готовили в разных видах: на ольховых веточках коптили сомов, стерлядь, осетров и судаков. Щук, ершей

и окуней сушили. Лещей и голавлей солили. Солили тоже своим особенным способом. Лещей величиной с локоть разрезали пополам, вычищали, просаливали и укладывали в бочки под сильнейшим гнетом, и так держали до первых морозов. С первыми морозами гнет снимали, рыбу вынимали и успешно ею торговали.

Луговины в Миловке и вокруг неё были богаты травами, и все дворы, включая и княжеский, держали огромные стаи гусей. Их было так много, что эти табуны были как бело-серые облака среди зеленого разнотравья. Все перины у господ в губернии были из гусяного миловского пера. А в Рождество жирным гусем, нафаршированным антоновкой или гречневой кашей, томленным полдня в русской печи, лакомились в каждой миловской избе.

По осени любители охоты добывали медведя.

Из медвежатины делали знаменитую миловскую буженину, закоптить которую правильно было полдела, её ещё надо было сохранить до следующей осени. А хранили её в капустном рассоле вместе с мочёными яблоками. И только тогда таяла она во рту под рябиновую наливочку, как медовый пряник.

Из медвежьих шкур шили для дворян богатые воротники и шапки. Медведей было так много в лесах, что их даже ловили живьём и дрессировали, а затем водили по российским ярмаркам, где эти страшные лесные звери под липовую дудочку плясали на потеху публике.

Раз в несколько лет происходило нашествие лис. И тогда появлялись роскошные лисьи воротники. А когда не было лис, было полно зайца, и поэтому в ход шел заячий мех.

Помимо двух-трех коров при каждом дворе было с десятков овец и пяток коз. Шерсти было вдоволь. Долгими зимними вечерами в каждом доме пряли тонкую овечью и козью пряжу.

Из пряжи вязали платки, кофты, безрукавки, носки, варежки, и для себя, и на продажу.

Ткали много шерстяного сукна.

Из овечьих шкур шили теплые тулупы.

Для тех, кто породовитей и побогаче, шкуры выбеливали, добавляли благородные меха на воротники и отвороты. Для женщин обшивали рукава и подола узорами из красной нитки.

Среди кучеров спросом пользовались синие долгополые армяки из миловского сукна с красными кушаками.

Почти в каждой избе валяли валенки.

Мужские – поплотнее и с двойной подошвой, детям и женщинам помягче, из белой шерсти, а для выхода на праздники – с рисунками в виде сердечек или зверюшек.

Не меньше ценились и миловские мастера, которые плели водостойкие лапти из липового лыка. Это была очень удобная, легкая обувь, в ней ноги всегда были сухими, не уставали и чувствовали себя как у Христа за пазухой.

Из сыромятной кожи умельцы изготавливали пастушьи, везде узнаваемые, миловские кнуты.

В хлысты вплетали конский волос, обязательно выстриженный из хвоста, а не из гривы. От этого миловские кнуты приобретали свой особенный резкий хлопок при ударе.

От других они ещё отличались дубовыми резными кнутовищами, которые вымачивали в постном масле, и после обжига кнутовище становилось тёмно-жёлтого, медового цвета и очень уютно лежало в ладони.

Почти каждая семья имела свой промысел.

Из конопляной пакли вили верёвки.

Из лыкового мочала плели чудо-короба, дивные ягодные туюски.

На ткацких станках, сделанных соседями, слободскими немцами, ткали половики и покрывала.

В многочисленных оврагах вокруг села нашли нужную глину.

На гончарных кругах начали делать великолепную посуду: чашки, кружки, тарелки. Расписывали их так, что слава о миловской посуде гуляла по всей России.

Несмотря на разнообразие промыслов и большие хозяйства, кругом была чистота, порядок и не было ни увечий, ни болезней.

Если кто и болел, то всегда в Миловке были свои знахари. Они и роды принимали, и лечили от всех болезней травами, настоями, заговорами и примочками. Сращивали кости и вправляли суставы, избавляли от лишая, сводили бородавки, выводили камни, а простуду или немощ изгоняли с помощью русской бани и берёзового веника.

Молодёжь умела не только хорошо работать, но и весело отдыхать.

На Престольные праздники миловские красавицы приходили в необычайно-сказочных нарядах. Шили они всё сами, используя местный лебяжий пух и самодельные тонкие ажурные кружева, а также атлас, бархат и бисер, привезённые с южных ярмарок. В нарядах преобладали алые и голубые цвета на белоснежно-белом фоне. В них они водили хороводы, пели песни звонкими чистыми голосами.

Вечерами по будням парни и девки ходили по деревне вдоль порядков, зацепившись под руки, и пели частушки настолько заковыристые и интересные, что, слушая их, можно было узнать о всех новостях и догадаться о личной жизни любого односельчанина. После таких прогулок все собирались в укромном месте, где устраивали посиделки. Там уже девушки пели на разные голоса старинные песни, как правило о любви. Придумывали всякие игры и забавы: прятки, жмурки, считалки, догонялки. Парни устраивали соревнования в силе и ловкости.

На Яблочный Спас устраивали странную старинную забаву. Суть её была в перекидывании двухпудовой гири через избу, в которой жил сам участник этой игры. Не все могли это сделать, но всем хотелось поучаствовать в этой игре. Тому, кто успешно перекидывал гирю, князя Хованские дарили золотой.

Гирю кидали одной или двумя руками из-под широко расставленных ног. Раскачиваясь всем телом, участник забавы резко выпрямлялся и подкидывал двухпудовку вверх по дуге, чтоб перелетела через дом. Если она летела не по дуге, а уходила в свечку, то падая вниз, пробивала крышу, потолок и пол и приземлялась в подполе. Если сил не хватало кинуть гирю правильно, то она ударялась в стену

избы, как вражеский снаряд, вызывая дружный смех зрителей. Тогда переходили к следующему дому и начиналось всё заново.

Люди в Миловке были пытливые, сноровистые и умелые. Каждый пытался что-то сотворить. В селе ездили и самодельные велосипеды, и самодвижущиеся сани, стояли ветряные и водяные мельницы.

Были большими виртуозами игры на балалайках и на деревянных ложках. Когда появились гармошки, то играли на них так, что ноги сами пускались в пляс.

На деньги князя и сельской общины трудом миловских крестьян была построена каменная церковь невероятной красоты, с чистейшим колокольным звоном и иконами византийских иконописцев.

В каждой крестьянской избе висели в красном углу православные иконы.

В княжеской усадьбе, помимо икон и итальянских картин, красовались прекрасные мирские полотна, написанные миловскими художниками-самоучками. А искусные резные деревянные часы, изготовленные местными умельцами, время отсчитывали не хуже бронзовых голландских.

Так испокон веков жили – не тужили и неплохо поживали «рукастые» миловчане.

Жили общиной.

Соблюдали посты.

Боялись Бога.

Любили Царя – батюшку.

Верой и правдой служили своему Отечеству.

РЫБАЛКА

Пропели ранние петухи в деревне Миловка. Настойчивыми «кукареку», то громкими, то чуть слышными, с дальних порядков, они будили деревню.

С востока стало бледнеть звёздное небо. Почувствовав это, ночные химеры заметались по углам и закоулкам, но поняв, что день наступает, нехотя поползли в свои тёмные, глухие овраги.

Где-то заскрипели ворота.

Истосковавшаяся за ночь по воле скотина, толкаясь, заспешила с дворов на зовущую свежей прохладой улицу. Замычала корова, заблеяли овцы, замекали козы. Следом гавкнула собака, звякнула колодезная цепь, заурчал трактор.

Но ни петухи, ни первые утренние звуки в проснувшихся домах не потревожили сон Глеба, только резкий хлопок под самыми окнами избы нарушил сладкое детское сновидение.

Сквозь улетающий сон Глебу вдруг стало понятно, что этот хлопок – удар кнута. Значит, пастух уже выгонял стадо из деревни на луговину, и Глебу пора было вставать. Его ждала рыбалка.

Он ещё летал во снах, где-то там в другом мире, другом измерении, и вставать не хотелось, но рыбалка манила сильнее.

Глебу шел двенадцатый год, и в нем начинал определяться характер. Характер охотника и добытчика. И он, стряхнув с себя сон, прыгнул с кровати.

Самого солнца еще не было, но его лучи из-за пригорка уже всю скользя по сонной природе. Ночь быстро таяла.

Стадо прошло, и вновь воцарилась первозданная тишина.

Глеб накинул дедов пиджак и, подхватив во дворе две ореховые удочки, двинулся по первому свету на рыбалку.

Когда он пришёл, пруд ещё дремал в туманно-молочной дымке. Глеб взял левее от плотины и остановился у пологого берега, который зарос ивовыми кустами и был настоящим раем для темно-бордовых карасей и любителей рыбалки.

На застывшей поверхности пруда начали появляться первые круги от утренней мошкары. Глеб закинул удочки, пристроил удилица на рогатки и, присев, стал ждать поклевку.

Ему нравилось, как клевал карась. Надо было иметь большое терпение, чтобы дожидаться, когда вдруг вздрогнет поплавок. Вздрогнет и опять замрёт. Потом опять вздрогнет и снова замрёт. Но это только поклевка, только первая проба наживки осторожным карасиком. Такая поклевка могла продолжаться несколько минут.

И Глеб терпеливо ждал.

В ожидании он задремал.

Но вдруг вскрикнула птица.

Затем зазвенел комар.

Зашуршали ивовые ветки.

Глеб протер сонные глаза и уставился на гладь пруда, где дремали два его поплавка из гусиных перьев.

Наступало время пробуждения жизни. Встреча с новым днём, новыми событиями и новыми ощущениями. А вдруг произойдет что-то необычное и клюнет не карась, а кит, а из тумана выплывет не плоскодонная полузатонувшая лодка, а пиратский корабль...

И сам Глеб – не мальчишка, приехавший из пыльного, задымленного города на лето к деду, а смелый д'Артаньян со шпагой и в огромных ботфортах.

Глеб всегда ожидал чуда с приходом нового дня, с восходом солнышка. Мир вокруг него был огромный, неизвестный и загадочный.

Но вот один поплавок уже серьёзно задергался и нырнул под воду. Глеб резко, с оттяжкой, дернул удилице вверх и

в сторону, и из воды вылетел блестящий, ярко-красный карасик размером с ладошку.

В этот момент нырнул второй поплавок. Глеб, вмиг забыв и про китов и пиратов, и про д'Артаньяна со шпагой, окончательно проснулся и только хватался то за одну удочку, то за другую.

Он был счастлив. Сердце переполняло чувство радости.

Это его пруд.

Его мир.

Все вокруг существует для него: и туман, и хлопки кнута, и карасики, и гусиные перебранки, и запах крепкой махорки от проходящих мимо мужиков.

Все это его родина.

Его малая родина – деревня Миловка, куда он приезжал каждое лето к своему деду Якову.

Малая родина – это место, где живет детская память.

Куда тебя тянет всю твою жизнь.

Где человек помнит себя счастливым.

Это место, где человек впервые приходит к пониманию, кто он есть в бесконечной цепочке поколений.

СТУДЕНЕЦ

Место это было очень древним.

Старые люди даже помнили, как на Студенце, самом чистом и любимом роднике, раз в год, в день весеннего равноденствия, селяне устраивали весёлое гуляние. Они поджигали и пускали катиться от родника вниз по склону символ солнца – горящее колесо от телеги, обвитое соломой. И если колесо успешно катилось и полностью сгорало, это означало, что год будет урожайным.

Чуть повыше родника стоял двухметровый дубовый столб, бледно-серого цвета и весь в трещинах от старости. На поверхности столба ещё можно было разглядеть рубленые черты какого-то очень древнего божества. Поговаривали что это был идол Ярилы, бога первых поселенцев, осевших тысячу лет назад на месте будущего села Миловка.

Столб этот стоял в земле как каменный и настолько крепко, что, возможно, это был когда-то живой дуб со своими мощными и глубокими корнями. Поэтому и первые проповедники христианства никак не могли избавиться от этого символа язычества и, помучившись, оставили идол в покое, а сам родник расширили, углубили и стали в нём креститься.

В одна тысяча девятьсот семнадцатом году большевики закрыли церковь, порубили иконы, поломали иконостас, свалили кресты и колокола с куполов храма. Затем пытались свалить идола у Студенца как отрицание любого бога в своей коммунистической идеологии, но не смогли.

Но сельчане не хотели отказываться от Бога и стали ходить молиться вместо церкви на родник, приделав к идолу на Студенце иконку.

Отец сегодняшнего председателя, первый председатель колхоза в Миловке, коммунист и ярый атеист, чтобы люди и там не молились Богу, вылил прямо в исток родника бочку солярки.

За это безобразие били его цепами, поймав ранним утром на гумне. Не мужики били, а женщины.

Родник с годами восстановился, а вот бывший председатель так и не распрямился после бабьего урока. До самой смерти ходил полусогнутым.

И сейчас женщины всем миром решили идти к Студенцу, выпрашивать у Бога милости. За все лето не было ни одного дождя. Вода исчезла и из оврагов, и из родников.

Даже река Пьяна высохла до основания, превратилась в канаву с жидкой грязью, а из обмельчавшего омута вылез огромный сом, весом килограмм под двести. Все тело его было в огромных бородавках и наростах. Гигантская голова в половину туловища, с шевелящимися, словно змеи, усам и ртом, жадно хватала жаркий воздух.

Сом был страшен.

Прошёл слух, что именно это чудовище и выпило воду из Пьяны, породив невиданную доселе засуху.

Дальше терпеть было нельзя.

И решил народ совершить крестный ход от полуразрушенной церкви через высохшие поля к Студенцу.

Верили, что всем миром смогут вымолить у Господа спасение.

Мужики предпочли, покуривая, собраться у правления колхоза и пообсуждать мировые проблемы. Многие из них были коммунистами и, как следствие, атеистами. Они считали, что крестный ход – бесполезное мероприятие, пусть этим занимаются бабы.

Женщины же подошли к делу серьёзно. Они были в праздничных одеждах, с иконами, нательными крестиками и детьми.

Вообще в деревне мало кто носил кресты, в основном это были старухи и несмышлёные дети. Городские

ребятишки, на которых в обязательном порядке по приезде в деревню их бабки надевали алюминиевые крестики на верёвочках, как правило, часто их теряли или носили украдкой. Все они были либо октябрята, либо пионеры и считали ношение крестов делом позорным. Но их бабушки считали, что православные крестики защищают внуков от нечисти, увечий и травм.

А дед Яков пришёл на крестный ход весь в белом, с серебряным нательным крестом на толстой витой тесёмке.

Яков со всеми поздоровался, построил людей в колонну. Сам встал впереди. За ним на самодельных носилках приготовились нести храмовую икону Богородицы, сохранённую после разорения сельской церкви. Когда всё было готово, колонна, благословясь, с молитвами тронулась в путь. Люди шли с надеждой на милость Божью, шли все босиком по горячей пыльной дороге, мимо выжженных солнцем полей, к своему спасению, к Студенцу.

Когда подошли к роднику, который почти пересох и едва бился малой струйкой, дед Яков прислонил икону к древнему столбу, встал на колени перед ней и стал молиться.

Просить милости у Бога.

Огромная толпа, окружив полумесяцем родник, тоже опустилась на колени. Истово крестясь, женщины и дети стали кланяться вслед за дедом, касаясь лбами иссохшей земли.

Дед молился долго. Сквозь звенящую жару только и было слышно: «Господи Иисусе, Царь наш небесный...»

Детишки, устав от кусачих слепней и занудных мошек, начали капризничать. Женщины от жары, духоты и тоски, от уже пустой, казалось, затеи тихо начали роптать... И когда солнце подошло к зениту, а ожидание молившихся людей достигло вершины, дед Яков встал с колен, сказал «аминь», широко перекрестился на все четыре стороны, вынул из под рубахи крест, поцеловал его, прошептал «Прости меня, Господи» и, закрыв глаза, замер.

И вдруг пропали слепни и мошки.

Исчезли звуки.

Мир, до этого звеневший, шептавший, зудевший, будто вмиг куда-то провалился.

Наступила полная тишина.

Всё замерло, а рядом с солнцем, посреди небесного марева, неизвестно откуда возникла темная точка и стала быстро расти и расширяться.

Не успели люди опомниться, как стремительно набухшее гигантское облако, заслонив собой солнце, взорвалось молнией, грохнуло громом и рухнуло на землю ливнем.

Все ахнули.

Заплакали дети.

Женщины повскакивали с колен и жадно стали ловить вымоленную воду.

Кто руками, кто ртом, кто подолом.

Кто смеялся, кто плакал, кто танцевал.

Глеб тогда понял одно: «Дед Яков попросил у Бога дождя, и Бог дал...»

Стихи по кругу

Анастасия ИЛЬИНА

Новогоднее

Еловые лапы мерцают и пахнут,
И иней к окошку приник.
Мой дом в Новый год будет настезь распахнут,
Чтоб чудо принес снеговик.

Он будет весёлый, он будет хороший –
Подарки, стихи, хоровод;
Оставит немного снежинок в прихожей
И снегом укутает лёд.

Украсит весь дом нам оранжевым цветом,
Разлив мандариновый сок.
А в полночь исчезнет, оставив приветом
Уют и добра огонёк.

Ты в ночь новогоднюю выйди из дома
И в ясное небо взгляни –
Твой гость необычный звездой знакомой
Мигнёт маячком для зари...

Двенадцать ударов, морозный хруст снега,
Огни, кутерьма, смеха звон...
Он будет светить до скончания века
Тому, в ком сегодня обрёл друга он.

...

Одна только ночь дарит это наследство –
То ночь волшебства с лёгким привкусом детства!

Ярослав КАУРОВ

* * *

Предупредительны и чётки
Передвижения частей.
Идут с фронтов сухие сводки,
И в них – количество смертей.

Лицо войны дневным кошмаром
Заглядывает к нам в окно,
Металлом плавится от жара
И искажается оно.

Идёт невиданная схватка
По силе взрывов и огня.
В оружии нет недостатка,
Трещит метровая броня.

Но новая война гибридна,
И фронт – на фронте и в тылу,
И ничего уже не стыдно,
И спрятаться нельзя в углу.

В того, кто не стрелял ни разу,
Устремлено её копьё,
И выпущенная зараза,
И дроновое вороньё.

Как отравить детей и женщин,
Добить последних стариков,
Зачистить нацию, не меньше, –
Вот замысел войны каков.

И главная отравка – в души,
В сердца и память этот яд!
Лжецы, предатели, кликуши
В рядах с фашистами стоят.

И вращены уже убийцы
 На пропаганде палачей,
 Невиданные кровопийцы
 С безумной наглостью речей.

Их чёрной вере нет предела.
 Убийство – пища для души,
 Что высохла и омертвела,
 Покрывшись коркою парши!

Вот что доступно, что возможно
 Слепить из юношеских сил,
 Когда учение безбожно,
 И Бог заблудших не простил.

Наш главный бой за поколенья,
 Что нам на смену притекут!
 Ни на единое мгновенье
 Нельзя оставить этот труд.

Пусть в души юношей вольётся
 Язык великий и простой.
 И в этой битве полководцы –
 Есенин, Пушкин и Толстой.

Сама российская природа –
 В полях заброшенных цветы,
 Над сонною рекой восходы –
 Мерило вечной красоты.

Всё в нас, вокруг, доступно, с нами –
 Так к матери прижмётся сын.
 Растворено России знамя
 В просёлках, в трепете осин.

Вернётся русская культура,
 Не видят истины враги,
 Часовней тихой в небе хмурым,
 Как Богородицы шаги.

Наивной молодостью чисты
 И как признания тихи
 Дождинки в золоте лучистом –
 Благословенные стихи...

Олег ГОНОЗОВ

Ярославль

У горы Машук

Зачем придумали дуэли? –
 терзался я у Машука.
 А листья на землю летели,
 чернели в небе облака.

И как тогда в конце июля,
 внезапно грянула гроза,
 как сабли молнии сверкнули...
 Туристов смолкли голоса.

И в жутких сполохах зарницы,
 словно посланцы давних лет,
 кружились две огромных птицы
 над местом, где погиб поэт.

Елена ГАЛИАСКАРОВА

Красноярск

Юдинский сад

Мост через реку построен, пройди скорей –
 Там сад камней и гравийная сеть дорожек.
 Гнезда свивают вороны среди ветвей
 Старых деревьев, псы лаем покой тревожат.

Лето вступает незримо в свои права,
 Нежный алеет шиповник, волнуя память...

Мысли, надежды, несказанные слова
К небу стремятся танцующими цветами.

Нынче замерзла ранетка – зимы итог,
И, притворившись собакою Баскервилей,
Гордо идет по тропинке британский дог.
Тьма над притихшим районом раскрыла крылья.

Рядом беседки с гирляндами из огней,
Шишки сосновые бьются о землю с хрустом.
Ночи короче со временем, дни длинней...
Воздух наполнен волшебной июньской грустью.

Виденье

Ночь, старый сад... За скальной грядой
Вдруг образ китайки молодой
Почудился: лицо её бело,
Глаза раскосы, смотрят хитро, зло,
Наряд, прическа дивной красоты...
Ушло виденье. «К счастью», – думал ты.
Рассеял морок песней соловей,
И ветер задремал среди ветвей.

Лариса ЖЕЛЕНИС

Ярославль

Купола на Руси

В детстве пели: нет неба, чем наше, синее!
Но чернеют от горя, как встарь, купола –
сшиблись братья-славяне: кто в мире сильнее? –
и меж ними легли Куликовы поля.

В небеса поднялась за плечом у солдата
колоколенка белая в ясной дали,
будто ангел, крылом осеняет, что свято –
те просторы, где предки в могилы легли...

Наша вера наверх купола возносила,
собирала для праведной битвы полки.
Преподобного Сергия светом, и силой,
и молитвами воины были крепки.

Победим! И вражду, что посеяна подло,
одолеем, коль чёрная жатва пришла.
На Руси купола вдохновляют на подвиг,
и зовут на свою высоту купола.

Огонёк

В тёмном небе загорелся огонёк.
Он не скажет никому, что одинок,
просто смотрит, просто светит,
и, один на белом свете,
будто просится он гостем на порог.

Он не знает, сколько счастья знала я...
Но ушла в небытие моя семья,
стало в мире одиноко,
только вот горит высоко
огонёк, надежда светлая моя...

Александр ЛУШИН

Тихий переулоч

Утра ранних неспешных прогулок
Дома мне не зачислят в вину,
Ведь на Тихий родной переулоч
Обязательно я загляну.

Каждой встрече мы искренне рады,
Мы дружны с самой детской поры.
Тихий, помню твои палисады,
Во дворах золотые шары.

Здравствуй, милый Тихий переулочек,
Старая замшелая скамья!
Сердца стук всегда здесь мерно гулок,
Это значит то, что дома я.

Помню запах горелых баранок
Из пекарни (была за углом);
Сизый голубь – кошачий подранок
Нежно гулил с утра под окном
На дорожке, бегущей к сараю,
Помню, желудь на спину упал.
Это все было в детстве, я знаю,
Тихий, ты нас любил и ласкал!

До свиданья, Тихий переулочек!
Где теперь та добрая скамья?
Ну а сердца стук привычно гулок,
Это значит то, что дома я!

Ашхабадская улица

Густых садов таинственную сень
Делили по-сестрински и по-братски
И с книжкой падали в спасительную тень
Приветливой и тихой Ашхабадской.
Во всех дворах кипела детская игра,
Ребята, как известно, непоседы.
И пенье плыло соловьиное с утра....
А вечерами плыли взрослые беседы.
Манил жасмина сладкий аромат,
Сиреней грозди тихо опадали.
И каждый был в квартале нашем рад
Крутить велосипедные педали.
Здесь бережно двадцатый жесткий век
Хранил в домах великую культуру,
И вечерами книжный человек
Над пианино созерцал гравюры.
Здесь жизнь текла по правилам своим,
Был нерушим закон соседский, братский....

А как весной цветущих яблонь дым
Кружил над безмятежной Ашхабадской!
Как хорошо и в осень, и весной
Пройти неспешно тихими дворами
И слушать, как с веселою листвою
Играет ветер на оконной раме.

Анна ЗВЁЗДКИНА

Не умею терять

Жизнь – это школа расставания.
Держись достойно и не ной.
Не жалуйся на расстояние
Меж былью и цветной мечтой,
Чертовски непреодолимое.
Не повернёшь ты время вспять.
Любимые мои, любимые,
Я не умею вас терять!
Я в школе – явно не отличница,
Я ученица – так себе.
Как на другой планете дышится
Моей прекрасной несудьбе?
Жизнь – это школа быстротечности.
Вокруг – сплошные миражи.
А я, дурёха, жажду вечности.
«Не отпускай! – кричу. – Держи!»

Галина МИРОНОВА

Вача

Аксинья

В конце села, в приземистой избушке,
Под ветхой крышею с кривой трубой,
Жила свой век малюхонька старушка,
В народе окрещенная Блохой.

Слушок тянулся злой на всю округу:
 «Совсем воровка потеряла стыд».
 Ох, нечиста Аксиньюшка на руку,
 Ворует всё, что на виду лежит.
 То горсть зерна несёт в кармане,
 Охапку сена в поле подберёт,
 Краюху хлеба выпросит с обманом,
 То в ночь в чужой залезет огород.
 ...Она ушла из жизни незаметно,
 И хоронил народ её без слез.
 Лишь бригадир, кручинясь беззаветно,
 Над гробом речь скупую произнес.
 «Прости нас, Господи, земных и грешных.
 Ты, Ксения Игнатьевна, прости:
 Меня, сельчан своих, колхоз весь здешний,
 За крест, который выпало нести.
 Поклон земной, что семерых взрастила,
 За многолетний труд тебе хвала.
 Бралась ты за работу не по силам
 И без нужды денёчка не жила.
 На злые пересуды не взидала
 И, похоронку с фронта получив,
 Одна детей без мужа поднимала.
 Забыв себя, ты думала о них».
 Народ поник в молчанье у могилы,
 Оторопевший, слушал речь о ней.
 Слова сейчас как стрелы поразили,
 Перевернув сознание людей.
 Вдруг каждому до боли стало ясно:
 Аксинья не могла иначе жить...
 С зерном несла в своих пригоршнях счастье,
 Святой надежды тоненькую нить.
 Жила она богатств земных не жаждая,
 Жила, чтоб жизнь продолжить на земле,
 Свой долг отдать и умереть однажды,
 Оставшись с совестью наедине.

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Москва

**«ЧТОБ БЫЛ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ЗАКОН
НЕ ТЩЕТНЫМ СЛОВОМ...»**

Исполнилось 230 лет
со дня рождения П.А. Вяземского

Пётр Андреевич Вяземский (1792–1878) – замечательный русский поэт, литературный критик, переводчик, историк. Имя его сейчас знакомо в основном специалистам-филологам. Он был известен своими тесными литературными связями, как человек одного круга с поэтами пушкинской плеяды, с К.Н. Батюшковым, В.А. Жуковским. Но более всего он знаменит своей долгой дружбой с А.С. Пушкиным (1799–1837). На этот счёт сам Вяземский замечал на юбилейном чествовании: «Незначительное имя моё богато обставлено именами, дорогими вашему сердцу и славе народной. Чувствую, что приветствуете вы во мне не столько мои литературные заслуги, сколько мои литературные связи».

Поэт стал как бы «живым преданием», намного пережив своих знаменитых современников, друзей, родных. Стихотворение «Я пережил...» (1837) Вяземский создал в год гибели Пушкина:

Я пережил и многое, и многих,
И многому изведаль цену я;
Теперь влачусь в одних пределах строгих
Известного размера бытия.

<...>

Жизнь разочлась со мной; она не в силах
Мне то отдать, что у меня взяла,
И что земля в глухих своих могилах
Безжалостно навеки погребла.

Поэты подружились ещё в молодости, и до последних минут жизни Пушкина Вяземский находился рядом с ним, умирающим от дуэльной раны. Положил в его гроб перчатку в знак последнего рукопожатия. Воспоминания и письма Вяземского, написанные через несколько дней после кончины великого русского поэта, явились ценнейшими свидетельствами, проливающими свет на трагическую дуэль. Хотя осталась загадочной недосказанность: «Теперь не настала ещё пора подробно исследовать и ясно разоблачить тайны, окружающие несчастный конец Пушкина». Тайны, на которые намекал Вяземский, он унёс собой в иной мир.

О Пушкине Вяземский не написал отдельных мемуаров, однако оставил в статьях, письмах, записных книжках массу бесценных воспоминаний о дружеских встречах, беседах и спорах с великим поэтом. Особый достоверный источник – длительная обширная переписка двух друзей. Нередко под пером Пушкина, писавшего письма к приятелям, экспромтом рождались стихотворные строки. Так, в письмо к Вяземскому Пушкин включил стихотворение «Сатирик и поэт любовный...» (1825), в котором с дружеской улыбкой изящно подчеркнул близкое родство их творческих дарований:

Писатель нежный, тонкий, острый,
Мой дядюшка – не дядя твой,
Но, милый, музы наши сёстры,
Итак, ты всё же братец мой.

В стихотворном послании «Вяземскому» (1821) Пушкин отразил своеобразие личности, некоторые черты характера и особенности творчества своего друга:

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском колких слов, и шутками богатый,
Счастливый Вяземский, завидую тебе.
Ты право получил благодаря судьбе
Смеяться весело над злобою ревнивой,
Невежество разить анафемой игривой.

Лаконичная, но блистательно меткая стихотворная характеристика представлена также в пушкинском четверостишии «К портрету Вяземского» (1820):

Судьба свои дары явить желала в нём,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род – с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

Пушкин считает Вяземского баловнем судьбы, исключением из общего правила, согласно которому напыщенная знатность и роскошь редко соседствуют с «возвышенным умом», а простодушие не уживается с язвительной насмешливостью. В Вяземском же совместились несовместимое. Богатый князь обладал острым аналитическим умом, тонкой наблюдательностью. При всём добросердечии он умел колко высмеять людские пороки и несовершенства, социальные изъяны и недостатки. Так, поэт остроумно высмеял «деятеля на все руки» сенатора, попечителя Московского университета, масона П.И. Голенищева-Кутузова:

Картузов – сенатор,
Картузов – куратор,
Картузов – поэт.
Везде себе равен,
Во всём равно славен,
Оттенков в нём нет:
Худой он сенатор,
Худой он куратор,
Худой он поэт.

Царапающее перо Вяземского, конечно, не в силах было справиться с негодьями, подлецами и глупцами, во все времена имеющими численное превосходство:

Пожалуй, ранишь кой-кого:
Что ж? Одного обезоружишь,
А сотня встанет за него.

Однако поэт никогда не оставлял эту сторону своего таланта, даже несмотря на советы Пушкина, о которых вспоминал десятилетия спустя в стихотворении «Зачем глупцов ты задеваешь?..» (1862):

«Зачем глупцов ты задеваешь? –
Не раз мне Пушкин говорил. –
Их не сразишь, хоть поражаешь;
В них перевес числа и сил.

Против тебя у них орудья:
На сплетни – злые языки,
На убежденье простолюдыя –
У них печатные станки».

<...>

Совет разумен был. Но, к горю,
Не вразумил меня совет;
До старых лет с глупцами спорю,
А переспорить средства нет.

Независимо мыслящие личности, яркие индивидуальности, остроумные люди – Пушкин и Вяземский всыскательно относились к творчеству, часто вступали в дискуссию по литературным и социально-политическим вопросам. Отношения друзей можно было бы выразить цитатой из пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин»: «меж ими всё рождало споры и к размышлению влекло».

Друзья-поэты вели постоянный диалог – эпистолярный, журнальный, стихотворный. Их произведения зачастую рождали у каждого из них встречный поток мыслей, чувств, художественных образов. Пушкин даже ввёл Вяземского в круг героев романа «Евгений Онегин» в эпизоде, когда Татьяна Ларина томится в Москве «на ярмарке невест».

Татьяна смотрит и не видит,
Волненье света ненавидит;
Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам,
В уединённый уголок <...>

Простодушная, «русская душою» Татьяна, в светском обществе «не замечаема никем», привлекает внимание князя Вяземского. Их беседа находит душевный отклик в любимой героине Пушкина, настроения оказываются созвучными:

К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.

Эта маленькая литературная забава Пушкина ещё раз продемонстрировала, насколько высоко он ценил своего друга, и, конечно, не могла не порадовать Вяземского.

Эпиграфом из стихотворения Вяземского «Первый снег» (1819): «И жить торопится, и чувствовать спешит» – открывается первая глава «Евгения Онегина». В примечания к роману поэт поместил отрывок из «путешествия в стихах» Вяземского «Станция» (1825) как развёрнутую иллюстрацию своих мыслей в строфе XXXIV восьмой главы «Теперь у нас дороги плохи...» – на вечную для России тему.

«Станция» явилась также отправной точкой для создания повести Пушкина «Станционный смотритель» (1830) из цикла «Повести Белкина». Эпиграф из «Станции»: «Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор» – задал полемический тон пушкинской повести, в которой автор возражает Вяземскому: «Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги <...> Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, ограждённый своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутиливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга?»

Открывая в литературе тему «маленького человека» – мелкого чиновника (14-й класс – последний в «Табели о рангах»), Пушкин горячо выступил в его защиту от насмешек, издевательств, притеснений. За Пушкиным последовали Гоголь (повесть «Шинель»), Достоевский (роман в письмах «Бедные люди») и другие авторы.

Поэты постоянно вступали в литературную перебранку. Так, на стихотворение «Море», в котором воспевались красоты морской стихии, Пушкин ответил посланием «К Вяземскому» (1826):

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун – земли союзник.
На всех стихиях человек –
Тиран, предатель или узник.

«Наш гнусный век» с его тиранией, предательством, закабалением, о котором пишет поэт, – время подавления свободы, вольнодумства, всякого инакомыслия после разгрома декабристского восстания 1825 года. Настроения Вяземского были созвучны идеям декабристов. Хотя он не являлся сторонником заговорщицких действий, но открыто ратовал за социально-политические преобразования, конституционное ограничение монархизма, за освобождение народа от порабощения:

Пусть белых негров прекратится
Продажа на святой Руси.

Не скрывая своей свободолобивой позиции, поэт выражал её в негодующих стихах, направленных против антинародной тиранической власти:

Под знаменем её владычествует ложь;
Насильством прихоти потоптаны уставы;

С ругательным челом бесчеловечной славы
Бесстыдство предсидит в собрании вельмож.

Праведный гнев в стихотворении «Негодование» (1820) обрушивает Вяземский и на продажные судилища, и на кабальные законы:

Я зрел: изгнанницей поруганную честь,
Доступным торжищем – святыню правосудья,
Служенье истине – коварства торжеством,
Законы, правоты священные орудья,
Щитом могучему и слабому ярмом.

Официальная церковь, забывшая о Боге и ставшая прислужницей земной власти, извлекающая из богослужений барыши и материальные выгоды, угождая таким образом не Богу, а мамоне (ср. Мф. 6: 24), также вызывает негодование поэта:

Зрел промышляющих спасительным глаголом,
Ханжей, торгующих учением святым,
В забвенье Бога душ – одним земным престолом
Кадыщих трепетно, одним богам земным.
<...>
На хищный ваш алтарь в усердии слепом
Народ имущество и жизнь свою приносит;
Став ваших прихотей угодливым рабом.

Поэт осуждает деспотизм монархии, несправедливого самодержавно-государственного устройства, безмерно далёкого от Божеских установлений:

Пред хором ангелов Семья Святая
Поёт небесну благодать,
А здесь семья земная
По дудке нас своей заставит всех плясать.

Идеал Вяземского – государство и общество, основанные на истинных христианских ценностях, заповедях Евангелия:

Чтоб был евангельский закон не тщетным словом,
 Но сильному уздой и слабому покровом;
 Чтоб ближний ближнему был бескорыстный брат;
 Чтоб и закон земной был неподкупно свят;

Чтоб правда на суде, стыдись лицепрятья,
 Доступною была и вам, меньшие братья!
 Чтоб в каждом смертном был, и в рубище простом,
 Уважен человек и Божий образ в нём.

Эпоха либеральных реформ с их половинчатостью, фарисейскими двойными стандартами также подвергалась критике Вяземского:

Послушать – век наш век свободы,
 А в сущность глубже загляни:
 Свободной мысли коноводы
 Восточным деспотам сродни.

У них два веса, два мерила,
 Двойкий взгляд, двойкий суд:
 Себе даётся власть и сила,
 Своих наверх, других под спуд.

У них на всё есть лозунг строгий
 Под либеральным их клеймом:
 Не смей идти своей дорогой,
 Не смей ты жить своим умом.

Когда кого они прославят,
 Пред тем колена преклони.
 Кого они опалой давят,
 В того и ты за них лягни.

Поэт отказывался славословить правительственных псевдореформаторов, не желал

Быть попугаем однозвучным,
 Который, весь оторопев,
 Твердит с усердием докучным
 Ему насвистанный напев.

Неудивительно, что в 1820-е годы Вяземский попал в опалу. Власти считали его политически неблагонадёжным, долгое время он находился под негласным полицейским надзором. Рискуя своей свободой, князь совершил исключительно мужественный поступок, ставивший под угрозу всю его судьбу. Накануне ареста декабриста Ивана Пущина Вяземский принял от него портфель с секретными материалами, среди которых были рукописи Пушкина и Рылеева, проект конституции, составленный Никитой Муравьевым, и хранил эти бесценные документы на протяжении 30 лет. Именно благодаря Вяземскому до нас дошли живые свидетельства декабристской эпохи.

Отваги князю было не занимать. Ещё в молодые годы, 20-летним юношей, он отличился во время Отечественной войны 1812 года, был участником Бородинской битвы. Существует мнение, что князь Пётр Андреевич Вяземский явился одним из прототипов графа Петра (Пьера) Кирилловича Безухова в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир». Между ними есть внешнее сходство. Оба носят очки, что было большой редкостью в начале XIX столетия. Оба принимают участие в Бородинском сражении. Однако неуклюжий увалень, «умный чудак», «славный и добрый малый» Пьер Безухов – человек сугубо гражданский. Он ошеломлён событиями на поле боя. Вяземский же в те годы был офицером. С начала войны России с наполеоновской Францией он вступил в казачий полк, служил адъютантом генерала Милорадовича. Но, подобно Пьеру Безухову, князь-поэт, «счастливый баловень», поступивший в армию, совершенно не имел военного опыта. Позднее он вспоминал: «Я так был неопытен в деле военном и такой мирный военный барич, что свист первой пули, пролетавшей надо мной, принял я за свист хлыстика. Обернулся назад и, видя, что никто за мной не едет, догадался я об истинном значении этого свиста. Вскоре потом ядро упало к ногам лошади Милорадовича. Он сказал: “Бог мой! Видите, неприятель отдаёт нам честь”. Но, для сохранения исторической истины, должен я признаться, что это было сказано на французском языке, на котором говорил он охотно, хотя часто весьма забавно-неправильно. Не могу

не заметить, что привычка говорить по-французски не мешала генералам нашим драться совершенно по-русски».

Несмотря на свою воинскую неопытность, поручик Вяземский на поле боя сумел спасти раненого генерала Бахметева, был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени. Вяземский написал мемуары «Воспоминания о 1812 годе», в которых полемизировал с Толстым, выступая против искажения в угоду художественному вымыслу некоторых исторических событий в романе «Война и мир».

После освобождения отечества от наполеоновских полчищ поэт оставил военную службу и посвятил себя русской словесности. Он стал активным членом литературного общества «Арзамас», в котором подружился с лучшими поэтами своего времени. Вяземский оттачивает своё перо в самых разных поэтических жанрах. Ему одинаково удавались любовная лирика, дружеские послания, эпиграммы, сатирические поэмы, басни. Например, «Битый пёс» (1819):

Пёс лаял на воров; пса утром отодрали –
За то, что лаем смел встревожить барский сон.
Пёс спал в другую ночь; дом воры обокрали:
Отодран пёс за то, зачем не лаял он.

Глубиной и силой мысли, изяществом и тонкостью блистает оригинальная поэзия Вяземского. Об одном из его стихотворений Пушкин отзывался: «Смелость, сила, ум и резкость».

Прости, блестящая столица!
Великолепная темница,
Великолепный жёлтый дом,
Где сумасброды с бритым лбом,
Где пленники слепых дурачеств
Различных званий, лет и качеств,
Кряхтят и пляшут под ярмом.

Художественный мир Вяземского не только обогащает наше представление о Пушкине, является не просто отражением пушкинского творчества, но имеет вполне само-

стоятельный, оригинальный характер, отличается неповторимой индивидуальностью. К сожалению, его поэзия сейчас почти забыта. Остался на слуху романс на стихи Вяземского «Ещё тройка» (1834), но не каждый вспомнит имя автора текста:

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьётся пыль из-под копыт...

Примечательно, что романс этот стал народной песней. Также на музыку положено стихотворение «Молитва Ангелу-хранителю», ставшее в наши дни популярным песнопением. Но опять-таки имя автора прекрасных стихов намеренно предаётся забвению врагами православного русского мира.

Целое созвездие молитвенных стихотворений, произведений высокого духовного строя составляет особый пласт в лирике Вяземского.

В стихотворении «Святая Русь» (1848) поэт, осознавая себя нераздельной частью родной земли, горячо молится о любимой родине:

Как в эти дни години гневной
Ты мне мила, Святая Русь!
Молитвой тёплой, задушевной,
Как за тебя в те дни молюсь!

Патриотические чувства достигают особой силы в финале – в лирическом обращении-призыве к отчизне соответствовать именованию «Святая Русь»:

О, дорожи своим залогом!
Блюди тобой избранный путь,
И пред людьми и перед Богом,
Святая Русь, – святою будь!

О, будь всегда, как и доньше,
Ковчегом нашим под грозой,
И сердцу русскому святыней,
И нашей силой пред враждой!

В то же время в стихотворении «Молитвенные думы» (1821) Вяземский выразил отчётливое понимание того, что своей принадлежностью к православному народу кичиться нельзя:

Не дай нам Бог во тьме и суете житейской,
Заняться гордостью и спесью фарисейской,
Чтоб святостью своей, как бы другим в упрёк,
Хвалиться, позабыв, что гордость есть порок.

Русь именуется святой не потому, что в ней всё свято. Но потому, что духовные «немощи и язвы» кающихся врачуются Христом:

Им немощи свои и язвы прикрывая,
И грешный наш народ, хоть в искушеньях слаб,
Но помнит, что он сын Креста и Божий раб.

Православный народ, преодолевая искушения, призван неустанно стремиться к святости:

Что Промысла к нему благоволеньем явным
В народах он слывёт народом православным.
Но этим именем, прекраснейшим из всех,
Нас Небо облекло, как в боевой доспех.
Чтоб нам не забывать, что средь житейской битвы
Оружье лучшее – смиренье и молитвы.

Святая Русь – это не только данность, но и задание «в назиданье нам, в ответственность, в завет»:

Не в славу, не в почёт, народные скрижали,
Родную нашу Русь Святой именовали,
Но, в назиданье нам, в ответственность, в завет;
Чтоб сберегали мы первоначальных лет
Страх Божий, и любовь, и чистый пламень веры,
Чтоб добрые дела и добрые примеры,
В их древней простоте, завещанные нам,
Мы цельно передать смогли своим сынам.

Сокровенный разговор души с Богом, исповедание православной веры, проповедь христианских ценностей

выразились в стихотворных молитвах Вяземского с проникновенной глубиной, со всей полнотой религиозных переживаний.

В стихотворении «Молись» (1840) поэт призывает к «молитве непрестанной» – в соответствии с апостольским наставлением: «Непрестанно молитесь» (1Фес. 5: 17); размышляет о таинственной силе её благодати:

Молись! Даёт молитва крылья
Душе, прикованной к земле,
И высекает ключ обилья
В заросшей тернием скале.
Она – покров нам от бессилья.
Она – звезда в юдольной мгле.

В то же время нужен особый склад духовный, чтобы «всякою молитвою и молением молиться на всякое время духом» (Еф 6:18). Вяземский осознаёт, что это дано не каждому, особенно людям светского круга, к которому он сам принадлежал и который далеко отстоял от народа, от его безыскусственной, осердеченной веры в Христа.

Именно об этом – «Молитвенные думы» поэта. В эпиграфе – обращение к Пушкину и переключка с его известной строкой из «Евгения Онегина»: «Пушкин сказал: “Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь”. Мы также могли бы сказать: “Все молимся мы понемногу Кое-когда и кое-как”. (Из частного разговора)». Здесь обобщённая характеристика высшего сословия («мы»), зачастую только формально причисленного к Церкви, говорит о его *теплохладности*, то есть духовной и душевной вялости, безответственности, когда стоит вопрос о нравственном выборе между добром и злом. Согласно определению святителя Феофана Затворника, это «стояние между добром и злом, между жизнью безбожного мира и жизнью в истинной вере, между святостью и грехом, между Христом и сатаною». Такое духовное устройство отвергается Господом: «знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3: 15–16).

Вяземский ощущал ущербность так называемого просвещённого сословия, отравленного равнодушием и разъедающим душу скепсисом:

Наш разум, омрачась слепым высокомерьем,
Готов признать мечтой и детским суеверьем
Всё, что не может он подвести под свой расчёт.

Но высокомерная человеческая *самость*, разумность без Бога не что иное как безумие («Рассудительный наш век На рассудке помешался...»), слепое суеверие. Только разумом без веры невозможно постичь загадки и тайны бытия, «всё недоступное в душе и в мире»:

Но разве во сто крат не суеверней тот,
Кто верует в себя, а сам себе загадкой,
Кто гордо оперся на свой рассудок шаткий
И в нём боготворит свой собственный кумир.
Кто, в личности своей сосредоточив мир,
Берётся доказать, как дважды два – четыре,
Всё недоступное ему в душе и в мире?

Поэт призывает не смотреть на простой народ свысока. Наоборот, знатым господам, которые порой стыдятся прилюдно осенить себя крестом, чтобы не стать вровень с простолюдинами, следует учиться у низших сословий высоте горячей искренней веры. Князь Вяземский, по его собственному признанию, не в состоянии этого достичь:

Хотел бы до того дойти я, чтоб свободно,
И тайно про себя, и явно, всенародно,
Пред каждой церковью, прохожих не стыдясь,
Сняв шляпу и крестом трикратно осенясь,

Оказывал и я приверженность святыне,
Как делали отцы, как делают и ныне
В сердечной простоте смиренные сыны,
Все боле с каждым днём нам чуждой старины.
<...>

А мы, рабы сует, под их тяжёлой ношей,
Чтоб свет насмешливый не назвал нас святошей,

Чтоб не поставил нас он с чернью наряду,
Приносим в жертву Крест подложному стыду.

Но Христос говорит: «кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8: 38).

В русском народе крестное знамение творится постоянно:

Обычай, искони сочувственный народу.
Он с крестным знаменем прошёл огонь и воду,
Возрос и возмужал средь славы и тревог.

Не угасает и молитва как насущная потребность общения души с Богом. Тем же, кто пока не способен молиться *всем сердцем своим и всею душою своею и всем разумением своим* (ср. Мф. 22: 37), среди которых числит самого себя Вяземский, следует просить Господа о даровании искренней и чистой молитвы. Таково задушевное, трепетное стихотворение «Молитва Ангелу-хранителю»:

Добрый Ангел, научи!
Уст твоих благоуханьем
Чувства черствые смягчи;
Да во глубь души проникнут
Солнца вечного лучи,
Да в груди моей забьются
Благодатных слез ключи!

Дай моей молитве крылья,
Дай полет мне в высоту!
Дай мне веры безусловной
Высоту и теплоту!
Неповинных, безответных
Дай младенцев простоту
И высокую, святую
Нищих духом чистоту!

Дай стяхнуть земные узы
С прахом страннических ног,

Дай во мне угаснуть шуму
 Битв житейских и тревог;
 Да откроется тобою
 Мне молитвенный чертог,
 Да в одну сольются думу
 Смерть, бессмертие и Бог.

«В наших немощах, в унынии бессилья» надлежит молиться об укреплении веры. Даже святые апостолы – сподвижники Христа в Его земной жизни – просили об этом: «И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру» (Лк. 17: 5). Только вера и молитва даруют душе окрылённость, христианское упование на «жизнь вечную» (Ин. 17: 2):

Иль в наших немощах, в унынии бессилья
 Подчас не нужны нам молитвенные крылья?
 Чтоб сеять мрак и сон с отягощенных вежд,
 Чтоб духом взлетать в мир лучший, в мир надежд,
 Мир нам неведомый, но за чертой земною
 Мир, предугаданный пророческой тоскою?

Православное мирозерцание, мудрость философа, личный духовный опыт Вяземского, его внутренняя работа над собой, смиренное, покаянное воззвание к Богу проявились во многих стихах: «Жизнь» («Жизнь для жизни нам дана. <...>

Познавать Творца в творенье,
 Видеть духом, сердцем чтить –
 Вот в чём жизни назначенье,
 Вот что значит в Боге жить!»);

«Жизнь – таинство», «Сознание» («Как много праздных дум, а подвигов как мало!»), «Утешение» («Пред Господом Богом я грешен»), «Церковная молитва», «Любить. Молиться. Петь», «Вхожу с надеждою и трепетом в Твой храм...» и других. Стихотворение «Чертог Твой...» явилось поэтическим переложением великопостной молитвы «Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды

не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моя, Светодавче, и спаси мя):

Чертог Твой вижу, Спасе мой,
 Он блещет славою Твоею, –
 Но я войти в него не смею,
 Но я одежды не имею,
 Дабы предстать мне пред Тобой.
 О, Светодавче, просвети
 Ты рубище души убогой,
 Я нищим шёл земной дорогой:
 Любовью и щедротой многой
 Меня к слугам Твоим причти.

Поэт говорит здесь о собственной нищете духовной, о «рубище души убогой», не имеющей светлого покрова праведности, чтобы достойно предстать перед Творцом.

«Мои мысли лежат перемешанные, как старое наследство, которое нужно было бы привести в порядок. Но я до них уже не дотронусь; возвращаю свою жизнь Небесному Отцу; скажу ему: “Прости мне, о Боже, если я не умел воспользоваться ею; дай мне мир, который не мог я найти на земле. Отец! Ты единая благодать! Ты прольёшь на меня одну каплю сей чистой и Божественной радости”», – так в шестой записной книжке (1828–1829) представлял себе Вяземский свою последнюю молитву на пороге инобытия. Но впоследствии его «перемешанные мысли» облеклись в совершенную поэтическую форму: в душе, «настроенной к созвучию с прекрасным», в полный голос зазвучали «три вечные струны: молитва, песнь, любовь!»

Бывают дни, когда молиться так легко,
 Что будто на душу молитвы сходят сами.
 Иль Ангел, словно мать младенцу на ушко,
 Нашёптывает их с любовью и слезами.

Но в то же время поэт признаётся:

Бывают дни, когда мрак на душе лежит:
 Отяжелевшая и хладная, как камень,

Она не верует, не любит, не скорбит,
И не зажжётся в ней молитвы тихий пламень.

Вяземский описывает состояние «окамененного нечувствия», об избавлении от которого молился святитель Иоанн Златоуст: «Господи! Избави мя всякого неведения и забвения и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи! Дажь ми слезы, и память смертную, и умиление». Эта молитва, вдохновившая поэта на создание собственного молитвословия, стала эпиграфом к стихотворению «Молитва». Здесь лирическая исповедь кающейся души явилась свидетельством горячего, но не реализованного желания духовного христианского совершенствования. Поэт страшится греха теплохладности, «окамененного нечувствия», сомнений, которые полностью его не оставляют. Для их преодоления спрашивает Вяземский высшей помощи:

Хранитель Ангел мой! Не дай мне в эти дни
Пред смертью испытать последнее сомненье...
Но тёплых чувств во мне источник обнови,
Когда остынет он в дремоте лени томной;
Дай умиление мне молитвы и любви,
Дай память смертную, лампаду в вечер тёмный.

ЧТОБЫ СВЕТИЛЬНИК НЕ УГАСАЛ...

160 лет со дня рождения О. Генри

Уильям Сидни Портер (1862–1910), известный под литературным псевдонимом О. Генри, – замечательный американский писатель-новеллист, один из самых любимых и читаемых у нас зарубежных авторов.

Его жизнь, полная загадок и тайн, ударов и подарков судьбы, падений и взлётов к вершинам славы, могла бы лечь в основу увлекательного приключенческого романа. Бурный водоворот жизненных обстоятельств закручивался с невероятной силой. Аптекарь-фармацевт в захолустном городке штата Северная Каролина, техасский ковбой на Западе, счетовод, мелкий клерк-чертёжник в земельном управлении, художник-карикатурист, репортёр и редактор маленькой газеты, кассир в банке, беглец вне закона в Гондурасе, тюремный узник, журналист, писатель – всё это О.Генри. Не подсчитать, насколько огромен был накопленный им запас впечатлений и метких наблюдений. Неслучайно последний прижизненный сборник произведений писателя называется «Коловращение» (1910). Сюда также был включён рассказ «Коловращение жизни» (1903).

В новелле «Искатели приключений» (1909), словно подытоживая свой жизненный и творческий путь, О. Генри говорил: «Это плавание без руля и компаса, где приходится самому быть и капитаном, и экипажем, и одному день и ночь бессменно стоять на вахте».

Мастерство писателя в жанре короткого рассказа столь совершенно, что О. Генри называли даже «американским

Чеховым». Вслед за Антоном Павловичем Чеховым (1860–1904), с которым О. Генри был почти ровесником, он мог бы сказать о себе: «Умею коротко говорить о длинных вещах». В полной мере он воплотил чеховский принцип «писать талантливо, т.е. коротко». Рассказы О. Генри также иллюстрируют знаменитую чеховскую мысль: «Краткость – сестра таланта».

Крохотный рассказ объёмом всего в четыре страницы «Дары волхвов» (1905) принёс писателю поистине всемирную славу, сделал его известным во всей Америке, а затем и в целом мире.

Читатели были очарованы и растроганы историей о молодожёнах, снимающих квартиру за восемь долларов в неделю, в обстановке которой «не то чтобы вопиющая нищета, но, скорее, красноречиво молчащая бедность». «Один доллар восемьдесят семь центов. Это было всё. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу», – таков в рождественский Сочельник семейный бюджет молодой пары, несмотря на жесточайшую экономию и бережливость в ведении домашнего хозяйства.

Героям пришлось пожертвовать самым ценным, что было у каждого из них, чтобы преподнести друг другу на Рождество давно желанные подарки. Джим продал фамильные золотые часы, для того чтобы купить черепаховые гребни для роскошных волос жены. А Делла отрезала и продала волосы, чтобы подарить мужу платиновую цепочку для его карманных часов. Радостные ожидания героев и читателей, их надежды на традиционный рождественский счастливый конец (*happy end* – хэппи-энд), казалось бы, обмануты. Но разочарование, состояние оцепенения, как у Джима: «в первую минуту немножко оторопел», – длится лишь мгновение.

В парадоксальной игре смыслов писатель открывает смысл истинный, христианский, позволяющий оценить неожиданную развязку рассказа именно как счастливый конец. Пусть подарки, ради которых молодые супруги отказались от своих единственных сокровищ, в практическом применении оказались бесполезными. Зато герои доказали свою самоотверженную преданность, ещё раз подарили друг другу

свои верные сердца и вместе с тем принесли в дар новорождённому Христу сокровища своих любящих душ. Подобно тому, как волхвы – древние восточные мудрецы-звездочёты, ведомые Вифлеемской звездой, предузнавшие Рождество Божественного Младенца, – поднесли Ему свои драгоценные дары: «И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариною, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2: 9–11). Золото – как царю ладан – как Богу смирну (благовонную мастику для натирания тела) – как человеку, которому неизбежно суждено умереть.

Финал рассказа О. Генри возвращает читателя к названию произведения. Писатель даёт своё, чуть ироничное – на современный лад, истолкование рождественской истории: «Волхвы, те, что принесли дары Младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговорённым правом обмена в случае непригодности».

Однако обмен или возврат в магазин подарков, оказавшихся непригодными для молодожёнов – героев рассказа, сделать, может быть, было бы можно; не вернуть только волосы и часы, при помощи которых эти подарки были оплачены.

С первых строк повествования речь идёт, казалось бы, о предметах «низких», сугубо бытовых: о житейской нужде, скрупулёзных – до последнего цента – подсчётах скудных денежных сумм. Но сюжет парадоксальным образом ведёт от материальных проблем к духовному возвышению молодых «немудрых» героев, которых О. Генри не просто сопоставляет с евангельскими волхвами, но даже возвышает над ними: «А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартиры, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех,

кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы».

Открыто обращённое к читателю заключительное авторское слово делает его похожим на рождественскую проповедь. Это очень напоминает по смыслу и тону проповедническое слово православного батюшки в авторском пересказе в святочном рассказе Н.С. Лескова (1831–1895) «Зверь» (1883): «Он заговорил о даре, который и нынче, как и “во время оно”, всякий бедняк может поднести к яслям “Рожденного Отроча”, смелее и достойнее, чем поднесли золото, смирену и ливан волхвы древности. Дар наш – наше сердце, исправленное по Его учению. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга “во имя Христово”... И думается мне, что слово его в тот час было убедительно... Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слёзы...»

«Дары волхвов» О. Генри «достигли до цели» и до сих пор не перестают трогать сердца людей.

Поделюсь ещё одним своим наблюдением, связанным с восприятием этого рассказа в современной России. Наши подростки – жертвы цифровизации – в большинстве своём вообще не читают художественную литературу или читают неохотно кое-что из школьной программы по принуждению, а некоторые – что греха таить! – при современном уровне образования даже не умеют связно читать или разбирают текст по слогам, подобно толстовскому Филиппу. Но удивительное дело: все они хорошо знают и любят «Дары волхвов». Многие выпускники лицеев и школ в своих итоговых сочинениях ссылаются именно на этот рассказ.

Он настолько популярен, что «волосы и часы» стали, как говорят сейчас, «мемом» в значении узнаваемой единицы популярной культурной информации – идеи, образа, символа и т. д. Так, например, на Святки мне не раз доводилось видеть расклеенные по городу, даже на подъезде моего дома, объявления: «Покупаем ВОЛОСЫ и ЧАСЫ. Дорого».

Метаморфозы, выдумки, шутки, «сюрпризы и внезапности» переполняют неподражаемые новеллы О. Генри. Тако-

вы, например, «Родственные души» (1904) и «Вождь краснокожих» (1907) – остроумные, яркие, эксцентричные. Они настолько динамичны, зрелищны, что были выбраны для экранизации в незабываемой и любимой зрителями всех поколений комедии советского режиссёра Леонида Гайдая «Деловые люди», снятой в 1962 году – к столетию О. Генри.

Игра неожиданностями – один из излюбленных приёмов поэтики писателя – удерживает читательское внимание в постоянном напряжении. Искушённый читатель стремится предугадать развязку анекдотического происшествия, занимательной истории, но чаще всего ему это не удаётся. Писатель снова его переиграл, и остаётся только удивляться неистощимой авторской изобретательности в воссоздании обычных жизненных ситуаций, из которых О. Генри умеет извлечь необычное. В то же время занимательность вовсе не самоцель писателя. Ему удаётся лаконично выразить глубочайшие мысли особыми средствами художественной выразительности – чаще всего при помощи говорящих деталей с их многозначностью, смысловой ёмкостью, уводящей в подтекст произведения.

Таков, например, замечательный рассказ «Фараон и хорал» (1904). Оригинальное название на английском языке «The Cop and the Anthem» переводилось на русский по-разному. Впервые: «Полицейский и антифон» в книге «О. Генри. Рассказы» (Петроград; Москва, 1923). Именованное полицейского (policeman, police officer) на английском сленге the Cop – коп. Реже в этом значении употребляется Pharaoh – фараон. Anthem в переводе на русский язык – гимн, торжественная песнь, церковный хорал. Антифон – богослужбное пение. Словечко «коп» благодаря англо-американским фильмам сейчас настолько хорошо известно, что вариант перевода заглавия «Коп и хорал» ни у кого не вызвал бы вопросов, тем более что в оригинале рассказа слово Pharaoh не встречается.

Уже на уровне заглавия проявилась парадоксальность как общая жанровая черта коротких рассказов О. Генри с их динамикой, внезапными сюжетными поворотами, непредвиденными развязками. Столкнулись два стиля: низкий и высокий, разговорный сленг, жаргон и приподнятая речь;

соединились разноплановые понятия: социально-приземлённое и церковно-возвышенное.

Главный герой рассказа – бездомный бродяга Сопи, обитатель ночлежек, всегдашней тюремных камер. Первой морозной ночью перед лицом надвигающейся зимы он преднамеренно пытается снова угодить в каземат: «Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на Острове служила ему зимней квартирой».

В традиционном понимании жанра «Фараон и хорал» не является святочным рассказом. Время действия – предсвятки, если можно так сказать, то есть преддверие Рождества и Нового года – пора не менее счастливая, обычно заполненная приятными хлопотами в ожидании любимых праздников, связанных с неистребимыми надеждами на грядущие перемены к лучшему, на обновление жизни, на чудо.

Сказочная атмосфера также вторгается в повествование о заурядном нью-йоркском бродяге. Оказывается, волшебные силы не отвернулись и от социально отверженного изгоя. Чудесным образом они посылают бесприютному бедняку свои знаки, чтобы уберечь его от риска насмерть замёрзнуть на улице: «Жёлтый лист <в оригинале: «a dead leaf» – мёртвый лист, то есть знак смерти. – А. Н.-С. > упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза; этот старик добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своём близком приходе. На перекрёстке четырёх улиц он вручает свои карточки Северному ветру, швейцару гостиницы “Под открытым небом”, чтобы постояльцы её приготовились».

Дух зимней сказочности, подобно персонифицированному Северному ветру, мгновенно улечивается, когда писатель уже без прикрас рисует суровую правду жизни. Одновременно О. Генри иронизирует по поводу пресловутой американской мечты о быстром преуспевании в стране возможностей. Однако возможности эти у каждого слишком разные, и слишком велик разительный контраст между мечтами бедняков и планами тех, кто реализовал свою цель обогатиться во что бы то ни стало любыми, даже преступными, путями.

В ряде новелл О. Генри показал, что уважаемые буржуа ничем не лучше обыкновенных грабителей, гангсте-

ров, бандитов с большой дороги. Так, в рассказе «Дороги, которые мы выбираем» («The Roads We Take», 1904) безжалостный разбойник, убийца, грабитель поездов на диком Западе Акула Додсон и преуспевающий глава маклерской конторы «Додсон и Деккер» с Уолл-стрит – финансового центра Нью-Йорка – это всё та же акула, кровожадный и отвратительный хищник. Это один и тот же персонаж, одно и то же лицо с неизменным выражением: «оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность». Правда, бывший бандит по кличке Акула, а ныне владелец коммерческой фирмы мистер Додсон теперь старается скрыть под маской благопристойности свою злодейскую сущность. Однако она поневоле проглядывает из-под лицемерной личины: «Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома».

«Все вы считаетесь достойными гражданами, а сами только и глядите, как бы заграбастать побольше, не давая взамен ни шиша. Не будь вас, разве существовали бы в нашей стране биржевики, перехватчики чужих телеграмм, шантажисты, продавцы несуществующих шахт, устроители фальшивых лотерей? Не будь вас, эти социальные язвы исчезли бы сами собой», – так О. Генри устами героя своей новеллы «Стриженный волк» (1908) обличает омерзительных, наглых, лицемерных дельцов, прикидывающихся почтенными добропорядочными гражданами.

Но вернёмся к бесприютному герою рассказа «Фараон и хорал»: «Зимние планы Сопи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Трёх месяцев заключения на Острове – вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды <...> – для Сопи это был поистине предел желаний. <...> Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Сопи делал несложные приготовления к ежегодному паломничеству на Остров. И теперь время для этого наступило».

Но даже и такое желание, которое назвать мечтой язык не поворачивается, не сразу достижимо для нищего. Трагикомично выглядят ситуации намеренного мелкого нарушения

закона на глазах у полисменов с единственной целью – угодить в тюрьму. После нескольких неудачных попыток, при которых блюстители порядка не обращали на Сопи никакого внимания, он почти отчаялся: «Арест стал казаться ему радужной мечтой, Остров – далёким миражом». Насколько чудовищной, людоедской должна быть социальная система в так называемой свободной стране, чтобы лишение свободы было «радужной мечтой» бедняка!

Однако и для него намечается выход из тупика – возможность истинного возрождения. Неожиданно герой рассказа слышит звуки церковного органа в пустынном ночном переулке: «органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал». Торжествующая мелодия воскресного хора призывает погибающую душу к воскресению: «Под влиянием музыки, лившейся из старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная и чудесная перемена».

Мотив чудесного связан уже не со сказочностью, а с реальными обстоятельствами. Это не заоблачные воздушные замки, а желание обычной, нормальной, человеческой жизни и решимость в стремлении обрести её вновь: «хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решётке, потому что он много раз слышал его раньше – в те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья, и чистые мысли, и чистые воротнички. <...> Он с ужасом увидел бездну, в которую упал, увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низменные побуждения, из которых слагалась его жизнь. И сердце его забилося в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой-судьбой. Он выкарабкается из грязи, он опять станет человеком, он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время ещё не ушло, он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние честолобивые мечты и энергично возьмётся за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нём переворот. <...> Он хочет быть человеком. Он...».

И тут вдруг внутренняя речь внезапно и резко обрывается на полуслове: «Сопи почувствовал, как чья-то рука опу-

стилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена.

– Что вы тут делаете? – спросил полисмен.

– Ничего, – ответил Сопи.

– Тогда пойдём, – сказал полисмен.

– На Остров, три месяца, – постановил на следующее утро судья».

Духовное озарение угасло. Музыка в душе стихла. Мечта истинная – не о тюрьме для зимовки, а о возрождении в новую жизнь, – оказалась радужным мыльным пузырьком. Неслучайно имя, или скорее уличное прозвище, Соару, которое носит герой рассказа, переводится как «мыльный». Никчёмным мыльным пузырьком в античеловеческом государстве оказывается и сам человек, очутившийся в безысходной жизненной ситуации и не сумевший выкарабкаться из неё. Этот мыльный пузырь лопнул под тяжёлой рукой полисмена, решившего отправить за решётку подозрительного голодранца ни за что ни про что, просто так, когда Сопи меньше всего этого желал.

Первоначальная «мечта» героя исполнена. Но хэппи-энд здесь мнимый. Намёк на несбыточность настоящей мечты, предваряющий драматическую развязку, можно было заметить в красноречивой художественной детали, дважды повторяемой писателем: «до ушей Сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решётки»; «хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решётке». Чугунная решётка (в оригинале iron fence) церковной ограды обернулась для горемыки тюремной решёткой. Iron в переводе на русский язык имеет не только прямое значение – железо, сталь, чугун, чёрный металл, но и переносное – оковы, кандалы. Fence – забор, изгородь, ограда, ограждение. Герой, решившийся начать всё заново, не имеет никаких шансов выбиться из нищеты к нормальной жизни. Сопи пойман в ловушку. Для него поставлено непреодолимое социальное ограждение, закрыты все пути, кроме застенка.

Добродушно-шутливый тон повествования не может скрыть боли, горечи и сострадания. В рассказе ясно выразились социальные симпатии автора, убеждённого

в несправедливости государственной системы, обрекающей на страдания массы внутренне чистых людей, не желающих идти против Бога и совести, и защищающей тех, кто ворует миллионами, наживает свои состояния грабежами и убийствами. О. Генри вполне удостоверился в том, что в Америке материальное благополучие и безумная роскошь одних зиждется на нищете и горе множества других.

«Фараон и хорал», как и «Дары волхвов», входит в состав цикла нью-йоркских рассказов «Четыре миллиона» (1906). В предисловии к первому изданию О. Генри объяснил выбор заглавия и тематическую специфику этого сборника: «Не так давно один выдумщик заявил, что в Нью-Йорке имеется не более четырёхсот человек, достойных внимания. Но отыскался другой человек – он занимается переписью населения в Нью-Йорке, – и его более мудрый подсчёт помог нам найти название для этого сборника: “Четыре миллиона”». Четыреста человек – это так называемая элита, богатейшая верхушка общества. Все остальные четыре миллиона – такова была численность населения Нью-Йорка к тому времени – рядовые американцы, разделённые социальной и имущественной пропастью с хозяевами жизни и денег.

Изображая вопиющее социальное неравенство, О. Генри обличал «абсурдность системы, при которой ужасающая бедность была источником огромных фантастических богатств и при которой богатые стали рабами своих богатств и потеряли всё человеческое. Для О. Генри они были чудовищами, которые вытягивали капиталы из бедных, которым они платили крохи, едва достаточные, чтобы прокормиться и помогать богатым делать свои миллионы», – справедливо отмечалось в статье Р.М. Самарина в «Известиях» к столетию писателя.

Не эти забравшиеся на вершины власти толстосумы, а самые обычные люди оказались в фокусе пристального писательского внимания О. Генри, стали героями его произведений. «Он поэт четырёх миллионов», – образно отозвался об О. Генри Корней Чуковский (1882–1969), явившийся одним из первых переводчиков и популяризаторов творчества американского писателя в нашей стране.

Сверхъестественная наблюдательность позволила О. Генри чутко уловить искру Божию – живую человеческую душу, тянущуюся от мрака к свету, каким бы трудным ни был этот путь, – в каждом из его неприметных, на первый взгляд, ничем не выдающихся героев; прочертить линии их судеб.

Рассказ, открывающий сборник, так и называется – «Линии судьбы» (1903). В оригинале: *Tobin's Palm* («Ладонь Тобиана»). Но не шарлатанке-гадалке проричать за десять центов по линиям на ладонях бедняков их судьбы, потому как, подмечает О. Генри, «иной судьбы на ладошке не прочтёшь, кроме той, какую отпечатала тебе рукоятка кирки». Писатель сам выступает как «посланец судьбы» для простого человека: «моя профессия называется литературой. Я брожу по ночам, выслеживаю чудачества в людях и истину в Небесах».

Порой Небесная истина проявляет себя как настоящее чудо. Не мистическое или сказочное, а вполне реальное, возможное, выполнимое и объяснимое, как, например, рукотворное чудо в рассказе «Последний лист» (1905). Старый художник, вечно мечтавший создать шедевр, в ненастную осеннюю ночь под проливным дождём нарисовал зелёный листок плюща на окне умирающей девушки по имени Джонси, чтобы вселить в неё волю к жизни. От соседки старик узнал о болезненной фантазии Джонси: «Я хочу видеть, как упадёт последний лист. Тогда умру и я». Когда девушка поправилась, подруга открыла ей тайну чудесного выздоровления: «Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана – он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист».

Иногда чудо вызвано удачным стечением обстоятельств, как в новелле «Третий ингредиент» (1908), где бедная художница-миниатюристка, такая же маленькая и хрупкая, как её миниатюры, устав бороться с судьбой, бросилась с палубы в воду, но была спасена молодым незнакомцем с удивительно добрым лицом. «Когда чувствуешь себя усталой, или несчастной, или во всём разуверишься, доброта важнее всего», – афористически утверждает писатель устами своей «миниатюрной миниатюристки».

В большинстве своём героини рассказов О. Генри, несмотря на усердный труд, постоянно балансируют на грани нищеты и вынуждены прикладывать усилия для простого физического выживания, преодолевая превратности судьбы. «Судьба швыряет тебя из стороны в сторону, как кусок пробки в вине, откупоренном официантом, которому ты не дал на чай», – замечал писатель в рассказе «Один час полной жизни» (1904). В оригинале: *The complete life of John Hopkins* («Полная жизнь Джона Хопкинса»).

Но даже в таких условиях скромные труженики умудряются сохранять чувство человеческого достоинства, силу воли, стремление к добру. Такова, например, героиня рассказа «Горящий светильник» (1906) Нэнси – продавщица в магазине роскошных вещей, получающая нищенскую плату в размере восьми долларов в неделю.

Девушка приехала в Нью-Йорк из маленького городка, потому что родители не смогли прокормить её. Как говорит приятельница Нэнси гладильщица Лу, чей каторжный труд в прачечной оплачивается на десять долларов выше, её подруге нравится «голодать и важничать». В модном магазине Нэнси «окружали красивые вещи, дышавшие утончённым вкусом. Если вокруг вас роскошь, она принадлежит вам, кто бы за неё ни платил – вы или другие», – афористически заключает О. Генри.

Несмотря на скудное жалование, девушка изо всех сил старается создать видимость благополучия, не допустить оплошности, показать себя с наилучшей стороны: «Нэнси не кутается в меха от резкого весеннего ветра, но свой короткий суконный жакет она носит с таким шиком, как будто это каракулевое манто. Её лицо, её глаза, о безжалостный охотник за типами, хранят выражение, типичное для продавщицы: безмолвное, презрительное негодование поспранной женственности, горькое обещание грядущей мести. Это выражение не исчезает, даже когда она весело смеётся. То же выражение можно увидеть в глазах русских крестьян, и те из нас, кто доживёт, узрят его на лице архангела Гавриила, когда он затрубит последний сбор».

Название «Горящий светильник» (*The Trimmed Lamp*), послужившее также заглавием сборника рассказов О. Ген-

ри (1907), куда вошли такие маленькие шедевры, как «Русские соболя», «Пурпурное платье», «Последний лист» и другие, вызывает ассоциацию с евангельской притчей о мудрых девах, которые всегда держали свои светильники наготове, полностью заправленными лампадным маслом, чтобы в предназначенный час встретить грядущего жениха (ср. Мф. 25: 1–10). Героиня рассказа О. Генри – потенциальная невеста, подобная одной из таких мудрых дев: «Её заправленный светильник не угасал, и она готова была принять жениха, когда бы он ни пришёл».

Нэнси заражена повальной инфекцией, поразившей большинство неимущих провинциалок из захолустья, наводнивших большие города. Эта заразная болезнь незамужних девушек – иллюзорная мечта найти богатого жениха, лучше всего – миллионера. В безжалостном мире каменных джунглей-небоскрёбов Нэнси ощущает себя охотницей: «Она шла по следу великой неведомой “добычи”, поддерживая свои силы чёрствым хлебом и всё туже затягивая пояс».

Многих состоятельных мужчин привлекают «поддельный светский тон Нэнси и её неподдельная изящная красота». Один из них даже делает официальное предложение руки и сердца, но получает отказ. Требование Нэнси к будущему избраннику не только его туго набитый кошелёк: «Это правда – я хочу подцепить богача. Но мне нужно, чтобы это был человек, а не просто громыхающая копилка».

Под влиянием мысли о приоритете истинно человеческого начала перед материальным благосостоянием, о превосходстве души над кошельком героиня постепенно начала избавляться от заразной болезни – желания выйти замуж за миллионера. Видоизменялись и жизненные установки Нэнси: «может быть, бессознательно – она узнала ещё кое-что. Мерка, с которой она подходила к жизни, незаметно менялась. Порою знак доллара тускнел перед её внутренним взором и вместо него возникали слова: “искренность”, “честь”, а иногда и просто “доброта”».

Все эти душевные качества открылись Нэнси в простом и надёжном парне-работяге. Дэн – «серьёзный юноша в дешёвом галстуке» – стал её мужем. С этим персонажем связан замечательный афоризм О. Генри: «Он принадлежал

к тем хорошим людям, о которых легко забываешь, когда они рядом, но которых часто вспоминаешь, когда их нет».

По ходу развития действия писатель приправляет свои истории буквально россыпями афористичных мыслей – зачастую в тоне лёгкой иронии. Так, в «Горящем светильнике» читаем: «Женщина – самое беспомощное из земных созданий, грациозная, как лань, но без её быстроты, прекрасная, как птица, но без её крыльев, полная сладости, как медоносная пчела, но без её... Лучше бросим метафору – среди нас могут оказаться ужаленные».

О. Генри стал голосом простых людей – своих современников, сделал их достойными изображения в литературе, рассказал об их повседневной жизни, о беспросветных буднях в трудах и горестях, о редких праздниках, отмеченных проблесками кратковременной радости. В пёстром калейдоскопе событий и лиц почти трёх сотен рассказов О. Генри создал объёмную панораму жизни, показал представителей различных сословий и званий, общественных групп, множества профессий. Их можно было бы долго перечислять, но не стоит труда. Ведь, с точки зрения писателя, социальный статус или род занятий не должны затмевать в человеке человеческое, его неповторимую личность, образ и подобие Божие. «Однако с какой стати название профессии превращать в определение человека?» – задавал риторический вопрос О. Генри.

Сам он был сродни своим героям. Искренняя и глубокая заинтересованность писателя в судьбах людей, любовь к ним не могли не вызвать ответной любви. В этом секрет необычайной популярности О. Генри. При жизни он был подобен «горящему светильнику» из своих рассказов, своим творчеством писатель нёс свет – по заповеди: «Никто, зажегши свечу, не покрывает её сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет» (Лк. 8: 16). И, даже умирая, продолжал стремиться к свету: «Зажгите свет, я не хочу возвращаться домой в темноте», – таковы были последние слова О. Генри.

Елена КРЮКОВА

ИДТИ ВПЕРЕД

Посвящается Борису Корнилову

Идти. Только идти вперед.

Идти по ночной, слякотно-дождливо томящейся улице, в плывущем и исчезающем свете фонарей, в искрах-молниях ночной грозы – а может, это небо плачет, льет слезы, бесконечно рыдает по всем расстрелянным, убитым.

Нет. Меня не убьешь.

Не убьет меня никто: ты, никто, не пугай ни стуком волчьего сердца, ни тоскливейшим, на полпланеты, волчьим воем.

Мы, поэты, лишь воем, выплакиваем, выпеваем – а подчас и до дна выпиваем – стихи. Свои стихи. Собственные. Кровные. Кровные – это те, за которые заплачено натурой: кровью.

Думает ли поэт Борис Корнилов о расстрелянном Николае Гумилеве? О расстрелянном русском Царе Николае? О застреленном Пушкине? О сраженном пулей Лермонтове? Он просто идет по улице. Под ногами валяется газета. Дождь посекает уже не нужный людям текст, поливает черными ночными слезами. Дождь оплакивает рваную бумагу, запечатлевшую кусочек, кроху быстротекущего времени.

Дождь оплакивает время.

А что это, гляди-ка, оттиснуто уже сумеречной, мутной, размытой влагой типографской краской? Стихи? В газете?

Стихи в советской газете – это гордо... это почетно...

Газеты, журналы, книги... шуршанье бумаг... бумага, бумага, а на ней – оттиском либо торопливым вечным пером, мрачными чернилами – твое сердце, твоя жизнь, в которой все так больно и непредсказуемо. В которой то и дело надо оправдываться перед другими – мысленно или наяву, а он хочет жить смело, напрапалую. И чтобы никогда не ползти на брюхе к сильным мира сего. И чтобы петь не шепотом, а в полный голос.

Петь! Песня! Надобно петь. Звучать. В этом единственное человеческое счастье.

Колыбельная у родимой печи – или гимн на полземли? А, все равно! Кричишь ты стихи или вышептываешь почти беззвучно, они неумолимо слышны; они меняют тебя и по-иному, наново лепят людей, тех, кто думал, что уже всё, конец, не выживу, костей не соберу и душу не оживлю. Не оживу. А стихи – подлинные! страстные! настоящие! земные! небесные! – рожают тебя вдругорядь. Оживляют.

Стихи как огонь: либо ты в руке, мощным факелом, их несешь – и людям дорогу освещаешь, либо они тебя испепеляют.

Спой... ты же можешь спеть свои стихи... сегодня... еще сейчас... среди ливневой ночи...

Песня... Неужели это ты таешь, исчезаешь, слезно, мокро расплываешься на погибающих от ударов наотмашь слепого полночного дождя, враз изветшалых в непогоде страницах центральных советских газет?

Не спи, вставай, кудрявая... в цехах звеня... страна встает со славою...

Страна все больше напоминала знамя. Живое знамя, сшитое из сотен тысяч, из сотен миллионов живых людей, жмущихся друг к другу, ежащихся на ветру – в тайге, в степи, в угрюмых горах. Солнце! Оно было. Нет, конечно, оно было! Но заливало желтым молоком не только радости и победы, но и ужас, из коего, казалось, выбраться, выпростаться – заново родиться – невозможно.

Лучше под ветер ужаса не выбегать.

Но ты выбегаешь, в безвоздушие сидеть невыносимо, задохнешься, ты хочешь воли и ветра, пусть он страшен, и тебя, живое знамя, рвет в клочья твой ветер.

Такая судьба.

Страна напоминала знамя, и его рвали снаряды, рвали-разрывали на части, на клочки люди, сами себе знаменосцы и сами себе кровавая рваная тряпка. А знамя надо было поднимать. Снова и снова. Как поэт хочет жить! В особенности тот, кто рожден был внутри природы-Родины, внутри синего, изумрудно-хвойного «разлива семеновских лесов». Живое колесо года катится: смерть-зима – восстание-весна – любовь-лето – жатва-осень. Урожай: люди, ведь они тоже урожай. Катятся головы, кладутся в корзины рукописи, падают наземь спелые книги и зрелые жизни; катятся яблоками, тыквами дни и ночи. Аресты, ведь это тоже сбор страшного урожая. Или чудовищное выпалывание сорняков?

«Мы не рабы. Рабы немь», – вспоминал он лозунг времен Революции.

Счастливы немые. От них не требуют речей во что бы то ни стало. Они молчат – тем спасаются. А поэт?

Голос! Логос!

Великий голос, площадной громкоговоритель, на всю страну! На весь мир! Не слышат?! Услышат!

Я ничего не боюсь, ибо я поэт! Поэт поет свой псалом, это священнодействие, он поет неустанно и чисто свою Псалтырь. Веру убивают, храмы взрывают – а он поет. Ну и что, что он верит не в Бога, а в Красное Будущее. Красное – значит Пре-Красное. Нас утро встречает прохладой, нас песней встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада...

О! Еще как рада. Рада тому, что родится ребенок. Игла пожизненной боли в груди: отца арестовали. Зато тапочки можно намазать меловым порошком, чтобы были белее, и пойти вместе со всеми маршировать на широкую площадь, чтобы смотреть прямо в лицо небу, прямо в красное, прекрасное лицо родному знамени.

Родным людям. Из их лиц и судеб это родное лоскутное знамя, выкрашенное в сумасшедшей военной красильне в цвет святой крови, и сшито.

А не ты ли сама шила его, слезы глотая, беременная третья жена арестованного поэта Бориса Корнилова?!

Третья его любовь.

Татьяна. Ольга. Люся. Бог троицу любит.

Да разве в женщинах дело во времена Революции, в драматические, духоподъемные времена коллективизации, во времена, когда злобные враги во всем мире только и помышляют, чтобы удавить, задушить родную, молодую Советскую страну!

Женщины... мужчины... Жизнь – женщина. Смерть – женщина. Война – женщина. Революция – женщина. Свобода – женщина. Тюрма – женщина. Да ведь и поэзия – тоже женщина.

Весна, осень, зима – бабы; годовой круг, видишь, он женский; никуда от женщин не деться, разве что в стихи нырнуть.

Ночь, ты тоже женщина! А вот день – тот мужик. День лепит дело, деяние. А ночь, что делает ночь? Ночь заставляет тебя кругами бегать по комнате, выбегать на балкон, видеть свое отражение в черном небе, как в невероятном зеркале, ужасном, великанском, дико сверкающем – это блестят лужи и сверкают потоки ливня, надо выдыхать стихи в безумье мрака, надо глубоко вдыхать их, ими жить, потому что завтра, о да, завтра, ну, быть может, послезавтра, тебя убьют. Поэтому убей свою смерть.

Убей ее – поэзией.

Если тебя убьют, милый, поэзия тебя воскресит. Эфемерное созданье! Хотя вот Маяковский, он такой громopodobный, такой массивный, ну просто как слон в посудной лавке, и зычный, полётный голос у него, такой голос разбивает кирпичную кладку и гранитные парапеты, летит в небо не хуже аэроплана, рассекает морской туман не хуже корабельного форштевня. Маяковский тебя спасет, если что! Подбежит к тебе семимильными шагами, схватит за руку, выдернет на трибуну. И крикнет: читай! Вопи! Ори! Ну!

И ты читаешь.

Вот послушай меня, отцовская
сила, сивая борода.

Золотая,

синяя,

Азовская,

завывала, ревела орда.

Лошадей задирая, как волки,

батыри у Батыя на зов

у верховья ударили Волги,

налетая от сильных низов...

Нет, тебя Есенин спасет! Он твое бескрайнее поле. Поле, оно больше, шире любой площади. Град – камень, а поле – земля живая. И она дышит. Как ты. Дышите с полем вместе! Дышите с Есениным вместе! Общее дыхание – это же чудо. Вы же оба русские люди. Власть одна, власть другая, она меняется. А голос у тебя один; как ты с ним родился, с голосом своим, с песней своей, так и уйдешь с ним; и дышишь ты, чтобы звонче петь, одним дыханьем с твоею землей.

В Нижнем Новгороде с откоса
чайки падают на пески,
все девчонки гуляют без спроса
и совсем пропадают с тоски.

Пахнет липой, сиренью и мятой,
небывалый слепит колорит,
парни ходят – картуз помятый,
папироска во рту горит.

Вот повеяло песней далёкой,
ненадолго почудилось всем,
что увидят глаза с поволокой,
позабытые всеми совсем.

Эти вовсе без края просторы,
где горит палисадник любой,
Нижний Новгород, Дятловы горы,
Ночью сумрак чуть-чуть голубой.

Влажным ветром пахнуло немного,
лёгким дымом, травую сырой,

снова Волга идёт как дорога,
вся покачиваясь под горой.

Нет, нет, твой спаситель – Александр Блок! Ты зачитываешься им! Засыпаешь с томиком Блока в руках, на груди. Не женщину обнимаешь, а книгу. О, книга – тоже женщина, это надо запомнить. «Соловьиный сад!» «Двенадцать!» «Скифы!» «Для вас – века, для нас – единый час... Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас – монголов и Европы...» Орды Чингисхана, безумствуя, блестя снеговыми улыбками, грызя добытое из торбы вяленое мясо, дошли до его родимых семеновских лесов. Тевтонские рыцари зловеще и железно явились на льду Чудского озера, намереваясь его победить. Кого – его? Да, тебя, поэт! Ибо ты, поэт, и есть русский народ!

Глас народа – глас поэта. Так дерзко надо нынче изменить античную эту присловицу.

Поэт, спой о том, как ты любишь Родину!

И спой о том, как видишь ты, что деется на ней.

Спой о великих ее победах! О достижениях спой! О бодрости духа и ясности веселого взора!

Страна встает со славою... навстречу дня...

Навстречу дня встает любящая женщина, распахивает руки, бежит-летит по широкой, умытой ночным дождем, солнечной улице.

Бежит навстречу дню – твоя жизнь.

...это потом, о, потом тебя будут бить. Жестоко и расчетливо. Пытая и издеваясь. Человеку сладко мучить другого человека. Ты понимаешь, что тебя скоро не будет; тебя убьют, устав терзать. Палачи тоже люди, они устают. Разве об этом можно – песней? Стихом?

...можно все и обо всем. И – обо всех. Все хочет быть воспето голосом твоим.

Слушайте, люди, слушайте, ну зачем они меня пытаются?! Это же никому не нужно. Ни им, ни мне. Зачем они меня бьют? Ведь все равно расстреляют. Я это знаю. Поэт знает свою смерть. Знает всегда. Так зачем тогда я должен себя оговорить? И, главное, предать других?

Ты не предать. Не предатель!

Ты... не Иуда...

В небесах, ясных, голубеющих чисто, призрачно и прозрачно, летает бесстрашный Валерий Чкалов, на земле по Красной площади маршируют физкультурницы в белых кофточках и в белых танкетках, густо намазанных мелом, над головами смеющихся людей летают голуби, а ты, поэт, не ты ли голубь, белый турман, зачем-то затесавшийся в стаю людей-волков, нет, люди не волки, они только прикидываются волками, а сейчас оборотень перекинется и станет, Господи, человеком, и всё поймет, и все простит, и сам прощения попросит, и за полоумную башку схватится: о, что же я наделал с братом моим?! зачем я убил его?

Но... разве... разве я сторож брату моему...

И меня, белого голубя, небесного турмана, обеими руками нежно обнимет, к сердцу прижмет, надо мной колыбельную споеет, а потом как закричит: на крышу меня ведите, на крышу! я сейчас белого голубя – в небо – сам выпущу! Навсегда!

Не быть трусом. Ты поэт, ты не должен быть трусом. Ты должен уметь побеждать боль. Бороться с ложью. Смеяться над обвинением. Над тобой глумятся – а ты смеешься. Ты не сознаешься в том, чего ты не совершал никогда!

Враг. Трус. Разве это на твои стихи знаменитые песни поют? Да ты просто тряпка!

...засыпал в камере. Расталкивали. Били. Опять били.

А ты поднимал голову от пола, искал глазами глаза мучителей и плохо, больно выталкивал сквозь разбитые губы и зубы: вы меня завтра отпустите на волю, в чем есть, босиком, в исподнем, я пойду прочь, пойду и пойду себе, ведь у меня все равно дома нет, ничего нет, и жизни нет, а есть, дорогие товарищи, только голос, голос, он еще есть, я буду петь, меня услышат, и вы услышите, и вы.

И еще – Родина. Да. У меня есть моя Родина.

А она, Родина, сильнее всякого на свете зла.

...Но нелепо повторять дословно
старый аналогии прием,

мы в конце, тяжелые как бревна,
над своею гибелью встаем.
Мы стоим стеною – деревьями,
наши песни, фабрики, дела,
и нефтепроводами и рвами
нефть ли, кровь ли наша потекла.

Если старости
пройдемся краем,
дребезжа и проживая зря,
и поймем, что – амба – умираем,
пулеметчики и слесаря.

Скажем:
– Всё же молодостью лучшая
и непревзойденная была
наша слава,
наша Революция,
в наши воплощенная дела.

* * *

Бориса Корнилова колотил ливень времени. А он его, время, упрямо, счастливо пел, воспевал. Так устроен этот голос: голосу тому нужен мир, весь целиком, нужна громада Космоса, ночная звездная храмина над головой, размахнувшиеся гигантскими крыльями алмазные, ослепительные галактики, кометы с кровавыми, драконьими хвостами, луга с тысячью остро,пряно и пьяно пахнущих трав и цветов, и пчелы жужжат, и змеи ползут в одичалой траве, и рыба щедро, изобильно плещется, серебряными свечками встает, играя, из тишайшей заревой воды, а далеко поют косцы, это сенокос, это родной нижегородский край, любимый, шепчет женский голос, не умирай, только не умирай, а твой голос последним хрипом отвечает: нет, я не умру, я просто стану... знаменем на ветру... А ты... а ты... у последней черты...

Товарищи, передайте... прошу вас... моей жене... от меня... записку последнюю...

Нет, я буду жить, жить буду, врете, буду жить...

Приснился сон хозяину:
идут за ним грозя,
и убежать нельзя ему,
и спрятаться нельзя.
И руки, словно олово,
и комната тесна,
нет, более тяжелого
он не увидит сна.
Идут за ним по клеверу,
не спрятаться ему,
ни к зятю,
и ни к деверю,
ни к сыну своему.
Заполонили поле,
идут со всех сторон,
скорее силой воли
он прерывает сон...

Мы... А кто такие мы?.. Неужели те, что бьют меня, – это тоже мы?..

Мы... в недрах тюрьмы... не бери никогда жизни
взаймы...

Мы... за верность – казнят... так ведь это твоя проверка... последний парад...

Тишь почетного караула
выразительна и строга –
так молчат вороненые дула,
обращенные на врага.

И прощаясь и провожая
вас во веки веков на покой,
к небу поднята слава большая –
ваша слава –
нашей рукой.

Ты же любишь петь. Ты так любишь петь. Песня – вот сердце твое. Где песня твоя, там и сердце твое! Да! И только так. Песней спасаешься! И, может быть, еще спасешься. Ты спой им! Тем, кто истязает тебя! Да! Им! Нет, ты не сошел с ума. Спой им, ну попробуй! И увидишь, что будет.

Пусть то, что будет, будет через много лет. Ты все равно увидишь все это там, внизу, на твоей земле, с широких небес.

Почему у нас на Родине все такое широкое? Широкая площадь. Широкое поле. Широкое небо. Широкое зло. Широкое добро. Помнишь, как Митя Карамазов говорил у Достоевского? «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил!»

Широкий СССР! От Москвы до самых до окраин... с южных гор до северных морей...

Огляди свой простор. Отсюда, из темной и голой тюремной камеры. Оттуда, с воли, сквозь потоки черного дождя, падающие отвес с черных, набрякших пресными Божьими слезами, широких небес.

Закрой глаза и огляди.

Что видишь?

Во что веришь?

В свою Родину!

Что ты не предашь никогда?!

Свою Родину!

В чем сознаешься ты напоследок?!

В любви к Родине!

И это все правда. Последняя правда. Чистая правда.

Правда – песни твои.

А гляди-ка, ведь и Правда – женщина.

И Песня – женщина.

На фронтах от севера до юга
в непрерывном и большом бою
защищали парень и подруга
вместе революцию свою.

Друг, с коня который пулей ссажен,
он теперь спокоен до конца:
запахали трактора на сажень
кости петроградского бойца.

Где его могила? На Кавказе?
Или на Кубани? Иль в Крыму?

На Сибири? Но ни в коем разе
это неизвестно никому.

Мы его не ищем по Кубаням,
мертвеца не беспокоим зря,
мы его запоем и вспомоем
новой годовщиной Октября.

Мы вспомоем, приподоем шапки,
на мгновение полыхнет огнем,
занесем сияющие шашки
и вперед, как некогда, шагнем.

Но ведь Россия, именно Россия первой сделала этот шаг. Ко всеобщему, широкому как океан, а точнее, как небеса, всемирному равенству и братству. И всемирной свободе.

Родина твоя сделала первый шаг к тому, чтобы сказать: человек человеку – друг, товарищ и брат.

А потом – после такого Слова – и сделать так.

Да! Так!

И весь мир будто взорвался. Озверел. Окрысился. Выставил черные когти. Замахал черными крыльями. Напал! Чтобы заклевать! Изничтожить! Погубить! Вражда мира оказалась не страшной сказкой, а жестокой реальностью. Кровь полилась. Границы глянули рваными ранами с лохмами, охвостьями обильно политых кровью земель. По всей стране голосили бабы, теряющие мужей, братьев, детей. Гражданская война многому научила тебя, поэт; она научила тебя слушать свою кровь. Ее течение. Ее приливы и отливы. Ты сам стал берегом жизни. На тебя одного была надежда твоего искусства: ты, брат, уж выживи, сдюжь, не подведи. Спой.

Спой в полный голос!

Да... я спою... дайте мне время, дайте срок... я готов погибнуть, я все понял, да, но только не сегодня, может быть, завтра...

Да, была Гражданская война, но ведь именно она воспитала нас смелыми! сильными! вырастила нас бойцами! бесстрашными! твердыми! стойкими! и – верящими! наперекор всему страданию верящими! по-настоящему

верящими в то, что завтра мы, да, мы все будем жить – при коммунизме...

Коммунизм – это то, что или наступит неизбежно, и у человечества никакого выбора не будет; или же не будет коммунизма, но не будет и человечества. Оно, заматавшись в выборе пути, убьет само себя.

Возможно, это закон Космоса; и если это исторически оправданный закон, тогда коммунизм – спасение. А первые шаги на пути к нему... ну что ж, первопроходцы всегда страдали, засыпали в голоде и холоде, погибали от клыков дикого зверя, от пуль и ножей вражеских племен, от буйства и разгула стихий.

Стихия, ведь это тоже стихи. Твои стихи! Они есть стихия. И да, они разгульны! Широки, безмерны, безумны, ярки! Они горят, небесные сумасшедшие фонари, их издалека видно. Так горят самосветящиеся люди, личности. А ты, ты ведь тоже так горишь, Борис! Ты – костер! Ты – новая звезда в непроглядной ночи! И тебя издалека видно и слышно! Даже отсюда, из этой нынешней ливневой ночи, хотя прошло уже столько лет! А сколько лет прошло? Да никто и не считал! Мы, поэты, все жители вечности, ты ведь тоже так думал, так говорил и так шептал ей, своей второй любви, Ольге Берггольц, ты сравнивал ее с белесой Луной, ну да, Луна – женщина, это непреложно, и так с пугающей, бездонной древности повелось.

От луны до луны. От войны до войны. Гражданская война, самая страшная. Зато это битва за будущее. Красное звездное, великое будущее! Война за время высоко поднимает дух твой; война за грядущее счастье, посреди настоящего горя и ужаса, насыщает тебя хлебом новой веры, лечит жажду твою водой новой надежды. Война за будущую радость, это почти религия. Умереть на поле брани за свободу и ширь счастливых небес!

Он шел сквозь дождь и повторял себе непослушными губами: наши дети, нет, наши внуки будут жить при коммунизме. Коммунизм – это Солнце. Но и у Солнца бывают затмения. И Солнце, вы все знаете, люди, время от времени заслоняет Луна. Но мы же терпим. Мы – ждем! И дождемся! И выстоим! И протянем руки к мощному, чистому свету!

А то, что бойцы частей особого назначения забирают хлеб у крестьян, чтобы увезти зерно голодающим в гудящие муравейники городов, это же временно. Временная мера. Жестокость, она всегда временна. Зло, бывает, и лечит. Зло – лекарь, и отсекает больную плоть. Зло может надумать тебя! Заставить жить по-другому! Родить заново! Сними рубаху и отдай ближнему, он мерзнет, он нищий? Да! Не хочешь добром отдавать зерно – возьмем силой!

Но это же... во имя будущего... во имя нового Солнца...

Ты жесток; но ты жесток во имя. Ты убил, но ты убил во имя. Разве во имя Господа люди друг друга не убивали во все века? А теперь Бога нет. Есть Будущее. Есть Время.

Во имя... времени...

Пропадай, жеребенок, к черту,
погибай от ножа, огня...
И хозяин берет за челку
настороженного коня.
Кровь, застывшую словно патоку,
он стирает с ножа рукой,
стонет,
колет коня под лопатку –
на колени рушится конь,
слабнет,
роет навоз копытом –
смерть выходит со всех сторон,
только пух на коне убитом
мокнет, красен,
потом черен.
А хозяин в багровых росах,
облит росами, как из ведра, –
он коров и свиней поросых
режет начисто до утра.

Так не достанься ты новомодному колхозу, мой конь, родное зверье мое.

Скотину-то убить – ладно, крестьянин к тому привычный. И то жальба перехватывает петлею глотку. А – человека?

Восстания крестьян против новой власти. В Варнавине... в Тамбовской губернии... по всей матушке-Сибири... по Урал-камню...

Закрыться в шкатулку сугубой эстетики, утонченной красоты – или отпустить свое кровное, кровавое, кровавое искусство на волю; не убить родимого коня, а вывести из конюшни и крикнуть: беги! Воля – твоя! Свобода – твоя!

...поэт без чувства свободы – кто он? Придворный сочинитель? Компанейский писака? Затворник, анахорет, умудренный исихаст?

Нет! Он есть свобода. Свобода равна жизни.

И ей же равен гудящий на ветру времен огонь.

* * *

Он думал, говорил и писал о том, как умрет. Нет поэта, художника без мысли о смерти. И Марина Ивановна Цветаева, живая, живущая, и Маяковский, и Есенин, и Гумилев, и Волошин, и все, кто уехал далеко – Георгий Иванов, Осоргин, Зайцев, Бунин, – все о смерти помышляли, тайно или явно. Смерть – ипостась жизни. Жизнь-смерть – двуликий Янус. Великий мировой дуал. Смерть в те поры ходила, как подружка на гулянке, рядом с людьми. Свистели над ухом пули. Взрывались снаряды. Гремели пушки. Сверкали в ночной тьме ножи. Дрожали в мозолистых руках обрезы. Ярко и страшно горели факелы в тяжелых чугунных кулаках. Революция – апология гибели; и не раз он шептал себе: это надо пережить, переплыть, перейти вброд! Смерть – вброд перейти! Реку боли, реку забвения...

Человек, честолюбивый, полный сил, хочет победы и власти. А народ? Не лучше ли, не традиционной ли, не удобнее, не спокойнее ли народу было под Царем, а не под большевиками? Однако власть имеет свойство меняться. Разрушаться, распадаться, истекать кровью: умирать. Как человек.

Да, может быть, власть это и есть человек. Приказывающий, убивающий, вознаграждающий. Ну ведь не воздух же она, который вдыхаем. Не черный ночной дождь.

Нет! Дождь не черный! Он – серебряный! Серебряные тяжелые струи! Холод, потоки воды... слепой бег... ярость, борьба...

...Врага окружая огнем и кольцом, медлительны танки, как слизи, идут коммунисты, немея лицом, – мое продолжение жизни.

Я вижу такое уже наяву, хотя моя участь иная, – выходят бойцы, приминая траву, меня сапогом приминая.

Но я поднимаюсь и снова расту, темнею от моря до моря. Я вижу земную мою красоту без битвы, без крови, без горя.

Я вижу вдали горизонты земли – комбайны, качаясь по краю, ко мне, задыхаясь, идут... Подошли. Тогда я совсем умираю.

...быть влюбленным в жизнь, в женщину, в Родину, в будущее – разве этого так мало?

Разве это не есть чувство Бога? Пусть Его отняли у Руси, Он же все равно есть!

...а может, Бог – там, на трибуне; он взывает, ведет; он – вождь, и это – свято.

И это – вера.

Из провинции – в город. От земли – в столицы.

«Это многих славный путь», – вспоминал он строчку Некрасова.

Город – это сцены. Сцена – площадь; сцена – театр; сцена – подмостки, ты взбегаешь на эти голые доски и бросаешь в настороженный, многоглавый, таинственный зал пламена своих кровных, выстраданных песен. Город –

шумные, с пьянками-гулянками, писательские сборища, где тебе возможно встать посреди прокуренной комнатенки в полный рост и читать, громко, страстно, взхлеб опять читать – свое. Прилюдно жилы ножом вскрывать! Выкрикивать – себя! Свое сердце оголять! Душу свою ножом мысли разрезать и расстреливать огненной очередью жестоких слов! Это и есть поэзия: она по-своему тоже жестока, безжалостна. Как война. Как революция. Ты приносишь себя в жертву на алтарь поэзии, и жертва эта суждена, неотвратима, если ты словом живешь и дышишь. А ты не только свое читай, пиит, но и чужое, насмерть любимое. Баллады Жуковского! Любовные признания Пушкина! Сходные с народными песнями, широкие, как равнинная русская река, исповеди Есенина! Ах, Есенин-то родной ему; роднят их деревня, лапти, дедами плетенные, ягодные туеса, громадные корзины с белыми грибами, сенокосы, радужные и торжественные, как неведомый праздник небес и земли – бабы нарядные, мужики строгие, как во храме, на луговину идут, косы серебряными чехонями ослепительно сверкают в солнечных лучах...

А разве ж революция уничтожит крестьянство, убьет его? Да никогда! Крестьянин – основа основ родной земли! Был, есть и будет! А город... ах ты, город... много в тебе хорошего, но... изобилие соблазнов, темные тени преступлений, тайный, безвыходный ужас застенков...

Если есть преступление, будет и наказание.

За что его-то?! За что?!

Я свой! Я свой, родной! Я – революции верен! Я – с ней – навсегда! Не бейте меня! Не... убивайте...

А разве мы, советские люди, делимся на своих и чужих?! Разве мы все – не один народ, один ветер, один порыв, одно грядущее счастье – на века?!

Да, он не сможет поименно перечислить поэтов – друзей и современников Афанасия Фета; не сможет наизусть прочитать библейскую «Песнь песней»; не сможет поведать, о чем в трилогии «Царство Зверя» писал Мережковский; да, вы, друзья, бесспорно читали больше, знаете больше, больше вкусили хлеба земной мудрости, вы меня, Борьку Корнилова из Семенова Нижегородской губернии, за пояс

знаньями заткнете! Зато я сейчас вам Пушкина, свое любимое, как начну читать – так весь вечер читать и буду! В море земной культуры у каждого своя лочия. Вы – знаете, а я – чувствую!

Да, он чувствовал. Искусство – это чувство. Чувствовать человек стал прежде, чем мыслить. Психизм явился потом, позже. Сначала была великая эмоция. Огромная радость или невыносимая боль мира.

Я мою деревню – чувствую! Это значит – люблю.

А люблю для поэта значит – воспою.

Даже если сейчас петь надлежит о другом.

О другом... о другом...

Стихи – это не жизнь... это просто стихи...

А может быть, стихи – самая великая, самая огненная жизнь? И нет в мире ничего сильнее, мощнее, страшнее, безумнее, величавее этого огня?

Гори, душа. Сгорай. Пламя – это чувство. Чувствуй стихию. Стихия, твои стихи.

Их можно арестовать, как человека. Поджечь, сжечь, как овин сжигают в полыханье вражьего набега, как в дыму восстания красного петуха пускают в барский дом. Сжечь, как во срубе сожгли во времена Раскола опального протопопа Аввакума! Их можно даже пытаться! Извращать, корезить, хохотать и глумиться над ними, отдавать на растерзание ненавистникам! А стихи всё живы. Они – светят своим светом! Не отраженным! Не брошенным в тюрьму! Не заемным! Не затменным!

Если тебя схватят, руки свяжут тебе, бросят за решетку и будут пытаться, будут пытаться вбить в тебя твое близкое самоубийство, сделать так, чтобы ты сам себя унизил и растоптал, – не дрейфь. Не сдавайся. Не плачь! Не моли о пощаде! Ты, крестьянский сын, лучше многих городских сусликов знаешь: пощады нет. А есть только война!

Последняя война: твоей души с застенком.

Время тоже можно заключить в застенок. Лишить воздуха и свободы.

А как быть, если на одном конце коромысла – свобода, а на другом – тюрьма?

На одном плече – крылья синего неба и охапки полевых цветов твоего праздничного, сияющего грядущего, а на другом – брюхатая жена повисла, плачет, цепляется руками за тебя, уходящего навсегда, и лицо ее в крови, били, что ли, а может, ногтями, в отчаянии, вечный Ярославнин лик свой расцарапала... и поет, как плачет, и плачет, как поет... всегда песня, везде песня...

Боже! Можно ли нынче, сейчас, воззвать к Тебе!

Не спи... вставай, кудрявая...

...вставай, моя кудрявая, веселая жизнь. Ночь пройдет. Черный дождь утихнет. Мои стихи будут повторять мои счастливые дети, внуки и правнуки. Да! Будут! Потому что они будут свободны. Время – их – обнимет. И белыми голубями выпустит из клетки на волю.

...а может, меня и знать-то никто не будет в будущем. Может, забудут меня.

Время, не смейся! Хочешь, я посмеюсь над тобой? Сам улыбнись тебе?

Время, унеси меня прочь от самого себя, мой вороной конь! Я не зарежу тебя, как своего родимого коня тот мужик зарезал. Ты мой вечный конь. Бессмертный. Унеси меня туда, где я никогда не умру.

Я вынесу эту боль. Вынесу... выдержу. Я сильный. Слышите! Я!.. сильный...

Айда, голубарь,
пошевеливай, трогай,
Бродяга, – мой конь вороной!
Все люди –
как люди,
поедут дорогой,
А мы пронесем стороной.
Чтобы мать не любить
и красавицу тоже,
Мы, нашу судьбу не кляня,
Себя понесем,
словно нету дорожке
На свете меня и коня.

Зеленые звезды,
любимое небо!
Озера, леса, хутора!
Не я ли у вас
будто был и не был
Вчера и позавчера.
Не я ли прошел –
не берег, не лелеял?
Не я ли махнул рукой
На то, что зари не нашел алее?
На то, что девчат не нашел милее?
И волости – вот такой?
А нынче почудилось:
конь, бездорожье,
Бревенчатый дом на реку, –
И нет ничего,
и не сыщешь дорожке
Такому, как я, – дураку...

...не бояться. Ничего не просить.
Только верить.
Только любить.
Идти сквозь черный дождь.
Идти. Только идти вперед.

Роман НИЖЕГОРОДСКИЙ

ГОРЬКОЕ ГОРЬКОВЕДЕНИЕ ЕВГЕНИЯ ПОЗДНИНА

*Жизнь подарила мне сильнейшую чувствительность,
нежность, огромную любовь к ней и к людям.*

Е.Н. Позднин. Из неотправленного письма Ларисе N

Литературовед и горьковед Евгений Николаевич Позднин (1943–2020) прожил поразительно одинокую и насыщенно несчастную жизнь. Постоянно находясь в гуще событий, в центре коллектива, на острие горьковских штудий, он до конца жизни так и не смог обзавестись ни прочными связями, ни друзьями, ни близкими людьми.

Отчасти причиной тому был его непростой характер – горделивый, бескомпромиссный, с обостренным чувством собственного достоинства. Отчасти вредило заикание, заметно усилившееся после инфаркта в 1996 году. В совокупности со стеснительностью оно обрело Евгения Николаевича на молчание, которое он с большим трудом нарушал отрывистыми, вынужденно краткими фразами. Редкий собеседник был готов его выслушать до конца... Все это угнетало Позднина, тяготило, но так и не смогло сломить. Он всегда выглядел подтянутым и спортивным. Чемпион школы по теннису, шахматист, капитан районной футбольной команды, он и умер стоя. Выйдя из автобуса, он едва прошел несколько шагов, как сердце остановилось... Через мгновение он упал на декабрьский мерзлый асфальт.

По своему мировоззрению Позднин, как это ни парадоксально прозвучит, был субъективным идеалистом. Он всю жизнь прожил в мире собственных представлений о действительности, а когда они слишком резко расходились с происходящим, объяснял это с помощью всевозможных заговоров и тайных пружин истории. Если не помогало и это – разрыв становился непереносимо мучительным – он конструировал собственную реальность, в которую охотно приглашал других «труждающихся и обремененных». Несмотря на то что он был последовательным приверженцем социалистических идеалов (в личном архиве сохранилось до полудюжины толстых тетрадей с конспектами классиков марксизма), это была особая версия советского социализма, которая уже в Хрущеве усматривала предательство идеалов Ленина – Сталина. В одном из писем он оговаривается, что, хотя советские либеральные диссиденты пользуются повышенным интересом у изучающих историю инакомыслия в СССР, правые диссиденты (к коим он причислял и себя), выступавшие за возвращение к сталинской модели развития страны, упорно игнорируются. Немудрено, что с такими взглядами его заявление на вступление в КПСС несколько раз отклонялось, а в перестройку, которую он встретил с возмущением, им заинтересовался всесильный КГБ. Впрочем, в партию он всё же вступил – в конце 1990 года, когда оттуда другие предпочитали бежать, а кое-кто даже публично сжигал партбилет в эфире государственного телеканала.

Любые столкновения Позднина с реальностью лишь усугубляли глубину пропасти, разверзшейся между ним и окружающим миром. В конце концов он решил, что общество и повседневность отторгают его не потому, что он неправ, а потому что правды нет в них самих. Так, он переписал сначала ключевые сюжеты истории XX века, в которой царскую семью никто не расстреливал, Жуков был подменен на потомка Романовых, мудрого Сталина предал и убил буржуй-Хрущев, а масоны сплели заговор, чтобы уничтожить СССР... В этой конспирологии просматривались изломы его собственной биографии, а подчас

и рухнувшие чаяния целого поколения. Бедное, но относительно сытое и честное детство при Сталине; крах мечты о карьере военного моряка с хрущевской реформой армии, ударившей не только по численности вооруженных сил, но и по её престижу; застой 1970-х, когда «пассионарная» молодежь задыхалась от лицемерия и невостреманности в обстановке тотального дефицита товаров; политическая турбулентность 1980-х, окончившаяся крахом СССР в тот момент, когда Позднин только обрел свое призвание горьковедом и, казалось бы, встал на крыло... Последовавшая затем ревизия всего советского наследия, включая личность и творчество Горького, предопределила конец академической карьеры «советского правого диссидента», а несостоявшийся реванш КПРФ на президентских выборах 1996 года совпадает с инфарктом и окончательной потерей Поздниним трудоспособности...

В поле искривления реальности, когда обманутым и преданным оказывается целый народ, неуместно и малодушно думать лишь о себе... А малодушным Позднин никогда не был: с открытым забралом он атакует всё более ранние события русской истории, разбираясь с родословием Ульяновых, тайнами дома Романовых, сокрушает мифы христианства и даже гомеровской Трои. Человек, лишенный государством возможности достойно жить на пенсию по инвалидности, с методичностью мануального терапевта пытается вправить суставы истории. Ибо не может же быть нормальной ситуация, когда человек труда, который всякий призыв страны «ключицами своими подпирал» – будь то всесоюзная стройка или целина, оказавшись один на один со своей бедой, не может рассчитывать, что Родина придет к нему на помощь. В 1997 году, когда Позднин проходил реабилитацию после инфаркта и в семье не было средств, он наивно попросил департамент соцзащиты города о единовременном выделении небольшой суммы на покупку препаратов для восстановительного лечения. Чиновники отписали, что совокупные доходы его семьи в пересчете на одного человека соответствуют прожиточному минимуму, а потому помощь быть выделена не может...

Когда к власти в области ненадолго пришел коммунист Г.М. Ходырев, Позднин снова воспрял и предложил себя в команду к избранному губернатору. В личном письме он написал: «с врачами у меня договорённость – как только я нахожу работу себе, они снимают с меня инвалидность. И, в самом деле, какой я, к черту, инвалид?!» Он был готов к любой работе, кроме тяжелого физического труда, который, наряду с ночными сменами, ему запретили врачи. Но Ходырев в тот момент уже готовился к выходу из КПРФ, поэтому не был заинтересован получить в команду советского идеалиста. Снова трагическое несовпадение с реальностью... В итоге горьковед стал «гореведом» и оказался обречен на лишь на редкие гонорары за статьи краеведческого содержания и историческую публицистику.

Но в 2017 году, в канун 150-летия со дня рождения М. Горького случилось почти невозможное... Про Позднина вспомнили, вернее, он сам напомнил о себе. На вышедший накануне в издательстве «Деком» путеводитель по горьковским местам Позднин написал разгромную рецензию под остроумным заголовком «Горькое горьковедение». Поскольку издание было осуществлено в том числе за счет бюджетных средств, выделенных правительством Нижегородской области, в высоких кабинетах призвали к ответу участников проекта – издательство и Государственный ордена Знак Почета музей А.М. Горького. В итоге издательство, разобравшись, с какого уровня специалистом имеет дело, от дискуссий с Поздниним перешло к сотрудничеству, в результате которого на свет появилась книга «Жизнь и судьба Василия Каширина»...

Горький, которому Позднин посвятил десятилетия научно-исследовательской и архивной работы, как будто протянул руку своему биографу, вывел его из забвения и показал, что и в 75 лет можно быть не только действующим ученым, но и автором настоящих открытий.

Впрочем, Позднину было не впервой...

Когда в 1987 году филологический факультет Нижегородского университета рекомендовал Позднина для поступления в аспирантуру ИМЛИ, то к официальному

представлению был приложен перечень уточнений, сделанных соискателем к биографии А.М. Горького... на 6 (sic!) листах. Фактически это означало необходимость полного пересмотра первого тома «Летописи жизни и творчества А.М. Горького», изданного в 1958 году. Сенсационной стала и тема кандидатской диссертации: «Документальная основа повести М. Горького “Мои университеты”», которую Позднин защитил в 1993 году, в год 125-летия со дня рождения своего кумира, уже после выхода нашумевшей монографии «Друзья молодого М. Горького». Сравнить это событие можно было только с неожиданным появлением на небосклоне кометы... Из ниоткуда появился сотрудник службы безопасности Горьковского аэропорта, который, пройдя ниже уровня всех горьковедческих радаров, в возрасте 45 лет заново переписал юношеский период биографии писателя. Казалось бы, все написано, все открыто – литературоведы и горьковеды за полвека давно просеяли все архивы сквозь мелкое сито... Но – нет! Это все равно как пойти в городской парк за грибами и вернуться с полной корзиной отборных белых. Излишне говорить, что понравилось это далеко не всем... Поэтому исчезновение с горизонта въедливого, самолюбивого персонажа с крайне ретроградными, немодными политическими предпочтениями некоторые восприняли с облегчением...

Но, скрывшись от наблюдателя, комета сделала полный оборот через забвение, крошечную нищету, тьму одиночества, чтобы вновь пройти над горизонтом в год 150-летия М. Горького с исследованием документальной основы двух других книг автобиографической трилогии – «Детства» и «В людях». Дважды, с перерывом в четверть века, войти в одну и ту же воду способен лишь выдающийся ученый или... настоящая звезда. И это – Евгений Позднин.

* * *

Публикуемый ниже текст был передан мне Е.Н. Поздниным в феврале 2020 года как один из вариантов авто-

биографической справки. Она была составлена в качестве приложения к переданной ранее на ответственное хранение в Архив А.М. Горького ИМЛИ РАН части личного архива. Попавшая нам в руки машинопись на 9 листах является одной из финальных редакций и мало отличается от приобщенной к описи его личного фонда. Я позволил себе раскрыть скобки и сокращения, добавить пропущенные слова (все перечисленные случаи обозначены в тексте треугольными скобками) и снабдить текст комментариями.

Биографическая справка

Я, Позднин Евгений Николаевич, родился и вырос «под городом Горьким, где ясные зорьки», на Волге, в одной из главных судоремонтных баз с самым громким на её берегах названием – «Память Парижской Коммуны»*. Волга стала моей наставницей, путеводителем по жизни и духовной матерью, за что ей нижайший поклон!

Мой дед по материнской линии Матвей Миронович Позднин являлся земляком отца М. Горького и, как и он, имел прозвище «пермяк солены уши». Родился он 12 ноября 1876 года в селе Перемское Пермского уезда Нижегородского наместничества в крестьянской семье Мирона Михайловича Позднина и его жены Пелагеи Абросимовны, православного вероисповедания. Его рождение и крещение зарегистрированы в местной Богоявленской церкви.

Воспитание и образование дед получил в Пермском духовном училище. Не исключено, что именно в нём судьба

* Затон «Память Парижской Коммуны» – рабочий поселок в Борском (до 2005 г. в Работкинском) районе Нижегородской области расположен на левом берегу Волги в 70 км. ниже по течению от областного центра. До 1923 г. носил название Жуковского затона и с 1869 года являлся судоремонтной базой с мастерскими. Во время Великой Отечественной войны рабочие завода выполняли оборонные заказы: изготавливали мины и аэросани. В посёлок отправляли суда Волжской военной флотилии для ремонта.

светла его с братьями Иваном* и Петром** Павловичами Ладыжниковыми. Первый из них стал в дальнейшем, как известно, большевиком и издателем М. Горького, а второй подарил моему деду 29 января 1891 года свою фотографию с дарственной надписью. Она была сделана в центральной фотографии Перми А.А. Якунина, находившейся на центральной улице города Петропавловской в доме купчихи Сердобинской.

После окончания в 1893 году Пермского духовного училища Матвей Миронович был определен псаломщиком Спасо-Преображенского собора в селе Лысково в Макарьевского уезда. 25 июля 1901 года он был перемещён в Казанскую церковь села Ближнее Константиново Нижегородского уезда. Здесь 29 января 1903 года он женился на мелкопоместной дворяночке Анне Михайловне***, а 6 декабря того же года у них родился первенец, которого назвали Евгением.

1 мая 1905 года Позднин был переведен <в приход> Троицкой церкви села Бармино Макарьевского уезда, где 24 декабря 1906 года был рукоположен в диаконы, а с 1916 года состоял законоучителем земского училища соседней

* Ладыжников Иван Павлович (1874–1945) – типограф, издатель, деятель революционного движения. Один из организаторов и ученый секретарь Архива М. Горького при ИМЛИ РАН (1937). Сведения о его знакомстве с М.М. Поздниним не выявлено, в отличие от своего брата – Петра Павловича, он окончил Далматовское уездное духовное училище при Успенском мужском монастыре (среди его выпускников ученый-византист, начальник русской духовной миссии на Святой Земле архим. Антонин (Капустин) (1831), изобретатель радио А.С. Попов (1871).

** Ладыжников Петр Павлович (1871–1938?) – священнослужитель Русской православной церкви. Окончил в Пермское духовное училище в 1892 году, рукоположен в священника в том же году и с тех пор служил на приходах Екатеринбургской епархии. В 1921 г. арестован ГубЧК и, несмотря на заступничество М. Горького, два года провел в заключении. Вторично арестован в августе 1937 года. Этапирован в Темиртау (Кемеровская обл.) еще до вынесения приговора за контрреволюционную деятельность (10 лет лагерей), где пропал без вести.

*** Позднина Анна Михайловна (1884–1963).

деревни Кремёнки. В Бармино у него родились <дети>: 14 декабря 1905 года дочь Валентина, 26 сентября 1908 года – Зинаида, 13 апреля 1913 года – Борис, в 1916-м – Николай, скончавшийся в младенчестве.

В 1917 году Матвей Миронович был перемещён <в приход> церкви Преображения Господня села Кадницы того же Макарьевского уезда, а с установлением в Кадницах Советской власти стал преподавателем и член-секретарём президиума школьного Совета Кадницкой школы 2-й ступени. 25 марта 1919 года он переехал с семьёй на противоположный берег Волги в Жуковский затон, переименованный в затон «Память Парижской Коммуны», где стал делопроизводителем на судоремонтном заводе. Скончался 6 февраля 1926 года.

Его дети шагали в ногу с революционным временем и стали в затоне первыми пионерами и комсомольцами, а сын Евгений – первым пионервожатым. Он работал на заводе в конструкторском отделе чертёжником-механиком, когда осенью 1926 года был призван на службу в Красную Армию. В результате оказался в Кронштадте учеником моториста на подводной лодке «Коммунар». Однако в октябре 1928 года был комиссован по состоянию здоровья и возвратился домой на прежнее место работы. В конце 1933 года с ним что-то стряслось, и он уехал в Сибирь на Енисей, где устроился на работу в конструкторский отдел Красноярского судоремонтного завода. Здесь и нашёл свою кончину, уйдя в мир иной в 1934 году после тяжелой болезни, будучи холостым.

Валентина Матвеевна окончила Арзамасское педагогическое училище и работала воспитателем в затонском* детсаде. В марте 1939 года она вышла замуж за уроженца села Шава Кадницкой волости Николая Васильевича Зудина, работавшего в затоне шофёром. С началом Великой Отечественной войны он был призван в действующую армию. Воевал на Ленинградском фронте, с которого вернулся домой в конце 1942 года без правой ноги, с орденами Красного Знамени и Красной Звезды, Отечественной

* Здесь и далее – «затонский», имеющий принадлежность к малой родине Е.Н. Позднина – затону «Памяти Парижской коммуны».

войны 1-й и 2-й степени, Славы 3-й степени, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а 18 ноября 1943 года у него родился сын, названный в честь Евгения Матвеевича тоже Евгением.

Отец по природе своей был очень смелым, за что ещё до войны получил прозвище «Герой». С фронта он вернулся психически травмированным человеком. Вместе с другими такими же калеками он целыми днями пропадал в огромной заводской столовой, заливая своё горе вином, и возвращался домой в нашу крохотную 9-метровую комнату пьяным, напрягая всех вокруг. (Через стенку в большой комнате нашей 2-х комнатной квартиры жили бабушка и тётя Зина, а дядя Боря, став журналистом, выпорхнул из родительского гнезда ещё до войны и жил в Горьком.) С таким образом жизни отец не мог вписаться в нашу семью и вскоре, получив в наследство от своих скончавшихся родителей дом в Шаве, перебрался жить туда. С моей матерью он развёлся и обзавёлся другой семьёй. Так в два года я остался без отца.

Многие события из моей памяти сегодня выветрились, но события, вызванные моим появлением на Белый свет из утробы матери, она хранит и поныне... Я помню и поныне лицо своей акушерки, коей была наша соседка Тамара Полуэктова, помню бело-голубой цвет палаты, в которой я родился... Помню свою первую военную зиму, когда мать повезла меня на санках через Волгу в первое моё «странствие по Руси» в Шаву к отцу, у которого была корова. Рос я свою первую, для всех голодную зиму в отцовском доме на коровьем молоке, где под трель гармошки, на которой отец играл виртуозно, за мной ухаживала его вторая женщина. Помню, как мать, едва я научился ходить, не раз посылала меня в затонскую столовую за отцом, и сидевший в компании пьяный отец предлагал мне попробовать своё зелье... А как забыть своё второе «странствие по Руси», когда моя мать-одиночка повезла меня, шестилетнего, на пароходе «Станиславский» в Москву? Я умел уже читать и писать, а потому взял с собой тетрадку, ручку и, не отрываясь от иллюминатора, вносил в тетрадь названия всех пароходов, встречавшихся нам в пути... А разве забудешь

сцены того, как я учился ходить, ползая на четвереньках по комнате, а встав на ноги, отправился в свой первый поход под кухонный стол? Разве забудешь свою первую детскую деревянную кроватку на четырех колесиках и свои первые игрушки: погремушку, тряпичные куклы, мяч, таракана в спичечной коробке и медали отца? Помню, как мать возила меня на санках в ясли, где меня поили рыбьим жиром, материнские побои за мои проказы-непослушания и тот угол печки, в который меня ставили... Помню материнские слёзы и пьяные песни отца, как втихаря ел глину, отковыривая теплые кусочки от печки, и уголь из подтопка. Помню, как меня воспитывали в детском садике, включая обтирание холодной водой перед тихим часом. Да мало ли чего ещё я помню из своего счастливого детства?!

До сих пор перед глазами стоят, словно живые картины, дошкольные сцены, когда я часто перед сном залезал в постель к бабушке и с замиранием сердца слушал её «уроки»: она пела мне песенки и рассказывала сказки, под которые я засыпал. Бабушкины «уроки» постепенно становились всё серьезнее. Далее она читала мне детские рассказы из дореволюционных книг нашей домашней библиотеки. Особенно мне нравились «Каштанка» и «Ванька Жуков», и я слезно просил бабушку читать их еще и ещё... Днём же я читал в своей комнате подаренную мне дядей Борей великолепно изданную большую толстую книжку под названием «Сказки, песенки, загадки». Перед самой школой бабушка читала мне уже «Детство» М. Горького. Короче говоря, я, росший без отца, в школу пошёл уже будучи «грамотным».

В школе обратили внимание на мои лидерские качества, благодаря которым я поднимался по общественной лестнице всё выше и выше, пройдя путь от звеньевского пионерского отряда, старосты класса и классного библиотекаря до запевалы хора, председателя Совета пионерской дружины и Комитета комсомола.

Вскоре после убийства И.В. Сталина был убит и мой отец. Случилось это 20 июля 1958 года в Шавском лесу, когда он возвращался из районного центра Работки домой. Преступление это было совершено местными бандитами и до сих пор остаётся нераскрытым.

Жили мы с матерью бедно. Мать подрабатывала рукоделом: вязала и вышивала. Дабы облегчить ей жизнь, после 9-го класса я поступил учиться в знаменитое Горьковское речное училище (ГРУ) имени И.П. Кулибина на судомеханическое отделение. Мой мечтой было стать моряком, а училище в то время было военным, готовило из своих курсантов специалистов двойного назначения: для ВМФ и речного флота. Но в 1961 году Н.С. Хрущёв поставил на моей мечте жирный крест. В угоду США он объявил о сокращении самой мощной в мире Советской Армии на миллион человек*. Под это сокращение попало и ГРУ, в котором военная кафедра была ликвидирована. Это событие повергло меня в шок и круто изменило жизнь. Я решил уйти из училища и сменил свою отцовскую фамилию на материнскую.

Из училища я ушёл летом 1963 года во время практики, которую я проходил на Красноармейском судоремонтном заводе в Волгограде на самоходке «Актюбинск» в должности рулевого-моториста.

Начальник училища капитан I ранга <И.В.> Любимцев долго не подписывал моё заявление об увольнении, уговаривал меня не делать этого, но я стоял на своём. В ожидании его подписи я устроился на работу в Горьковский речной порт, где меня взяли 20 июля матросом на т/х «Шлюзовой-5», а через три недели перевели рулевым на баркас «Ледокол-2». В первых числах сентября моё заявление об уходе из училища было подписано, и я прибыл домой. Тут же устроился слесарем на завод и написал заявление о приёме в 10-й класс затонской вечерней школы рабочей молодёжи. Делал я это с особым прицелом: получив аттестат зрелости, поступить учиться в самый престижный в то время ВУЗ страны – Московский физико-технический институт (МФТИ), в который поступила моя

* 15 января 1960 г. Верховный Совет СССР без обсуждения утвердил Закон «О новом значительном сокращении Вооружённых Сил СССР». Из армии и флота должны были уволить до 1 миллиона 300 тысяч солдат и офицеров – более трети от общей численности Вооружённых Сил. Основные мероприятия во исполнение нового закона были окончены к 1965 году.

любимая девушка Надежда Берёзкина из Новомосковска (с ней я познакомился в затоне, куда она приезжала на летние каникулы к своей бабушке). Аттестат зрелости я получил, но в МФТИ не поступил – силёнок не хватило. Вскоре моя любовь вышла замуж за сына генерала, родила дочь Александру, стала кандидатом физико-технических наук.

Я же, будучи воспитанным на «Морально-нравственном Кодексе строителей Коммунизма», искренне веря в светлое будущее своего народа-победителя, отправился летом 1964 года по комсомольской путёвке в Сибирь, куда страна позвала меня на электрификацию Великой Сибирской железнодорожной магистрали. Получая комсомольскую путёвку в обкоме комсомола, я полагал, что на всесоюзные ударные комсомольские стройки едет передовая молодёжь. Как я был наивен! Группа, в составе которой я отправился из Горького в Сибирь, состояла из молодёжи «токсичной», от которой город просто избавлялся, а половина девушек была беременной и покидала дом, чтобы скрыть этот факт и родить в Сибири.

Как бы то ни было, а в Сибири я оказался в строительном-монтажном поезде № 301 треста Омсктресттрансстрой в должности разнорабочего. Реализовывать же мне пришлось хрущёвскую программу по превращению деревни в город. Занимался я строительством двухэтажных каменных жилых домов на станции Токуши в Северо-Казахстанской области. В разгар хлебоуборочной страды меня командировали в совхоз Марьино, где в должности помощника комбайнёра я занимался сбором 10-го юбилейного целинного урожая, чем до сих пор горжусь. 12 декабря того же 1964 года я уволился с поезда и возвратился домой, устроившись на завод разметчиком в токарный цех.

Однако приплавесна, и я снова оказался в объятиях Волги. Организовав первый в её истории комсомольско-молодёжный экипаж, я со своими товарищами устроился кочегаром на трёхпалубный туристический «теплоход» «И.С. Тургенев», возглавив его комсомольскую организацию. Это было в 1965-м, а в январе 1966-го я был переведён из затона в Горький в управление Волжского Объединённого

речного пароходства, в службу судового хозяйства на должность техника теплотехнической партии.

С января 1968 года я – техник-конструктор технического отдела судоремонтного завода «Память Парижской Коммуны» до ближайшей весны, когда я ушёл плавать матросом на пассажирский теплоход «Андрей Жданов», ходивший по маршруту Москва – Астрахань. Но плывал лишь до середины лета – оскорбленный первым штурманом, я сошёл на берег и устроился в токарный цех завода сверловщиком. Через пару месяцев меня перевели на должность инструктора-методиста по производственной гимнастике.

В это время страна начала готовиться к празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, широко освещавшемуся в прессе. Советский народ готовил к юбилею трудовые подарки. Разумеется, я не мог оставаться в стороне и добился через ЦК Комсомола комсомольской путёвки на строительство Ленинского мемориального комплекса в селе Шушенское, куда и отправился в индивидуальном порядке в середине лета 1969 года.

На стройку я был принят плотником, а после рабочего дня бегал учиться в Шушенскую музыкальную школу по классу фортепьяно, чтобы научиться играть своё любимое произведение «Лунную сонату» Бетховена. Кроме того, в Шушенском я прочитал все художественные произведения Достоевского. Покидая после юбилея Шушенское с подарком за доблестный труд от треста «Шушпестрой» в виде 5-томного собрания «Воспоминаний о В.И. Ленине», я уже исполнял «Лунную сонату» по памяти.

С берегов сурового Енисея я возвратился на берега своей Матушки-Волги домой, устроившись на завод слесарем опять же до ближайшей весны. Весной я ушёл плавать матросом на т/х «Профессор Звонков» вместе со своей женой Светланой (я женился 13 февраля 1971 года)*, устроившейся официанткой.

Женитьба не остудила мою романтическую душу, не погубила мой творческий потенциал, но заставила вить

* В браке со Светланой Ивановной Поздниной, в девичестве Морозовой (1946–2018), родилась дочь Наталья (1971 г. р.)

своё собственное гнездо. Случай подвернулся быстро... Один из моих затонских друзей, живший в Горьком, возглавил отдел кадров спецуправления «Спецэнергожилстрой» и пригласил нас с женой к себе на работу, пообещав через 2-3 года обеспечить нас жильём. Мы согласились; я устроился в названную организацию слесарем-монтажником, а жена – отделочником. Так я оказался в 1972 году на жительстве в городе Горьком. Однако вскоре выяснилось, что получить квартиру в Горьком не так просто, как нам обрисовал друг*.

Однажды в городе я случайно наткнулся на объявление, приглашавшее на работу в войсковую часть № 36942 коменданта ЖКХ. Зарплата небольшая, но должность реально приближала меня к решению жилищной проблемы, тем более что часть эта была строительной и занималась помимо возведения военных объектов и строительством в городе жилых домов. В результате в 1974 году я стал комендантом ЖКХ названной части, штаб которой находился на площади Лядова. Часть имела в центре города свой довольно солидный жилищный фонд, и мне сразу же дали комнату в одном из ветхих бараков, предназначенных на слом, в Оранжевом тупике, откуда на работу я ходил пешком.

И здесь надо сказать следующее: к поэтическому слову и литературе меня влекло с самого рождения. В юности я начал сочинять стихи и мечтать о славе выдающегося писателя, каким был М. Горький. Для того, чтобы им стать, мне необходимо было познать жизнь своей страны и народа изнутри. Этим я и занимался в странствиях по Руси, занося свои наблюдения и впечатления в дневники, призванные послужить мне материалом для будущих книг. Кроме того, я всю свою сознательную жизнь занимался самообразованием, считая, что культурным и грамотным человеком можно стать и без высшего образования. В Горьком я приступил к формированию своей домашней библиотеки, стал изучать труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, начал публиковаться в газетах, вступил в творческое

* Собственную квартиру (28 кв. м) в микрорайоне Мещерское озеро супруги Позднины получили в ноябре 1980 г.

объединение поэтов «Данко», посылал в толстые журналы свои рассказы и повести, которые мне возвращались. Это заставило меня в 1979 году поступить учиться на четвёртом десятке лет («в жизни всегда есть место подвигам») в Горьковский университет, с целью получения высшего филологического образования.

Первая же моя курсовая работа на кафедре Советской литературы, которую возглавлял знаменитый И.К. Кузьмичёв*, была позднее опубликована в академическом сборнике «Горький и его эпоха»**. Дальше – больше: я становился всё более известным горьковедом, начал печататься в журнале «Волга». Университет я окончил с красным дипломом и был оставлен на кафедре. Тут же поступил в аспирантуру Института мировой литературы им. А.М. Горького Академии Наук СССР, где моим научным руководителем стал заведующий сектором М. Горького член-корреспондент А.И. Овчаренко***.

В 1990 году Волго-Вятское книжное издательство опубликовало мою первую книжку «Друзья молодого М. Горького». В 1993-м я защитил кандидатскую диссертацию «Документальная основа повести М. Горького “Мои университеты”».

Во время учёбы в университете я, возможно единственный из горьковедов, с научно-исследовательской целью повторил путь странствований Горького «По Руси», собирая по крупицам информацию о нём и его друзьях в областных архивах центральной России, Поволжья, ре-

спубликанских архивах Украины, Грузии и Татарстана, архивах Москвы. Когда же предатели Горбачев и Ельцин воткнули нож в спину моей Родины – Советскому Союзу и начали громить Высшую школу, М. Горький попал под их каток: кафедра Советской литературы была разгромлена и переименована. В знак протеста в мае 1995 года я ушёл из университета, а через некоторое время у меня случился обширный инфаркт*. В следующем году я получил II группу инвалидности и сошел со сцены...

Пока в XXI веке не оказался востребован вновь по случаю 150-летия со дня рождения моего кумира. Этот юбилей я отметил книгой «Жизнь и судьба Василия Каширина и внука его Алёши»**, которая была заказана мне нижегородским издательством «Деком».

Февраль, 2020

* В письме Г.М. Ходыреву от 21.08.2001 г. Е.Н. Позднин несколько иначе объясняет свой уход из университета: «О карьере я никогда не думал. Я, как старуха Изергиль, ценил в жизни больше всего свободу. <...> В 1995 ушел из университета по двум причинам: не смог сработаться с новым «демократическим» начальством, а не на что было жить. Вернулся в Аэропорт <Международный аэропорт “Нижний Новгород” – Р. Г.> на должность пожарника (и зарплата в два раза выше университетской, и времени для занятий наукой было предостаточно). Но в декабре 1996 года я умудрился схватить инфаркт. Поскольку пожарников с инфарктами не бывает, а в Аэропорту шло повальное сокращение, меня уволили летом 1997 года по собственному желанию. Такова была моя воля, потому что со своим «советским менталитетом» я не сомневался, что найду работу по специальности. Однако я ошибался. Простояв полгода на Бирже труда, я так и не был востребован. Требовались торговцы, менеджеры, а эти занятия я считаю ниже своего человеческого достоинства. Пришлось, чтобы хоть на что-то жить, уйти на инвалидность по II группе. Сначала было очень стыдно, а потом привык».

** Позднин Е.Н. Жизнь и судьба Василия Каширина и внука его Алёши. Нижний Новгород, 2018.

* Кузьмичев Иван Кириллович (1923 г. р.) – выдающийся нижегородский литературовед, горьковед, доктор филологических наук, профессор. С 1979 года бессменный научный руководитель, автор предисловий к обеим книгам Е.Н. Позднина (1992, 2018).

** Позднин Е.Н. Героиня рассказа «О первой любви». (Документы к портрету) // Горький и его эпоха. Вып. I: Неизвестный Горький: Материалы и исследования. М., 1989.

*** Овчаренко Александр Иванович (1922–1988) – заведующий «горьковским» сектором, на самом деле дважды баллотировался в члены-корреспонденты АН СССР, но оба раза его кандидатура была отклонена из-за сопротивления коллектива ИМЛИ. См.: Яневич Н. Институт мировой литературы в 1930-е – 1970-е гг. / Исторический сборник «Память», Париж, 1982. Выпуск 5.

Людмила КАЛИНИНА

ЧИТАЙТЕ КНИГИ ФРОНТОВИКОВ

В семидесятые годы наша областная писательская семья получила свой дом – особняк со столетней историей в центре города. Не так давно этот дом списали на слом, на переломе и жизнь писательской организации, как-то все выстроится в новых условиях и отношениях...

Мы жили в другое время, радовались новым книгам, редким публикациям в столичных журналах, встречаем в нашей дружной писательской семье, в которой тогда числилось около 30 человек. Постепенно обживали наш дом, на почетном месте – уцелевшие вещи писательской организации 1930-х годов: громоздкий письменный стол, сейф, общая фотография в раме. Актовый зал, библиотека, дубовая винтовая лестница на второй этаж... Ох уж эта лестница – шаткая, скрипучая, по шагам можно было точно определить, кто из наших писателей приближается. Вот спешит, всегда по пути приветствуя кого-то, входит с большим кулком конфет «Мишка на севере» (всегда одаривал конфетами женщин) бывший партизанский командир, Герой Советского Союза Антон Петрович Бринский; энергично вышагивает Дмитрий Карлович Кудис, в прошлом военный, а позднее гражданский летчик; постукивая неизменным посошком, ступает приехавший из своего села Красный Оселок артиллерист времен Великой Отечественной Федор Григорьевич Сухов... Удивительно, но никто никогда не мог расслышать шагов руководи-

теля нашего союза писателей – Ивана Ивановича Бережного (1919–1994). Казалось, лестница замолкала при его приближении, неистребим, видно, опыт разведчика – быть неслышимым и невидимым. В распахнутых дверях он появлялся неожиданно, всегда с улыбкой, все вокруг сразу оживало.

Недаром П. Вершигора в известной книге о партизанской войне «Люди с чистой совестью» охарактеризовал капитана Бережного: «Его полюбили ковпаковцы за веселый нрав». В минуты смертельной опасности сохранить самообладание и даже чувство юмора – эти черты товарищей по оружию подчеркивает Бережной в своих книгах. Вот эпизод из «Двух рейдов»: «Хорошо, что ночка темная. Рядом проехали и не заметили, – вытирая выступивший на лбу пот, проговорил Борисенко, когда я пересел к нему. – Если бы заметили, вот кумедия была бы. – Тогда бы трагедия была, – ответил я ему в тон. – Погоняй».

Ранее писательская организация ютилась в небольших комнатах по разным адресам, на моей памяти новый адрес, улица Минина, дом 6, был пятым. Этот особняк, конечно же, – подарок города нашим писателям-фронтовикам. Что и говорить, достойнейшие из достойных людей. В юбилейном фундаментальном труде «50 лет Вооруженных Сил СССР» имя Антона Петровича Бринского стоит в одном ряду с прославленными, легендарно знаменитыми именами разведчиков Н.П. Федорова и Рихарда Зорге. Тогда в Союзе писателей страны и в нашей области главной силой были участники войны, ведь это они со всей ответственностью подхватили призыв усилить военно-патриотическую работу: начали издавать документальные книги, выступали перед читателями, перед молодежью с воспоминаниями об однополчанах, создавали в подшефных школах музеи, поддерживали начинающих литераторов...

Писатели-фронтовики считали своим долгом продвигать начинающих литераторов, отцы которых погибли. Так, отеческой заботой фронтовиков был окружен талантливый нижегородский поэт Юрий Адрианов. Невиданные события не только для области, но и для страны –

в год окончания университета у него выходит первый сборник стихов, в день свадьбы писательская организация дарит ему ключи от новой квартиры. А если молодой поэт «оступался», то, вспоминает в своем очерке об Антоне Петровиче Бринском сам Адрианов, в воспитательных целях его пожурят и «дядя Антон обещал выпороть». Стихи талантливого молодого арзамасского поэта Николая Рачкова главный редактор литературного журнала «Наш современник» (Москва) фронтовик Сергей Викулов услышал на пушкинском празднике поэзии в Большом Болдине. Его тронуло, что Николай, родившийся в 1941 году, никогда не видел своего отца, погибшего в начале войны, и вырос в деревне с грубым отчимом. Вскоре в «Нашем современнике» вышла большая подборка стихов Рачкова, потом другая, третья... В те годы это означало признание собратьев по перу, путь к изданию книг и растущую популярность.

Бывало такое, что и Бережной, и Бринский пропускали свою очередь на издание книги в Волго-Вятском издательстве ради коллективного сборника молодых авторов или новоявленного писателя. Откровенно говоря, другие наши писатели, ни старые, ни молодые, в таких душевных проявлениях не были замечены. наших героев объединяла душевная щедрость, удивительная деликатность и неприхотливость, они словно стеснялись выделиться из толпы. Об этом посвященное Бережному стихотворение Ю. Адрианова. Поэт пишет о встрече с «легендой нашего столетия» на шумной городской улице: он идет в своем неизменном «стареньком плаще», и никому из прохожих в голову не приходит, что это герой и живет он с ними бок о бок. Мы знали: фронтовики никогда за свои выступления плату не берут, в отличие от нас, молодых (выступления заказывали общество «Знание», «Бюро пропаганды художественной литературы»). Причитающийся гонорар за книги Бринский и Бережной отдавали редакторам, что не замалчивалось и не осуждалось. Да и не редакторы это были, а их друзья, помощники.

Антону Петровичу Бринскому работать над книгами помогал известный в нашем городе писатель, наставник

молодых литераторов, инвалид войны Борис Ефремович Пильник. А убедил писать героя войны, почитав его разрозненные записи, редактор Волго-Вятского книжного издательства Александр Петрович Зарубин. С чего начать? Антон Петрович, недолго думая и не смущаясь, встал в один ряд с начинающими и стал упорно осваивать премудрости литературы. Осваивать книжное дело Бережному помогала талантливый молодой редактор издательства Ирина Сидорова. Иван Иванович Бережной в писательстве шел по проторенной тропе вслед за старшим товарищем Антоном Петровичем Бринским, он же «дядя Петя», как его звали для конспирации в партизанском отряде. Для Бережного он был всегда жизненным примером, поддержкой.

Точно найденными красками рисует словесный портрет «дяди Пети» Бережной: «пронзительные серые глаза, плотно сжатый рот, закаленное зимними ветрами лицо, виски, чуть тронутые сединой... Бринский вспахал почву для массовой партизанской борьбы на Ровенщине и Волыни еще в 1942 году».

Оба кадровые военные, они поселились в Горьком, выйдя в отставку где-то в середине прошлого века. Думаю, им, украинцам по рождению, нелегко пришлось входить в нижегородское жите-бытие. У обоих – благополучные семьи, созданные еще до войны, жилье, хорошие пенсии... Казалось бы – живи да радуйся, но это были люди долга, что и сделало их писателями. «Хотелось высказать все, что накопилось в душе и сердце за время войны, не давало покоя. К этому примешивалось и сознание невыполненного долга перед погибшими товарищами», – так объяснил свой приход в литературу, после мучительных раздумий, в одном интервью Бережной. Чувствовалось, что к своим ровесникам, известным мастерам слова, таким как Николай Иванович Кочин, фронтовики Федор Григорьевич Сухов, Александр Иванович Люкин, наш руководитель, герой войны Бережной относился сверхпочтительно, откликнулся на любую просьбу. Помогал в приобретении жилья Ф.Г. Сухову, определил его к хорошему хирургу, который сделал уникальную спасительную операцию.

Сам Иван Иванович жил вместе с супругой Викторией Карповной в двухкомнатной «хрущевке» со смежными комнатами и пятиметровой кухней. Семье единственной дочери Гали он купил кооперативную квартиру. И все было не напоказ. Это я узнала позднее, общаясь за чашкой чая в пятиметровой кухоньке с вдовой Викторией Карповной Бережной. Она рассказала, что город выделял Бережным большую квартиру на улице М. Горького, но Иван Иванович наотрез отказался переезжать. Почему? Сказал, что привык, что хорошие соседи и свой сарай под окном. Но от дачного участка Бережные, выходцы из Украины, не отказались и с удовольствием работали на грядках, выращивая отменные урожаи овощей. Виктория Карповна угощала нас своими салатами и винегретами за праздничным столом 9 Мая. В нашем писательском доме праздник Победы всегда отмечался по-семейному тепло.

Не заметить было невозможно – все реликвии в квартире Бережных связаны с партизанским отрядом: письма друзей, балалайка – спутница минут отдыха, помятая алюминиевая кружка с подпалинами от костра... Эти реликвии Иван Иванович передал школьному музею, но в середине девяностых музей стал школе не нужен, вещи вернули, прекратились выступления писателей...

К юбилейным датам писателей-фронтовиков вся писательская организация готовилась заранее. Брала интервью, которые охотно печатали областные газеты, беседовали с родственниками, рассылала приглашения в разные концы страны, подключали выступления артистов... Однажды на такой встрече было объявлено о присвоении Бринскому звания почетного гражданина города Луцка. Антон Петрович бывал по приглашению боевых друзей – партизан на Ровенщине, Волыни, где сражалось в годы войны его соединение. Не раз приезжали в наш город поздравить с юбилеем своего командира соратники из разных уголков страны. Такие встречи немолодых людей, смотревших смерти в лицо и выживших, трогали до слез. Юбилей Бережного запомнился встречей юбиляра с товарищами-партизанами, которых в отряде считали погибшими, а они каким-то чудом остались живы.

На почетном месте в квартире Бережных висит большой портрет красивого темноволосого молодого мужчины в военной форме – это комиссар партизанского соединения Семен Васильевич Руднев, соратник и кумир Ивана Ивановича Бережного, погибший в Карпатах, прикрывая отступление отряда. Руднев был первым из боевых партизанских комиссаров страны, при жизни за боевые заслуги получившим звание Героя Советского Союза. Эта фамилия часто мелькает в произведениях Бережного, время не в силах стереть ее из памяти.

Виктория Карповна рассказала, что до войны Руднев с женой и двумя сыновьями жили в Чернигове, он был школьным учителем. В партизанский отряд ушел вместе со старшим сыном Радиком. Пятнадцатилетний Радик был любимцем всего отряда. Открытый, импульсивный, он первый приходил на помощь старшим товарищам, не боялся никаких трудностей. Истинный сын своего отца, его помощник, беспрекословно выполняющий просьбы и приказы. Всего один раз сын ослушался отца, и это было незадолго до гибели самого комиссара Руднева. На подступах к Карпатам партизаны попали в окружение, впереди – открытое предгорье. Радик своевольно остался прикрывать отступающий отряд, остался на верную гибель. Характер Радика Руднева в книгах писателя Бережного растворился в образах отважных мальчишек: Мити Черемушкина («Два рейда»), Вали Косиченко и Юры Колесникова («В шестнадцать мальчишеских лет»).

Комиссар Руднев погибает в Карпатах, как и сын, прикрывая отступающих товарищей. Писатель Бережной часто обращается к образу комиссара, пытаясь передать лучшие черты его и всех тех, кто не щадя себя пал за победу, за мир на земле. В рассказе «Новички» из сборника «Строки, опаленные войной. Рассказы и воспоминания писателей-фронтовиков» (1974) описан редкий случай – трое новичков, пришедших в отряд, оказались засланными шпионами. Их пытается разговорить комиссар Руднев. «Вы, товарищ комиссар, помогли, – отвечает новичок. – Вспомнились мать, наш дом, школа... И до того тоскливо стало, таким я себе показался маленьким и ничтожным,

что чуть не заплакал». Разведчик Бережной не раз был свидетелем того, как Руднев умел доставать до сердца горячим правдивым словом, пробуждать чувства совести и патриотизма в людях, даже в таких вот заплутавшихся, как засланные шпионы. И писатель Бережной стремится передать читателю свое восхищение личностью комиссара.

На мой вопрос, что же стало с женой и младшим сыном комиссара Руднева, Виктория Карповна отвечала горестно. После войны Бережной не без труда отыскал семью своего комиссара в столице, им дали квартиру в центре Москвы. Но опоздал. Ни жена, ни сын не выжили в новых для них условиях, не хотели забыть прошлое, не хотели противостоять бытовым трудностям и дурным влияниям, соблазнам. Что тут поделаешь? Иван Иванович не мог простить себе, что поздно отыскал, как ни пытался помочь им выбраться из засосавшей трясины, не помогло. И мать, и сын ушли из жизни один за другим.

Надо сказать, что стремление помогать было в крови Бережного, и ему многое удавалось.

Вспоминаю доклад нашего руководителя на отчетном собрании. Тогда на взлете был молодой поэт Юрий Уваров, вышли его подборки в центральных журналах, сборник стихов. Не все в нашей организации приняли оригинальную манеру письма Юрия. Невеликий знаток в тонкостях стихосложения, Иван Иванович с неподдельной радостью удивлялся каждой яркой поэтической находке молодого поэта и стремился обратить на это внимание товарищей, несколько уходя в сторону от основной темы доклада: «Послушайте, как это интересно, необычно сказано молодым поэтом Уваровым: “Потели ведра у колодца, // Жара кудахтала в пыли”...» Помню, как, приподняв на лоб очки, он восторженно обратился к собравшимся: «Надо же, как точно придумал “жара кудахтала в пыли”! Ну и молодец!»

Иван Иванович Бережной, считаю, был лучшим руководителем нашей писательской организации. И на десятилетие его руководства выпало мое становление в литературе – это ли не везение!

В 1976 году Волго-Вятское книжное издательство (г. Горький) выпустило сборник «Писатели-горьковчане. Литературные портреты». Составитель – редактор издательства Александр Михайлович Иорданский. Авторы очерков – писатели и журналисты. Факты из биографий, воспоминания, выдержки из книг... Где еще почерпнешь эти сведения? Всего представлены тридцать шесть писателей, пятнадцать из них – фронтовики. В очерке об Иване Ивановиче Бережном даны в основном биографические сведения, но в этих скупко изложенных фактах – весь жизненный путь легендарной личности, современником которой мне посчастливилось быть.

«Когда в 1958 году И. Бережной уволился из армии, трижды был ранен, ему шел тридцать девятый год. Армии он отдал двадцать один год. Выходцу из крестьянской семьи села Нагольное Ровенской, ныне Белгородской, области после окончания машинно-тракторной школы пришлось поработать и слесарем, и комбайнером. С 1937 г. И. Бережной на военной службе. Прошел путь от курсанта Тамбовского Краснознаменного кавалерийского училища имени Первой Конной армии до подполковника – начальника разведки соединения. В 1948 г. он окончил Военную академию Советской Армии. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени (двумя), Красной Звезды (двумя), польским крестом партизанским и девятью медалями...»

О капитане Бережном П. Вершигора рассказывает в известной документальной книге «Люди с чистой совестью». Стиль письма И. Бережного более всего похож на стиль П. Вершигоры – то же внимательное отношение к проявлению в человеке его лучших качеств и устремлений, тот же лиризм. О разведчике И. Бережном вспоминают и другие авторы в своих документальных книгах: С. Ковпак – «От Путивля до Карпат», Д. Бакрадце – «Кровью героев», М. Андросов – «Храбрые сердца», Г. Базыма – «Шляхами великого рейда», А. Бринский – «По ту сторону фронта».

Главным событием жизни Бережного стала Великая Отечественная война, он участник ее с июля 1941 года

по декабрь 1944-го. Командир разведывательного взвода, помощник начальника штаба полка по разведке, командир десантного разведывательного отряда при разведотделе штаба Брянского фронта, командир диверсионно-разведывательной группы в тылу врага, командир разведки партизанского соединения С.А. Ковпака...

В 1960 году увидели свет «Записки разведчика» (книга первая), в 1962 – «Записки разведчика» (книги первая, вторая и третья); в 1967 году – «Два рейда»; в 1974 – «В шестнадцать мальчишеских лет». В 1971 году переизданы «Записки разведчика», в 1976-м переиздается «Два рейда»...

Нет нашего писательского дома, ушли из жизни писатели-фронтовики... Они оставили свои воспоминания о самой страшной войне прошлого столетия. Наше тревожное время подсказывает, что надо перечитать их воспоминания, что-то мы пропустили, не внимательно прочитали. Читайте книги писателей-фронтовиков.

Светлана ЛЕОНТЬЕВА

«И Я ПИШУ: “ОТ БЕЛОРУСА С ВОЛГИ...”»

22 октября исполнилось 100 лет со дня рождения фронтовика, поэта-писателя Геннадия Васильевича Бедняева.

Из книги Геннадий Бедняев «Операция „Осколок“»:

...Нас согнали в колонну длиной в несколько километров и по майской жаре, истекающих потом, погнали в сторону Феодосии. Я шел крайним слева... Левее и чуть впереди шел фашист с автоматом наперевес. Он внимательно вглядывался в бредущих, периодически упирался стволом автомата в плечо того, кто казался ему евреем, а на самом деле, может, и не был, и выкрикивал: «Иуда, век!», что означало: «Еврей, выходи!» Звучала короткая очередь... Мы содрогались и шли дальше...

В одном из стихотворений Геннадий Бедняев пишет:

Гремели котелки и плошки:
Мы за баландой шли к котлам.
А в ней – очистки от картошки
С картошкой мерзлой пополам.

Посуды не было – в пилотку
Баланду кто-то принимал.
А кто-то рядышком колодку
С единственной ноги снимал.

Добавки попроси попробуй –
Схлопочешь палкой по руке.

Для полицаев – суп особый,
И вдоволь в малом котелке.

Он вкусно пах. Он был наварист.
Но у друзей слетало с губ:
«Гляди остерегись, товарищ,
И душу не продай за суп».

Это было важно для Бедняева: не предай!

Часто думаю, как передать важное нашей эпохе, особенно родившимся в девяностые годы. Как объяснить – что такое настоящее в нас, стержневое. Эпоха – я бы назвала её тоже войной, олигархической, с 1990 года произвела на свет божий иные идеалы: деньги, яхты, благополучие, развлекаловка, блогерство, успех и богатство. Наши святы идеалы: братство, равенство, справедливость – словно ушли на второй план.

Весь день овчарки над душой
И часовые – злей овчарок.
А ночью на земле чужой
Какой там сон на голых нарах!

Мы новости из уст в уста
С сигаркою передавали.
Тянулись мыслью в те места,
Где нож, подпилочек ли скрывали.

Глаза прожекторов остры,
Они весь лагерь окружили.
Но мы фашистов изнутри
Еще надежней сторожили.

Не та ли выдержка вела
Нас от побега до побега?
В ту пору так нужна была
Своя, такая вот победа!

Так Геннадий Васильевич пишет о времени, проведённом им в немецком концлагере.
Перескажу его биографию вкратце:

Родился он в деревне Дюганы Витебской области 22 октября 1922 года. Это так называемая «западная витебщина». Уникальная, половодная, детская, рыболовная. Рядом граница с Прибалтикой. Тихие деревни, есть заброшенные, есть возрождающиеся, все они словно плывут лодчонками по своим маршрутам. Я такой светлый воздух и простор мало где видела. Сами Дюганы были сожжены фашистами дотла. Но окрестные сёла уцелели. Иногда в городах православные храмы стоят рядом с польскими костёлами. Итак, Бедняев родился в крестьянской семье. После войны в 1951-м он окончил истфил Горьковского университета и далее, в 1953 году, Литературный институт. Всю жизнь его сопровождала жуткая трагедия – он попал в плен. Крым. Керчь. Бедняев работал учителем в школах Сталинабадской (1951–1952) и Горьковской (1952–1966) областей, преподавал на кафедре педагогики Горьковского университета (1966–1991).

Я сама у него училась на истфиле, он преподавал педагогику. Наисложнейший предмет, скажу я вам. Это и психология, и учительство, и матрица. Геннадий Васильевич – сам некогда преподававший в школах – рассказывал о том, как пройти этот путь – преподносить материал, знания и одновременно воспитывать характер. Он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией» и «Ветеран труда».

С 1942 года – публикации в газете «Боевой натиск», затем в Горьком сборники стихов и прозы: «Позиция», 1983; «Ориентир», 1989, «Чувство вербное», 1993; «Моя стезя», 1998. А также книги воспоминаний: «Операция “Осколок”», 1999; «У меня была своя война», 2000. Произведения Г.В. Бедняева переведены на белорусский, на таджикский языки.

Что могу сказать вообще о поэтической эпохе 40-, 50-, 60-х годов? Это Симонов, М. Алигер, Ахматова и Цветаева, далее Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, Рождественский. Эти поэты настолько ярки, что многое перед ними меркнет.

Но есть поэты одной книги, одной строфы, одного выражения. И это тоже имеет право на жизнь. Многие

будут помнить – «Мы все по Пушкину родня», «Чувство вербное».

Сгинул бы у огненной черты,
Если б не окопная братва.
И держусь я этой высоты,
Если для стихов ищу слова.

А любовь священной чистоты
Надо мною обрела права –
Я держусь и этой высоты,
Если для стихов ищу слова.

Бедняев был одним из инициаторов создания музея А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде в 1993 г., он был председателем нижегородского отделения Российского Пушкинского общества (с 1990). Член СП России (1991). Лауреат премии Нижнего Новгорода (1999).

Венчал салют победную весну.
А победителей ждала анкета.
И с горечью писал я: «Был в плену...»
Не мог, не смел я умолчать про это.

Студенту, было мне не по себе,
Когда о ком-то слышал: «Проглядели...»
Я с грустью думал о своей судьбе,
Как будто виноват и в самом деле.

В забытом поселился кишлаке
Отнюдь не по своей – по чьей-то воле.
От милых мест, от Волги вдалеке
Читал я Пушкина в таджикской школе.

У моего окошка цвел миндаль,
А я грустил о нашем краснотале...
Мне «За Победу» выдали медаль:
Скончался тот, чей профиль на медали.

Любовь к Пушкину у Геннадия Васильевича была огромная. Он отдал этой любви всю свою жизнь. Он прошёл

ради неё через многое, перетерпел все обвинения и недоверие в свой адрес, были суды, которые он тоже преодолел, ибо помещение под музей – «2 и 3 сентября 1833 года» – был лакомым куском для многих воротил нашего города. Ибо девяностые годы – не просто лихие, а ужас как лихие. Многие памятники старины исчезли, много что было растащено, расхищено. Но эти пушкинские «два дня, а кажется, все сто!» никто у нас не отнимет. Так и у Бедняева:

Меня учил любить Россию Пушкин
За партою на Западной Двине...
А в первый раз Россию из теплушки
Солдатом я увидел на войне.

Дорога, опаленная фугаской,
Ещё дымилась в небольшом селе.
И белая берёза, как повязка,
Лежала на израненной земле.

И сам в разведке на рассвете тусклом
Я под обстрелом падал на жнивье.
Россию постигал я по-пластунски,
Прижавшись грудью к полюшку её.

Беря щепотку витебской махорки,
Я с болью вспоминал родной предел.
Быть может, где-то на Успенской горке
Фашист на мать мою глядит в прицел.

Я шёл по бездорожью, по трясине,
Из автомата по врагу строчил.
Спасибо, Пушкин, что любить Россию
Меня ты, белоруса, научил!

У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Анатолию Вертинскому

На тонкой паутинке бабье лето
Плывёт вослед за журавлиной стаей.

Я в Нижнем белорусском поэту
Свои стихи о Витебске читаю.

Кладёт он к Вечному огню на круче
Цветы, проделав путь тысячевёрстный,
Мне говорит: «В войну сражён, замучен,
Повешен каждый белорус четвёртый».

«А если бы не Волга, – я подумал, –
Не чувство дружбы,
Что бы с нами было?»
Уехал друг – и холодком подуло,
И наш Откос снежком запорошило.

И я пишу: «От белоруса с Волги...» –
На фотографии, где снят с поэтом.
Пусть вспомнит кремль
И голубые ёлки,
Где в шутку называл меня полпредом.

Быть может, на земле Нижегородской
Порою впрямь полпредом выступаю,
Когда рабочим в перерыв короткий
Я белорусские стихи читаю.

Анатолий Вергинский – один из лучших переводчиков
с русского на белорусский язык, вот ему-то и посвятил
свои стихи Г. В. Бедняев.

Меня часто спрашивают: а каким он был по характеру?
Скучным? Скрупулёзным? Открытым?

Скажу честно – Геннадий Васильевич меня поддер-
живал очень сильно во всех моих начинаниях. Он приез-
жал на мои презентации, давал дельные советы. От был
мне дорог по-отечески. Тем более я рано потеряла отца, в
19 лет. Мы часто шутили об этом, ибо я Геннадьевна. Как
человек – он был очень дисциплинированным. И очень
начитанным. Его лекции подчас завораживали, это было
похоже на некую проповедь – на метафизическое «надо».
Помню его тетрадь в чёрном кожаном переплёте, его скри-
пучую авторучку: такая белая в виде пушкинского гусяно-
го пера.

Помню его рассказ, как он был разведчиком, как ока-
зался в фашистском плену. Как их освободили. Как умира-
ли товарищи. Это тяжёлый осколок в сердце. Поэтам и так
нелегко. А тут ещё эта горькая правда, как колокольчик на
шее, гремит и гремит:

* * *

У меня была своя война.
Я опять ее во сне увидел.
Халхин-Гол прошедший старшина
Мне винтовку номерную выдал.

Контратаковать пришла пора
Той броней прикрытую пехоту.
И, вливаясь в общее «ура!»,
Взял я первую живую ноту.

* * *

Я без вести пропал среди огня.
Рыдала мать: «Не верю, не хочу...»
Она молилась в церкви за меня
И ставила за здоровье свечу.

Переживали близкие, родня,
Мол, будет ли ей ноша по плечу.
И только мать молилась за меня
И ставила за здоровье свечу.

Живого в мыслях и в душе храня,
Внушала веру моему отцу,
Неистово молилась за меня
И ставила за здоровье свечу.

Болел, ходил как тень средь бела дня.
Не совладать бы пленному врачу.
Но мать молилась Богу за меня
И ставила за здоровье свечу.

В плену я похоронен был живмя.
Приснится это – вздрогну, закричу...

Могу ль забыть, что мать спасла меня?
Могу ль не верить я в ее свечу?

Меня принимали в Союз в 1997 году, Геннадий Васильевич написал мне рекомендацию. Честно сказать, это золотой слиток для меня. Берестяная грамотка. Ипатьевский свод.

И я думаю, да святится имя ваше.

Имена всех наших наставников.

Наших радетелей.

Тех, кто подставил плечо в нужную минуту. Тех, кто подал руку. Тех, кто сказал доброе слово.

Скончался Бедняев 24 апреля 2005 года.

Вот иногда чудится, как Геннадий Васильевич острожно рукой машет, так улыбается по-отцовски. Достает перчатки из кожанки. Надевает их. И идёт по пустынной улице вдоль сквера.

Надо учиться помнить их, поэтов нижегородских. Их, ушедших...

Далекое – близкое

Андрей КУДРЯШОВ

Санкт-Петербург

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Чай, примечай, куда чайки летят.

Старая нижегородская поговорка

Мы чай горьковские! И родной, любимый город – город Горький. В нём родился я и вырос, и вместе с ним любовался с крутых откосов красотой и мощью двух русских рек, что встречаются на Стрелке у подножия Дятловых гор, опоясанных красной лентой крепостных стен Нижегородского кремля. Здесь Ока-река, привнеся полную чашу спокойных вод, собранных по русским землям, в безбрежную ширь матушки-Волги, заканчивает свой бег. И, обнявшись словно сёстры, слившись в одно целое, продолжают свой долгий путь в едином русле, с достоинством обходя большие и малые острова, радуя волгарей богатством промысловой рыбы.

Вот оно, волжское раздолье! Вот она, ширь необъятная, здесь, пред тобой! Аж дух захватывает от волнения, сердце замирает в груди, когда глянешь с высоких откосов на расстилающиеся внизу заволжские дали.

Как зачарованный смотришь на голубую ленту горизонта, смыкающую край земной с небесами. Покуда любишь открывшейся панорамой, ароматы цветов и трав,

сорванные вольным ветром с далёких заволжских лугов и доставленные сюда на гору, пьянят и дурманят. Прохладное дыхание речных вод с берегов, поросших ивняком, где курчавые волны морщият прибрежный песок, уносит твои думы за окоём. Широко и привольно в груди! Вместе с воздухом в тебя вливается головокружительный благовест. Так легко дышится, что, кажется, многие годы, прожитые вдали от родных мест, смываются прочь, как нечто временно наносное, обнажая детство как сущность, как корни, когда-то вышедшие из этой земли. И слышатся протяжные гудки пароходов, зовущие за собою в голубую даль. И видишь ты живительные родники, что раньше били из-под горы, встречая и радуя прохладой своей в жаркую пору прохожих. Но ныне бежит ключевая водица по трубам подземным да по глубоким протокам цепкой детской памяти.

Волна воспоминаний, словно прибойная волна, накрыла, не давая роздыху, закрутила, не желая усмиряться, вырвала из прошлого первый попавшийся кусок и швырнула в меня.

Предо мной предстала улица, некогда благословившая мои первые шаги, – улица Горького: от центра до самых окраин простёрлись художественным полотном резные фасады её домов, прячущихся за листвой тополей и лип. Садовые заборы, что оставили множество рваных отметин на моих штанах, ограждали от посторонних взглядов дворовых аборигенов. Там голые коленки мои были украшены шрамами от встреч с дорожным асфальтом и пестрели зеленью от трав с крутых откосов. Потемневшие купола церкви Спаса дерзко возносились в бездонные небеса и с высоты птичьего полёта заглядывали к нам во двор, где нередко можно было встретить гужевых лошадей, что возили на одноосных подводах лес, связанный цепями, – во дворе у нас стояла пилорама, которую мы называли просто столярка.

Вот по улице вяло, склонив к земле низко голову, проклацала лошадь, таща телегу с ароматной бочкой золотаря. Сбоку лежит громадный ковш на длинном шесте. Рядом шествует, держа вожжи в одной руке, одетой в брезенто-

вую рукавицу, сам хозяин, облачённый в халат серо-бу-ро-малинового цвета. У соседних ворот он резко окликнул кобылу, и та встала, подрагивая мышцами и обмахиваясь хвостом, отгоняя назойливых мух. Золотарь широкими шагами решительно направился к воротам, и огромные деревянные створы под напором его недюжинных плеч нехотя, со скрежетом и визгом растворились. Карета «золотых» дел мастера въехала во двор.

Родная улица, мне не узнать твоих привычных очертаний. Современные архитекторы двадцать первого века уже успели коснуться своими фантазиями этой части города, где было так приятно окунуться в прошлое. Маленькие дома, притаившись за деревянными заборами, как бы выглядывали из-за них, подмигивая окнами вторых этажей. Яблони и вишни, перекинувшись через изгородь, предлагали прохожим свои плоды, ничего не требуя взамен. Холодные громады стекла и бетона выросли на месте старых лип и палисадников с цветами. Даже церковь Спаса, некогда грозно и величаво возвышавшаяся над двухэтажными домами, сегодня затерялась между серых многоэтажек. Может, деревянные дома состарились, стены с облупившейся краской покосились от времени, но сколько в них было доброты и тепла: они были свидетелями нашего детства, беззаботного и счастливого.

Сейчас я редко прихожу сюда. Мне не хочется бывать здесь. Здесь всё чужое, незнакомое, и в этом месте сейчас бывает горько у меня на душе.

Единственное место, где вольно дышится – Верхне-Волжская набережная. Свежий ветер с безбрежных просторов Волги бодрит и молодит душу и гудками пароходов из детства зовёт за собой в розовую страну мечтаний.

...Над Волгой широкой просторное небо
Бескрайняя даль за Окой.
И где бы я только, друзья мои, не был –
Я помню свой город родной...

(Слова из песни В. Каньгина. муз. А. Быничкина)

Александр БАЛТИН

Москва

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Ёлочные базары пестро темнели в черноте декабрьских вечеров; и ёлки казались таинственными, как зачарованные страны.

Острый и славный аромат хвои дарил ощущение счастья; и на истоптанном снегу, когда выбирали чудное новогоднее дерево, суммы ветвей и чёрно-зелёные, мягкие иголки давали причудливый орнамент.

Выбранную и купленную везли на санках, причём верхушка её, равно и нижние ярусы, пружинили от движения, покачивались.

Город плыл и играл огнями, переливался движеньем людей и машин, и всё время кто-то входил и выходил из дворов, как из бесчисленных коридоров.

Важные троллейбусы проплывали мимо, неспешно везя скарб различных судеб.

Сворачивали и шли вдоль огромной стены старого, коммунального, многоквартирного дома, шли, замедляя шаги, точно искусственно удлиняя путь, ибо запах снега, мешавшийся с упоительной хвойной струёй, был великолепен.

А жили тогда на первом этаже, и широкие окна были посажены низко к асфальту, но забраны белыми, в пандан снегу, решётками.

Ёлка вносилась торжественно и важно, нижние ярусы её ветвей слегка корректировались при помощи ножниц, доставалось ведро, наливалась вода со специальными добавками, и устанавливалось дерево, медленно поднималось оно, упиралось главою в потолок.

– Вот там держи, – говорил отец, и мальчишка держал, и лёгкие уколы были нежны, как ласка.

– Осторожно, Лев, привязать надо, – мама вставляла реплику.

– Да, да, – соглашался отец, точно привычный ритуал терял детали, год ожидая в запасниках радости.

Привязанная и установленная между двумя окнами ёлка виделась роскошной и без украшений, но доставались они; из недр антресолей изымалась старая, с ободранными боками и крышкой коробка – важная, как старинный ларь; и крышка снималась так, будто ворота распахивались...

Мишура мерцала серебром, играла розовым и синими цветами сверху; потом, завёрнутые в фольгу или бумагу, доставались – являлись на свет – игрушки...

Их доставали осторожно, освобождали от обёрток, раскладывали, думали, какую куда лучше повесить.

Верхушек было две – на выбор; отец забирался на стремянку и украшал ёлочную вершину яркой звездой.

– Болгарский гномик разбился. Жаль, – говорила мама.

Знакомые болгары подарили чудесные игрушки: тонкие, хрупкие, брать надо было – с замиранием сердца, не дай бог уронишь, и тогда хрусткие брызги, криво отражающие реальность комнаты, лягут на пол, оставив оттенок грусти в душе.

Ёлка одевалась постепенно, игрушки вешались густо, сверкали; важные, как вельможи, шары, поворачивались слегка, играя выпуклыми боками; и гирлянды, пропущенные меж ветвей, точно соединяли дорогами фантастическую страну.

– Последний штрих, – говорила мама и приносила вату. – Ну, сынок, давай.

И мальчишка, отделяя от плотного рулона кусочки, кидал их на ёлочные лапы, старался попасть поглубже, в таинственную зелёно-чёрную глубину; он кидал вату, чувствуя сладкое, волшебное умиление в сердце, он предвкушал новогодний праздник, ожидал который так долго, что не хотелось бы его завершенья; и он, мальчишка, разбрасывая искусственные снежинки, вполне уверен, что может быть бесконечным мгновение, может, что вырастать – необязательно, а если захотеть, то спокойно можно навсегда остаться в детстве, с папой и мамой, в пределах чудного новогодья...

НОВОГОДНЯЯ НАДЕЖДА

Новый год – праздник надежды: словно ощущение, пронизанное светом: новый вал счастливого, неизведанного, кипенно-снежного поднимет, суля...

Здесь остановка.

Жизнь, закрученная вокруг товарно-денежных отношений, отнюдь не всем оставляет место в себе, пусть и не убивая, но обрекая на эскапизм, книжное одиночество, поиски правды – пускай только в собственных психических лабиринтах.

Жизнь очевидно круто закручена вокруг денежного ствола – ныне.

Он серьёзней для нас, нежели ствол древа мирового, неизвестного, не конкретного, эзотерического.

Суета съедает всё время, и условность всякого выигрыша понимается с опытом, когда поздно что-либо менять.

Тем не менее, не всё ещё в жизни обращено в неумолимую конкретику: остаются островки зыбкости, сияющие драгоценным, порой мистическим светом: поэзия, живопись, музыка.

Остаются фундаментальные научные дерзновения, не связанные с избыточностью технологий, сулящих всё новые и новые материальные блага.

Остаются люди, считающие донкихотство – честью, а эгоизм – искривлением души.

Так что надежда есть – пускай хилая.

Пускай же Новый год вольёт новые силы в надежду, чтобы стала она полноценной и полнокровной, чтобы оправдалась, наконец!

...Написав поздравление никому, пожилой человек, выключил компьютер и зажёл в комнате свет.

Янтарно осветились: шкафы, набитые книгами, продавленный диван, стул, на спинке которого висели различные ношенные-переносные шмотки.

В окне за чёрными жилами деревьев мерцали золотисто квадраты окошек соседнего дома... Огромного, как Троя, сказал про себя человек и усмехнулся, собираясь выйти.

Цели не было, но в определённом возрасте громоздить цели и планы – значит страдать болезненным оптимизмом.

На первом этаже продолжался ремонт: работяги-гастарбайтеры вставляли новую, сверкающую полировкой дверь.

Ступеньки были закиданы чудесным снегом – и шёл ещё, шёл: щедрый, декабрьский.

Славно пахло: ароматный воздух, словно виражом, возвращал в детство, где везли ёлку на санках и пружинили лапы её, а верхушка мелась по снегу.

Лёгкие скрипы сопровождали путь по двору, но потом, на улице, расслышать их было уже невозможно – брызгало движение, переливалось огнями, пёстрый железный змей тёл по проезжей части.

Сверкали, играя соблазнами, витрины магазинов и стёкла кафе; громоздились многоэтажки, дворы чернели провалами.

Человек шёл, думая, что рядом с ним идёт надежда: тоненькая девушка, которой суждено...

Сложно сказать, что именно.

Но, устав носить надежду в собственной душе, логично отпустить её и представлять такой изящной, умной и тонкой, что качеств этих суммарно хватит, чтобы осилить алчную бездну материального мира.

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Новый год, сулящий гранулы кратковременного счастья, заставляет и обратиться к думам, столь же тяжелым, сколь и обоснованным:

Вот Новый год нам святцы принесли.
Повсюду празднуют минуту наступленья,
Молебны служат, будто бы ушли
От зла, печали, мора, потопленья!
И в будущем году помолятся опять,
И будет новый год им новою обидой...
Что, если бы встречать
Иначе: панихидой?

Константин Случевский – глубокий метафизик поэтического действия – словно отрицает само основание для праздника, покуда не изменится человек, не обновит правила и сущность земного своего существования.

Но... ведь Новый год!

Захлеб восторга, пенное счастье, вина разливанные, надежды золотистые, и – пускай зазвучит, зазвенит дисками словесной мощи Державин:

Рассекши огненной стезею
Небесный синеватый свод,
Багряной облечен зарею,
Сошел на землю новый год;
Сошел – и гласы раздалися,

Мечты, надежды понеслись
Навстречу божеству сему.

Праздник надежды, праздник сомнений – а будет ли лучше?

Блеснет ли нечто подлинно-новое?
Прекрасное...

Вопрос Фёдора Глинки останется без ответа, но точность поэтических лучей-строк не стирается обилием прошедших новогодий:

Ах, лучше ль будет мне, чем ныне?
Что ты сулишь мне, новый год?
Но ты стоишь так молчаливо,
Как тень в кладбищной тишине,
И на вопрос нетерпеливый
Ни слова, ни улыбки мне...

Но – много детски-радостного, ворохи счастливых моментов, и поэзия, отдающая дань оным, не может быть угрюмо-философской:

В школе шумно, раздается
Беготня и шум детей...
Знать, они не для ученья
Собрались сегодня в ней.

Нет, рождественская елка
В ней сегодня зажжена;
Пестротой своей нарядной
Деток радует она.

Так пел Плещеев, заражая радостью, буквально плескавшейся из стихотворения в реальность; Надсон, некогда ставивший рекорды поэтической популярности, предпочел, коснувшись детски-волшебного содержания праздника, подняться к пещере, где родился младенец – чтоб мир спасти...

Цветаевский драматизм, переданный нервно-телеграфным, взрывным стилем, врывается в мир, возвещая двойственность праздника:

С Новым Годом, Лебединый стан!
Славные обломки!
С Новым Годом – по чужим местам –
Воины с котомкой!

С пеной у рта пляшет, не догнав,
Красная погоня!
С Новым Годом – битая – в бегах
Родина с ладонью!

...А прекрасная, детско-советская Агния Барто касалась совсем других граней торжества:

С большим серебряным мешком
Стоит, обсыпанный снежком,
В пушистой шапке дед.
А старший брат твердит тайком:
– Да это наш сосед!

И что ж, что разочарование стремится украсть радость!
Не получится у него, нет-нет...

Верен ироническому взгляду на бытование людское,
Саша Черный живописует ситуацию смен годов остро :

Родился карлик Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод,
Тоскливый шут и скептик,
Мудрец и эпилептик.

«Так вот он – милый божий свет?
А где же солнце? Солнца нет.
А, впрочем, я не первый,
Не стоит портить нервы».

Глубоко нальются розоватым свечением раковин слова Арсения Тарковского; музыка Александра Блока будет снежно-печальной, скорбь «Новогодней баллады» Анны Ахматовой сложно пропитает духовный воздух...

Будут и деревенские звоны: «Вологодское новогоднее» Александра Яшина полыхнет ими, и разольется рубцовское, такое родное, свежее:

Мимо изгороди шаткой,
Мимо разных мест
По дрова спешит лошадка
В Сиперово, в лес.

Дед Мороз идет навстречу.
– Здравствуй!
– Будь здоров!..
Я в стихах увековечу
Заготовку дров.

...Конечно, этот праздник, объединяющий сердца, – праздник надежды, конечно, без нее бытование человека – почти что пшик, и очень по-разному трактовавшие праздник поэты словно создали отдельный сияющий свод в недрах поэтического пространства: свод новогодней темы.

СТРАНИЦЫ СВЯТОЧНЫХ РАССКАЗОВ

Удивительный, ни на чей не похожий язык Ивана Шмелёва: праздничный и вкусный, сочный и нежный, вбирающий столько подробностей, что, кажется, и в мире меньше...

И вот – «Рождество» его: простой и скорбный рассказ, сквозь который, как мелькающая фрагментами хроника, проходит вся жизнь, ибо обращается писатель к сыну, а дело происходит во Франции, и ностальгия, окрашенная в полынные, вполне трагические тона, переливается, оттеняя красивую гармонию праздника.

...Святочные рассказы имеют долгую традицию, и, сколь бы ни богата была литература русская, вспоминаются волшебные шары повествований Диккенса: самые разные, с мелькающими страшными тенями, с «Рождественской песнью», в которой утверждается, что исправить можно многое, и история преображения души старого скряги Скруджа тому примером; и был, был феномен русского Диккенса: домашнего, прочитанного вдоль и поперёк поколениями, черпавшими из него счастье и радость, учившимися состраданию...

«Чудесный доктор» А. Куприна раскрывает праздник ещё с одной стороны: он говорит о милосердии, об умягчении сердца, о том, как человек, у которого масса дел, и семья, и подарки для ребятишек, вдруг буквально пропитывается соком сострадания к неизвестному, да ещё и не слишком симпатичному человеку.

«Христос в гостях у мужика» Н. Лескова тему сострадания и милосердия углубляет, усложняет: здесь герой должен оказать милость не просто другому человеку, но –

своему кровному врагу; тут христианство раскрывается в том своём глубинном аспекте, который столь сложно воплотить людям; и густое своеобычие лесковского языка подчёркивает благородство темы.

А вот – совсем детский взгляд на Рождество: рассказ В. Никифорова-Волгина «Серебряная метель» показывает мальчика, так тонко чувствующего атмосферу праздника, что только тончайшие, легко гнущиеся нити великолепной метели адекватны сей тонкости.

И горят глаза мальчишки, словно соприкасающегося душою с чудом...

Святочная литература разнообразна: и Тэффи в рассказе «Сосед» показывает четырёхлетнего мальчугана-француза, ходящего в гости к «ляруссам», любящим гостей, всегда их угощающим, варящим ни на что не похожий суп – пламенеющий красным борщ.

Он грустный – этот рассказ; но такой светлый, так колоритно передающий атмосферу праздника...

А вот в рассказе С. Дурылина «Четвёртый волхв» старая няня утверждает, что поклониться Христу шли четыре волхва, и четвёртым был – русский человек, «хрестьянин», да заблудился в лесу, и дар, что нёс, отняли злые люди.

Поэтичный рассказ, пронизанный токами любви и благочестия...

Яркие, хотя и не слишком-то помнятся многими ныне, страницы вписаны в книгу русской литературы святочных искрами рассказов!

Русский смех

Павел ТИХОНОВ

Заволжье, Нижегородская область

ВЕЧНОСТЬ ЧИНОВНИКА

– Вы знаете, я видел много разных смертей, и, поверьте, это – далеко не самая плохая, – сказал мужчина. – Тем более это произошло вовремя для вас. И вы сами выбрали похоронный костюм. Я считаю, что вам крупно повезло.

– Неужели я умер? – спросил Голодубов.

– Да, по всей видимости, это так.

– И ничего уже нельзя сделать?

– Думаю, нет. В девяносто девяти и девяти десятых процента случаев отсюда не возвращаются.

Для того чтобы свыкнуться с мыслью о собственной смерти, Ивану Артемьевичу Голодубову понадобилось время. Незнакомец любезно ждал. Когда Иван Артемьевич не сдержал слез, тот подал ему платок, таблетку успокоительного и стакан с водой. Неизвестно, сколько времени понадобилось Ивану Артемьевичу, чтобы прийти в себя, – прошло только несколько минут или счет шел на часы. Но вот Иван Артемьевич опомнился и взял себя в руки. Не мог он позволить себе вести себя так при посторонних.

– Спасибо, – сказал Голодубов, возвращая платок.

– Не за что, Иван Артемьевич, совсем не за что. Я понимаю вас и сочувствую вашему горю.

– И все-таки спасибо вам, – повторил Голодубов и тут окончательно пришел в себя и задал логичный вопрос: – А вы, простите, кто?

– А я, Иван Артемьевич, собственно, ваш адвокат, – сказал незнакомец. Он протянул Голодубову свою визитку, и Иван Артемьевич прочитал: «Вельзевул и К°. Вопросы юридической защиты в загробном мире».

– Видите ли, Иван Артемьевич, – продолжал незнакомец, – за ваши заслуги я предоставлен вам абсолютно бесплатно. Но вы не переживайте! Репутация у меня хорошая, в практике я с семнадцатого века, и поверьте: каких только сложных клиентов у меня не было! Все выходило с лучшим итогом.

– И где же вы будете меня защищать? – спросил Голодубов.

– Как где? – удивился адвокат. – На Страшном Суде, разумеется! Может, слышали что-то про такое?

– Припоминаю, – соврал Голодубов. – А судьи кто?

– О, не переживайте. Ангелы, архангелы максимум. По первой инстанции до Него не доходят. А дальше нее, я надеюсь, идти нам не понадобится. Вы, кстати, простите за нескромный вопрос, сами где бы предпочли находиться? – не унимался незнакомец. – Ад? Рай? Черти, да ваши – или скучные праведники, а?

– Второй вариант был бы предпочтительнее.

– Понимаю, понимаю. Ну, впрочем, что я спрашиваю? По вашим земным делам видно, куда именно вы стремились.

Адвокат вынул из нагрудного кармана часы на цепочке, сверил их с наручными, а потом обратился к Голодубову:

– На ваших сколько?

Иван Артемьевич показал.

– Значит, все сходится, – произнес тогда адвокат. – Что ж, нас уже давно заждались. Идемте.

До седого человека в белых одеждах, которого адвокат представил как судью, добрались почти тут же: только повернулись и сделали два шага, как тот уже стоял вплотную перед ними за трибуной. Высокий, коротко стриженный, в очках, он заметил прибывших и тенорком поздоровался

с ними. В ответ поздоровался и Голодубов, а адвокат, небрежно кивнув, со своей ехидной улыбочкой сразу спросил:

– К делу?

– Иван Артемьевич Голодубов... – задумчиво протянул высокий в белом. – Кажется, все очевидно.

– И что же тут очевидного? Что очевидного? – сразу заговорил адвокат.

– Что там? – спросил Голодубов.

– Рановато вам в рай с такими делами, – ответил человек в белом.

– Может, здесь ошибка?

– Никакой.

– Не может быть! – вмешался адвокат. – Вы видели, какие храмы он построил? Все ведь за свои кровные! Все отдал!

– У нас другие сведения, – ответил человек в белом. – Начнем с того, что и кровные-то не его.

– А чьи же?

– Других людей.

– Ну а как же это? – адвокат раскрыл свой портфель и вынул оттуда толстую папку. – Вы посмотрите, посмотрите. Ведь все – благодарности и грамоты от епископа! На это вы что скажете?

– Он у нас на особом положении, – ответил человек в белом.

– Кто?

– Епископ.

– На каком это особом положении? – возмутился адвокат.

– На таком особом. Проще говоря, макулатура все эти ваши благодарности.

– Да ведь Иван Артемьевич – святой! Он и детский сад построил, и школу, и больницу...

– Вы хотели сказать – «строит», – особо подчеркнув последнее слово, человек в белом достал свою папку и раскрыл ее. – Посмотрите сюда. Иван Артемьевич, детство у вас было замечательным. Прекрасное детство. Вижу, зачем. В пионерии добрые дела. Причем искренне, с ве-

рой, за честь галстука и не больше, что немаловажно. Ну а потом? Все. Отрезало. И дальше только по наклонной, все хуже и хуже.

– Дайте-ка! – адвокат выхватил папку, схватил сам себя за волосы, сжал зубы от досады: – Э-эх, – вздохнул он. – Хорошо вы, Иван Артемьевич, устроились, хорошо живете. Да ведь тут и правда зацепиться не за что, даже за храмы ваши – и те... Запущенный случай.

Голодубов возмутился:

– Как это запущенный? Что значит – и храмы не помогут! Тебя поставили защищать – так ты и защищай, а не репу чеши! Думаешь, управы я на вас не найду?

– Не найдете, – виновато улыбнулся адвокат.

До Ивана Артемьевича Голодубова стало доходить, что здесь все более чем серьезно и он не может нажать ни на какие рычаги давления. Ощущение это было крайне непривычным, новым, но он уже чувствовал, насколько оно ему неприятно.

– Но послушайте, – упал тогда на колени Голодубов. – Ведь это – вечность! Вечность, вы понимаете?

– Понимаем, – одновременно кивнули адвокат и человек в белом.

– Я же не смогу. Я ведь и не думал... я ведь и не знал...

Голодубов еще долго распинался перед ними, бил головой о землю, умолял, но тщетно.

– У нас нет выбора, – заключил человек в белом.

Но в решающий момент, когда душу Голодубова должны были отправить куда следует, что-то пошло не так, и Иван Артемьевич остался стоять там, где стоял.

– Ошиблись все-таки! – обрадовался он.

– Нет, Иван Артемьевич, – растерянно ответил ему тот, что в белом. – Просто души у вас, похоже, нет. Облик есть, а души нет. Нечего отправлять и нечему скитаться в вечных мучениях.

– Да как это нет?! – возмутился тогда Голодубов, но к нему тут же подбежал адвокат:

– Тихо, Иван Артемьевич, тихо, – прошептал он. – Это же шанс! Считай, тебе крупно повезло.

– И как же это мне повезло?

– Смотри.

Человек в белом достал телефон и коротко с кем-то переговорил. Информация подтвердилась: не было души у Ивана Артемьевича.

– И куда же мне теперь?

– Для таких, как вы, есть особое место, – ответил человек в белом. – Поселитесь там, где и жили до этого. – И исчез.

– Привидением, что ли, буду? – смутился Голодубов.

– Нет, Иван Артемьевич, нет, дорогой! – воскликнул адвокат. – Здесь будешь, здесь, по ту сторону, то бишь по эту. Специально для тебя здесь место сделали, дом тебе твой.

Иван Артемьевич расплылся в улыбке, представляя, как он теперь целую вечность будет жить в своем двухэтажном особняке, плавать в бассейне, гулять и играть в гольф. Без девушек, правда, будет скучно, но и это уже не самое главное в его-то возрасте.

– Милый ты мой! – вскричал он тогда от радости.

– По крупичкам восстановили, – продолжал адвокат. – Каждую мелочь, каждую деталь. Все до копейки – по бюджету. Каждую строчку в сметах, расчетах, отчетах и декларациях учли!

– Отчетах? Расчетах? – прервал мечтания Голодубов. – Декларациях?!

– Да. Все деньги – все, как надо, по целевому назначению.

– Так, милый мой...

Но адвокат вдруг исчез.

– Милый мой... постой...

Живет теперь Иван Артемьевич Голодубов в своем облике вечность. Адвокат не обманул: рассчитали все с точностью. Не забалуешь: строго по документам. Бюрократы.

Вместо двухэтажного особняка у Ивана Артемьевича крошечная хибарка. Углом ее зажимает современная больница, вплотную к хибарке приткнутая. С раннего утра возле нее скапливается очередь – за талонами. Люди шумят под окнами Ивана Артемьевича и не дают ему спать. Особенно старики. Кто-то вопит от боли, а кому-то просто охота потолкаться.

Рядом – детский садик. Стабильно два раза в день – до обеда и после – дети выходят на прогулку. Они играют и веселятся, и громкий детский смех тоже здорово досажда-ет Ивану Артемьевичу. А в тихий час у детсадовцев из рядом стоящей школы идут другие дети, постарше. Они тоже шумят, а пару раз даже разбили Ивану Артемьевичу мячом окна, пока играли в футбол. Но ничего: Иван Артемьевич Голодубов после нескольких лет привык. Да и к детям он, в общем-то, всегда терпимо относился.

Все верно, все – по документам.

Одно только может беспокоить Ивана Артемьевича: на месте его хибарки должны класть новенькую трассу, полностью закатав его скромную халупу в толстый слой асфальта. Но Иван Артемьевич не сильно переживает, потому что знает: произойдет это не скоро. Здесь ведь тоже все идет не механически, а живыми трудами его местных коллег. А в них Иван Артемьевич не сомневается.

Сергей ШУСТОВ

РАССКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ

Из жизни сов и жаворонков

Решили совы и жаворонки объединиться. И образовать центристскую партию. Чтобы – и не рано, и не после полуночи. Чтобы ровно посередине все крайности сошлись.

Устав сочинили, бумаг нужных и ненужных наплодили. И постановили на первом общем собрании, что необходимо выделить два крыла у новой партии. Что за партия с одним крылом? Всё равно что птица без двух!

Первое крыло составили совы. Они уклонялись больше в сторону сумерек. Их лозунгом стало: «Лучше поздно, чем никогда!». Обустройством другого крыла занялись со рвением жаворонки. Эти непоседы вставали пораньше, когда совы еще дрыхли, – и упорно активничали до обеда. Жаворонковое крыло выбрало себе библейское «Кто рано встает, тому бог подает». С божьей помощью хотели жаворонки поднять свое крыло на небывалую высоту.

Когда совы просыпались, продирали заспанные глазки и с удивлением таращились на белый свет, их партнеры по общей коалиции уж от усталости с ног валились, на ходу засыпали. Совы брались, помолясь, за партийное строительство, а со стороны фракции жаворонков только храп да молодецкий посвист слышались-раздавались!

Так до сих пор и не могут узнать совы и жаворонки, что в стане сопартийцев-смежников творится?! Как там второе крыло живет-может?

Частенько, однако, объединения вредят объединяющимся! По крайней мере, аккумуляции ресурсов не по-

лучается, хоть в лепешку расшибись. Каждая маленькая партия внутри большой партии одеяло на себя тянет так, что рвется и трещит общесмысловая ткань!

Из жизни гласных

Гласные разбежались по нашей большой стране, как блохи, сговорившись каждая в свою область. «А» в первопрестольную рванула. Так прямо и рвАнула кАк былА, в чем мАМА родилА!

В Вятской губернии – там гласные вообще все съедались. Туда, в Вятку, гласные боялись и сунуться! Подрастающее поколение своё пугали – вот отправим вас к вятичам! Там говорили: пшли! Псмтри, пжлста! Сколько там было гласных еще со времен ссылки товарища Герцена, всех съели! Только, пожалуй, одна И осталась. Не по зубам она тамошнему народу, стало быть, пришлось! Как в детской загадке «кто остался на трубе».

По Волге, самО сОбОй, О пОкатились! По Нижегородчине и ниже... По волнам, откосам да оврагам! Много там «О» собралось, если не все!

Кое-где «Я» попадались! Вот под Ярославлем как-то видели. «СЯйчЯс! На чЯсы-те гЛяну!». И тому подобное...

В Костроме, сказывают, «Ы» обреталась. Так и отвечали про неё на вопрос, где, дескать, «Ы» искать: «Дык в КЫстрыМЫ оне!».

Из жизни рекламы

Реклама то наружной, то внутренней работала. Нервная работенка...

А еще она агрессивной была, вела наступательную стратегию. Но потом, устав от битв, становилась другая – тихая, жалкая, плаксивая, всё отсиживалась где-то на задворках второстепенных журналишек.

Зато уж когда вокруг деньги большие вертелись, вольготно она располагалась на разворотах журналов гламурных, дорогих, даже можно сказать – роскошных. И за это ей, представьте, еще больше денег давали!

Словом, со стороны посмотреть – типичная картина шизофрении в крайней стадии запущенности. То, значит, её на золото и бриллианты кидает, на раскаркивание про немыслимые «Феррари» и круизы вокруг Мальдив. То – в другую крайность ударится: начинает нудно и тоненько подвывать про керамическую плитку Урюпинского фарфоро-фаянсового завода метизов со скидкой в 48%! Ну разве это серьезно?!

Так и расслоила общество! Кто на Мальдивы подался, кто за плиткой в соседний хозмаг за углом. И это, заметьте, усугубляется с каждым божьим днем!

Недаром говорят: реклама – двигатель прогресса! Только не очень понятно, куда мы с таким двигателем приедем!

Из жизни конца света

Распространилось подозрение среди народа, что конец света всё же существует. И, чтобы о нем не забывали, периодически эта особа сама инициирует слухи и сплетни о своем ближайшем приходе. Мутит, так сказать, всё человечество. А сам, собака переодетая, и не собирается показываться! Стыдно, должно быть! Уж сколько раз обманул ожидания!

Стали между тем задаваться дурацкие вопросы:

– Пойдет ли конец света по часовой стрелке от Гринвичского меридиана или же – супротив?

– Где он раньше наступит – в Токио, или, скажем, в Екатеринбурге? С учетом, так сказать, временных поясов...

– Что делать ночным и сумеречным животным? Заметят ли они приход конца света, так как сроду иного состояния природы не ведали? Надо бы им как-то сообщить заранее. А то будут мыкаться, бедолаги, в вечной темноте, в памороках!

– Отключатся ли самостоятельно в этот знаменательный момент бытовые электрические приборы, гаджеты и останутся ли сами электрички? Или их должны загасить человеческим фактором? Что должно делать в этот судьбоносный момент РАО ЕЭС? Не сидеть же им сложа руки, обреченно дожидаясь?

Многие сходились во мнении, что надо бы и планетку прибрать к приходу. Нехорошо бардак такой оставлять в полной темноте! Не ровен час, налетит кто на сучок, вступит куда не надо, напорется на что-нибудь острое... Беды не оберешься! Потом-то уже, когда хоть глаз выколи будет, не больно-то со шваброй и тряпками поработаешь! И это, следует отдать должное, была очень здравая и мудрая мысль!

Одна баушка очень взволновалась, начитавшись газет. Стала закупать соль, керосин, сушить сухари, стирать простыни и далее наглаживать их и крахмалить, котят пристроила в хорошие руки, писем всем своим близким и дальним родственникам понаписала: дескать, простите, если что не так было в наших с вами отношениях. Даже на Сахалин давно забытому племяннику Васе умилительную открыточку поздравительную отправила!

Хоть и не появился этот виновник торжества (это я о Конце Света) до сих пор, а, однако, пользу ощутимую людям принес! Сколько положительных дел некоторые из-за него понавертели!

Иногда ожидание плохого ведет к рождению хорошего. Как цепная реакция. Так что не всегда нужно в зародыше всё плохое давить в дверях. Следует посмотреть со всех сторон спокойно – может, что и путное получится, выйдет из плохого. Диалектика – куда без неё в нашем беспокойном мире!

Ефим ГАММЕР

Иерусалим, Израиль

МИНИАТЮРЫ

Отражение

Стихи как стихи. Но что-то в них было такое, отчего мурашки ползали по телу.

Я потерял приличное лицо.
Теперь с лицом хожу я неприличным.

Казалось бы, зачем мучить себя? Написал и написал! А теперь всмотришься в зеркало попристальней и уясни: что толкнуло тебя на душевное самоистязание? Нос на месте, зубы начищены, морщины только намечаются. Живи и дыши полной грудью. Но отчего-то не дышится. Отчего-то ноет сердце. И хочется каких-то перемен. Правильнее сказать, исправлений. В лице? А почему бы и нет? Но не путём пластической операции. И дорого, и непредсказуемо. Не лучше ли попробовать... А? Да, именно так! Не прикасаясь скальпелем к лицу, пройтись пером по стиху и просто-напросто видоизменить личное местоимение. Зачем на своё «я» наводить напраслину, когда по соседству на той же странице «Литературной энциклопедии» присутствует «он»? «Он» и потерял приличное лицо. Разве это не заметно? Заметно-заметно!

Он потерял приличное лицо.
Теперь с лицом он ходит неприличным.
Не быть ему творения венцом,
Он эпигон – бездарный и типичный.

А что теперь? Лёгкий выдох и робкий взгляд в зеркало.
Вскормленное надеждой Отражение расплылось в широкой улыбке.

Диссиденция

А чего я хотел? Да практически ничего. Социализма хотел, с человеческим лицом. Под лицом человеческим, думал, сущность волчью не спрячешь. Ну и... пару-тройку слов здесь, пару-тройку слов там. Разоблачал-разоблачал... Пока во имя свободы не развернул весь Советский Союз до основания, а затем... Свободы стало навалом. А Советского Союза не стало вовсе. И разоблачать некого.

А чего я хотел? Да практически ничего. Пару-тройку слов свободных... разоблачительных... на кухне... Без огласки.

Да промашка вышла с оглаской. Третье ухо оказалось подслушивающее. Второй язык – доносительский. Вот я и вышел в разоблачители. Пару-тройку слов здесь, пару-тройку слов там. Разоблачал-разоблачал, пока не развернул все, не разнес по камушку. Ни града отчего, ни веси, к пуповине привязанной. Ни адреса. (Помните? «Мой адрес – Советский Союз».) А кухня? кухня? Где уж ныне кухня моя стародавняя? Маленькая, спокойная, рассчитанная на пару-тройку слов свободных, разоблачительных. В чужой стороне, в запредельном государстве обретается кухня моя. А те, кто собирался в ней втихую, по-добро-соседски, раскиданы по разным берегам Мирового океана и копят старательно доллары, чтобы, оплатив импортные визы, вновь потолкаться на прежней своей жилплощади, туристического соблазна ради. Вдохнуть дым Отечества, горький, прекрасный и, как встарь, чадливый от пригоревшего масла. И ностальгически вспомнить: а чего я хотел? Платить деньги за посещение собственной квартиры? Нет, не этого я хотел. Да практически и ничего не хотел. Пару-тройку слов свободных хотел, разоблачительных. Хотел как лучше. А вышло – как всегда. И разоблачать некого.

Николай СИМОНОВ

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

Осень

Однажды, оглядевшись, охнешь:
Опять округа отцвела.
Огнистой, обмеднённой охрой
Ополье осень обожгла.

Ох, осень, осень, обалдеешь.
Ох, окружают облака,
Ох, облетают орхидеи,
Ох, отуманилась Ока.

Округлы облаков овчины...
Окинешь оком окоём –
Озолотилися осины,
Окрест охвачены огнём.

Ольхи оранжевы обновы...
Ох, осень, осень, – обомрёшь.
Огнём октябрьским очарован,
Осанну осени орёшь.

Жизнь – игра

Вот человек родился – «Царь природы».
Всё в жизни принимая на ура,
Гуляет он шутя в молодые годы,
И жизнь его весёлая игра.

Взрослеет он, вы спорьте или не спорьте,
Хоть побеждает в играх не всегда,
Но пробует себя в интригах, в спорте,
Да и в азартных играх иногда.

Идут года, Проходит век за веком,
Растут долги и цены на вино.
Судьба всегда играет человеком,
А человек играет в домино.

У человека время пролетает,
Он упускает свой последний шанс.
Судьба всю жизнь жестоко с ним играет,
А человек играет в преферанс.

Передержал он свой талант под спудом
И перемен не ждет в своей судьбе...
Так он живет, играючи, покуда –
Шопена не сыграют на трубе.

Реальное приключение одного знакомого поэта

Поэт попал в Союз писателей,
Он много лет мечтал о нём.
Обмыл приём в кругу приятелей,
Но был задержан патрулём.

Как все поэты, ходим гордо мы,
Но всё до времени, как знать...
Он, пообломан держимордами,
Лёг на казённую кровать.

Соседи обступили кучею:
«Кто ты, и как ты здесь у нас?»
Но не хотел он их накручивать
И тихо начал свой рассказ.

Историю и географию
Припутал он к своим грехам,
Когда закончил биографию,
То плавно перешёл к стихам.

Впервые услышали гения,
Те, кто в стихах ни бе ни ме.
Когда умолкли восхищения,
Поэт услышал резюме:

«Что говорить, стихи отличные,
Есть остроумие и шик.
Сего поэта знаю лично я,
Ты, вообще, заткнись, мужик!

Он не похож, как ты, на валенка –
Высокий, стройный при усах,
Читал стихи по книжке маленькой,
Что брату подарил на днях.

Я их поил до изумления,
И ни к чему твои понты.
Есть у меня такое мнение:
Приятель, самозванец – ты!»

Не глядя на угарных зрителей,
Лежал похмельный соловей
И горько плакал в вытрезвителе
Над популярностью своей.

Потом закрыв лицо подушкой
Сказал: «Ну, мне всё – по делам:
Чтоб бисер не метал пред чушками
И книжек не дарил козлам».

Семейное чтение

Наталья КАДОМЦЕВА

Пенза

ОДНАЖДЫ В ПРИЮТЕ

Ранним ноябрьским утром Дина вышла из дома, прикрыла дверь подъезда и зябко поежилась. День обещал быть пасмурным и промозглым. По небу неслись темные низкие тучи, орошавшие осеннюю землю мелким противным дождем. Ветер грозил распахнуть теплую куртку, которую девушка надела, стремясь укрыться от пронизывающего холода. Волосы выбились из-под шапки и лезли в глаза, и Дина нетерпеливым движением убрала их с лица, накинула на голову капюшон и побежала на остановку. До работы было недалеко, но в такую погоду идти пешком совсем не хотелось.

Девушка уже четыре года трудилась в городском приюте для бездомных животных, и несмотря на то, что эта работа была эмоционально тяжелой, менять ее на что-то другое Дина не собиралась. Именно здесь она нашла свое место, хотя родители и подруги всячески ее отговаривали, мотивируя тем, что карьеру в приюте не сделать и много денег не заработать. Дина слушала, молчала, в чем-то соглашалась, но делала по-своему. Окончив юридический факультет с красным дипломом, Дина устроилась на работу в областной суд, но через год написала заявление об увольнении. Родители этого шага не поняли, долго спорили и скандалили с дочерью, убеждая ее изменить решение.

Закончилось тем, что девушка сняла квартиру и съехала, после чего полгода не появлялась в родительском доме. Однажды отец приехал к Дине на квартиру, они долго разговаривали и в конце концов помирились. И несмотря на то, что особого понимания в выборе жизненного пути дочери достигнуто не было, в семье воцарился мир и спокойствие, хотя мать и вздыхала по несостоявшейся дочерней карьере.

– Ты только подумай, – говорила она, – через несколько лет ты могла бы уже быть судьей, а судьи, сама знаешь, сколько получают.

– Мама, – нетерпеливо говорила Дина, – я не хочу возиться в этом дерьме.

– А в собачьем дерьме ты возиться хочешь! – восклицала Ольга Ивановна, всплескивая руками и смахивая несуществующие слезы.

– Вот представь себе! – кипятилась девушка.

– Надо было столько лет учиться на юриста, чтобы потом пойти работать в приют для животных! – мать продолжала попытки достучаться до дочери. – Шла бы тогда учиться на ветеринара.

– В тот момент я не очень себе представляла, что такое работа юриста, особенно в суде, – оправдывалась Дина и в который раз ненавидела себя за то, что ее вынуждают оправдываться. – А вот теперь я вполне готова пойти учиться на ветврача.

Мать вздыхала, набирала в грудь побольше воздуха, чтобы снова начать бесполезную дискуссию, но тут обычно вмешивался Петр Ильич, и в семье снова на время воцарялось спокойствие. Такие разговоры периодически повторялись, и девушка постепенно перестала обращать на них внимания. В конце концов и родителей можно было понять. Они желали ей добра. Жаль только, что услышать то, что хочется дочери, они так и не смогли. Вчера вечером снова состоялся такой разговор, и настроение у Дины испортилось. Ей не удалось сдержаться, и она наговорила матери много лишнего. Все закончилось слезами и хлопаньем дверей. Теперь придется найти в себе силы на очередное примирение. А все оттого, что Ольга Ивановна

упорно не хотела принимать деятельность Дины, считая это блажью и бесполезной тратой времени.

Девушка вздохнула, отгоняя грустные мысли и настраиваясь на работу. Как только она вошла на территорию приюта, ее приветствовал радостный лай и бесчисленное количество виляющих хвостов. Дина улыбнулась, прижимаясь головой к теплой шерстке Боцмана, небольшого трехногого старичка, прожившего в приюте большую часть своей жизни. А затем весело рассмеялась, когда Боцман, пытаясь облизать ей лицо, уронил ее на пол.

– Я тоже тебя люблю! – проговорила девушка, целуя пса в черный нос. – Ну что, пошли переодеваться и работать.

Старичок, помахивая хвостом, потрусил рядом.

Дни в приюте обычно похожи один на другой. Уборка вольеров, кормежка, медицинские процедуры, прогулки и занятия с собаками и кошками. За день нужно успеть пообщаться с как можно большим количеством питомцев, чтобы им не было одиноко. Если появляются потенциальные хозяева, нужно поговорить с ними и принять решение, можно отдать им животное или нет. Часто приезжали волонтеры, которые ходили выгуливать собак или помогали убирать вольеры. Кроме Дины, в смене было еще четыре девушки и приходящий кинолог. Коллектив у них был дружный, работали все слаженно и часто помогали друг другу. И это очень нравилось Дине. Иногда она вспоминала работу в суде, где бесконечно плелись интриги, гуляли сплетни, кто-то кого-то пытался подсидеть. Что уж говорить о посетителях с их бесчисленными жалобами, желаниями сделать побольше другому или урвать куш побольше. И она радовалась, что вырвалась из той душной клетки. Здесь все было иначе.

Переодевшись в рабочую одежду, Дина занялась своими привычными обязанностями, как вдруг раздался входной звонок. Девушка подумала, что приехали волонтеры, но ошиблась. На пороге приюта стояла высокая эффектная женщина в темном пальто, у ног которой примостилась средних размеров закрытая коробка. За спиной посетительницы Дина увидела дорогую машину, в которой сидела девочка лет восьми и рисовала пальчиком видимые только ей одной узоры на стекле.

– Я могу вам чем-то помочь? – спросила Дина, с подозрением разглядывая закрытую коробку.

– Я могу войти? – голос у женщины был высокий и неприятно визгливый.

Дина открыла пошире дверь, давая возможность посетительнице пройти в коридор приюта. Женщина подняла коробку, перенесла ее через порог и довольно бесцеремонно поставила у дальней стены. В коробке кто-то завозился, и девушка почувствовала, как мурашки побежали у нее по спине.

– Вы же принимаете животных, – безапелляционным тоном заявила женщина.

– Вообще-то у нас нет мест, – попыталась возразить Дина, но посетительница не дала ей такой возможности.

– Заберите эту собаку, она нам больше не нужна. Она старая и больная, ухаживать за ней некому. От нее идет ужасный запах, вся квартира провоняла. К тому же мы дочери подарили щенка лабрадора, а две собаки в квартире – это слишком много.

Дина почувствовала, как кровь прилила у нее к голове. Она еле сдержалась, чтобы не накричать на эту внешне красивую, но совершенно бездушную женщину, и заставила себя спокойно сказать:

– Вы понимаете, что обрекаете свою собаку на страдания? Сколько лет она прожила вместе с вами?

– Десять, двенадцать, какая разница! Это собака мужа, я ее не выбирала. Мне она и раньше не была нужна, а теперь и подавно.

– И ваш муж на это согласился?

– Я вдова, понятно! Ему уже точно без разницы. А ей тут у вас будет лучше, чем с нами. Или вы хотите, чтобы я выбросила ее на помойку или усыпила?

Женщина сделала движение в сторону коробки, но Дина загородила ей дорогу. В этот момент в коридор вышла Катя, державшая в руках флаконы с лекарствами и шприцы. Она недоуменно посмотрела на дрожавшую от ярости Дину и холеную женщину, которая смотрела на девушку с вызовом и злобой.

– Что происходит? – спросила Катя.

– Да вот, собаку свою нам отдают. Состарилась и не нужна стала, – проговорила Дина, едва сдерживаясь.

– Ааа, понятно, – Катя вздохнула. Она проработала в приюте больше десяти лет и насмотрелась всякого. Удивить ее было сложно, а вот опечалить легко. Она достала из стола лист бумаги и ручку и протянула посетительнице:

– Пишите отказную. Чтобы потом не было к нам никаких претензий.

– Я ничего писать не собираюсь! – визгливо вскричала женщина. – Мне собака не нужна. Или забирайте, или я ее усыплю! Я пришла к вам сюда не для того, чтобы мне мораль читали!

Катя вздохнула и решительно выпроводила женщину за порог. Дина не смогла сдержаться и крикнула ей вслед:

– И щенка у вас надо отобрать! Где он окажется, когда вы наиграетесь?!

Мотор взревел, и машина, взвизгнув шинами, умчалась.

Дина и Катя склонились над коробкой, в которой сидела небольшая серая собачка и смотрела на них огромными бездонными глазами, в которых, казалось, отразилась вся невыносимая вселенская тоска. Девушка почувствовала, как стиснуло горло и в глазах закипели злые бессильные слезы. Она протянула руки, чтобы достать собачку из коробки, та сжалась в комочек и отвернулась. Дина бережно подняла девочку на руки и прижала к себе, баюкая, как маленького ребенка.

– Я даже не спросила, как ее зовут, – сквозь слезы прошептала она.

– Это неважно, – Катя выбросила коробку на улицу. – Теперь у нее все равно будет другое имя. Новая жизнь, новое имя.

– Я назову ее Стефи, – сказала Дина, и Катя кивнула.

Они отнесли собачку в карантинный бокс и осмотрели. Стефи была в ужасном состоянии: истощенная, с облезлой шерстью и мокнувшими очагами экзем по телу, она еле стояла на тоненьких ножках. Глаза ее были подернуты пленкой катаракты, большинства зубов не было, а слизистые были бледно-синюшными. Собачка действительно была стара, на мордочке и ушках серебрилась седина.

– Гребаная стерва! – выругалась Катя, подсоединяя кабельницу к собачке. – Что надо было делать, чтобы довести животное до такого состояния!? Одно дело, когда мы уличных таких подбираем, и совсем другое, если собака домашняя. Ей-богу, чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак!

Дина в это время выстилала мягкими ковриками большую клетку, в которую пока собиралась поместить Стефи. Девушка поставила миски с едой и водой, положила игрушки и вкусняшки. Она не могла избавиться от кома в горле, который мешал ей дышать и говорить, и только кивала головой, соглашаясь с Катиными словами. Кем надо быть, чтобы так издеваться над беззащитным существом, прожившим с тобой всю свою жизнь? Что спрятано за этим внешне привлекательным фасадом? Гниль и вонючее топкое болото? А ведь у этой женщины растет дочь. Кем она вырастет, видя подобный пример?

– Надеюсь, дочка ее, когда мамаша состарится, выбросит ее на помойку! – эхом отозвались в душе у Дины слова подруги, и она снова с ней согласилась.

Прошла неделя, как Стефи оказалась в приюте. Изменений в лучшую сторону в ее состоянии не наблюдалось. Собачка ничего не ела, не пила воду и не играла, а тихо лежала в дальнем углу клетки, отвернувшись к стене. Она не реагировала ни на какие раздражители, а тихо угасала, обернувшись в кокон тоски и одиночества. Дина и сотрудники приюта, сменяя друг друга, не отходили от Стефи ни на шаг, не оставляли ее одну, постоянно разговаривали с ней и пытались вызвать хоть какой-то интерес к жизни, но все было напрасно. Постепенно в душу закрадывалось отчаяние, что у них ничего не получится, и, может быть, стоит отпустить Стефи на радугу, чтобы прекратить ее мучения. Но на это не поднималась рука, а надежда медленно умирала.

Через несколько дней земля укуталась белым пушистым покрывалом, столбик термометра опустился до минус десяти, ветер стих, небо прояснилось и выглянуло

бледно-желтое зимнее солнце. Наступивший декабрь принес с собой ароматы ярого мороза, свежей хвои и ожидаемые чуда, которое всегда невольно появляется в последний месяц уходящего года. Дина и ее друзья принялись украшать приют к новогодним праздникам: во дворе поставили искусственную елку, развесили гирлянды и яркие, разноцветные игрушки и флажки. Хотелось радости и праздника, но на душе было тяжело и беспокойно. Дину печалила судьба Стефи, которая все так же тихонько лежала в своей клетке, ни к чему не проявляя интереса. И если ее физическое состояние еще можно было хоть как-то улучшить, то глубокое отчаяние и тоска, последовавшие за предательством хозяйки, оставили незаживающие раны, которые залечить невозможно.

Дина, вздохнув, отошла от клетки, где Стефи лежала, свернувшись в клубочек и уткнувшись носом в самый дальний угол. Девушка принесла новые вкусняшки, которые собачка все так же проигнорировала. Катя сказала, что, если до конца месяца ничего не изменится, наверное, придется снова поднимать вопрос об усыплении, потому что смотреть на ее мучения больше нет сил. Дина разговаривала с собачкой ласковым голосом, гладила по голове, целовала в макушку и просила хоть как-то отреагировать на ее присутствие, но ничего не помогало. Смахнув набежавшие слезы, девушка закрыла клетку и вышла из комнаты.

В этот день было много работы. Кто-то выбросил на помойку в коробке шестерых щенков. Вадим, помогавший волонтерам машиной, привез их в приют и обустроил небольшой вольер в карантинном боксе, куда решили временно поселить малышей. Катя и Ирина занимались их осмотром, а Дина заканчивала кормить остальных питомцев, после чего отправилась на прогулку с Боцманом и Шэдоу. Старички затеяли в снегу игру в догонялки, и Боцман каждый раз обгонял своего друга, доказывая, что и на трех лапах можно бегать очень быстро. А может, это Шэдоу ему подыгрывал и всегда на миг замирал, когда видел, что Боцман оказывается рядом. Дина бросала им снежки и мячики, а когда они уставали и прибежали

за лаской, гладила покрытые снежной пылью головы и чesала подставленные животики.

– Простите, пожалуйста, вы из приюта? – услышала Дина звонкий девичий голос. Она обернулась и увидела девушку, которая стояла поодаль и наблюдала за веселой игрой. На незнакомке была теплая темно-синяя куртка и мягкая светлая шапочка с большим помпоном, который постоянно свешивался набок. Щеки девушки покраснели от мороза, она улыбалась и протягивала руку Шэдоу, который подошел познакомиться.

– Ага, – Дина поднялась с колен и отряхнулась от снега. – Вы что-то хотели?

– Меня зовут Настя, – проговорила девушка, немного смутившись. – Я хочу взять у вас собаку.

Дина внимательно разглядывала девушку, которая почесывала голову Шэдоу, а он, блаженно расплывшись в самой обаятельной улыбке, привалился к ее ногам.

– Пойдемте в корпус, – сказала Дина. – У нас есть анкета для потенциальных хозяев, и еще нужно пройти собеседование.

Девушка кивнула и пошла следом за Диной. Боцман и Шэдоу неспешно потрусили рядом с ней.

В приюте Настя заполнила анкету, а потом, удобно устроившись на старых продавленных креслах, принялась отвечать на вопросы, которые задавали ей Дина и Катя. Девушке было двадцать девять лет, она работала психологом и большую часть времени проводила дома, ведя консультации онлайн. Расставшись с молодым человеком, Настя решила подарить свое время питомцу, причем за тела забрать не щенка. Она сказала:

– Дайте мне самую старую и больную собаку. Я хочу подарить ей дом и всю свою любовь. Чтобы она провела остаток жизни не в приюте, а в семье, окруженная любовью и заботой. У меня есть и время, и средства на то, чтобы обеспечить ей достойную жизнь. Есть у вас кто-то, кто нуждается в особенной заботе?

Дина и Катя переглянулись. Нечасто к ним приходили люди, которые хотели взять старичков, а уж тех, кому требовался особый уход, забирали крайне редко. Они одно-

ременно подумали о Стефи, но это был настолько трудный случай, что даже заговаривать об этом девушки боялись. Настя, заметив их сомнения, проговорила:

– Вы знаете, с нами всегда жили собаки. Когда я была маленькая, мама часто подбирала бездомных животных, лечила их, а потом искала новых хозяев. Многие так и жили с нами всю свою жизнь. Мама умерла четыре года назад, и я хочу продолжить ее дело. Можно, конечно, подобрать кого-то с улицы, но я подумала, что у вас в приюте точно есть тот, кому сейчас очень нужна помощь.

Внимательно прочитав анкету и обсудив результаты собеседования, Катя и Дина решились и рассказали Насте про Стефи. На следующий день девушка приехала за собачкой. Когда она увидела свою питомицу, ее глаза наполнились слезами. Настя прижала тельце Стефи к груди и прошептала:

– Ты моя маленькая девочка. Самая любимая, самая красивая и самая-самая нужная! Я всегда буду рядом с тобой! Ты больше не одна...

И тут произошло чудо. Стефи, которая столько времени никак не реагировала ни на какие проявления внимания, вдруг подняла голову и посмотрела Насте прямо в глаза. А потом у собачки потекли слезы, и она, положив мордочку девушке на плечо, обняла ее своими маленькими лапками и крепко прижалась, словно боялась, что вновь обретенная хозяйка внезапно исчезнет. Настя прошептала:

– Я никому тебя не отдам!

Девушка села за руль, а Стефи примостилась в сумке-переноске у нее на груди. Проводить их вышли все, кто в этот день работал в приюте. Дина смотрела вслед отъезжающей машине и думала, что даже в нашем мире, который погряз в равнодушии и жестокости, все же осталось место и для чудес. И грань между светом и тьмой становится все ярче и больше. Раньше девушка и подумать не могла, что самым страшным монстром из ночных кошмаров является именно человек. И в то же время именно в человеке заложена бесконечная любовь и святость. Как такие противоположности могут уживаться в одном общем мире, было выше ее понимания и, скорее, относилось к вопросам

философии, но одно Дина знала точно: она выбрала свою сторону и отступать не собиралась. Даже если весь мир ополчится против нее.

Стефи прожила еще два года, а потом тихо во сне ушла на радугу. Настя сдержала свое слово: они с собачкой никогда не расставались. Стефи путешествовала вместе с хозяйкой, а Дина и ее друзья с удовольствием рассматривали фотографии и видеозарисовки, которые присылала Настя. Собачка удивительным образом преобразилась. Из того изнуренного заморыша, какой ее привезли в приют, Стефи превратилась в пушистую красавицу, которая любила посидеть на хозяйских коленях, поваляться в траве или на песочке, поплавать в реке, а потом, прижавшись к Насте, заснуть, пока ее любимая хозяйка работала онлайн. Стефи даже снова начала играть, таскать и прятать хозяйские тапочки, что всегда веселило Настю, которая купила для нее несколько новых пар. Все-таки настоящая любовь способна сотворить чудо. И хочется, чтобы таких чудес становилось все больше и больше. Ведь ради чего тогда стоит жить?

Что же касается женщины, которая выбросила Стефи, то ее жизнь сложилась совсем иначе. Может быть, бумеранг все же существует, и как бы мы ни стремились от него убежать, последствия поступков всегда нас настигают. Рано или поздно. Но это уже совсем другая история.

Жанна ПЕСТОВА

Кстово

ДЕВОЧКА ПОД ЗОНТИКОМ

Жила-была девочка. Девочка как девочка, вполне обычная. Она очень любила сказки. И даже сама их иногда сочиняла. А еще она очень любила гулять под дождем. Капли дождя стучали в крышу зонтика, и девочка пела и танцевала вместе с дождем. Или садилась на скамейку, закрывалась зонтиком и слушала истории, которые ей рассказывали дождь и зонт. Зонтик был разноцветный. И если его покрутить, на нем можно было рассмотреть разные картинки. Картинки эти менялись, как в кино, и получалась самая настоящая сказка. Даже интересней, чем в калейдоскопе.

– Опять мокрая и грязная с прогулки пришла! И где ты только дождь нашла? Ни облачка на небе, – ворчала мама.

– Горе ты наше луковое, – приговаривал папа, вытирая ее полотенцем.

– Я не горе, я Оля, Оленька Лукова, – смеялась девочка в ответ.

И мама с папой не выдерживали и начинали смеяться вместе с ней. Они любили смеяться вместе.

Но однажды в их доме поселилась грустинка. Оленька не понимала, почему папа с мамой перестали смеяться, почему почти не разговаривают друг с другом.

– Ты еще маленькая. Вот подрастешь и поймешь, – сказал папа на прощание.

А потом уехал. Мама плакала, но тоже ничего не объясняла Оленьке: еще маленькая.

«Странные эти взрослые, – думала Оленька, – сами ничего не могут объяснить, а думают, что это мы, дети, их не понимаем».

И она решила, что не будет взрослеть, не будет расти пока папа не вернется и не объяснит ей, почему он решил от них уехать. И перестала расти. Росла только обида у нее в душе. Оленька от этого становилась даже меньше. А может быть, так только казалось маме.

По выходным Оленька брала свой любимый зонтик и уходила гулять на набережную. Туда, где они часто гуляли вместе с папой. Потом спускалась по «бесконечной» лестнице. Это папа ее так называл. Но у лестницы есть конец, а у обиды, что поселилась в душе у Оленьки, его нет.

Долго брела по берегу Волги, а когда уставала, садилась на скамейку, закрывалась ото всех зонтиком и представляла, как папа вернется, а она ему скажет, как сильно он ее обидел. Зонтик от этих мыслей потемнел, стал серым и скучным. Он больше не рассказывал сказки, не пел песенки вместе с дождем, только укрывал, скрывал Оленьку. Проходим даже казалось, что зонтик сам по себе лежит на скамейке, что под ним никого нет.

Домой Оленька теперь приходила сухая и чистая. И никто не называл ее горем луковым и не растирал полотенцем, чтобы не заболела. И никто в их доме теперь не смеялся.

В тот день Оленька, как обычно, сидела, укрывшись зонтиком рисовала волны на песке. И представляла, как по этим волнам приплывет теплоход, «Ракета», катер... и папа сойдет на берег по трапу. Он еще издали увидит дочку. А что будет дальше, Оленька еще не придумала. Она никак не могла решить: простить папу сразу или пусть помучается. Очень хотелось простить сразу, и чтобы все стало как раньше, чтобы они снова стали жить вместе и вместе смеяться. Но обида не давала. И папа не воз-

вращался. И даже не звонил уже целых три года или три месяца, как говорила мама. Оленька не считала. Она не хотела считать.

«Тук-тук-тук...» – кто-то постучал в крышу зонтика. Оленька с удивлением подняла голову. Но сквозь потемневший зонтик ничего не разглядеть.

«А может, мне показалось, – подумала Оленька. – Кто там может стучать? Дождя нет»

«Тук, тук, тук» – снова послышалось сверху.

Девочка решила выглянуть из-под зонтика.

– Кто там?

Птичка. Оленька таких не встречала раньше. Слетела с зонтика и села на землю, рядом. Девочка с любопытством рассматривала неведомую птичку, а та смотрела на нее.

– Ты голодная? – Оля раскрошила печенье, которое взяла с собой.

Но птичка не стала клевать.

– Пи-пи-пийиить... – послышалось Оленьке.

– Сейчас, сейчас я тебя напою, – она встала со скамейки. Птичка не улетела, словно бы поняла. Уселась на спинку скамейки и стала ждать.

– Сейчас, сейчас...

Как напоить птичку? Река – вот она, в ней столько воды, что хватит не только птичку напоить. Но как ее принести? Оленька подхватила свой зонтик и принесла воды в нём. Птичка скатилась по чаше зонта, попила, искупалась и защебетала весело и благодарно. Оленька помогла птичке выбраться из чаши зонта. Села на скамейку, подняла зонтик над головой, покрутила. Последние капельки воды скатились на голову девочки, намочили ее волосы. А зонтик снова стал разноцветным.

Птичка начала клевать рассыпанные крошки печенья. Оленька наблюдала за ней и улыбалась. Все ее обиды и тревоги куда-то исчезли, словно бы птичка склевала их вместе с крошками.

– Где же ты дождь нашла?

Оленька оглянулась, потеряла глаза.

Видение не растаяло. Папа.

– Горе ты мое луковое!

Оленька рванулась к нему, прижалась крепко-крепко, так крепко, что капельки воды попали и на его щеки.

Прошли годы. Оленька выросла. На набережной на том самом месте, где она когда-то сидела и копила обиду на папу, появился уголок влюбленных. Мало кто знает, что это не просто зона для отдыха и фотографий.

Если вы поссорились с кем-то, пусть даже с самим собой, приходите сюда, посидите на скамейке, посмотрите на Волгу, покормите птичек, напоите их водой. Девочка под зонтиком, Тихий ангел примирения, укроет вас от обид, как от дождя, если только вы очень этого захотите.

Анна ШЕВЧЕНКО

Из цикла «НАДЯ, ЛЮБА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ»

Надя, Люба и лисички

Как-то раз гостили девочки на даче у бабушки Лизы и дедушки Гриши. Денек выдался не жаркий, а до этого целую неделю было солнечно и лили теплые летние дождики. Грибные, как бабушка говорит.

На завтрак бабушка сварила кашу овсяную с ягодами. Девочки кашу съели, любимое какао выпили, тарелки свои сами помыли. Только было гулять собрались, да как сели на диван мультики смотреть, так и про прогулку забыли. И тут в кухню дедушка Гриша заглянул.

– Ну, внучки, угадайте, куда мы сегодня поедем? – спрашивает.

– Купаться! – радостно закричала Наденька.

– Нет, Надюша, – бабушка Лиза радоваться не стала. – Сегодня купаться холодно. И ветер дует.

– Тогда в зоопарк, – Любочка хитро улыбнулась, Надюша от нетерпения стала теревить резинку на своей косичке.

– Опять не угадали. – Дедушка достал из кладовки большую корзинку. – Мы поедем в дальний лес, за лисичками.

– Как же мы поймаем этих лисичек? – удивилась Наденька. – Они же в лесу живут. И бегают быстро.

Люба засмеялась:

– Надюшка, какая ты смешная! Ты разве не знаешь, что лисички – это грибы такие. Рыженькие. Мы с дедушкой их прошлым летом собирали уже.

– Да, ты правильно говоришь, Любаня. И все-то ты помнишь, – дедушка ножки маленькие вынул и стал точить. – Просто ты Наденьки старше, а она в прошлом году

совсем маленькая была, и ей еще лисички не интересны были.

– А что с лисичками потом делать будем? – Любочка с дивана слезла и к бабушке подошла.

– Можно их с картошкой пожарить, – говорит бабушка, – а можно суп сварить.

– А пирожки с ними можно делать? – Наденька так любит с тестом возиться.

– Можно и пирожки, но для этого надо много лисичек собрать, – отвечает бабушка. – Для этого надо быстро в лес ехать. Будете долго собираться, оглянуться не успеете, уже и стемнеет. А еще промешкаете, там и зима наступит...

– Бабушка Верочка, а ты с нами поедешь? – спрашивают сестренки.

– Конечно. У меня даже наш любимый суп картофельный готов. – Бабушка крышку на кастрюле открыла. – Чувствуете, как вкусно пахнет? Приедем из леса голодные, сразу разогреем его да по тарелкам разольем.

– Только ты, бабулечка, туда зелень не кроши, мы ее не любим, – Надюша губки надула.

– Не волнуйтесь, все будет так, как надо, – бабушка выключила на плите огонь под кастрюлей с супом, а саму кастрюлю крышкой накрыла.

– Где ваши резиновые сапоги и дождевики? – Дедушка ножи поточил и к дверям пошел, сразу видно: время бережет и ждать не любит. – Давайте-ка, красавицы, собирайтесь живее. А то пока вы наряды будете выбирать, все грибы разбегутся!

Надя с Любой быстро-быстро в прихожую побежали. И сапожки резиновые надели, и дождевики, и косыночки повязали. Не прошло и пяти минут, как стояли у машины. Даже корзиночки под грибы не забыли взять.

Сели они в машину. Все как положено, честь по чести. Дедушка за руль, бабушка рядом на переднем сидении, а Надюша с Любашей в детских креслах сзади устроились. Выехали за ворота, проехали по одной улице, по другой. И вот уже машина по лесу катится.

Вокруг сосны высокие, елки пушистые, березы стройные. Можжевельники лохматятся, мох зеленый мягким

ковром стелется. Вдруг прямо из-за кустов рядом с машиной птица огромная взлетела. Как будто из-под колес! Крылья сине-черные развернула – и ввысь! Только и успели заметить красный хохолок на голове и белый кончик хвоста.

– Какая большая, – удивилась Любочка.

– И красивая, – добавила Надюша. – Никогда таких не видела.

– Это тетерев, – говорит дедушка. – А вы, голубушки мои, еще много чего в лесу не видели!

Машина дальше едет. Дорога вьется мимо лесных полянок и кустов лесной малины.

– А вот, смотрите, трясогузка! Видите, как хвостиком трясет? – Дедушка показал на небольшую птичку около дороги.

Дорога дальше ведет, вот из-за деревьев маленькое озерцо зеркалом блеснуло. А на воде, между отражений облаков, утки плавают.

Дедушка машину остановил:

– Хотите уток покормить? Только тихонько выходите из машины, чтобы птиц не распугать.

– Да! – кричат девочки и из машины выпрыгивают.

– Тише, разбойницы, тише! – дедушка палец к губам приложил. – Говорю же, тихонько выходите, чтобы не напугать, а вы на весь лес кричите!

И говорит бабушке:

– Дай-ка, пожалуйста, нам, Лиза, булки немного, мы уток угостим.

Достала бабушка из пакета бутерброды с сыром. Сыр сняла, а хлеба три ломтика дала дедушке, Наде и Любе.

Пошли девочки за дедушкой к озеру. К самой воде подошли близко-близко. Дедушка кусочек хлеба взял и в воду кинул.

– Смотрите, что будет сейчас, – говорит.

Не успели девочки глазом моргнуть, как утки хлеб заметили. Одна другой что-то крикнула, и все к берегу за хлебом поплыли.

Стали девочки хлеб в воду кидать, а утки все ближе и ближе. Самые смелые почти из рук берут! У кого-то голова

и шея зеленые, переливаются, а у других серые. И крылья бурые в пятнышко.

– С зеленой головой, нарядный – это селезень, утка-папа, – рассказывает дедушка Гриша. – А серенькие – это утки-мамы. А рядом с ними, птицы поменьше – их дети.

– В городе разве такое увидишь, – бабушка тоже хлеб в воду кинула. – Вот и кончились наши бутерброды. Один сыр остался, а его утки не едят. Нагляделись на птичек? Тогда прощайтесь и поехали – лисички ждут!

Девочки уткам помахали и к машине пошли. Действительно, заждались их лисички. Вдруг из-за кустов какой-то писк послышался.

– Птица? – Наденька насторожилась, шею вытянула.

– Нет, – прислушался дедушка. – Вроде не птица...

– Что же это, не пойму, – удивляется бабушка.

– Как будто котенок мяукает, – говорит Любочка.

– Зайка, откуда в лесу котята? – Бабушка внимательно вокруг посмотрела.

Вдруг прямо около них трава высокая зашевелилась, и вот уже около самых Надюшиных ног стоят три крошечных котенка. Один серый полосатый, другой трехцветный, а третий, самый смелый, – рыженький. Он-то котят из травы и вывел.

Бабушка руками всплеснула, дедушка так удивился, что даже очки снял. У Наденьки от удивления пустой пакет из-под хлеба, из рук выпал. И только Любочка не растерялась и всех троих котят на руки взяла.

– Бабушка, смотри, какие милые! – гладит котят и улыбается.

Один котенок ей на плечо залез, второй в карман, а третий, рыжий, на руках остался.

– До деревни далеко, как тут котята оказались? – Бабушка взяла на руки серенького котенка. Тот замурчал и коготочками на ее кофте повис. – Неужели их дикая кошка родила?

– Нет, Лиза, – говорит дедушка Гриша, – если бы кошка дикая была, котята бы от людей убежали, а эти к нам вышли. И смотри, какие они чистенькие, как будто только из дома.

– Ты прав, – бабушка котенка погладила. Тот еще громче замурлыкал. – Наверное, кто-то их просто из дома выбросил, чтобы не кормить.

– Бабушка, как же можно котят в лес увезти! Они без мамы-кошки жить не смогут! – заплакала Наденька.

– Нельзя, родная, так делать, но люди разные бывают. Кто-то не пожалел малышей и отвез их в лес, от дома подальше. – Бабушка обняла Надю и слезинки ей платком вытерла.

– Надо котят домой взять, они в лесу погибнут! – Любочка котенка рыжего крепко к себе прижала. – Пусть у нас живут!

– Да, хорошая моя, – говорит бабушка, – конечно, мы котят в лесу не оставим. Только нельзя нам троих котят себе взять. Ты помнишь, у нас дома кот Борис живет. Ему не понравится, если еще котят в дом взять...

Смотрят, а дедушка из машины корзинку несет. Ту самую, которую под грибы приготовили.

– Мы, – говорит, – сейчас котят в корзинку положим, а когда домой приедем, разберемся, что с ними делать.

– А грибы куда класть будем? – спрашивает Наденька.

– Грибы, внучка, мы в другой раз соберем, – дедушка с себя свитер снял, положил в корзинку и котят туда посадил. – А сейчас поедем котят кормить. Это же важнее, чем грибы собирать, правда?

Сели они в машину, корзинку с котятами к девочкам на заднее сиденье поставили и поехали домой.

Приехали в деревню, соседки тетя Таня и тетя Шура увидели корзинку, спрашивают: «Много ли грибов набрали?»

– Вот они, наши грибы, – дедушка корзинку открыл. – Один серый полосатый, второй трехцветный. И даже один рыжий лисенок.

– Хотите, мы их вам подарим? – бабушка полосатого котенка на руки взяла, и он опять замурлыкал громко-громко.

– А ведь я возьму, – тетя Таня одного котенка из корзинки на руки взяла. – У нас осенью мышей видимо-невидимо, котенок подрастет и будет их ловить. Мне вот этот трехцветный нравится. У нас раньше такая кошка была.

– И я возьму, – решила тетя Шура. – Давай, Лиза, вот этого, полосатенького. Пусть и у нас мышей ловит.

– Бабушка, дедушка! – Любочка еще крепче рыжего к себе прижала. – Можно вот этого лисенка себе оставить?

– Это мы с вами у мамы с папой спросим, – улыбнулась бабушка и пошла к дому.

А дедушка добавил:

– Пока родители ваши не приехали и не решили, можно ли вам рыжего оставить, конечно, пусть у нас поживет. А там или котенок у вас будет жить, или мы с вами ему хороших хозяев найдем. Ну, а сейчас, внучки, надо будет к тете Зине за молоком съездить и котенка покормить.

– Можно мы его Лисенком назовем? – спросила Наденька.

– Можно, – дедушка машину завел и сестренкам сеть помог. – Вот ведь какая история вышла. Поехали за лисичками, а привезли Лисенка.

Молока от тети Зины привели, котенок напился, весь день с девочками бантиком на веревочке играл, а вечером улегся спать на диване.

И Наденька с Любой спать пошли. Что им во сне сегодня привидится? Наверное, лес и птицы, озеро с утками и, конечно, спасенные котятка.

Так хорошо спится, когда еще один день добрым делом кончился!

Надя, Люба и родословное дерево

Надюша с Любашей живут в городе. Мама и папа, бабушки и дедушки у сестренки молодые еще, они работают. А пока взрослые работают, сестренки в садик ходят или в гости к прабабушкам и прадедушкам. Запомнить просто: прабабушка Василиса и прадедушка Коля – это мама и папа бабушки Веры. А прабабушка Люда и прадедушка Саша – мама и папа дедушки Васи.

Зато по выходным и летом вся семья выбирается за город. У бабушки Лизы и дедушки Гриши – дача в деревне на одном берегу большой реки, у бабушки Нюси и дедуш-

ки Васи – домик в деревне на другом берегу большой реки. Прабабушки и прадедушки на дачах целое лето живут. И Надюша с Любашей все лето то на одной даче гостят, то на другой. А когда у мамы с папой и у бабушек с дедушками отпуска, тогда все вместе собираются, и на даче всегда шумно и весело.

А уж как весело, когда в доме праздник или день рождения! Тогда еще и гости приходят. К бабушке Лизе – сестра Лена с детьми и внуками Славочкой и Алешей, к бабушке Нюсе – брат Сережа с женой Мариной и с внучкой Катенькой. А к дедушке Грише брат Дима с женой Татьяной приезжает. У него внуков нет еще, зато сын Ленечка в третий класс ходит.

Думаете, это вся родня? Ничего подобного. У прабабушек тоже сестры и братья есть. Они, правда, старенькие, в гости редко ходят. Но уж если придут, тоже могут веселиться. И песни поют, и даже пляшут.

Самые любимые праздники в семье, это, конечно, Новый год и Рождество, а еще Светлая Пасха. Тогда вся семья собирается на даче у бабушки Нюси или у бабушки Лизы. А еще вся семья очень любит день рождения бабушки Лизы. Он в самом конце лета. Когда еще тепло и можно накрыть на улице большой стол под раскидистой яблоней или на веранде. И за этим столом собирается вся большая семья с гостями...

Вот в этом году летом все приехали на день рождения бабушки Лизы. Был выходной день, и все-все-все родные на даче собрались. С утра светило солнышко, значит, большой праздничный стол можно будет под яблоней накрыть, чтобы всю родню посадить и любимых соседей позвать.

А перед днем рождения мама и папа стали вместе с дочками Надей и Любой к этому празднику готовиться.

Сидели они на кухне вечером и чай пили. Любочка из фиолетовой чашки, а Наденька из розовой. Мама из бокала с тюльпанами, а папа из большой прозрачной кружки.

– У бабушки Лизы скоро день рождения. Да не просто день рождения, а юбилей, – сказала мама. – Давайте ей особые подарки приготовим!

– Мамочка, а что такое юбилей? – спрашивает Наденька.

– А какие особые подарки? – Любашка всегда точность любит.

– Юбилей, доченьки, это особый день рождения, который раз в пять лет бывает. Вот тебе, Наденька, будет скоро 5 лет, это юбилей.

– И десять лет тоже юбилей? – сосчитала Любочка.

– Да, дочка, правильно! – улыбнулся папа. – Хорошо считаешь, математиком будешь!

– А подарки особые – это те, которых в магазине не купить, – мама себе еще полчашки чая налила. – То, что сделано своими руками, специально для того человека, которого порадовать хочешь. Вот и давайте подумаем, что мы сможем для бабушки такого особенного сделать.

– Я ей песню спою, про день рождения, – говорит Любочка. – А еще рисунок красивый нарисую.

– Я тоже рисунок нарисую, – решила Надюша. – А еще мы вместе с Любой танец придумаем и бабушке покажем!

– Молодцы, хорошо придумали, – похвалила мама. – Можно еще всем вместе испечь любимый бабушкин торт с орехами. Поможете мне?

– Конечно, – обрадовались сестрички. – Мы сейчас будем печь?

– Нет, милые мои, – улыбнулась мама. – День рождения через несколько недель. На торт еще будет время.

Папа к шкафу подошел, альбом с фотографиями достал, говорит: «Давайте мы для бабушки сделаем родословное дерево!»

– Ой, мы такого дерева не знаем, – удивились Наденька и Любочка. – Елки знаем, березы, даже дуб и яблоню. А родословного не знаем. Оно где растет?

Папа улыбнулся и альбом раскрыл.

– Это дерево, дочки, в семье растет. Родословное – это от слова «род». А род – эта вся наша семья, мы с вами, бабушка Лиза, дедушка Гриша.

– И бабушка Нюся с дедушкой Васей? – догадалась Любочка.

– Правильно, и они, а еще – мама с папой бабушки Лизы и бабушки Нюси, мама с папой дедушки Гриши и дедушки Васи.

– Это, получается, прабабушка Василиса и прадедушка Саша?

– Да, и их мамы и папы, – подтвердила мама.

– И их бабушки и дедушки? – спрашивает Наденька.

– Верно, дочка, – сказал папа. – И их прабабушки-прадедушки, если мы про них что-то знаем. Мы с вами веточки этого дерева, и листочки. А прабабушки-прадедушки и их предки – этого дерева корни. Вот так-то!

Взяли они большой лист бумаги, просто огромный лист! Почти с окошко размером.

И стали на нем фотографии раскладывать. Там бабушка Лиза совсем маленькая на ручках у своей мамы – прабабушки Василисы сидит. Василиса совсем молодая, коса длинная. А рядом такой же молодой прадедушка Саша. Глаза смеются, волосы черные-черные, а не седые, как сейчас.

На другом снимке – прабабушка Василиса со своими мамой и папой. Коляска у нее смешная, как корытце на колесиках. И чепчик с кружевами, а пальто с огромными пуговицами.

– Смотрите, как сейчас прабабушка Василиса на своего папу похожа! – заметила Любочка. – И глаза, и нос, и улыбка.

– Конечно, дочка, – улыбнулась мама. – Каждый из нас похож на кого-то из родственников. Ты у нас похожа на дедушку Гришу и его маму, Марию Ивановну.

– А кто это – Мария Ивановна, – спрашивает Любочка. – Мы такой бабушки не знаем. Она к нам в гости не приходит. Она где живет?

– И папа дедушки Гриши тоже не приходит! – сообразила Наденька. – А он где?

– Дочка, бабушка Маша и дедушка Семен умерли, когда ты была совсем маленькая, – отвечает мама.

– Умерли? – удивилась Наденька. – И сюда никогда не придут? А мы к ним придем? Цветочки подарим?

– Конечно, подарим цветочки, – мама Наденьку и Любашу обняла. – Мы, родные мои, всегда помним о бабушке Маше и дедушке Семене. Бабушка работала врачом, была очень добрая, всегда помогала тем, кто в беде. Дедушка

Семен тоже был добрым. И сильным. И очень любил своего сына, дедушку Гришу. А еще он был строителем. И построил много красивых домов в нашем городе. Мы с вами на Новый год ходили в детский театр на елку, помните? Так вот, этот театр строило много людей, и папа дедушки Гриши тоже.

– Мы все помним о них, – добавил папа. – И очень любим. А раз мы их любим, значит, они всегда с нами, правда, дочки?

Девочки улыбнулись, кивнули. Раз бабушки и дедушки всегда с ними, надо дальше альбом смотреть.

– А еще, – мама показала старую фотографию, она была большая, и на ней очень хорошо, как на новых снимках, были видны лица и фигуры людей, – вот Татьяна, бабушка нашей прабабушки Василисы. Видите, маленький мальчик в коротких штанишках на коленях у сестренки? Это Степан, папа прабабушки Василисы, совсем еще малыш.

– Mamочка, – Любочка внимательно посмотрела на снимок. – А ведь ты похожа на эту прапра.... Ой.. сколько пра!

Любочка засмеялась и продолжила:

– На бабушку нашей прабабушки Татьяну. У тебя такая же фигура, лицо и даже прическа похожа, если ты волосы в хвостик уберешь!

– Мы на них похожи! Мы их любим! – Наденька обняла маму и поцеловала. – Значит, они с нами!

Долго девочки с мамой и папой альбом смотрели, и о каждом, чьи фотографии смотрели, был интересный и добрый рассказ.

Какие-то снимки они обратно в альбом убирали, а какие-то папа фотографировал, чтобы потом на родословное дерево повесить.

И каждый вечер до дня рождения бабушки Лизы Любочка и Наденька с мамой и папой фотографии на родословное дерево наклеивали и подписи рисовали. Большое дерево получилось. С крепкими корнями и красивыми зелеными листочками на длинных веточках.

А накануне праздника сестренки с мамой испекли огромный торт с орехами и сливочным кремом. И, конечно,

отрепетировали песню и танец. Все для бабушки должно быть вкусно и красиво, а главное – от всей души!

И вот гости собрались, все день рождения бабушки празднуют. Слова хорошие говорят, подарки дарят.

Бабушка Любочкиной песне подпевает, и все гости с ней вместе, а потом все с сестренками в пляс пустились. И в самый разгар веселья мама вынесла торт со свечками, а папа – огромное родословное дерево!

Бабушка обрадовалась:

– Торт с орехами, мой любимый! Спасибо, девочки мои дорогие!

А когда стали дерево родословное рассматривать, бабушка до слез растрогалась. Вся большая семья вместе. И корни – прапрабабушки и прадедушки – крепкие, и веточки длинные, и листочки зеленые.

– Спасибо вам, мои родные! Как хорошо, что вы такое дерево сделали! Все, кого мы любим, – вместе!

Долго вся большая семья родословное дерево изучала. О каждом предке и родственнике столько доброго вспомнили!

А Наденька и Любочка вместе с мамой и папой на дерево смотрели, и так им было приятно, что смогли своей семье и любимой бабушке такую радость доставить.

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Тихон СЕНИЦЫН

Севастополь

Морские коты

*Древние греки называли их «τρούων»,
что означает «горлица»*

Не верит мой друг, что колючие скаты –
Подобны котам.
Они не пушисты, они плосковаты
И водятся там,
Где солнце едва проникает на дюны
Бескрайней подводной песчаной лагуны.
Морские коты –
Мне напоминают щиты.
Мурлыкать им некогда в сумрачных гротах.
От хитрых зрачков не укроются шпроты.
Есть шип на хвосте!
Коты уже нынче не те...
Кто горлицей кличет, а кто хвостоколом.
Я видел их в августе как-то за молом
И слышал, что есть у русалки мечта –
Погладить морского кота.

Зимородки

Там, где перевернутые лодки,
Заросли ажины и родник –

Пёстрые, цветные зимородки
Прячутся в растрёпанный тростник.
Рождены, по древнему поверью,
Над морскою зимнею водой:
Глянцевые сказочные перья
Светятся зелёною слюдой.
Яркая оранжевая грудка,
Виртуозный скоростной полёт...
Не успеет даже крикнуть утка –
Зимородок с рыбкой упорхнёт!

Белый дельфин

Когда, как Гекльберри Финн,
Пройдёшь до горизонта в лодке,
Навстречу сказочный дельфин
Из моря вынырнет. И чётко
Его рассмотришь над водой,
Вдали от линии прибрежной.
Вдруг осознаешь: непростой
Дельфин-то этот – белоснежный!
Ты не ответишь на вопрос,
Не сформулируешь словами,
Куда весёлый альбинос
Спешит, сверкая плавниками?
Не страшен кракен-исполин.
Физалии – не озадачат...
Как снег, сияющий дельфин,
Я верю, принесёт удачу!

Алексей ШИХАЛЁВ

Ижевск

Театр

Дождливый вечер октября
Фонарики зажглись
Василий кот с женой своей
В театр собрались

Василий был весьма пушист,
 Приглажены усы
 Надел любимый черный фрак
 И с мышками трусы
 Вошли нарядные в театр
 Огни зажег софит
 Василий знатный театрал
 Супруге говорит
 Культура речи. Этикет
 Я здесь не в первый раз
 Пройдемте милая в буфет
 Отведаем колбас
 Нельзя без этого котам
 Сие известный факт
 Вначале мы немного ням
 А после ням в антракт

Танчики

Железных танков чудный мир
 Младого отрока пленил
 Забыта школа и примеры
 Милее «Тигры» и «Пантеры»
 Забыты сон и туалет
 Да что уж там!
 Забыт обед!
 Рассвет забрезжил за окном
 Его не видно в танке том
 Рёв боя и снарядов свист
 Ворвался в утро наш танкист
 Фашистов яростно громя
 Прёт в танке уж четыре дня
 Что за дела? Стоит! Подбит?
 Да вроде не горит!
 И как назло молчат приборы
 Мерцает стрелка монитора
 На это скучный есть ответ
 Пора платить за интернет

Валерий ТАБАХ

Москва

Домашнее задание

Эсэмэску получил,
 Чтоб уроки я учил.
 Слушать маму не хочу –
 Лучше свой планшет включу.

Поиграю, помечтаю,
 Пообщаюсь я с котом,
 Подготовиться к урокам
 Можно будет и потом.

Через час опять звонок:
 – Занимайся, мой сынок!
 Маме бодро отвечаю:
 – Я начну, как выпью чаю.

Всю домашнюю работу
 Сделать я успел.
 Подготовился к урокам,
 Сил не пожалел.

Отвечал отлично в школе
 Как хороший ученик,
 Две «пятёрки» и «четвёрка»
 Мой украсили дневник!

ЗЕМЛЯКИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск тридцать третий

Главный редактор *О. А. Рябов*
Составители *Андрей Иудин, Олег Рябов*

Шеф-редактор *Андрей Иудин*
Макет *Арсения Костромина*
Дизайн обложки *Геннадия Щеглова*
Корректор *Наталья Русова*

В оформлении обложки использована
работа работы *Леонида Колосова «Водяной»*

Подписано к печати 07.12.2022. Выпущено в свет 28.12.2022.

Бумага 60x84¹/₁₆.

Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 27,9. Тираж 1000 экз.

Свободная цена.

Учредитель и издатель ООО «Книги»
Адрес редакции: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2,
ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13